95 коп. Индекс 73276

ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ

РУКОВОДИТЕЛИ

объединений, организаций, кооперативов!

Ваши планы по техническому перевооружению и реконструкции предприятий, строительства объектов инфраструктуры быстрее обретут реальность, если —

ВЫ СТАНЕТЕ ДЕРЖАТЕЛЯМИ АКЦИЙ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЛЕНСТРОЙМАТЕРИАЛЫ» ФОНДА ВОЗРОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА

Акционерам обеспечиваются:

- **гарантированная квота на использование мощностей объединения**
- **безусловная поставка строительных материалов**

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ!

Приобретение акций нашего объединения — это надежный вклад свободных денежных средств и получение дивидендов в короткие сроки.
Стоимость одной акции — 10 тысяч рублей.
Акционерное объединение «Ленстройматериалы» принимает имущественные вклады в виде:
- *зданий, сооружений, машин, механизмов*
- *технических проектов, «ноу-хау»*
- *других материальных ценностей*

Имущественный взнос оформляется договором
Заявки с указанием объема участия и реквизитов направлять по адресу:
191065, Ленинград, ул. Халтурина, 10.
Телефон: 312-70-04

Эксклюзивный представитель по рекламе Ленинградского отделения издательства «Художественная литература» РПК «ЛИК». Адрес: 191065, Ленинград, ул. Герцена, 20. Телефон: 314-59-82



«Нева», 1990, № 12, 1—208

12/1990

ISSN 0130—741X

Нева



«У Казанского собора»
Рис. Ю. Куликова

Ежемесячный
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

Орган Ленинградской
писательской организации

Нева

12/1990

Выходит
с апреля
1955
года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛЬТЕРНАТИВА»

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Ленинград
«Художественная
литература».
Ленинградское
отделение

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Главный редактор Б. Н. НИКОЛЬСКИЙ

Редакционная коллегия:
А. Г. БИТОВ
И. И. ВИНОГРАДОВ
Е. И. ВИСТУНОВ
(заместитель главного редактора)
Д. А. ГРАНИН
Б. Г. ДРУЯН
М. А. ДУДИН
В. В. КОНЕЦКИЙ
Н. М. КОНЯЕВ
Н. П. КРЫЩУК
С. А. ЛУРЬЕ
Е. Н. МОРЯКОВ
Е. В. НЕВЯКИН
(первый заместитель главного редактора)
Б. Ф. СЕМЕНОВ
В. В. ФАДЕЕВ
(ответственный секретарь)
Т. Н. ФЕДОРОВА
В. В. ЧУБИНСКИЙ

Старший технический редактор Г. И. Огородник
Корректоры А. Ю. Семина, О. Б. Смирнова

© «Нева», 1990

Леонид
АГЕЕВ

◆◆◆

**Снилась мне огромная горилла,
жуткая — на шарике земном.
Бегала, скакала,
ямы рыла,
гадила, ходила колесом.
В три прыжка — с Алтая до Урала,
в два прыжка — с Урала...
Ну, дела!
Километры леса пожирала,
реки — пережравшая — пила...
...Оглядела лап железных дело,
заскулила, чувствуя беду,
головой безлобой завертела,
скалясь на соседнюю звезду.**

**И взметнулась в небо ледяное,
и распалась
в бездне тишины,
словно четвертованная,
воя
под пилою дисковой
Луны.
...Просыпался я в кирпичной клетке,
продирался сквозь ночную скорбь,
и заросшую
грудную клетку —
стонущую —
мрачно лапой скреб...**

Объемный портрет в дачном окне

**На подоконник, отразивший цвет
закинутой на раму занавески,
оперся локоть оголенный, резкий,
подмяв пустую пачку сигарет.
На сжатую пригоршню тяжело
оперся невеселый подбородок,
наклонно плеч двуперое весло
над бурунами ямок и бороздок.
А за спиной — электросамовар,
спит в раскладушке «вся-то радость
мамы»:
сопелка и губехи — в каше манной,
оса в кудельках, на виске — комар...**

**Любезничают мухи на стене
и на стекле... И лень взмахнуть рукою...**

**И шлепанец дырявый
на ступне
подрагивает,
свесясь над ступнею.
Халатно незастегнутый халат...
Кого стесняться в пу́стыне домашней?
Но схвачена кокетливой ромашкой
кудель волос, откинутых назад!
Да некому смотреть —
хоть на версту
аукай и направо и налево —
как яблоко в сгорающем саду
притягивает взгляд осенней Евы...**

◆◆◆

**Газета — во весь разворот...
Журнал...
Телевизор включу...
Вчера лишь: запретный плод,
сегодня: ешь — не хочу!**

**Читаю, смотрю... молчу.
Память спать не дает.
Сегодня: ешь — не хочу,
завтра: запретный плод...**

Время

1

Постигнув любовь,
равнодушие,
ненависть,
спустившись по трем раскаленным
ступеням,
на отмелях дальних душа твоя нежится,
лениво в прибое полощется пенном...
Все чаще фантастика да приключения —
укол наркоману пером тароватым —
тебе заменяют застолья вечерние,
объятья — не с другом,
братанье —
не с братом.
Уже не срывают
звонки телефонные
в побег торопливый с невидимой цепи —
за пять остановок
под крылья симфонии —
не то чтобы в тундру, тайгу или степи.
За пять остановок
на торжище
хлопотном,
для липнущих глаз — в одиночестве
тайном,
те крылья,
твоим опаленные холодом,
и гаснут до времени
и опадают...

2

Охладился: дело скверное!
Головой потряс: дурак!
Уж никто тебя, наверное,
не полюбит больше так...
Громыхнул трамвай — помедлила
сесть в распахнутый вагон.
Одиночество безмерное
всколыхнул колесный стон...
Подвалил троллейбус, выввездив
два фасеточных шара,—
под автобусную вывеску,
ежа плечи, перешла.
Сам сказал: «Дорога скатертью...»
И уже,
как под хмельком,
рыж и раж —
«Икарус» катится,
приставным юля задком.
Хрипло песенка беспечная,
и любовь суля, и фарт,
из открытых окон плещется
на зашарканный асфальт.
В голосах — желанье мужества,
притязанья на права...
Отсмеявшаяся музыка,
позабытые слова...

◆◆◆

— Узнаешь?..—
и, сомненья сметая,
рассмеялась в мембране стальной...
И такая
звезда золотая,
з о л о т а я
взошла над тобой.
Не найдешь однозначнее слова...
И какая же,
сам посуди,
из того твоего
золотого,
з о л о т о г о —
могла бы взойти?..

Леонид Соловьев, 1961 год

1

Незнатно хоронили Насреддина
под раннюю незвонкую капель...
Власть придержащим — славно
досадил он,
к сердцам
н е п р и д е р ж а щ и х
прикипел.
Любимый всенародно...
А народу
прийти пришло — всего-то ничего.
«Не суйся в воду, не разведав броду!» —
стреножило надежной бичевой...
Плечами пожимали мы в сомненье,
о смерти (слухи, слухи!..) говоря,
а что похоронить его сумеют —
не верили...
Не верили не зря!
Едва ремни, измазанные глиной,
могильщики смотали,
из теснин
сырых
над незасыпанной могилой
воздвигся он — огромный, словно джинн.
И постоял, не говоря ни слова,
закрыв глаза,
и, бросив гулкий ком
земли
на гроб казенный Соловьева,
ушел...
Ни с кем — ни взглядом,
ни кивком...

2

Заштатно хоронили Соловьева
на Красненьком — налево, как войдешь.
Прощальное заслушивали слово
в обнимку —
с полуправдой полуложь.
Под липою с развенчанной кроной —
полдюжины писателей седых,
запыхавшейся дамы похоронной
вуалька неизменная меж них...
О чем, томясь, писатели молчали?
Галопом жизнь...
Казалось,
не вчера ли
по оттепели — мрачен и суров —
вернулся *он* из царства мертвецов,
куда — по взмаху трубки легендарной —
был выброшен с проспектов Ленинграда:
на корточках «погреться» у костра,—
казалось бы,
всего позавчера.
Галопом жизнь...
Возница непонятлив —
не выторгуешь роздыха в пути...
...Еще в молчанье стыд был
за собратьев:
на эту ли могилу не прийти?!
...С Востока задувало все свежее.
Писатели, подняв воротники,
натертые набычивали шеи,
шарфами прикрывали кадыки.
«Кончается, по всем приметам,
оттепель...» —
сказал один, скрывая «мандраже».
«*Ему* теперь...— другой заметил,—
он теперь...»
А мертвый знал,
что к о н ч и л а с ь
уже...

Элегия

Ты, желавшая звезд — на подвески,
а на бусы — планет, не стекла,
в жены, снохи, злодейки-невестки —
не известно кому —
отпылала.
В море этом житейском неверном,
где и н а м
т о л ь к о с н и т с я
п о к о й,
где волна за волною — по нервам,
и одна солонее другой,
ветры звездные — мне бесприветны,
мимо горсти алмазы летят,
беспризорно гуляют планеты,
и не мне принимать их парад...

◆◆◆

Жалеют нас отпрыски наши —
не явно,
но, взгляд отводя,
жалеют — на веру принявших,
любивших убийцу-вождя...
на вождиков — вроде нестрашных —
взиравших с надеждой слепых...
«крутым» шулерам проигравших
владения жизней своих.
Мы терпим... Куда тяжелее
свое осознанье и суд!
Мы отпрысков наших жалеем
в дыму откровенных минут:
коль верить всему, что с трибуны
сегодня сулят не шутя,
их ждет испытание
будним
достатком жратвы и шмотья.
Но было бы дело лишь в этом!..
По логике в ы с ш и х идей —
их ждет испытание Светом,
и нет испытанья трудней.
Нас в молодости — миновало,
на старости — ась, пронесет!
И, взгляд отводя,
мы устало
потомству киваем: вперед!..

Николай
ИВАНОВСКИЙ

ДАЛЬШЕ СОЛНЦА НЕ УГОНЯТ

Повесть

Теплым июльским утром, когда зеки спешили на развод по звону рельсы, голая Любка раскачивающейся походкой шла к вахте, выставляя напоказ покатые бедра, скрестив руки на груди так, что большие коричневые соски стояли торчком. От них расползались синие татуировки-звездочки. Возле Любки, то забегая вперед и заглядывая ей в лицо, то отставая, испуганно шнырял старший надзиратель Кочка.

— Вот те на! Попалась все-таки! — крикнули из колонны.

Молодые парни из бригады скреперистов смотрели на Любку с пронзительным любопытством, пожилые откатчики отворачивались, и кто-то из них даже сплюнул себе в ноги: «Срамота-то какая!» — и все же провел оценивающим взглядом по женской груди и бедрам.

А когда Любка прошла мимо бригады у́рок, ей крикнули вслед:

— Что, шалашовка, фраерам подмахивать стала?

Она резко обернулась и с усмешкой, нараспев, грудным голосом протянула:

— Не бойся-я, не изо-о-трется-я-я!..

Взрыв хохота потряс колонну.

И Сенька Кудрявый (Любка узнала его по голосу), взмахнув в ее сторону кулаком, прошипел:

— Ну, погоди, сука!

Уже на крыльце вахты Любка вновь повернулась к колонне и, откинув рукой длинную прядь русых волос за плечи и притоптывая ногой в такт словам, чуть ли не пропела:

— Одна-а-а пого-о-о-дила, в роддо-о-м угоди-и-ила-а!...

И снова хохот и свист оглушил колонну.

В бригаду бурильщиков, стоявших последними в колонне, пригнувшись и озираясь по сторонам, на ходу пытаясь одной рукой попасть в рукав шахтерской куртки, другой — придерживая концы не застегнутого ремня на брюках, бежал Степка Фитиль.

Длинный и тощий, с обмороженными щеками, на которых даже летом не проходили бурые пятна, Степка пришел этапом на рудник глубокой осенью из штрафной зоны, где пролежал пластом несколько месяцев в больничке.

У вахтенных ворот,— когда их пригнали, человек двадцать, изможденных и оборванных,— старший надзиратель Кочка спросил у начальника конвоя, заглядывая в Степкино «личное дело».

— А это что за дылда?

— Фитиль! Дунь — и упадет! В больнице «дуба» давал... а вишь, выжил! — оскалился рослый начальник конвоя.

— А ну, жми в пятый барак, до дохтура кантуйся! Да сиди там, а то по кочкам понесу! — сказал, мелко смеясь, Степке Кочка.

Степка торопливо шагнул к открытым воротам, но поношенные брезентовые ботинки на шинных подошвах разъехались в стороны, и он, пытаясь удержаться на ногах, взмахнул беспомощно длинными руками, не удержался и плюхнулся тощим задом в грязь. К нему подскочил Кочка, схватил двумя руками за воротник бушлата, помогая подняться, дернул на себя — воротник треснул,— и надзиратель оказался тоже в грязи на заднице.

ИВАНОВСКИЙ Николай Николаевич родился в 1928 году в г. Белозерске Вологодской области. С 1956 года публикует в ленинградских газетах, альманахах, журналах стихи и прозу. Автор книги рассказов «Не скосить нас саблей острой». Член СП. Живет в Ленинграде.

Конвойные, запрокинув головы, ржали. Начальник конвоя, надув толстые щеки, аж присел, схватился за живот и так загоготал, что стоящие за его спиной зеки невольно прижались друг к другу.

Рассвирепевший Кочка вскочил, ткнул Степку сапогом в бок, ахнул, взглянув на свою новую шинель, схватился за подол и, сделав «свиное ухо», стал размахивать им перед Степкиным носом, визгливо приговаривая: «Ах, ты, гад пархатый! Новую шинель... получай за это!» — и несколько раз подряд провел грязным краем подола по Степкиному лицу.

Степка отворачивался, смахивал грязь с лица рукавом бушлата, но только больше размазывал ее, отплевывался и глупо улыбался, не понимая, в чем дело.

Теперь уже кто-то хихикнул среди зеков...

— А это еще кто? — прикрикнул начальник конвоя на зеков, поправив на своей шинели ремень с кобурой. Зеки опустили головы.

Кое-как Степка все же встал и, пошатываясь, пошел за ворота.

— Стой! Приклада захотел! — пригрозил ему начальник конвоя, как бы сочувствуя надзирателю Кочке. Степка встал истуканом.

— Рябов! — выкрикнул следующего этапника Кочка, зло блеснув глазами в Степкину спину.

В пятом бараке у открытой буржуйки Степку разморило, и он заснул перед ней, сидя на полу, склонив голову в колени.

И снится Степке, как поднимается он по лестнице с вязанкой дров за спиной на шестой этаж, где в коммунальной квартире он по-прежнему живет со своей матерью в двенадцатиметровой комнате. Сбрасывает он вязанку к круглой печке, присаживается на корточки и обдирает бересту с нескольких березовых поленьев. Степка внимательно смотрит, как медленный огонек ползет по бересте, и, уловив слухом тихое потрескивание сухих дров, закрывает чугунную печную дверцу. Еще Степка приносит вязанку на кухню, сбрасывает у плиты, освобождая из-под дров вдвойне сложенную веревку, и уходит к себе в комнату, довольный тем, что коммунальная очередность соблюдена и теперь уже любой жилец может растопить плиту, готовить ужин.

Степка терпеливо ждет мать.

Она приходит с работы радостная, возбужденная: «Степушка, понимаешь, карточки-то отменили!» — говорит мать. И снятся Степке разноцветные квадратики-талончики, которые аккуратно ножницами отстригает у него в руках продавщица булочной на улице Некрасова.

Потом сидит Степка за столом, напротив матери, и уплетает рассыпчатую картошку, макая ее в подсолнечное масло с солью. В комнате пахнет жареным хлебом. Мать выбирает на сковородке более поджаристый ломтик, хрустит им, пьет чай. Зубы у матери белые, ровные, волосы чуть поседевшие, заколотые на затылке большим узлом.

То ли от случайной искры, то ли от сильного жара добела накалившейся буржуйки, но Степкина шапка задымилась, и, когда в барак вошли лысый, дородный доктор, а за ним плюгавый Кочка, один из этапников, который на кончике стальной проволоки обжаривал кусочек хлеба перед буржуйкой, толкнул Степку ногой в бок... Тот вскочил и сразу же встал в ряд этапников, выстроившихся вдоль барака, вытянув руки по швам.

В бараке послышались смешки, глухое покашливание, и тот же этапник уже локтем снова толкнул Степку в бок. Он завертел головой, ничего не понимая, и только тогда, когда к нему подошел доктор, ткнув Степку пухлым пальцем в плоский живот и улыбаясь, сказал: «Ну и фитиль же ты, братец!» — барак содрогнулся от хохота...

И правда, Степка в тот вечер по воображению зеков выглядел настоящим фитилем: тощим, с длинной шеей, на которой замерла голова с дымящейся на ней шапкой.

— Ну и фитиль! Ну и фитиль! — повизгивал рядом Кочка.

Вдруг что-то сообразив, он подскочил к Степке, прицелился, прищурив левый глаз, и ехидно спросил: «А шапки перед начальством надо снимать?»

Степка схватился за шапку, прижал к бедру, но тут же, взвыв от боли, взмахнул ею в воздухе; шапка, оставляя за собой искрящийся хвост, сделала

полукруг над головой Кочки и шлепнулась за его спиной. Степка сунул обожженные пальцы в рот.

— Отставить потеху! — сделал строгое лицо Кочка.— А ну, затопчи,— приказал он одному из доходяг и вопросительно глянул на доктора. Зеки притихли.

Степенный доктор потрогал Степкины мускулы на руках, неодобрительно покачал головой, заставил Степку открыть рот (не подвержен ли тот цинге), указательным пальцем надавил ему на глаза: «Не больно?» — спросил и обронил, подходя к следующему этапнику: «Этого чудака к дамам, воду таскать! Пусть откормится...»

На мужскую и женскую зоны лагерь разделяла колючая проволока. С вечера вдоль нее прохаживались двое дежурных нарядчиков с палками, чтобы на ночь никто из мужчин не прошмыгнул в женскую зону. К женщинам на ночь нарядчики если кого и пускали, то только урок, которых они побаивались, да и то за серьезные подачки.

Колонка находилась в мужской зоне, и утром, после развода, женщинам таскали воду к проволоке человек десять доходяг, прибывших этапом из штрафных лагерей.

Женскую бригаду по доставке воды в бараки и на кухню возглавляла Любка-шалашовка.

— Эй, Машка Копейка! — командовала она в то утро с крыльца столовки.— Забирай ведра и таскай воду на кухню. Возьми в помогайлы вон ту фраершу в красном платке! А ты, дура пучеглазая, чего стоишь? Таскай в пятый барак, да поживее, а не то в шахту загремишь... и так кантуешься сколько?

Любка перевела дыхание, вспомнила о своем Сеньке Кудрявом, который переметнулся к другой, и снова закричала на женщин:

— А ты, тетя Паша, возьми гермафродитку и с ней валяй в четвертый... а вы, ковырялки, чего рты разинули? На цырлах — в третий! Да чтоб у всех запас воды был, дурочки-придурочки,— уже мягче добавила Любка.— А баланду вчерашнюю всю доходягам, пусть лопают!

В первые дни, натаскав воды женщинам, Степка Фитиль пожирал баланды по полведра. Присаживаясь на корточки тут же у проволоки, он сначала пил жижу через край, потом запускал пятерню в ведро за гущей и жадно отправлял ее в рот, каждый раз с наслаждением облизывая пальцы. Если он замечал, что какая-нибудь женщина смотрит на него с жалостью, быстро поворачивался к ней спиной и вздрагивал, как щенок, при возгласе: «Да не торопись ты! Надо — еще от пуза принесем!». Обычно так говорила всем доходягам Машка Копейка, шарообразная, маленького роста, веснушчатая, с выколотой мушкой на левой щеке.

Но и этой еды Степке не хватало, и поправлялся он медленно. Кроме того, что он таскал воду к женской зоне (считая это основной работой), Степка крутился возле столовки в своей зоне: тоже таскал воду, уголь на кухню, топил плиты, мыл усердно вечерами котлы и всегда из столовки приносил к себе в барак что-нибудь съедобное. Ел Степка даже ночью. Чувство голода его никогда не покидало. Многие Степкины напарники уже были зачислены в бригады и работали в шахте, а он все еще выглядел доходягой, и лишь щеки его как-то неестественно пополнели, придавая лицу болезненный вид.

«В корень пошел!» — шутили над ним женщины. Особенно насмехалась Любка. Если женщины спрашивали Степку, так — для потехи ради: «Ну, когда женихом-то станешь?» — то Любка обязательно язвила: «У него еще женилка вниз головой висит».

Степка стыдился Любкиного бессовестного жаргона, стыдился своей худобы и что он такой: таскает воду за оставшуюся баланду. Иногда Любка даже злила его: «Тебя бы в штрафняк, не вертела бы так задницей»,— но сказать об этом ей у него бы язык не повернулся; дело в том, что она ему нравилась, особенно своей добротой, как ему казалось, а узнай Сенька Кудрявый про такие дерзкие слова, а Степка знал, что Любка крутила с ним, получил бы от него дрыном по шее.

И вдруг за какой-то месяц Степка поздоровел: щеки его провалились, но тело окрепло, мускулы рук и плеч округлились, в характере появились степенность и снисходительность.

Таская воду женщинам, он уже от них баланду не брал, а довольствовался кухней в своей зоне, где ему за усердную работу перепадало и мяса, и хлеба от поваров, те же, в свою очередь , хотели просить «хозяина», начальника лагеря, оставить Степку работягой при кухне.

Степка и приоделся: ходил в добротной телогрейке с пришитым меховым воротником от вольного пальто, в новых ватных брюках, в кирзовых сапогах. Все это он выменял за хлеб у вновь прибывших этапников с воли. Женщины, подавая ему пустые ведра, теперь уже не шутили с ним так, как раньше, а поглядывали на него с любопытством, загадочно улыбаясь. Машка Копейка прихорашивалась, вкрадчиво спрашивала о чем-нибудь незначительном, и только Любка вела себя с ним по-прежнему вызывающе, выискивая самые оскорбительные слова: «Что, отъелся на казенных харчах, придурком заделался?» — язвила она ему у проволоки. Степка хмуро отмалчивался, брал пустые ведра и уходил к колонке. Потом Любка присмирела, иногда, подменив Машку Копейку, сама подавала ведра и, нарочито позевывая, прикрыв варежкой рот, будто бы не выспалась, спрашивала равнодушно:

— Куда в шахту-то пойдешь?

— Куда пошлют.

— Иди в бурильщики. Там урок нет, чтоб за них вкалывать...

Степка топтался на месте, выжидая, когда доходяги разберут ведра и женщины деликатно отойдут в сторону, но, так и не сказав Любке ни слова, отворачивался и шел к колонке.

— Ты откуда сам-то? — брала Любка из Степкиных рук ведра, стараясь не расплескать воду.

— Я? Ленинградский.

— А-а-а,— тянула Любка, притворившись, будто не знала откуда Степка, хотя дня два назад слышала, как он то же самое говорил Машке Копейке.— Питерский, значит?

— Выходит.

— Выходит, выходит! — злилась Любка оттого, что разговор у них не получался, и тут же, меняя злое выражение лица на игривое, добавляла: — Я тоже питерская, но таких там не зекала!

Степка хотел что-то ласковое сказать Любке, но, безнадежно махнув рукой, пошел к скамейке недалеко от проволоки.

Степка решил написать Любке записку. Пусть, мол, прочтет, как он к ней относится, пусть знает, что Сенька Кудрявый хочет ее побить (хвастался в бараке за игрой в карты), потому что Любка обманывает его и вот уже с лета, как ни просит ее Сенька, не выходит в рабочую зону на рудник, а отирается у себя в лагере придурком, и что Нинку он уже бросил и, по Степкиному мнению, тоже души не чает в Любке.

Вечером в бараке Степка нашел огрызок карандаша, клочок чистой бумаги и, скрестив ноги, согнувшись в три погибели на нижних нарах под тусклым просветом лампочки, мучительно раздумывал, с чего же начать записку. Но кроме «Здравствуй, Люба!» ничего не придумал. Он смял в кулаке записку и подчинился собственному воображению: как бы он встретился с Любкой в Ленинграде, ему ведь всего-то осталось сидеть полтора года, а ей, говорят, и того меньше, как познакомил бы со своей матерью, а там будь что будет.

Утром Степка вскочил с нар, натянул на себя одежду и после завтрака уже первый стоял у проволоки, томительно ожидая появления женщин с ведрами. И когда с холма, на котором возвышалась женская столовка, цепочкой по скользкой ледяной тропинке они спускались к проволоке, Степка сразу заметил, что Любки среди них нет, потоптался на месте и пошел к скамейке, где уже сидели несколько доходяг, торопливо заглатывая дым от одной на всех цигарки с махрой. Ему предложили курнуть, но он отказался и тоже сел. Никогда Степке так не было грустно, как в то позднее зимнее утро.

Любка не появилась и на следующий день. За нее командовала женщинами Машка Копейка.

Лишь через неделю Степка набрался храбрости и спросил у Машки тихо, чтоб никто не слышал:

— Маш, а чего Люба не выходит?

Машка взорвалась:

— Дурак ты, Фитиль! Она тебя хочет, а ты с ней не калякаешь... Ноги протянула твоя Любка! Мигрень между ног!

Хотя рядом с ними никого уже не было, Степка болезненно морщился:

— Тише ты, тише!

— Тише, тише, в тишине только мыши...— с досадой перебила Машка.

— А что с ней?

— А вот слабо вечером в нашу зону нырнуть? Тогда и узнаешь, что с ней! — закончила Машка, увидев подходивших к проволоке доходяг и спускающихся по тропинке к ним навстречу женщин с пустыми ведрами.

Степка ошалело смотрел на Машку, туго соображал: как это нырнуть? Да нарядчики враз огреют палкой! А Сенька Кудрявый? Да он же его убьет! Такой оборот дела и Машкин жаргон огорошили Степку, он так и не понял, заболела ли Любка или еще что случилось.

Сенька Кудрявый изменил Любке. Застукала его Машка Копейка.

Как-то весной в женскую зону прибыл этап, где среди пожилых и среднего возраста женщин было несколько девчонок лет семнадцати, остриженных наголо и издали очень похожих на мальчишек — они стояли у вахты без платков. Среди них находилась и бойкая черноглазая Нинка.

Сразу никто из урок не обратил на Нинку внимания, но как только у нее отросли длинные черные волосы и она похорошела, Сенька Кудрявый не стал давать ей прохода: подкарауливал у главной штольни, в глиномеске, где чаще всего околачивался с другими урками, угрожал ей ножом, так, для пристрастки, и все-таки своего добился — охмурил Нинку. Сенька был красив лицом, кудряв, смугл и статен.

В тот день Любкина бригада лопатами и лебедкой очищала забой от руды, ссыпая ее в бункера. Машка же забежала (как она говорила Любке), в соседний забой «побрызгаться» и только подняла подол, как услышала Сенькин голос и другой — женский... Машка тут же притихла, накрыв подолом шахтерскую лампу.

Пока они там целовались да миловались, Машка крадучись выбралась из забоя на штрек, подкараулила, когда Сенька со своей «давалкой» выйдет на главную штольню, и заприметила Нинку. Сразу про них она Любке не сказала и только тогда, когда Сенька стал вести себя по-нахальному, да и Любка тоже стала подозревать за ним что-то неладное, взяла и выложила коротко: «Сенька другую е...!»

Любка не стала кричать матерно, угрожать, как другие воровки в таких случаях, мол, глаза выцарапаю, ночью волосы остригу, нет, она, встретив Нинку как-то в аккумуляторной, обронила снисходительно: «Дуреха ты полная! Сенька достукается: не работает, с ножом ходит, начальство на него зуб имеет, и скоро загремит в штрафняк... А о тебе и забудет. А на меня мужиков хватит!»

В шахте, посоветовавшись с Машкой Копейкой, Любка решила дать что-нибудь «на лапу» старшей нарядчице за то, чтобы не выходить в шахту, и уговорить ее оставить их в зоне дневальными по бараку и, конечно, Любку поставить бригадиршей по доставке воды из мужской зоны.

Подаренный когда-то Любке тем же Сенькой флакон духов «Кармен» решил дело.

Уже через несколько дней Любка говорила у проволоки Кудрявому, что между ними все завязано, она и раньше хотела с ним порвать, не люб он ей давно и пускай идет на все четыре стороны. Сенька оправдывался, врал, что ничего у него с Нинкой не было, а если узнает, кто сказал такую «парашу», он тому глотку перережет, упрашивал Любку снова вернуться в шахту, но та отказалась наотрез и, гордо вскинув голову, ушла. Сенька скрипнул зубами, подавил в себе бешенство, повернулся и тоже пошел к своему бараку.

Любка и Сенька Кудрявый знали друг друга с детства. Они вместе были эвакуированы по Ладоге из блокадного Ленинграда в Ярославскую область, жили в детдоме. А когда прорвали блокаду, их отправили обратно в Ленинград учиться в ФЗО на штукатуров.

В ФЗО на улице Рылеева, рядом с которой кишел Мальцевский рынок, приходили воришки-карманники переспать на свободных койках (комендант был «на крючке», не отказывался от воровских подачек, любил выпить), и они вели себя безнаказанно: тоже пили, прятали под матрацами ворованные вещи, заставляя более податливых фэзэошников продавать их на рынке.

Сенька первый спутался с воришками, стал «бегать по карманам», «ходить на скачки» — обворовывать квартиры, взламывать замки на магазинах и ларьках. Через год он прослыл мастаком своего дела среди воришек и стал ими верховодить под кличкой Кудрявый.

Любке нравилась их жизнь — свободная и независимая. Сенька дарил ей крепдешиновые платья, всякие безделушки, угощал вином и даже раз взял на дело...

Любка тоже продавала ворованные вещи на рынке, пока не попала под облаву и не очутилась на малолетке в тюрьме — «Крестах». Сенька также «сгорел», а раз им не было и шестнадцати, то сидели они на малолетке вместе, разумеется, в разных камерах, потом освободились, и началась их блатная жизнь по новой.

Жила Любка с Кудрявым у одной бандерши-спекулянтки, помогала ей продавать Сенькины ворованные вещи и снова угодила в тюрьму.

За ней следом сел и Сенька, хотя, когда их брали на блатхате, сумел выпрыгнуть со второго этажа во двор, куда мильтоны не догадались выставить своего человека. Сенька смылся проходными дворами...

Сел он на следующий день за грабеж, но, чтобы Любке дали сроку меньше, взял и ее дело на себя. Сеньку отправили этапом в Карелию, откуда он бежал, получил срок за побег и был отправлен на Крайний Север в наручниках...

Любка же освободилась через два года, но продолжала жить воровской жизнью и, как Сенька говорил, «пошла по рукам» — жила напропалую со многими ворами, которых знала еще при нем, те освобождались, вновь садились, но Любку это не огорчало. Часто по пьянке хвасталась своим подружкам, мол, гори все огнем, раз пошла по этой дорожке, терять уже нечего, и запевала надрывно: «Эх, пить будем, да и гулять будем...»

Последний раз Любка погорела на крупном деле — ювелирном магазине, и мильтоны застали ее на блатхате в дымину пьяную, спавшую на диване, положив себе под голову чью-то шапку, полную позолоченных колец и перстней... Двое воров отстреливались, ранили одного мильтона, были схвачены, и их всех вместе с Любкой, человек десять, затолкали в «воронок» и доставили в ДПЗ на Дворцовую площадь.

Через полгода Любку судили, дали пятерку лагерей, остальным на полную катушку. Таким образом и оказалась она здесь, на Севере.

Появилась Любка у проволоки с пустыми ведрами неожиданно, когда Степка уже не ждал ее и передавал Машке Копейке, что его зачислили в бригаду бурильщиков и завтра он идет работать в шахту. Очевидно, Машка передала эту новость Любке, и та вышла к проволоке до неузнаваемости накрашенная и напудренная, в белом пуховом платке, в узорчатом полушубке, в хромовых начищенных сапожках.

— Что, Степушка, вкалывать на «хозяина» пойдешь? — подняла она на него томные голубые глаза, нарочно часто хлопая накрашенными ресницами и выпячивая напомаженые в два слоя маленькие губы.— Я тож пойду, Сенька зовет... думаешь, пойти мне али нет?

— Экая стала! — только и проговорил Степка.

— Что, проклятый Фитиль, не нравлюсь? — высунула Любка к чему-то язык, зло засмеялась, бросила Степке в ноги пустые ведра, те, стукнувшись, звонко раскатились по сторонам. А она быстро пошла вверх по тропинке, остановилась и, сбросив варежки, тут же подхватила ладошками чистый снег и ожесточенно вытерла им лицо.

Со стороны столовки на тропинку выкатилась Машка Копейка, взглянула на размазанное Любкино лицо, всплеснула короткими, пухлыми руками и кинулась вниз к колючей проволоке, где топтался ошарашенный Степка.

— Ах ты, гнус несчастный! Любушка втюрилась в тебя, а ты даже с ней и не калякаешь! Сеньки, Сеньки боишься? — возбужденно говорила она.

— Как не хочу, да я...— Степка хотел рассказать Машке, как он писал Любке записку, так и не написал, как много дней и ночей думал о ней и что, конечно, он боится Сеньки, но Машка вдруг ни с того ни с сего закрыла лицо руками, заплакала и побежала догонять Любку.

Как ни просили повара начальника лагеря оставить Степку при себе на кухне работягой, «хозяин», как и предполагала Любка, за Степкин высокий рост и длинные руки зачислил его в бригаду бурильщиков. Это были парни в большинстве рослые, деревенского склада, истые работяги, попавшие в лагерь в послевоенное время, совершенно для себя неожиданно, кто за колоски с колхозного поля, кто за кило картошки, а кто по натуре размашистой и дикой за хулиганство.

Узнав о том, что Степка уже работает в шахте, Любка вечерами часто просила кого-нибудь из доходят вызвать его из барака. Но тот не приходил. Любка злилась, кричала на женщин, по несколько дней не выходила на работу, предоставив руководить разноской воды Машке Копейке и, наконец, решила снова проситься бригадиршей в шахту. Через неделю Любка и Машка вышли в рабочую зону.

В шахте Степка избегал Любку. Он стеснялся ее, особенно Любкиных подружек-воровок, к тому же и побаивался Сеньки Кудрявого. Тот тоже ходил в шахту, но нигде не работал, а вечно слонялся по забоям, штрекам, по управлению шахты и часто навещал Любку у центральной лебедки, где она руководила бригадой. С Кудрявым встречаться Любка отказалась наотрез. Степка же знал, что со временем в лагере все равно узнается о любой связи заключенных, и знал, что это каралось: кто-то из двоих отправлялся в другой лагерь и не дай бог в штрафной!

А штрафняк Степка помнил. Там он чуть не стал «тронутым», бессознательно шатаясь голодным по помойкам возле столовки, пока не попал в больничку как дистрофик. Помнил, как работал на стройке в самом городе, нелепо оказался в штрафняке только за то, что согласился из рабочей зоны пронести в валенке флакон одеколона одному уркагану по кличке Веревка. Это был квадратный сильный парень с тяжелой нижней челюстью и выпученными глазами. Прозвали его Веревкой за то, что он неоднократно вешался в тюремных карцерах сознательно на глазах у баландера, зная, что таким образом останется жив, но припугнет надзирателей и корпусного. И были случаи, что он карцерный срок не сидел до конца. Когда на вахте у Степки-фраера (так называли воры всех работяг), разбился в валенке флакон и надзиратели по запаху определили, у кого он находится, то устроили обыск всей колонне. Всех урок и фраеров, которым Веревка раздал флаконы с одеколоном, посадили в карцер, в том числе и бедного Степку.

За то, что у Степки разбился флакон и он был всему виной, в пересыльной тюрьме Степка здорово поплатился: Веревка до полусмерти избил его и весь месяц, пока он там сидел, заставлял таскать в уборную парашу, скручивать вату и катать ее до изнеможения на цементном полу дощечкой до тех пор, пока вата не задымится (спичек ни у кого не было), отбирал у Степки через день пайку, а о сахарном песке, что выдавали утром чайной ложечкой на хлеб, и говорить нечего — Веревка ссыпал его в свою пригоршню ото всех фраеров, приговаривая при этом, мол, у них от сладкого дела ж... быстро слипнутся. Степка просто таял на глазах.

В штрафняке Веревка оказался сукой. Один из честных воров признал его еще по свободе (по словам этого вора). Веревка заложил его и предал мусорам-тихарям, выгораживая себя от большого срока. Собрался воровской конфликт — «толковище», где под ножом Веревка сознался во всем и был в бараке задушен полотенцем пятью честными. Тот, который его признал, взял «дело» на себя, получил двадцать пять лет сроку и ушел этапом в центральную тюрьму.

Однажды Степка бурил в забое и под вечер, когда уже кончалась смена, нажимая изо всех сил на победит, сверлил последний шпур, вдруг кто-то потянул его за полу робы. Не прекращая работы, Степка оглянулся и узнал Машку Копейку. Та отчаянно размахивала руками, затыкала уши и жестами требовала выключить отбойный молоток.

Степка подчиниялся.

Оглохший и возбужденный, он сначала никак не мог понять, что ему в ухо кричит Машка. И только, когда машинально идя за ней, разобрал смысл слов: «Степушка, милый! Любушку завалило, бежим скорей!» — по-настоящему всхлипывала она и тянула его из забоя к штреку. Они побежали — круглая Машка впереди, придерживая на боку привязанный аккумулятор от шахтерской лампы, и сзади — Степка, согнувшись в три погибели, боясь стукнуться о низкий потолок забоя.

Любка лежала в каком-то старом, отработанном забое и тихо стонала, пытаясь будто бы освободиться от кусков породы, выложенных почему-то на ее ногах пирамидой...

Степка быстро расшвырял породу по сторонам и склонился над Любкиными ногами. Любка приподнялась, обхватила Степкину голову руками, притянула к себе и жадно прильнула к губам.

— Тюфяк ты, Степушка, тюфяк! — шептала Любка, целуя Степку.— А ты думал, и впрямь меня завалило? Да нету Машки, не оглядывайся, смылась! Что она, не пендрит, что ли? Да выключи ты лампу, дурачок...

Степка повиновался.

Они вышли на штрек, когда уже внизу, на центральной штольне, прогремел вагонетками последний электропоезд с рудой.

В тени штрека они стояли молча, выключив лампы. Степка гладил Любкины волосы, ощущая теплоту ее лица на своей груди в проеме расстегнутой рубахи.

— Ну, ладно,— отстранилась Любка,— я первая пойду, меня Машка у нормировщицы ждет...

— А ты еще позовешь меня? — тихо спросил Степка.

Любка зажгла лампу, осветила Степкино лицо, тот зажмурился, она потянулась, поцеловала Степку и выпалила единым духом:

— Завтра в кладовку приходи, на третьем штреке, недалеко от тебя... Я там буду. Все. Докалякались? Там Машка инструмент выдает... усек? — и, сделав над головой светящийся круг лампой, побежала вниз к центральной штольне.

Степке было легко. Он закурил махры, глубоко затянулся, подождал, пока свет Любкиной лампы не исчезнет внизу за поворотом штрека, затоптал окурок, неторопливо застегнул на груди рубаху, выключил лампу и, к чему-то присвистнув, побежал за Любкой.

Выйдя из шахты, он видел, как она и Машка Копейка вышли из аккумуляторной, направляясь к женской колонне.

Степка действительно работал в забое недалеко от кладовки. И каждое утро, как только Машка раздаст инструмент Любкиной бригаде, хоть на минуту, но забегал туда. Там его всегда поджидала Любка. Иногда, если скреперисты не очищали от руды полностью забой, а он сознательно делал для взрывников больше шпуров, чем полагалось по норме, то с утра, час или два, они находились в кладовке вместе. Тут уж Машка Копейка закрывала их снаружи на замок от лишних глаз, и они, расстелив на деревянном полу старые бушлаты, предавались любви, а порой, обнявшись, даже засыпали. Машка будила их в положенное время. Бывали у них и минуты задушевного разговора. Степка рассказывал Любке о себе, о матери — какая она у него хорошая да добрая. Мечтали о том, как через год освободятся, непременно поедут в Ленинград и там поженятся и будут всегда вместе, как говорят, до гробовой доски, а мать только и скажет: «Тебе, Степан, с ней жить, вместе помытарились — вместе и радуйтесь!». Рассказывал, как перед самой войной он поступил в ремеслуху, как в блокаду помогали они военным за городом рыть окопы, устанавливать надолбы, как гибли от голода ремесленники, и, не возьми его мать вновь домой, может быть, и он, Степка, отдал бы Богу душу. А после войны мать устроила его грузчиком в магазин, где сама работала кассиршей, и там ему взбрело в голову украсть вместе с одним подростком связку сарделек. Конечно, глупость и голод! Нет дуракам сразу бы съесть — и дело с концом, а то разделили

поровну, спрятали за пазуху, чтобы домой отнести, вот тут-то и влипли... А сколько было материнских слез, просьб перед директором, хождений в трест — ничего не помогло! Его остригли, посадили в следственную камеру. Потом его судили, дали полную катушку — пять лет по статье «госкража».

Любка в душе жалела Степку. Ей-то уж как положено, заслужила, попользовалась чужим добром, а он-то, фраер, за кило сарделек погорел и получил пятерку лагерей! За что, спрашивается? Она полюбила Степку с неведомой ей до сей поры страстью и властно настаивала даже на пятиминутных встречах. В ней вдруг проснулась та женщина, которой были уже безразличны все мужчины, кроме одного, почувствовала всем сердцем только в нем одном всю радость будущей семьи и большого счастья. Не раз говорила она Степке, чтоб он не беспокоился о ней: если сказала, то так и будет, всякую связь с блатными и здесь, и на воле она порвет, надоели они, и с нее хватит! Для них все бабы — суки, да и презирают они баб, так что, Степушка-Степан, Любка — баба битая и слов на ветер не бросает...

Весна на рудник пришла яркая, и Степка, выходя из шахты с ночной смены, всегда щурился, в каком-то душевном томлении глубоко вдыхал весенний чистый воздух и шел к аккумуляторной...

А только что в начале мая по руднику пронеслась сухая, колючая пурга, намела повсюду сугробов, и целый день несколько бригад, работающих всегда на поверхности, расчищали дороги.

И вот за какие-то три дня снег сполз с горы, обнажив породу, выброшенные из шахты старые гнилые стойки, шпалы, и, превратившись в сверкающие ручьи, ринулся вниз к бурлящим мутным канавам, через весь город, в тундру, в неизвестность...

И все же Сенька Кудрявый узнал о Любкиной связи.

Однажды утром он выследил Степку и, когда Машка Копейка, закрыв кладовку, ушла восвояси, ломиком сорвал замок и вместе со своими дружками ворвался к ним.

— А ну, рви отсюдова! — замахнулся на Любку ломиком Сенька.

Любка удержала ломик в Сенькиной руке, с вызовом, но сдержанно сказала:

— Что, меня захотел? А этого не видел! — и сунула ему под нос фигу.

Сенька выразительно посмотрел на дружков, те схватили Любку под руки и вытолкали на штрек, за дверь.

Любка бешено заколотила по ней кулаками.

Степка прижался к стене в углу кладовки, от страха его трясло.

Сенькины дружки выволокли его на середину кладовки, сбили с ног, и Кудрявый методично, с ожесточением стал бить Степку хромовыми сапогами в бока, приговаривая: «Вот тебе, падло! Ты знаешь, что она воровка? Ты знаешь, что она воровка? — и опять прицеливался сапогом под левый бок.— Не знаешь? Так знай!»

Степка извивался, сжимался в комок, прикрывая руками бока, голову, стонал и плакал.

Перестав бить, Кудрявый приставлял к Степкиной груди нож и делал жест свободной рукой, как бы намереваясь ударить нож по рукоятке:

— Будешь еще? — спрашивал он Степку.— А то ведь возьму — и вгоню...

Тот стокал, мотал головой, побледневший, с испариной на лбу.

— А ты знаешь, что тебе ее е... не положено? А ну, повтори!

— Не положено,— еле простонал Степка и стал мочиться.

— То-то же, падло! — удовлетворенно, со злостью сказал Кудрявый и, выпрямившись, пошел к двери. Выйдя из кладовки и даже не глянув на Любку, прошипел:

— Сейчас заходи, якшайся, а завтра — смотри: убью!

— На, на, убей! — рванула на своей груди кофту Любка.

— И... убью! — снова повторил Сенька и направился с дружками к центральной штольне.

— Вы — не воры! Вы — суки! — в отчаянии крикнула им вслед Любка и бросилась в кладовку.

Сенькины дружки было остановились, готовые рвануться за ней, но Кудрявый их удержал, сказал, усмехнувшись: «Ша, гаврики, придет время — под „хор“ пустим... никуда не денется!»

— Степушка, милый! — плакала Любка, уткнувшись в Степкину грудь.— Суки все, Степушка, суки! И все из-за меня: хотят, чтобы я им каждому подворачивала... Не выйдет!

— Иди, иди, Люба, а я сейчас встану, только отлежусь,— тихо постанывал Степка.

— Никуда я не пойду, Фитиль несчастный! — злилась Любка на свое бессилие чем-нибудь помочь ему.— Работа не медведь,— переходила она на дружелюбный тон,— ее можно и завтра посмотреть,— и снова припадала к Степкиной груди.

Прибежала Машка Копейка, поохала, повздыхала, обозвала Сеньку паразитом, кошкоедом и выкатилась из кладовки, пообещав Любке выцарапать ему глаза.

На следующий день Степка заболел. В барак приходил тот же доктор, принимавший Степку в лагерь. Выяснив, что у того вывихнута рука и на теле масса синяков, доктор все об этом рассказал оперуполномоченному.

Вечером того же дня усталый, седеющий человек вкрадчиво расспрашивал Степку в больничке, кто же его все-таки избил, и не скрывал своего удовлетворения, когда тот ему ни в чем не сознался.

Вероятно, оперу давно опостылели такие дела. Драки на руднике были не редкость. Он посочувствовал Степке, сказав, что, когда тот поправится, пусть зайдет к нему в «домик», а он в свою очередь обязательно дознается, кто его избил, и накажет виновных. И было ясно, что все это говорилось для красного словца.

Степка провалялся в больничке всю весну, получал от Любки трогательные и нежные записки, искренние уверения в том, что она не имеет ни с кем дела по бабьей части, Сеньку ненавидит и его избегает, обходит стороной и ждет не дождется, когда ее Степушка выпишется из больнички. Кроме записок и свертков с едой однажды Любка с дежурным санитаром передала ему в бутылочке из-под одеколона и спирту; очевидно, достала за деньги у вольнонаемных и пронесла в зону.

В течение месяца Степка душевно мучился, на Любкины записки не отвечал, но однажды, выпив спирт с дежурным санитаром у него в каморке, вдруг написал ей целое послание, что и он без нее жить не может и любит ее всей душой, но что им пока встречаться не следует, так как Сенька Кудрявый им прохода не даст, а лучше уж дождаться освобождения, ведь и осталось-то не так много, меньше года, он об этом и матери написал, пусть знает и о ней тоже, чего скрывать: кто-кто, а она-то его поймет. А что касается избиения его, то вовсе и не трус он, и, если бы пришлось с Сенькой драться один на один на кулаках, посмотрела бы, чья взяла. Уж получил бы он, змей полосатый, по заслугам, а с ножом да с дружками любому можно шею свернуть... сама же видела. Закончил Степка письмо почему-то двустишием из грустной песни — слышал в штрафняке. Там ее часто вечерами пели под гитару урки: «Черную розу — эмблему печали, при встрече последней тебе я принес...»

Степку выписали из больнички и дали освобождение от работы на три дня. От нечего делать он помогал дневальному добела мыть пол, с наслаждением отстукивал со швабры с резинкой грязную воду, сгоняя ее в сток у порога, таскал воду с колонки в питьевой бачок, мыл теплым чаем грязные алюминиевые ложки и миски. Потом Степка шатался по зоне, заходил в столовку к знакомым поварам, говорил с ними о лагерных пустяках, вымыл им котлы для ужина. Те его за это угостили лапшой с мясом и даже дали головку чеснока, вероятно, кто-то из них получил посылку.

Подходил Степка и к женской зоне, садился на ту же самую скамейку, где не раз поджидал по утрам Любку и женщин с пустыми ведрами. Сейчас воду таскали уже новые доходяги и принимали ведра у проволоки от них незнакомые Степке женщины.

И грустно становилось Степке:

«Ну, почему так получается? Сильный слабого бьет... и фамилии не спрашивает! Нет один на один на кулачках, кто кого? Нет, боятся, потому-то и собираются все урки вместе...»

О чем бы ни думал в тот день Степка, сидя на скамейке, перед ним все время стояла у проволоки Любка, прищурив смеющиеся голубые глаза. И в нем вдруг просыпалась злость на Сеньку Кудрявого, он сжимал кулаки, но, зная, что помощи ему в общем-то ждать не от кого, глушил в себе это чувство. Но в нем еще теплилась надежда, что, может, Кудрявому все это надоест и он отстанет от Любки, или, судя по разговорам в лагере, всех урок будто бы скоро отправят по другим лагпунктам, чтоб не мешали они на руднике работать настоящим работягам, и этой-то участи не избежать и Сеньке, вот тогда-то и можно будет встречаться с Любкой.

Через два дня, вечером, после отбоя, когда Степка уже засыпал, дав себе слово завтра на работе ни за что не встречаться с Любкой, его вдруг потревожил дневальный.

Выйдя в коридор и тихо закрыв за собой двери, Степка опешил: в коридоре при тусклой лампочке возле длинного умывальника, подобрав под кепку волосы и нахлобучив ее на глаза, в пиджаке и брюках стояла, улыбаясь, Любка.

Оказывается, после работы, как и в прошлый раз, Любка и Машка Копейка решили передать Степке флакон со спиртом, а оставшийся в бутылке допить самим и угостить знакомого нарядчика. Узнав о том, что Степка два дня как выписался из больнички, подвыпившие женщины уговорили нарядчика, чтоб тот после отбоя отошел от лаза подальше, а тем временем Любка незаметно проскользнет в мужскую зону и в четыре-пять утра, еще до развода, вернется обратно.

Переодевшись в мужскую одежду и захватив с собой флакон со спиртом, Любка так и сделала.

Дневальный, конопатый шустрый паренек, быстро открыл сушилку и впустил туда Любку. Сушилка, маленькая комната, где осенью и зимой всегда топилась печь для просушки зековских бушлатов, роб, валенок, ватников, сейчас пустовала. Степка бесшумно перетащил в сушилку свой матрац, подушку, одеяло. Дневальный, по Любкиной просьбе, живо принес ей кружку воды и пообещал Степке разбудить их на рассвете до подъема лагеря.

— Степушка, милый,— шептала Любка,— я так тебя хотела, сил не было... а ты, что же на записки не отвечал? Иль разлюбил?

Степка молчал. Он гладил Любкины шелковистые волосы, покатые полные плечи, прижав ее голову к своей груди. Думал он о том, что вот бы всю жизнь с ней так и простоял, и больше ему ничего не надо. Степка был счастлив.

Погасив свет и устроившись на полу, наслаждались они любовью неистово, торопливо, ненасытно целуясь и до боли прижимаясь друг к другу. Любка неоднократно ночью просила Степку выходить в коридор с кружкой за холодной водой, жадно пила и снова обнимала его. Под утро они уснули.

Перед рассветом старший надзиратель Кочка в свое дежурство имел привычку бесшумно ходить по баракам и заглядывать в сушилки. Зная, что спать зекам с женщинами всего удобнее в них, он всем дневальным приказал внутри сушилок посрывать крючки и нет-нет, да и обнаруживал там спящие пары. Заглянув в сушилку, где обнявшись спали Степка с Любкой, и узнав ее, он подкрался к Любкиной одежде, сграбастал ее вместе с лифчиком и, тихо прикрыв двери, вышел.

У надзирателя Кочки было хорошее настроение, и он соизволил пошутить. Разбудив конопатого дневального, Кочка сунул ему Любкину одежду, приказал спрятать ее, потряс перед носом его единственным ключом от сушилки, вернулся в коридор, закрыл ее, и, хихикая, от удовольствия потирая руки, послал дневального за завтраком для бурильщиков. Кочке не терпелось разыграть шутку.

Первой проснулась Любка, услышав в коридоре позвякивание умывальника, плеск воды и разговор работяг между собой:

— Чего это Кочка к нам пожаловал?

— А бог его знает!

— Чего-то вынюхивает...

Любка машинально протянула руку к одежде и тут же вскочила, растерянно посмотрела по сторонам, убедившись, что ее нигде нет, тихо подошла к двери, нагнулась к скважине и увидела на крыльце барака Кочку.

— Разнюхал все-таки! — со злостью сказала Любка и, убедившись, что дверь закрыта, снова села на матрац.

— Кто? Что? — вскочил ошалелый Степка, придерживая руками кальсоны.

— Да не бойся ты! Я ведь засыпалась... мне и влепят карцер.

— Да не боюсь я,— недовольно пробурчал Степка, снова опускаясь на матрац. Но Степка испугался, это было видно по его побледневшему лицу.

— Нас и закрыли-то, как в карцере,— злорадствовала Любка и тут же, ласкаясь к нему, упрашивала: — Давай, Степушка, выпьем? Все равно пропадает ни за грош собачий!

Степка затряс головой, отстранил кружку с разведенным спиртом и уныло сказал:

— Пей сама, мне что-то не хочется...— и накрыл сидящую перед ним голую Любку байковым одеялом по грудь.

Любка большими глотками выпила разведенный спирт, слегка прижала рот рукой и, выдохнув: «Ну и зараза!», бросила кружку через плечо в угол за самодельные пустые вешалки.

— Тише ты! — укоризненно посмотрел на нее Степка.

— Эх, Степа, Степа! Ж... ты, а не Степа! Ну что, мы убили кого? Зарезали? Ну, дадут мне десять суток, а дальше что?

— Ну, тише ты,— снова упрашивал он Любку,— может, дневальный откроет.

— Дальше солнца не угонят, меньше «триста» не дадут! — говорила уже пьяненькая Любка назло Степке, стоя перед ним на коленях и положив ему руки на плечи.— Они завидуют нам, Степушка, и Кудрявый, и этот Кочка... все завидуют! Зато мы были вместе всю ночь! Ночь — да наша, а не их, понял?

— Понял, понял Любушка,— соглашался Степка, отводя лицо от Любкиных жарких поцелуев и отстраняя ее от себя. Степке было сейчас не до этого, на Любку он не злился, нет. Степка злился на себя, на те лагерные, нелепые обстоятельства, которые преследуют его по пятам вот уже четвертый год, с тех пор, как он получил срок.

«Опять загремлю в штрафняк!» — подумал Степка. Эта мысль ужаснула его, он вскочил, попросил Любку сойти с матраца, бросил на середину его подушку и стал быстро сворачивать матрац, бубня про себя:

— Куда же теперь его деть? Куда же теперь его деть?

Любка хохотала до слез и, вытирая их кулаком, снисходительно спрашивала:

— Ты что, Степушка, рехнулся? Может, в скважину просунем?

Степка плохо чего соображал и, вконец расстроенный случившимся, даже не заметил Любкиной шутки.

Кочка, дождавшись, когда на развод из барака уйдут все работяги, подозвал к себе конопатого дневального, достал из кармана галифе ключ и снова торжественно потряс им перед носом паренька, как бы хвастаясь, какой он, надзиратель Кочка, догадливый и предусмотрительный. Потом подкрался на цыпочках к сушилке, приложил к дверям ухо, прислушался, тихо вставил в скважину ключ и, быстро распахнув двери, выкрикнул:

— А ну, кто тут? Выходи!

На свернутом матраце в одних кальсонах сидел Степка, рядом, завернувшись одеялом до плеч, стояла пьяненькая Любка. Улыбаясь, она шагнула навстречу Кочке, поклонилась ему в пояс и нарочито растягивая слова, сказала:

— Здра-а-вствуйте-е, гражда-а-нин начальниче-е-ек!

— Что? — сделал свирепое лицо Кочка.

Как ни в чем не бывало Любка гордо вскинула голову и, проходя мимо надзирателя, полузакрыв глаза, пропела: «Ты начальничек, злой начальничек, отпусти до дому...»

— Стой! — опешил Кочка от такого неожиданного Любкиного поведения.— А белье? — подскочил он к ней.

Любка остановилась, озорно подмигнула ему и вкрадчиво шепнула Кочке:

— Миленький, возьми на память!

— Как на память? — не сообразил Кочка.

— Насовсем, родненький! — чмокнула она Кочку в лоб и вышла на крыльцо.

Кочка потер растерянно лоб рукой, стараясь вспомнить, что же он ей хотел еще сказать, глянул зло на еле сдерживающего смех паренька-дневального, выбежал на крыльцо и крикнул вслед Любке, идущей по дорожке от барака:

— А куды ж с одеялом-то пошла?

— На кудыкину гору — отдаваться вору...— обернувшись, выпалила она.

— Неси обратно, а не то по кочкам понесу!

— Неси, неси,— хохотала Любка.

— А ну-ка, давай живей белье! — приказал Кочка конопатому дневальному.

— А этого не хочешь? — распахнула одеяло Любка и сбросила его с себя на землю.— На, смотри,— крикнула она Кочке,— может, ослепнешь! — И пошла к вахте.

Может быть, Кочка не так реагировал бы на Любкину выходку, пойди она к любому бараку или в его сторону, но когда она, голая, зашагала к вахте, он от изумления приоткрыл рот, машинально взял из рук дневального Любкины вещи, скатился с крыльца, уронил на землю лифчик, подхватил его и кинулся догонять ее.

Степка тем временем прошмыгнул из сушилки к своим нарам, лихорадочно надел рубашку и брюки, схватил брезентовую шахтерскую куртку и окольными путями, скрываясь от Кочки между бараками, сломя голову помчался на развод.

Как и следовало ожидать, Любку посадили в карцер, а Сенька Кудрявый в тот день, когда она прошла мимо колонны голая, решил при первой же возможности пустить Любку «под хор», подкараулив ее со своими дружками где-нибудь одну, а еще лучше на глазах у этого фраера Степки, чтобы знал, паскуда, с кем имеет дело.

Степке же повезло: в карцер он тогда не угодил, хотя Кочка и узнал его, но у вахтенных ворот из бригады не вывел, очевидно, опасаясь, как бы Степка, чего доброго, не рассказал оперу о так неудачно разыгранной им шутке с Любкиным бельем.

Любка получила десять суток карцера и оттуда передала Степке с Машкой Копейкой письмо такого содержания: «Степушка, миленький! Не серчай, как вышью, так душа болит. Все думают: я — проститутка какая, а я тебя люблю, хоть ты и фраер неотесанный. Тут мне передали: Сенька Кудрявый грозится, так ты его обходи стороной. Машка тут по моей наколке купила у одного вольняги тебе бобочку шелковую, голубую — пригодится для освобождения. А потом и шкары достанем. Ох, Степушка, скорей бы на волюшку, грелась бы у тебя на груди, сколь душе угодно. И черт меня дернул выпить спирту! Все, с этим завязано! Я так тебя хотела, спасу не было. Целую тебя сто тысяч раз. Твоя Любушка».

Степка действительно однажды столкнулся с Кудрявым на главной штольне у глиномески. Тот стоял в дверях, курил. В косоворотке, подпоясанной тоненьким ремешком, в хромовых сапогах, больше похожий на дореволюционного приказчика, чем на лагерного урку.

— Ну, как, фраер, дела? Топай-ка сюда! Или боишься?

— Чего мне бояться? — тихо сказал Степка и неторопливо подошел к Кудрявому.

— Шалашовка у тебя была?

Степка молчал.

— Знаю, у тебя! — глубоко затянулся махрой Кудрявый.— Так что будем делать? Может, узел на голове завяжем? Задерем юбку... и завяжем... а туда бутылку вставим! Жаль шишек нет... тут не растут — не лесоповал! — говорил тягуче Сенька Кудрявый, явно наслаждаясь Степкиным молчанием. «Значит, боится,— подумал Сенька,— подожди, еще не то будет!» Конечно, он не имеет права говорить этому фраеру о воровских законах, но припугнуть надо, пока не отомстит шалашовке по всем правилам. Ну, с вором бы схлестнулась, другое дело, но воровка подцепила фраера, да еще в неволе, где они необходимы им, ворам. Нет, такое никто бы из них этой поганке не простил! Да и после Любкиной выходки на вахте перед всей колонной воры к нему стали относиться иначе, пренебрежительно, и один из них, как-то играя с ним в карты, заявил с усмешкой, мол, будешь ее под хор пускать, так ставлю карточку, чтобы быть первым, и выбрал для подсечки червонную даму. Это для Сеньки уже было оскорблением, и чуть он с ним не подрался, да воры их разняли, по дали Сеньке намек: раз шалашовка спуталась с фраером, «приземлить» ее и больше воровкой не считать...

Так думал Кудрявый, пристально разглядывая Степку, пока тот топтался на месте. Наконец Сенька бросил окурок на землю, прижал сапогом и снова повторил:

— Ну, что будем делать? — и, не дождавшись от Степки ни слова, с угрозой в голосе сказал: — Мы еще встретимся! — резко повернулся и пошел в глиномеску. Как ненавидел его в тот момент Степка!

Любка отсидела десять суток карцера и вышла на работу.

Боясь Сеньки Кудрявого и лагерного начальства, которое могло бы их все-таки разлучить за связь, разбросав по разным лагпунктам, Степка и Любка стали при встречах осторожными, на людях виду не подавали, что знают друг друга, скрывали свои чувства, как могли, лишь бы дождаться конца срока и освободиться вместе.

После карцера Любка как-то присмирела, при встречах со Степкой была тиха и нежна, что-то в душе у нее происходило чисто женское, загадочное, недоступное для Степки... И от этого она все больше нравилась ему. Встречались они в одном отработанном забое, куда редко кто заходил. Обычно к Степке прибегала Машка Копейка и, получив от него утвердительный ответ, сообщала своей подруге.

В тот самый, казалось бы, счастливый для них день, часа за два до конца смены, они лежали в заброшенном забое на расстеленных на досках ватниках, тихо разговаривали, пока снова не наступало желание обниматься...

— Степушка,— шептала Любка,— а ты знаешь, что я от тебя заимела?

— Чего заимела?

— Чего, чего,— сердилась Любка,— не сифилис же! Ребенка, говорю, заимела...

Степка осыпал ее поцелуями, обещал написать письмо матери, так как она освобождается на два месяца раньше, чтоб не ждала его здесь, а сразу же ехала к ней, что живет он недалеко от Московского вокзала, да и что он ей говорит, она и сама знает город не хуже его. А когда и он приедет, то и на работу поступят вместе куда-нибудь на завод, она по женской какой профессии, а он — слесарем, не зря же учился в ремеслухе.

— А кого ты хочешь? — спрашивала вкрадчиво Любка.— Сына или дочку?

— Сы-ы-на-а,— тянул Степка,— только на тебя похожего, страсть, как хочу,— и снова целовал Любку.

— Да ладно,— довольная ответом, посмеивалась Любка,— будет тебе! Ты договорился со взрывником-то?

— А как же,— хвалился Степка,— вечером за него останусь, а он только со своей бригадой выйдет — и тут же с моей уйдет... свой парень! А ты?

— Машка тоже замену сделает, деваха битая, знает, что к чему...

Так разговаривали они вполголоса, решив остаться в шахте, а в двенадцать ночи выйти из рабочей зоны с чужими бригадами.

А в то время, пока Степка с Любкой целовались да миловались в забое, Сенька Кудрявый, только что распив с урками бутылку питьевого спирта

в глиномеске, сел с одним из них играть в карты, как вдруг, запыхавшись, вбежал к ним Сенькин «шестерка», по кличке Барбос.

— Ну-у? — встал из-за стола Кудрявый.

— Они на северной стороне в забое... я за лебедкой подъемной сижу, зекаю, идут... я — за ними,— скороговорил Барбос,— фраер-то все оглядывался, светил лампой назад...

— Пошли! — сказал уркам Кудрявый, бросив на стол карты.

Барбос, маленький худой парнишка с бесцветными глазами и одутловатым болезненным лицом, неоднократно битый работягами за воровство, часто сидевший в карцере за невыходы на работу, наконец-то пристроившийся шестеркой к Кудрявому, то есть исполнявший днем и ночью его приказы, сейчас шел впереди и показывал Сеньке и его дружкам дорогу.

Барбосом же пацана прозвал сам Сенька по такому случаю: однажды у одного Сенькиного дружка, болевшего туберкулезом, на легких открылась каверна, центральная же больница для зеков в городе была переполнена, и он лежал в лагерной больничке. Узнав о том, что от туберкулеза помогает собачий жир, Кудрявый каким-то образом достал годовалого щенка неопределенной породы и ночью, под большим секретом, чтобы не нагрянула вохра, зарезал его в глиномеске. Утром же, конечно, при содействии своих дружков, натопил несколько бутылок собачьего жира, а мясо сварил отдельно, перед этим заставив Барбоса тщательно промыть средний котел из-под глины.

Тогда Сенька уже добился черноволосой Нинки и, когда мясо сварилось, приказал Барбосу позвать ее вместе с подружками на спирт «под баранину».

Все уплетали мясо с аппетитом, особенно урки, чавкая и обсасывая пальцы. Пока это варево с жадностью поглощалось, Барбос, по приказанию Кудрявого, несколько раз вставал на корточки перед дверью и, заглядывая в глиномеску, тявкал, изображая собаку.

Нинку и ее подружек затошнило. Они догадались, что их накормили собачатиной, и повыскакивали из глиномески, зажав рты руками, чем вызвали огромное удовольствие урок, загоготавших им вслед. Больше всех ржал Кудрявый, держа в руке обглоданную собачью ляжку.

Лагерный воришка и шестерка получил от Кудрявого за эту собачью «работу» кусок «баранины» и кличку Барбос. Ему-то и поручил Кудрявый выследить, где встречаются Любка и Степка.

— Тише, здесь! — прошептал Барбос уркам и Кудрявому.

Они подошли к забою.

— Я первый,— остановил своих дружков Сенька,— вы потом,— и включил шахтерскую лампу.— Тебе тоже достанется,— оскалился Кудрявый, похлопав по плечу Барбоса,— я свистну! — И пригнувшись, осторожно полез в узкий проход забоя.

Машка Копейка сидела в будке у нормировщицы на главной штольне. Помня о Любкиной просьбе заменить ее в бригаде какой-нибудь женщиной из вечерней смены, чтобы остаться в шахте со Степкой, Машка, дождавшись знакомой бригадирши, их общей подружки, болтая с нормировщицей о разных лагерных пустяках, вдруг увидела в окно проходивших мимо будки Сеньку с дружками. Машка, почувствовав недоброе, выскочила из будки и, крадучись, пошла следом за ними по главной штольне.

Осторожно прокравшись в глубь забоя, Сенька Кудрявый прислушался к легкому посапыванию...

«Здесь,— подумал злорадно Сенька,— спят, падлы!» — включил лампу и направил свет на спящих.

— Что надо? Что надо? — привстал первый Степка, заслонив глаза рукой от яркого света.

— Не тебя-я-я,— протянул Кудрявый,— ты нам и на х... не нужен! Вот она нужна!

Степка вскочил и отпрянул к стене забоя.

— А ну, сгинь отсюда! — провел лучом лампы за ним Кудрявый.— Да так, чтоб хвост трубой!

— Ты что, Степушка,— потянулась в темноте Любка,— побрызгаться захотел?

— Проснулась, сучка? — перевел луч лампы на Любку Кудрявый и подскочил к ней.

— Убери лампу,— привстав, равнодушно сказала Любка, поправляя рукой растрепанные волосы.— Что ты, как сексот, выслеживаешь? Может, оперу донесешь?

— Ах ты, сучка! — взорвался Сенька и что есть силы ударил сапогом Любку в бок. Та от неожиданности охнула, схватилась руками за бок, хотела подняться, но взбесившийся Сенька не давал ей встать, бил попеременно то левой, то правой ногой, повторяя со злостью: — На, сука, на!

— Ой, сволочь! Ой, гад! — стонала Любка после каждого Сенькиного удара.

Опомнившись, Степка сначала хватал Кудрявого за руки, стараясь оттащить его от Любки, но вдруг пронзившая его сознание мысль о том, что она беременна, заставила Степку с силой оттолкнуть от нее Кудрявого. Тот полетел с ног, мгновенно вскочил, матерно выругался и, нагнувшись, протянул руки к сапогу.

— Степ, берегись, нож! — простонала Любка.

Степка снова отпрянул к стене забоя. Кудрявый осветил Степку лампой, перешагнул Любку и пошел на него с ножом.

Любка схватила сзади Сеньку за ноги:

— Не трогай его, гад ползучий, не трогай! — умоляла она, ругаясь и плача.

Испугавшись ножа, Степка быстро присел на корточки, лихорадочно шаря руками вокруг себя, нащупал кусок породы и до боли сжал его в правой руке. Сенька оттолкнул от себя Любку и, повернувшись к ней, только и успел сказать: «Отстань, су...» Брошенный Степкой острый камень попал Кудрявому прямо в висок. Сенька, выронив нож, как-то неестественно схватился руками за голову, будто желая ее себе свернуть, припал на подкосившуюся правую ногу и рухнул рядом с Любкой.

— Вот зараза! Бежим, Степушка, бежим! — охая и причитая, поднялась она при помощи Степки. Еще больший испуг овладел ею, когда они попытались растормошить Сеньку, голова которого от этого безжизненно заболталась из стороны в сторону.

— Уби-и-ил! — прошептала Любка и, уже боясь и волнуясь за Степку, схватила его крепче за руку.— Бежим, бежим! — тянула она Степку вниз, к проему забоя.— Да очнись же ты, Фитиль несчастный! Вот тебе и свободка! — злилась Любка.— Ну что ты идешь, как пыльным мешком трахнутый!

Степка, действительно, себя не помнил.

— Стой! — вдруг остановилась Любка. Она быстро взбежала к месту, где они лежали, сдернула с досок две телогрейки, подхватила Сенькин нож, валявшийся у него в ногах, и так же поспешно спустилась обратно.

Степка сидел на куске породы и тяжело дышал.

— Пошли, пошли! — схватила Любка снова его за руку.

Внизу, метрах в ста от них, у проема забоя замелькали одна за другой несколько шахтерских ламп...

— Погаси лампу! — прошипела Любка, крепко сжав Степкину руку.

— Сенька-а-а! Кудря-я-вый! — крикнули снизу.

— Они-и! — чуть слышно сказала Любка, узнав по голосу Сенькиных дружков.

— Кто они? — смутно догадываясь, о чем говорит Любка, тихо спросил ее Степка.

— Не слышишь, что ли?

— Слышу.

— На, держи нож! Может, и отвалят...

— Жди! — возразил хмуро Степка, взяв нож.— Ты что, их не знаешь, гадов?

— Знаю, знаю, Степушка, ты только не дрейфь, может, и не тронут.

— Пусть только тронут! — твердо сказал Степка. Чувство самосохранения, боязнь за Любку, несколько лет кипевшая в Степкиной душе обида, ненависть к ворам вдруг пробудили в нем готовность сделать что-то совер-

шенно ужасное, отчаянное, а там будь что будет...— Пусть только тронут! — повторил Степка.— Все равно еще срок намотают!..

Любка тихо всхлипывала. Это всего больше ожесточило Степку.

Первым их осветил лампой Барбос. Степка прикрыл Любку спиной.

— Прячется,— хихикнул мерзко Барбос, повернувшись к уркам.

— А кричала тогда у вахты «не изотрется»...— смеясь, сказал один из них и направился к Степке и Любке. Он был белобрыс, поджар, как голодная крыса.

— Не подходи! — выдавил чуть слышно Степка.

— Чего-о? — удивился тот.— Может, и тебя заодно, а?

Урки загоготали разом.

— А что, братцы, подумаешь, фраера педиком сделаем,— продолжал смеясь Белобрысый,— да ведь зад больно тощий,— и тут же осекся, увидев в Степкиной руке нож.— Где Кудрявый? — спросил он сразу же другим тоном.

— Не знаю, где ваш Кудрявый!

Урки насторожились и ближе подступили к Степке, вытащив ножи.

— Наверху пьяный валяется, понял? — шепнула Любка ему.

— Наверху пьяный валяется,— сделав безразличный вид, но с дрожью в голосе сказал Степка.

Белобрысый повел острым носом вверх, в конец забоя, посветил туда лампой и недоверчиво покосился на Степку.

— Там, говоришь?

— А где ему быть-то,— не дожидаясь ответа Степки, вставила Любка,— покимарил рядом со мной и захрапел... а этого шуганул сюда, вниз,— кивнула она на Степку.

— А ну-ка, Барбос, слетай! — приказал Белобрысый.

Барбос и еще один урка метнулись в конец забоя, а Белобрысый с двумя другими Сенькиными дружками остались стеречь Степку и Любку.

— Все, кранты, Степ! — шепнула Любка.

— Ты сейчас беги вниз, а я их задержу здесь,— ответил тихо Степка, прицелившись глазом к острому куску породы...

— Убили-и-и! Убили-и-и! — донесся голос Барбоса, скатывающегося сверху забоя кубарем, осыпающего за собой мелкие куски породы.

Все это на несколько секунд отвлекло урок. Любка кинулась вниз, к проему забоя,— те же, опомнившись, рванулись за ней, но Степка с ножом в одной руке, с камнем в другой преградил им дорогу. Двое урок отпрянули, Белобрысый же остался на месте, хотя было видно, что и он струсил.

— Не подходи, убью! — процедил сквозь зубы Степка.

Внизу, у проема забоя, раздался выстрел, замелькали шахтерские лампы. Степка оглянулся.

Белобрысый в долю секунды подскочил к нему и снизу, как-то сбоку, пырнул ножом. Нож прошелся по Степкиному животу вскользь, продырявив шахтерскую куртку. Степка, выронив нож, тут же схватил Белобрысого за руку, пригнул его книзу и что есть силы ударил камнем по спине.

Тот упал.

Степка быстро подхватил с земли нож и снова замахнулся на одного из Сенькиных дружков, что стоял с ножом ближе всех к нему, но кто-то сзади схватил Степку за руку. Он резко обернулся и увидел строгое лицо начальника конвоя. Степка опустил руку.

Оказывается, Машка Копейка, увидев, как Сенька с дружками свернули с главной штольни на штрек, что вел к знакомому ей забою, поняла: беды не миновать — и опрометью кинулась назад, к будке нормировщицы. Там она позвонила в управление шахты, оттуда и вызвали отряд вохры. Машка привела его сюда, к забою.

Вохра отобрала ножи у всех урок и выгнала их на штрек, предварительно отделив от них Любку и Степку.

— Кудрявого потом заберем, это дело опергруппы,— сказал начальник конвоя своему помощнику,— но одного бойца оставь здесь в карауле. Пусть постоит. А теперь пошли! — скомандовал он.

Любка и Степка шли последними. Возле них крутилась Машка Копейка, ругала Степку:

— Что ж ты, фраер, раскололся? Сказал бы, что сам о камень грохнулся... бухой же был! А теперь дело заведут, как пить дать.

— Отстань ты, не до этого сейчас,— отрезала Любка.

Но Машка тараторила:

— Ишь, под хор хотел пустить... я так и подумала, когда увидела их рожи, на лбу было написано у паразитов! Не живется им здесь, баб не хватает.

Машка жалела Любку и Степку. Она впервые вдруг поняла, какое чувство настигло их здесь, в лагере, и что добром это не кончится. И Машка была права.

В карцере Степку посадили в одиночную камеру, урок же всех — в общую. Зная о том, что их все равно выпустят, ну дадут кому семь, кому десять суток с выходом на работу, урки, проходя мимо Степкиной камеры в уборную, крыли его матом, грозили убить, Белобрысый же умудрился воткнуть в пайку иголку, когда дневальный положил Степке хлеб на кормушку.

К воровским выходкам Степка относился равнодушно, и после всего случившегося единственное, что его волновало,— так это Любка. В тот день, когда его уводили из рабочей зоны, на вахте Любка не выдержала, кинулась к нему, обняла и закатила истерику. Вахтеры ее долго уговаривали успокоиться, потом оттащили и посадили на скамейку. Уходя, Степка видел, как она с растрепанными волосами, упав лицом на скамейку, изо всех сил била по ней кулаками, плача, выкрикивала: «Гады! Гады! Житья от них нет!» — и рвала на себе блузку.

Здесь, в карцере, лежа на нарах, Степка думал о ней с любовью и нежностью, он вспоминал, как познакомился с ней впервые у колючей проволоки, ее смех, привычки, себя, в ту пору жалкого и голодного, добродушную и бойкую Машку Копейку, все, все, что было связано с Любкой, вспоминал сурово и отчетливо. Степка знал, что получит большой срок, и не ждал милости от судьбы, ибо мысленно уже прощался с Любкой.

За день перед отправкой в следственную тюрьму Степку навестил старший надзиратель Кочка. Поздно вечером, вероятно, в свое дежурство, он открыл кормушку и заглянул в камеру.

— Ну, что, милок, сидим? — сочувственно спросил он. Степка пожал плечами, мол, ничего не приходится делать, как сидеть.

— Зря ты связался с воровкой, они этого не любят,— стараясь завести разговор, добавил Кочка.

Степка молчал.

— Ты не отчаивайся, милок, всякое бывает,— продолжал Кочка,— вот у меня приятель пострадал тоже от них, когда я еще в тюрьме работал в Вятке, ну, в Кирове, значит. Купили его — и продали!

— Как это? — поинтересовался Степка.

— А так! Польстился на новенький костюм, принес им водки, жратвы, а им показалось мало. Стали прихватывать — неси еще! А откуда взять-то, сам на бобах сидел, вот и донесли. Дали за взятку пять лет.

— Суки, значит, были,— буркнул Степка.

— Кто их знает, суки или не суки, все они воры, только и всего.

— Это верно,— подтвердил Степка.

— Вот и я боялся, не дай бог, скажешь оперуполномоченному, как я над ней, над твоей, подшутил тогда... в сушилке. Так бы она, может, голая-то и не пошла! А?

— Да у меня и в мыслях не было,— добродушно улыбнулся Степка.

— Я, конечно, службу несу по всем правилам, с нами, видишь, я тебе говорил, тоже строго поступают. Одно скажу: баба она смелая, лихая, в общем. Послушай, а может, что написать ей хочешь, так я мигом и бумагу и карандаш?

— Надо бы,— подумав, ответил Степка,— конверт бы еще, матери написать.

— Сейчас поинтересуюсь в караулке,— обрадовался Кочка и деловито закрыл кормушку.

Степка писал с полчаса. Кочка взад-вперед расхаживал по коридорчику. Нет-нет и заглядывал в кормушку:

— Ты откуда сам-то?

— Из Ленинграда,— отрывался от письма Степка.

— Большой город. Не бывал,— покачивал головой Кочка. И снова вышагивал по коридорчику.— И в блокаду жил?

— Жил.

— Всю?

— Всю.

— Вот напасть-то! — искренно сокрушался Кочка.

Степка писал Любке, чтобы она больно-то не расстраивалась, берегла себя, о нем не беспокоилась, уж отсидит срок, какой дадут, здоровье есть, руки есть, и что теперь-то он знает, как за себя постоять, ни одному урке спуску не даст, понял, что чем больше пугают, тем меньше надо бояться их, и что посылает он с ней письмо к матери, где все описано, как нужно, лишь бы, освободившись, она ехала с ребенком в Ленинград и нигде не задерживалась, а будет он на каком другом лагпункте, то обязательно пришлет весточку. Кочка оказался дядькой вроде бы и неплохим, и беда только в том, что он, Степка, не может с ней как следует попрощаться, обнять и побыть хоть минутку, а уж там бы и трава не расти, будь что будет... «Только береги себя,— еще раз просил ее в конце письма Степка и закончил словами: — Вот и все. Целую».

Он лизнул языком конверты, притиснул их на нарах кулаком по очереди и передал в открытую кормушку надзирателю.

— А который с адресом — почтой? — спросил тот.

— Нет. Оба ей. Скоро освобождается, ребенок будет...

— Во-о-от оно что,— протянул Кочка,— чего же ты раньше не сказал, может быть, и свидание дали.

— Так уж вышло.

— А завтра до развода в шесть утра увезут, вот оказия,— посочувствовал Кочка.

— Я знаю, ничего не поделаешь,— нахмурился Степка.

Оба они еще с минуту молчали, Кочка повертел в руках ключ от кормушки, как бы извиняясь за то, что ему пришла пора уходить, потом сказал: «Ну, ладно, спи, а мне не привыкать, служба!» — и закрыл кормушку.

Степка облегченно вздохнул и полез на нары. Накрывшись шахтерской курткой, он еще долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок, приподнимался, закуривал махры, оставленной ему Кочкой, прислушивался к перекличке часовых на вышках и только под утро, раскинув в стороны длинные руки, захрапел так, словно на грудь его положили непосильную тяжесть и он смирился с нею.

Степке снились кошмары. Будто находится он в Ленинграде, один в комнате, и слышит звонок. Ну, думает, мать с работы вернулась, но почему же звонит, ведь ключ у нее есть? А это надзиратель Кочка стоит на лестничной площадке. С ним рядом Любка. Манит он Степку к себе и показывает рукой на пятерых Сенькиных дружков, сидящих на широком низком подоконнике, вплотную друг к другу. Ты, говорит, Степка, отдай им пять сарделек, что у тебя за пазухой, голодные они. А рядом и Любка поддакивает, мол, отдай, Степушка, от греха подальше, зарежут... Потом оказалось, что это и вовсе не Сенькины дружки, а умершие от голода в блокаду ремесленники с младшей группы. Как же зарежут, думает Степка, ведь они же мертвые, он же помнит — еще сам заворачивал их в черные суконные шинели и клал рядышком, легких, как младенцев, на самодельные сани, помогал дворнику. Потом вдруг Степка оказался на крыше своего дома и точил нож о кусок породы, пообещав тут же стоящему рядом Кочке разделить сардельки между ремесленниками поровну, и тогда они больше не умрут с голода, а он, Степка, и так проживет, пойдет к матери. Каким-то образом сардельки вдруг стали на Степкиных глазах превращаться в огромные стратостаты, и он, запрокинув голову, долго рассматривал их в небе и думал, ну почему их всего пять, а не больше? Было же много! Потом сообразил: что это его срок, его пять лет, которые он должен отсидеть до «звонка», и что у него впереди десять лет лагерей. И он увидел их, этих остальных десять стратостатов, разбросанных по ленинградскому блокадному небу, понял — «червонца» не миновать и, оттолкнув от себя Кочку, бросился вниз с крыши, истошно закричав на всю улицу: «Ма-а-а-ма-а!» Он летел и думал: вот сейчас будет удар об асфальт, и ноги его вопьются в плечи, и на всю жизнь он останется уродом, никому не нужным человеком, больше того — оставит за собой в жизни одни лишь переживания и горе близким людям. Два лица смещались в его сознании, заменяя одно другим: Любкино и материнское. Боль была мгновенной, будто разорвалось сердце. И сон предсказал явь!

Через восемь месяцев Любку перевели на другой лагпункт, где она родила мертвого ребенка. Освободившись и приехав в Ленинград, Любка снова окунулась в блатную жизнь.

Степка же был осужден на десять лет и тоже попал на другой лагпункт. Сколько ни ждал Степка писем от Любки или какой-нибудь весточки о ней, но так и не дождался...

В лагере Степка стал комендантом. Он преследовал воров разных мастей, нещадно бил их за невыходы на работу, за игру в карты, за любое нарушение лагерного режима.

Воры отомстили ему: проиграли в карты и зарезали.

С тех пор прошло двадцать с лишним лет.

Раз или два в месяц можно было видеть, как поздним вечером по лестнице старого дома на улице Чайковского, тяжело дыша, поднималась пьяная женщина. Добравшись до шестого этажа, она тут же, поджав ноги в стоптанных ботах, ложилась спать на широкий подоконник, подложив под голову старую, набитую разным тряпьем сумку. С головы женщины всегда сползал выцветший платок. Выбившиеся из-под него белесые волосы, большие, глубокие, широко расставленные глаза, тонкая белая шея и покатые плечи заставляли думать о былой красоте.

Говорили, что ее уже не брал ни один вытрезвитель и она неделями пропадала в психиатрической больнице, а потом вдруг появлялась снова на лестнице, пьяная, с изможденным лицом.

Проснувшись рано утром, она робко стучала в одну и ту же квартиру, где жила Степкина мать. Та всегда этой женщине выносила, по ее просьбе, кружку с водой и папиросу. Степкина мать давно курила. Какие-то смутные предчувствия о том, что женщина ходит к ней неспроста, у Степкиной матери были, но постепенно они прошли, сменившись только сочувствием и жалостью к падшей. Однажды, подавая кружку с водой, Степкина мать заметила на ее левой руке, возле большого пальца, татуировку. «Люба»,— прочла старушка и сразу как-то заволновалась и даже хотела о чем-то спросить, стараясь вспомнить — с чем связано для нее это знакомое имя, но так и не вспомнив, еще долго стояла, пристально глядя вслед уходящей по лестнице женщине.

Да, это была Любка. Степкина мать ее больше не видела.

Как-то, часов в десять вечера, к матери из психиатрической больницы пришла женщина-врач, принесла письмо. Конверт был распечатан и адрес на нем, написанный карандашом, едва можно было разобрать, но мать сразу узнала почерк сына. От мысли, что, может быть, сын ее жив, она, радостно блеснув глазами, быстро вытащила из конверта письмо, но с первых же строк поняв, что оно написано давно, почувствовала глубокое разочарование и дикую усталость. И Степкины черты лица, неясные, неопределенные, отодвинулись в ее памяти еще куда-то дальше, в глубь прошлого, к единственной фотографии, на которой двухлетний, улыбающийся Степка держался пухлыми ручками за спинку детской кроватки.

Вспомнив о том, что она держит врача в коридоре, и мысленно выругав себя за это, старушка пригласила женщину в комнату.

Они пили чай. Строгая, горбоносая и, вероятно, одинокая врачиха, не скрыв своей охоты посидеть со старушкой, не торопясь рассказала ей, как письмо нашли у Любови Федоровны за бюстгальтером и ей по профсоюзной линии больница рекомендовала пойти по этому адресу, так как у Любови Федоровны в городе никаких родственников не осталось — умерли в блокаду. В свою очередь, старушка рассказала, как Люба приходила к ней, и искренно сокрушалась о том, что если бы она знала, что это та женщина, о которой ей писал сын, да разве бы она могла ей в чем-нибудь отказать. О сыне же она получила извещение, когда его уже не было в живых, осенью пятьдесят третьего года, и то по многочисленным просьбам в Верховный суд, откуда ей и сообщили, что он погиб от рук воров-рецидивистов при исполнении служебных обязанностей.

В коридоре, прощаясь со старушкой, врачиха говорила ей сокрушенно, что если бы Любовь Федоровна не травилась люминалом, не пила бы, то осталась бы в живых, а так бывает часто, хоть не выпускай из больницы: держатся, держатся и все равно пьют снова, а после лечения пить чревато для организма, разрушается он...

«Разрушается»,— задумчиво повторила врачиха и тепло простилась со Степкиной матерью.

Когда-то высокая, теперь уже сутулая и поседевшая, Степкина мать присела снова за стол и стала рассеянно дочитывать письмо. Глаза ее безучастно скользили по бумаге, силясь с трудом одолеть слова и перенести их в сознание и так же понять, что они, эти слова, предназначены ей и больше никому. «Что же это за ребенок?» — сосредоточенно думала она, потом догадывалась, досадуя на Степку за то, что тот не мог сразу же сообщить ей об этом. Ведь писал же о Любе, значит, знал, чем все кончится, но тут же спохватывалась и начинала мысленно укорять ее за то, что не созналась ей, матери, начистоту, что она, не поняла бы? Поняла, поняла, конечно, теперь же — ищи-свищи, где его искать-то, ребенка, совершенно забыв о том, что если бы тот и остался жив, то ему бы давно минуло за двадцать...

Степка заканчивал письмо заверениями в том, что, несмотря ни на что, он скоро вернется, просил, чтобы мать не расстраивалась и не волновалась, так уж вышло: среди волков жить — по-волчьи выть, а там будь что будет, да и «дальше солнца не угонят» — как говорила ему Любка. В общем, целует он свою мать-матушку и обнимает ее крепко, крепко.

За последними Степкиными фразами старушка почувствовала вдруг какую-то обреченность для сына, уже тогда, когда он был еще живой, что-то непоправимое в его жизни... Она старалась вникнуть в его слова: «Дальше солнца не угонят...», но ничего не получалось — сознание охватывала усталость. Склонив седую голову на письмо, Степкина мать задремала.

На улицах громыхали последние трамваи. Над городом, над застывшей спокойной Невой сине-матовое чистое небо предвещало наступление белых ночей. Мир был прекрасен уже для других.

Елена ЕЛАГИНА

◆◆◆

От любимых мужчин мне детей никогда не хотелось,
Мне хватало любви — с ней возясь, будто с малым дитем,
Я растила ее, но она под ногами вертелась
И мешала им жить. И они уходили. Потом
Я лечила себя и дождем, и трудом, и стихами,
И влюблялась в дома, забывая любимых мужчин,
И рожала детей, и кормила их кашей с комками,
И корила себя. Хоть и не было, вроде, причин...

◆◆◆

О. Бешенковской

Невнятица словес и быстрый наговор,
Грамматики разлад — фальшивит пианино,
Но на таких как раз судьбе наперекор
Без слов играет джаз, когда душе пустынно.
Вот на таких, где сдвиг на звуке, на струне,
На клавише,— в зазор вмещается пространство
Судьбы, души, любви и счастливо вполне
И дышит, и живет в предощущеньи странствий...

Пока хрипит трубач, и пианист горазд
На трелях выжимать единственную ноту,
Пока трубит трубач, пока играет джаз,
Пока блестят лицо и лысина от пота,
И пузырится звук, вскипая на губах,
И рвется из-под рук, и стонет в новой гамме,
И стих, как этот джаз, с гармонией в ладах,
С капризами судьбы и с терпкими словами.

Вдоль канала Грибоедова

О, господи, эта свобода, свобода, свобода! —
Пускай ненадолго! — свободв идти вдоль канала,
И новая юбка — сезону бесстыдства в угоду,
И новые бусы, и вид необычный портала!

И очередь эта, затейная, в стиле барокко,
С помойными ведрами, вся в ожиданьи машины —
Вот жизни изнанка, простая, как око за око,
И взгляд откровенный стоящего с сыном мужчины.

Вот пиршество глазу! Вот где полукружья и дуги,
И оторопь темной воды, и дерев полусонных дрожанье
На ряби ее — так вот тема колеблется в фуге,
В бессчетных повторах свое совершая мужанье.

Все мне пригодится в стихах, все заменит собою
Любовь, материнство, семью... И тем паче работу.
Впадая в Фонтанку, канал призывает к отбою,
И пьяница тихий не в силах осмыслить икоту.

И наглая нищенка рьяно меня уверяет,
Что жизнь ей продлит мой двугривенный, поданный с чувством.
Ах, мост мой седьмой! Настигает меня, настигает
Иная свобода, чтоб было ей, тягостной, пусто!

Ностальгия

В этом утреннем кадре, Тарковским построенном точно
С чувством родины, с влажным туманом и с детством чужим,
Все ложится в строку, как Творца безыскусный подстрочник,—
Переводчик не нужен, и замысел непостижим.

Что за песню поет этот голос реликтовый, с кручи
Опускаясь туманом, сползая с овражьих высот?
Не натура — душа... Вот и нету тебя неминучей,
Ностальгия пейзажная, сколько б ни видел красот

Итальянских, французских, завидных и солнцем, и тенью,
Но по листьям малины зеркально проходит волна,
И не нужно уже объяснять своему отраженью,
Что иначе не мог. Что одна и беда, и вина.

◆◆◆

Нелюдимый мой город, распластанный в горизонталь,
Плоским брюхом своим на болоте лежащий три века.
С облысевшим хребтом ты по-прежнему чтим — будто Мекка —
И в ансамблях твоих неслучайна любая деталь.

Но скользит здесь по слуху бескровно-стерильная речь
С равнодушной грамматикой гида, с покоем безглазий —
И уже не дано ни воспеть, ни согреть, ни сберечь,
Возраст твой сиротлив, и бессильны притирки и мази.

Как безумно любила я камни и воду твою,
Только ими жила, только в них находила спасенье,
Но проходит любовь даже к городу, даже в раю
Не избавиться нам от жестокого дара прозренья.

И приникнув к окну, обезглазев, одеревенев —
И в меня угодил ловких троллей зеркальный осколок —
Что не так уж Нева широка, замечаю, дерев
Так негусто повсюду, и век этих статуй недолог...

На закаты глядеть от чугунно-недвижных мостов?
Замирать от любви к Петропавловки острому шпилю?
Шестеренки, крючки, механических мертвых часов
Проржавевший каркас, задохнувшийся в хляби и пыли.

А всего-то всего потому, что любимый не здесь,
А в столице живет, потому, что так тяжка разлука,
Столько зла говорю разоренному городу днесь.
Ну а в ноги потом повалюсь. Покаянно. Без звука.

Зиновий
ВАЛЬШОНОК

Толпа

У толпы нет разумных позиций,
бесноватая воля глупа.
Преступления всех инквизиций
исполняла слепая толпа.
Распалить ее яростью жгучей
мог любой демагог и тиран.
Люди, сбитые в общую кучу,
были словно послушный таран.
Чем диктаторский клич примитивней,
цели проще и средства грубей,
тем неистовей, громче, активней
этот рев стоголосый: «Убей!..»
Зов к сожженью Бруно — из мрака,
и ежовских судилищ волна,
и распятая честь Пастернака,—
роль толпы в этой травле одна.

Это роль одержимых статистов,
чьи проклятья за голод и мор
направляет из тьмы закулисной
на беспомощных жертв — режиссер.
Сколько сот гильотин смастерили!..
Ни вины у толпы, ни долгов.
Не История, а истерия
злых костров и жестоких голгоф.
Есть смешенья особого рода,
и опасно для общей судьбы
выдавать за желанья народа
кровожадные страсти толпы.
Ведь когда она алчет расправы
и кричит палачу: «Не робей!»,
мысль о том, кто виновны, кто правы,
заглушается воплем: «Убей!..»

◆◆◆

Извериться — страшней, чем умереть.
Любовь я ставил выше всех религий.
Она прошла, хлестнув меня, как плеть,
навесив одиночества вериги.
Я верил кличам зычных трубачей,
но сквозь обман личин благообразных
вдруг проступали рыла палачей,
глаза ворюг и взяточников грязных.
И от безверья сердце пало ниц.
Быть может, поиск веры вел упрямо
одних — под звезды чуждых заграниц,
других — под сень молитвенную храмов.
Изведав мощь диктаторской руки,
страшусь я поклоненья без меры.

Но в затхлой бездне прозы и тоски
грудь жаждет одержимости и веры.
Кумиров кровожадных я не чту
и к идолопоклонству сердце глухо.
Но мне без веры жить невмоготу,
ее потеря — как утрата духа.
И если есть на свете божество,
так это то неназванное чувство,
когда души печаль и торжество
возносится до пламени искусства.
Там, где зияла прежде пустота,
горсть вещих слов на белизне страницы
впечатана в века, как лик Христа
на полотне священной плащаницы.

◆◆◆

Мученики слова, страстотерпцы,
все мы так от жизни далеки.
Как ребенка, пестуем под сердцем
вещее младенчество строки.

Ощутив интимность, как глобальность,
в мощь глагола веруем всерьез,
превращая в зримую реальность
смутные виденья наших грез.

С яростью наивных дон-кихотов
воздевая копья и щиты,
заразить надеемся кого-то
пламенем любви и доброты.

Что толпе до божеского света?
Что для повседневности — века?
И зеваки смотрят на поэта,
как на городского дурачка.

Григорий
ЯГДФЕЛЬД

НЕВИДИМЫЙ РОМЕО

Петербургская фантазия

Нет повести печальнее на свете,
чем повесть о Ромео и Джульетте.
Шекспир

СУМЕРКИ

В двадцать один час тринадцать минут по времени Гринвичского меридиана, которое показали круглые часы в радиостудии, диктор поправил очки и, склонившись над пультом с кнопками, прочел мягким, обольстительным баритоном текст, отпечатанный на машинке и удостоверенный печатями с начала и конца страницы: «Сегодня в Ленинграде и Ленинградской области сохранится теплая, сухая погода без осадков. Мы передавали прогноз погоды. Читал Утченко».

Резкий свет снизу подчеркивал его некрасивое лицо. Он включил в полумраке студии мазурку Шопена и, немного послушав, неслышно поднялся, спустился с лестницы, сопровождаемый хрустальными нотками, получил на вешалке плащ и шляпу, вышел на улицу — дождь, как из ведра!

Мазурка погасла. Утченко грустно улыбнулся, снял очки — протереть...

Улица расплывалась в дрожащих огнях... Блески фонарей отражались в лужах, вздрагивающих от огней...

Утченко надел очки.

Теперь улица больше походила на себя. Она тонула в дожде и сумерках. Люди укрылись в подворотнях.

В окнах горели зеленые и оранжевые огни. Дома были похожи на картинную галерею, где в рамах светились загадочные картинки чужой, неизвестной жизни...

Какая-то девушка подошла к стеклу... По-птичьи вскинула голову и посмотрела на небо, на мгновение повторив композицию Ботичелли, и скрылась в комнате.

Утченко подождал, не сводя мечтательных глаз с окна... Но девушка больше не появилась.

Он поднял воротник и медленно, не спуская глаз с окон, пошел по улице.

Уличные фонари играли с его тенью, передавая друг другу... И тень то складывалась и пропадала, то вытягивалась.

Теперь он был ростом в четыре этажа. Его голова покачивалась среди труб и антенн, похожих на метелки, которые потеряли ведьмы, возвращаясь с Лысой горы.

В окне, под крышей, появилась девочка с косичками. Прижав нос к стеклу, полосатому от дождя, она глядела круглыми глазами на странного, некрасивого человека, похожего на диковинную рыбу в аквариуме...

Вспыхнули фары машины, и тени ожили, почернели...

Человечек поднял руку, поиграл пальцами... на стене дома появилась громадная тень зайца... Заяц ростом со слона попрыгал и превратился в козу. А потом в неизвестное, удивительное существо...

Девочка глядела, склонив голову набок.

Утченко тоже склонил голову набок и, прижав палец ко рту, таинственно подмигнул девочке.

Она смотрела на него как завороженная, и вдруг исчезла. Чьи-то руки утащили ее в глубину комнаты.

Утченко вздохнул и поднял руку еще выше. Там, под карнизом крыши, сидели нахохлившиеся воробьи.

Тень руки погладила их, но они не пошевелились.

Он двинулся дальше.

Теперь тень от его головы покачивалась в чьей-то квартире, среди горшков с цветами.

ЯГДФЕЛЬД Григорий Борисович родился с 1908 году в Петербурге. Драматург, сценарист, детский писатель. Автор 30 фильмов. Его имя упомянуто в печально известном постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда" и „Ленинград"», в связи с чем он преследовался властями. Живет в Ленинграде.

Это был бал за чужими окнами. Порывом доносились и исчезали звуки музыки... Тени танцевали...

— Прощайте,— прошептал Утченко.

Он и его тень церемонно приподняли шляпы и двинулись дальше...

Тут же, около Филармонии, на него налетело какое-то существо под зонтиком.

Он только успел прошептать «извините», как существо забилось на его груди бабочкой...

Незнакомка на бегу зацепилась за его пуговицу.

Она в отчаянии шептала:

— Ах, как я опаздываю... Ах, как я опаздываю,— совсем как кролик из «Алисы в стране чудес», что опаздывал на крокет к герцогине...

Она так торопилась, что не бросила на Утченко ни одного взгляда... только на пуговицу, за которую зацепилась...

А он все время говорил «извините» и смотрел на ее ресницы, трепещущие и такие длинные, что они его чуть не задевали... И на ее светлые волосы... И на круглые, испуганные глаза...

Когда он хотел в последний раз сказать «извините» — незнакомка отцепилась от пуговицы и помчалась наискосок, через площадь Искусств, к саду, перескакивая через лужи и размахивая маленьким чемоданчиком.

Утченко робко последовал за ней, то останавливаясь, то мчась со всех ног...

Сад Искусств был пуст.

Только на одной скамейке, не замечая дождя, сидела парочка...

Незнакомка на бегу оглянулась.

Утченко тут же спрятался за памятник Пушкину.

А когда выглянул, он увидел, как девушка, промчавшись вдоль Малого оперного театра, юркнула, сложив зонтик, в боковое парадное у канала Грибоедова.

Сквозь пелену дождя светились старинные фонари театра... Утченко подошел к парадной, где было написано «Служебный вход».

Театр звенел и светился изнутри, словно огромная музыкальная табакерка...

Утченко постоял у двери и медленно пошел к главному входу...

Утченко задумчиво смотрел на афишу:

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА

Балет-феерия в трех актах с прологом и апофеозом

Тихая, пленительная музыка доносилась из театра — афиша пела медными, струнными, деревянными голосами...

Действие происходит в сказочные времена.

Король Флорестиан Семнадцатый сегодня давал бал в честь принцессы Авроры! И кого только не было среди гостей — и Волк, и Кот в сапогах, и Голубая Птица, и Красная Шапочка, и Карабас, и Принцы, и Ослиная Кожа! Одних фей было одиннадцать!

И все они проступали сквозь афишу, делая Утченко какие-то таинственные знаки...

Светились старинные фонари сквозь пелену дождя...

.........Что-то...
Что спрятано пока во тьме,
Не зародится с нынешнего бала?
Безвременно укоротит мне жизнь
Виной каких-то страшных обстоятельств!..—

— прошептал Утченко.

Музыка бала тянула в театр.

Но тот, что направляет мой корабль,
Уж поднял паруса. Друзья, войдемте...

И Утченко вошел в вестибюль.

Двери на бал охраняли капельдинерши. Некоторые дремали, скрестив руки на груди, а некоторые вязали.

И они никого не пускали в царство сказки на бал, который уже кончался.

Началось третье действие, и окошечко кассы было закрыто.

А над ним висела печатная надпись: «Билеты все проданы».

Там, в глубине за окошком, дремала кассирша.

А так пленительно звала музыка!

Утченко грустно постоял перед кассой, а затем тихо постучал в окошко.

Кассирша встрепенулась, откусила от яблока и начала считать на счетах.

Он тихо постучал еще раз.

И тут, как чертик из табакерки, вылетела жующая голова с огромным шиньоном:
— Черным по белому,— прошипела она.— Черным по белому — нет билетов!
И скрылась.
Утченко всунул голову в окошечко и пристально поглядел на кассиршу, носом к носу.
Бриллиантовые капли дождя стекали с его воротника.
— Ыв яакат яарбод,— тихо сказал он, что на детском языке «задом наперед» значило «Вы такая добрая...»
— Что? Что? — встрепенулась кассирша. Она не помнила своего детства.
— Тен ил акителиб? Ен етижакто в итсонзебюл? (Нет, ли билетика, не откажите в любезности.)
— Интурист,— догадалась кассирша, сладко улыбнулась и взбила шиньон.
Она вытащила из папки билет, оставленный на всякий случай для какого-нибудь высокого гостя.
— Два рубля тридцать копеек,— сказала она так громко, как говорят с иностранцами, чтобы они поняли.
И показала на пальцах — два и еще три раза по десять пальцев.
Интурист, по-видимому, не знал наших денег. Он высыпал на тарелочку перед кассой несколько бумажек и серебряных монет.
И кассирша вынула билет из секретной тетрадки, пошипела на печать, как змея, хлопнула печатью по билету в первом ряду и любезно протянула билет иностранцу.
— Обисапс,— сказал иностранец и прижал к сердцу шляпу.

ФЕЯ БРИЛЛИАНТОВ

Он стоял перед вешалкой, которая чуть не падала под множеством шляп и пальто. На полу сушились разноцветные зонтики, похожие на поваленные грибы.
Усатый гардеробщик неодобрительно тряс плащ и шляпу запоздалого зрителя.
Брызги попали на билетершу. Она высунулась из зала, где гремела музыка. Билетерша замахала обеими руками на Утченко и, показав вверх, скрылась.
Утченко поднялся по лестнице, мимо зеркал, выше, и тихо постучал в ложу бельэтажа.
— Ч-шш,— с порывом музыки выглянула из ложи другая билетерша и захлопнула перед его носом дверь, вместе с музыкой.
Утченко постоял перед дверью, взбежал на самый верх и на цыпочках вошел на галерку.
Не было ни одного свободного места.
Зрители, не отрываясь, смотрели на сцену, где далеко внизу, под нежные звуки арф король праздновал свадьбу принцессы Авроры.
Утченко сел на ступеньках, в проходе.
На него, оторвавшись от старинного перламутрового бинокля на длинной ручке, строго покосилась старая дама.
Он снял очки, протер и надел на нос. Но он был близорук и видел только разноцветные пятна, как в калейдоскопе.
Пятна менялись местами и танцевали под мазурку.
Он вздохнул.
Старая дама неодобрительно фыркнула и сунула ему бинокль.
Утченко встал и поклонился даме.
— Сядьте! — зашикали на него вокруг.
Утченко виновато сел и приложил бинокль к глазам наоборот.
Крошечная, яркая картинка переливалась далеко внизу, будто он глядел с межпланетного корабля на неизвестную, сказочную планету.
Под тихую, словно во сне, музыку, за игрушечным оркестром куклы в костюмах семнадцатого века веселились на балу.
Сначала Кот в сапогах преследовал крошечную Белую кошечку...
Потом Золушка потеряла хрустальную туфельку и принц ее нашел.
Здесь были все гости из сказок Перро: и Ослиная Кожа, и принцесса Флорина, и Голубая Птица, и Мальчик-с-Пальчик с братьями, и Людоед, и Серый Волк, и Красная Шапочка! Ожили иллюстрации прелестных книжек!
Танцевали все вместе и по очереди — и принцы, и пажи, и карлики!
Это была очень пышная свадьба, даже если на нее смотреть в бинокль наоборот!
Старая дама взглянула на Утченко, молча отняла у него бинокль, перевернула, как надо, и сунула обратно.
Теперь сказочный мир был рядом! Он даже отшатнулся, чтоб не удариться лбом о дворец. Казалось — протяни руку, и он мог бы коснуться сверкающего платья принцессы или короны короля, блестевшей на рыжих буклях!

А как интересно было в это время за кулисами! Все было видно в перламутровый бинокль! Там, в позах Дега — за стеной света,— готовились балерины к выходу! Некоторые приседали, придерживаясь за тяжелые кисти занавеса...
Световая полоса отделяла семнадцатый пышный век от двадцатого!
Здесь, на троне, сидел король, а там, на стуле — пожарный.
Но и там было очень романтично!
А как было интересно в оркестре! Музыка мяукала, щебетала, рычала при помощи контрабасов; скакала вместе с людоедом на сцене семимильными шагами.
А что делалось на пюпитре у дирижера!
Под тенью летающей волшебной дирижерской палочки ноты — человечки с черными и белыми головками — скакали на пяти линейках, размахивая диезами, бемолями и форшлагами! Они плясали в своих клеточках!
Утченко подпрыгивал на месте! Его ноги готовы были сами пойти в пляс, как вдруг... он вздрогнул, словно от электрического тока, и замер!
На сцене возникло видение с золотой коронкой на белокурых волосах.
Необыкновенное существо, которое он только что встретил и которое ему всегда снилось!
Совершенство, о котором он мечтал всю жизнь.
Это совершенство появилось в розовой пачке, усыпанной блестками!
Он зажмурился.
И когда опять открыл глаза — совершенство встало в третью позицию и с застенчивой улыбкой поглядело на дирижера.
Сердце Утченко забилось так, что он уже не слышал музыки! Его сердце забилось так, что уже никто не слышал музыки!
— Ч-шш,— зашикали на него со всех сторон.
— Ч-шш,— зашипела старая дама.
Но сердце билось, и он не видел никого, кроме нее.
В медленных, словно в блаженном сне, пленительных поворотах он видел только ее! Только ее!
А все другое остановилось! Все другое замерло!
И музыка без конца повторяла ее номер!
Музыка растягивалась и замирала в длиннейших фермато!
На сцене забили фонтаны!
— Кто это? — прошептал Утченко, не отрывая глаз от бинокля.
— Синичкина,— сказала дама скрипучим голосом,— Фея Бриллиантов.
И отняла у него бинокль. И вовремя это сделала.
Потому что Утченко в следующий миг уже не было на месте!
Он был уже на сцене! Он был на сцене, среди придворных, в своем пиджачке, но со страусовым пером на голове.
— Извините,— сказал он Коту в сапогах, наступив ему на хвост.
Он растолкал женихов принцессы и, одернув пиджачок, подал руку фее. А потом поправил страусовое перо и повел ее по сцене.
— Я ждал Вас всю жизнь,— прошептал он фее.
— Па-де-ша,— сказала озабоченно фея сама себе и сделала па-де-ша.
— Я думал, что уже никогда Вас не встречу...
— А теперь ронд-де-жамб,— сказала Синичкина, тяжело дыша, поворачиваясь на одной ножке...
— ...и баллотэ! И баллоаз! И ренверсэ! Всё...
— Только, пожалуйста... Будьте добры... если можно... не уходите из моего сна...
Но фея поглядела на дирижерскую палочку и с последним вздохом арф убежала, высоко подняв руки, оставив Утченко среди надменных женихов принцессы — Шери, Шарман, Фортюнэ и Флер де Пуа.
Они только схватились за шпаги, как... Утченко исчез!
Утченко выбежал мимо зрителей из галерки...
Он мчался с лестницы, отражаясь в зеркалах — навстречу выскакивали капельдинерши, вскакивали гардеробщики — но он уже был далеко!
Он пролетел через вестибюль на улицу.
Все блистало, сверкало, лучилось мягким радужным светом.
Нити сверкающего дождя свисали дрожащим занавесом до земли...
Бал продолжался!
Асфальт преломлялся, будто в хрустальной призме,— синие, желтые, голубые ступени странного радостного мира вели неизвестно куда...
И звучала музыка Феи Бриллиантов.
И танцевали огни фонарей, вспыхивали иголки спектра.
Утченко бежал под дождем.
Он что-то искал, лавируя между зонтиками... Он бежал по Невскому... На башне городской Думы били часы...

Но вот он увидел в подворотне трех толстых цветочниц. Они держали пышные георгины, которые никто не покупал.

— Всю корзинку,— сказал Утченко, тяжело дыша.— И Вашу всю корзинку! И Вашу, пожалуйста!

Цветочницы поглядели на него, разинув рты.

— Раз, два, три... семь букетов,— сказала одна.— На четырнадцать тугриков.

— А у меня на десять.

— А мои на двенадцать сорок.

Утченко вывернул карманы. В одном было три рубля, платок, пропуск в студию и двести граммов колбасы.

В другом вообще ничего не было. Только номерок от вешалки.

— Ах, ты пропасть...— сказал Утченко.

А потом сказал:

— Пожалуйста, ну я Вас очень прошу... Ну, что Вам стоит... Не расходитесь пока, хорошо? И никому не давайте цветов! Я сейчас! Сию минуту!

Он сунул им трешку и, зажав в кулаке номерок от вешалки, умчался, прыгая через лужи.

А торговки поглядели друг на друга, а одна постучала себе по лбу.

Утченко мчался, прыгая через сверкающие лужи, его гнала музыка. Прохожие останавливались и глядели вслед.

Он ворвался в театр, к вешалке.

И сейчас же выбежал обратно, размахивая плащом и шляпой.

Торговки собрались уходить.

Они уже открыли зонтики, но тут, задыхаясь, появился мокрый и счастливый Утченко.

Он с маху надел свою шляпу на одну цветочницу, бросил свой плащ двум другим и забрал все цветы в охапку.

ГОСТЬ С ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ

Представление окончилось.

Все хлопали и без конца вызывали артистов.

Перед занавесом кланялись принцесса Аврора, принц Дезире и другие.

Феи Бриллиантов не было.

На сцену летели маленькие букетики.

Принц и принцесса прижимали их к сердцам.

И тут в зале появился Утченко. Из-за цветов были видны только его нос и ноги.

— Фее Бриллиантов,— шепнул Утченко, передав огромный букет какой-то даме из последнего ряда.

— Фее Бриллиантов,— сказала дама и передала цветы дальше.

Огромный букет, покачиваясь, плыл по рядам, над головами... Зрители ахали, нюхали цветы, расплывались в улыбках и передавали цветы все ближе к сцене.

Принцесса Аврора шепнула что-то принцу Дезире, и они, улыбаясь, ждали подплывающие георгины.

Генерал в панцире орденов протянул букет из второго ряда в первый — негру во фраке, с белым галстуком-бабочкой.

Негр передал цветы в оркестр дирижеру.

Букет поплыл над оркестром и провалился над струнной группой. Его долго собирали музыканты по цветку, и, наконец, самый длинный контрабасист, встав на стул, подал букет принцу, подбежавшему к рампе.

Публика бурно аплодировала.

Принцесса послала в зал воздушный поцелуй.

— Это не Вам,— сказал нижайшим басом контрабасист,— это Фее Бриллиантов.

— Синичкиной? — ахнула принцесса.

— Не может быть,— сказал принц.

— Синичкина! Синичкина! — кричали придворные и карлики.

— Маруся! — орал за кулисами лысый инспектор балета.

Кот в сапогах мчался по коридору кулис, вдоль уборных. Из уборных высунулись полуодетые Серый Волк и Красная Шапочка.

Кот в сапогах распахнул дверь в комнате для одиннадцати фей. Перед зеркалом сидела Маруся Синичкина и стирала белую полосу с носа в веснушках.

— Синичкина! — завопил Кот в сапогах.

— Что случилось? — испугалась она.

— В чем дело?! — повскакали от зеркал феи.

Кот в сапогах, ни слова не говоря, схватил Марусю за руку и потащил на сцену, мимо артистов, репетиторов и писанного на холсте замка, который уносили рабочие.

Перепуганную Синичкину вытолкнули на сцену.

Вся публика, все ярусы вызывали, скандируя, Синичкину.

Огни рампы слепили ей глаза, и вся масса зрителей сливалась в одно многоголовое чудовище.

Она была оглушена.

Принцесса Аарора и принц, криво и очаровательно улыбаясь, сунули ей огромный букет.

Синичкина попятилась. Георгины посыпались из ее рук.

Занавес закрылся, прищемив с двух сторон Синичкину с цветами.

Когда Маруся выбралась из занавеса, ее окружили артисты.

— Ну и ну...— сказал Людоед.

— Поздравляю тебя, моя милая,— сказала ей принцесса.— В следующий раз, очевидно, цветы получит пожарный.— И величественно покинула сцену, поджав губы.

— Но от кого это?!

Артисты наперебой, толкаясь, заглядывали в дырку занавеса.

Два карлика из первого класса хореоучилища подскакивали, не доставая до дырки.

Всех отстранил лысый инспектор балета и прильнул к дырке.

Публика расходилась. Уходил генерал. Двигались к выходу дипломаты.

Музыканты зевали и складывали инструменты в футляры.

Негр во фраке, окруженный переводчицами и сопровождающими лицами, что-то оживленно говорил на неизвестном языке.

— Я знаю, кто это,— сказал инспектор, повернувшись к артистам.— Это наш высокий гость с Огненной Земли. Как раз в «Правде» был его портрет. Поняла, Синичкина?

И он многозначительно поднял вверх палец.

ЙЕГРЕС ОКНЕЧТУ

Это было у артистического входа Малого оперного театра, рядом с каналом Грибоедова.

Под дождем, подняв воротник пиджака, ждал Утченко, спрятавшись в тень от фонаря.

Один за другим выходили музыканты с инструментами и артисты с чемоданчиками.

— А по радио какой-то болван объявил прелестную погоду! — ворчали они, будто сговорившись: — Вечное вранье!

И спешили к метро и на автобусные остановки.

Синичкиной не было.

Утченко ждал. Струйки дождя стекали ему за шиворот, но он ничего не замечал. Скрестив руки на груди, он шептал:

Ее сиянье факелы затмило.
Она подобна яркому бериллу
В ушах арапки. Чересчур светла
Для мира безобразия и зла.
Ее в толпе и сразу отличаю.
Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор,
Любил ли я хоть раз до этих пор?

Утченко задумался...

О нет, то были ложные богини
Я истинной красы не знал доныне!

Едва он окончил монолог, как из дверей показался огромный букет георгинов.

Его нес Кот в сапогах. А за ним двое красавцев из миманса влекли под руки Синичкину.

Утченко спрятался за фонарь.

Кот в сапогах открыл голубой «Москвич», бросил туда цветы, сел за руль и распахнул дверцы.

Синичкина и красавцы влезли в машину. И она тронулась, обдав брызгами Утченко.

И исчезла в пелене тумана и дождя.

Утченко вздохнул и медленно пошел к Невскому.

Фонари расплывались в тумане.

В лужах дрожали перевернутые дома...

Утченко остановился у гастронома. На витрине блестело зеркало.

Он печально рассматривал свое ужасно некрасивое лицо, мокрое от дождя, среди искусственных рыб и консервных банок.

Капли катились по стеклу, как слезы.

Что есть любовь? Безумье от угара.
Игра огнем, ведущая к пожару,
Столб пламени над морем наших слез...
Раздумье, необдуманности ради,
Смешенье яда и противоядья...
Прощай, дружок...

И он показал себе язык в зеркале.

Театр был пуст.

Только в режиссерской балета еще горел свет.

Лысый инспектор кончал график репетиций в большом гроссбухе, по «Айболиту». Он писал: «Кошки из первого и второго состава — Малаховская и Розенберг. Обезьянки — Шеина-третья и Уварова. Ласточка — Синичкина».

Аккуратно дописав, он потянулся, сладко зевнул с писком, захлопнул гроссбух, почесал лысину, встал, напялил шляпу на затылок и уже натянул один рукав пальто, как вдруг раздался телефонный звонок.

— Еще кого черт несет? — проворчал инспектор и снял трубку.— Режиссерская балета.— Он помотал головой.

— Мы не даем адреса артистов. Ни в коем случае... Что? Кто спрашивает?! Кто?! Кто?!

В телефонной будке на Невском стоял Утченко, водя пальцем по стеклу.

— йегреС окнечтУ,— сказал он свое имя и фамилию наоборот своим удивительным баритоном.

— йегреС... Кто? — переспросил инспектор.

— окнечтУ,— тихо сказал Утченко.

Инспектор помолчал.

— Хм...— пожевал губами.— Не отходите от телефона.

Выпучив глаза, он поглядел в одну точку.

«Ясно»,— сказал он сам себе, прижал и, зажав телефонную трубку плечом и ухом, залез в шкаф, вытащил книжку артистов, нашел букву «С»: — Сулькин... Стрельникова... Сутеев... Вы слушаете? Мы для Африки всегда... Склют... Суркова... В виде исключения... Синичкина Мария Ивановна... Улица Марата, 12, квартира 3...

Он послушал...

Длинный гудок известил его о конце разговора.

СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК

За круглым столом, в веселой, залитой солнцем комнате сидели две Синичкины.

Мать и дочь. Они были очень похожи. И даже веснушками. Только у мамы Синичкиной все было старше. И нос старше. И волосы. И глаза.

Мама Синичкина штопала трико дочки.

Громадный букет георгинов цвел перед ними на столе.

— И все-таки, хоть убей, как хочешь, что ни говори — на два вопроса я ну никак не могу себе ответить! — сказала мама Синичкина, откусывая нитку.

— На какие два? — спросила дочка.

— Почему такой букет именно тебе? И кто его поднес?

— Ну, во-первых,— сказала Маруся,— я очень удачно вынула ногу в ренверсэ. А во-вторых...— она понизила голос и сделала круглые глаза —...Во-вторых, наши балерины считают, что он с Огненной Земли... йегреС... или забыла... Он вчера был у нас на «Спящей»...

Тут в комнате — откуда ни возьмись! — возник яркий солнечный зайчик. Он покружился на столе, обежал георгины и прыгнул на стенку.

Синичкины следили за ним взглядом.

А зайчик медленно побрел по фотографиям, рассматривая маму Синичкину в ролях Ледяной Девы и ведьмы...

Потом поскакал к детской карточке Маруси, где она стояла в третьей позиции, с большим бантом.

А потом зайчик прыгнул к еще одной, где Маруся делала шпагат.

Осмотрев семейный альбом на стене, солнечный зайчик перескочил на кончик носа Синичкиной.

Маруся сморщила нос, чихнула и отодвинулась.

Солнечный зайчик снова уселся на ее нос.

— Как тебе нравится! — воскликнула Маруся и пересела на другой стул.

Зайчик невозмутимо последовал за ней и снова устроился на кончике ее носа с золотыми веснушками.

Маруся вскочила, помчалась к окну, никого из мальчишек не увидела и задернула штору.

Комната потонула в полумраке. Солнечный зайчик погиб.

Синичкина не заметила маленького, некрасивого человечка с зеркальцем на другой стороне двора.

Это был Утченко.

Он стоял на ящике от мусора с зеркальцем и, когда увидел фею Марусю,— с грохотом провалился в ящик.

Мама Синичкина задумчиво поглядела на цветы.

— Там есть озеро Титикака,— сказала она.

— Где? — спросила дочь.

— В Африке.

Тут раздался звонок. И Маруся кинулась открывать.

— Заказ ое. Синичкиной. Марии Ивановне.

Почтальонша вручила ей странный твердый толстый конверт.

И Маруся расписалась.

Она побежала в комнату и, прежде всего, осмотрела конверт со всех сторон.

— Хм! — сказала ова.

Маруся раскрыла конверт и ахнула!

Мама всплеснула руками.

Из конверта-коробочки выпорхнула живая разноцветная бабочка!

Она полетела по комнате над цветами, над пораженными Синичкиными и уселась на голову Маруси нарядным большим бантом!

Боясь пошевелиться, Маруся приблизилась к зеркалу и, скосив глаза, недоверчиво посматривала на трепещущую крыльями и усами бабочку и на себя.

МАРУСЯ В СТРАНЕ ЧУДЕС

Утченко сидел за столом в своей странной комнате, среди книг, глобусов и океанских карт.

Перед ним на газете лежал кусок колбасы и батон.

— А против него — всю стену занимал раскрашенный ихтиозавр в одну треть натуральной величины.

На радиоле крутилась пластинка.

Под пленительный вальс из «Спящей красавицы» Утченко писал заявление:

«В кассу взаимопомощи Комитета Радиовещания.
Прошу выдать мне двести (200) рублей ссуды.
Вы не представляете, как надо!
Диктор Утченко».

Он отодвинул заявление и развернул карту Ленинграда.

Сделал крестик красным карандашом на доме 12 по улице Марата. Потом повел красную линию через Загородный проспект к улице зодчего Росси, мимо Пяти Углов и Чернышева моста.

Затем поставил всюду синим карандашом часы и минуты следования Феи Бриллиантов с восьми утра до четырех дня.

Отметил зеленым крестиком репетиционный зал балета, он задумался...

Красный крестик растаял, и на этом месте появился подъезд дома 12, освещенный утренним солнечным светом...

Из него вышла с чемоданчиком Фея Бриллиантов.

Она озабоченно оглянулась, подняв по очереди правую и левую ногу,— проверить, не перевернут ли шов на чулках и, убедившись, что все в порядке, быстро пошла, стуча каблучками.

Все было обыкновенно. Кто куда шли прохожие, щебетали птицы, солнце вспыхивало и гасло во вчерашних лужах.

У цистерны с квасом, блистающей самолетным алюминием, сидела в грязном фартуке продавщица.

Она поглядела на Синичкину, осклабилась, подмигнула. Потом нацедила самую большую кружку за семь копеек и воскликнула:

— За здоровье знаменитой артистки!

С этими словами она осушила кружку.

Маруся отступила на шаг и поглядела на нее. Потом оглянулась — сзади нее знаменитых артисток не было.

— Благодарю Вас,— нервно сказала она и пошла дальше.

Она старалась понять, что случилось, но так и не смогла.

Потом боязливо оглянулась.

Продавщица продолжала стоять с поднятой кружкой, улыбаясь во весь рот.

Маруся ускорила шаги.

И — замерла.

Навстречу, прямо на нее, по мостовой с громом, метлой и букетом роз на жактовской спецмашине неизвестного назначения мчался дворник.

Поравнявшись с феей, он затормозил двумя тормозами, и стало тихо.

— Синичкина? — строго осведомился он.

— Си... А что?

— Велено передать.

Отдал изумленной Марусе цветы и с громом помчался дальше.

— От кого?! — крикнула она дворнику.

Но он уже скрылся за углом.

Пробегая по Владимирской, Маруся услышала где-то наверху — бурные аплодисменты.

Она подскочила и задрала голову.

В трех окнах второго этажа, перегнувшись через подоконники, как в ложах театра, били в ладоши мальчишки.

Постарше сказал:

— Раз. Два. Три.

И все вместе:

— Синичкину!

Постарше сказал:

— Раз! Два! Три!

И все вместе:

— Бис! Браво!

А один, самый маленький, вдруг заорал:

— Шайбу!

Но большой хлопнул его по затылку, и он с ревом исчез.

Прохожие останавливались.

Синичкина, спрятав нос в цветы, бежала от оваций.

— Очень странно...— сказала она сама себе.— Очень, очень странно...

Перебежав улицу у Пяти Углов, Маруся спустилась на несколько ступенек в гастроном.

— Внимание,— сказала продавщица с пушистым хвостом, заметив Синичкину.

Народу почти не было, и продавщицы разных отделов встрепенулись, весело переглядываясь.

А кассирша высунулась из кассы.

Маруся подошла к продавщице с хвостом.

— Творожный сырок, пожалуйста.

У продавщицы зажглись в глазах искорки. Она поглядела почему-то под прилавок.

— Задняя часть антилопы не поступала. Ждем устрицы,— отбарабанила она.

Синичкина отступила и, склонив голову набок, тревожно поглядела на продавщицу.

Ей показалось, что она ослышалась.

Она подошла к кассе, еще раз оглянулась на продавщицу и сказала, положив пятнадцать копеек:

— За один сырок, пожалуйста...

Кассирша помолчала.

— Ваша фамилия — Синичкина?

— Д-да...

— Марья Иванна?

У Маруси забилось сердце. Она кивнула.

— За Вас, Мария Ивановна, заплачено вперед. За все покупки. Всего двести рублей ноль-ноль копеек.

Кассирша, с грохотом прокрутив ручку кассы, протянула ей чек. И отметила на листе, на верху которого было написано: «Фея» — четырнадцать копеек за сырок.

Маруся попятилась. Она пристально посмотрела на кассиршу, а потом на продавщицу с пушистым хвостом.

А на Синичкину глядели все продавщицы магазина, перегнувшись через стойки.

Две из них, фыркнув, бросились в заднюю комнату.

— Кстати, Вам просили передать...— продавщица вынула из-за прилавка коробку с тортом килограммов на шесть, положила сверху сырок и протянула Марусе.

— Ни за что! — сказала Маруся.

Продавщица развязала коробку и приподняла крышку.

— С какой стати?! — возмутилась Синичкина.

Тогда продавщица сняла картонную крышку и показала огромный шоколадный торт в виде балетной туфельки великана, где кремом было написано: «Фее Бриллиантова».

— Все сошли с ума,— сказала Маруся.— Или я сумасшедшая!

Она мчалась по удивительной улице Зодчего Росси.

В одной руке — торт, в другой — розы и чемоданчик.

Она пробежала мимо маленького человечка, прижавшегося к водосточной трубе. У него были большие усы, большой нос и большие очки (покупается на Невском в Лавке театральных деятелей). Маруся не подозревала, что это и был таинственный незнакомец из Огненной Земли.

Маруся добежала до парадного репетиционного зала. Навстречу неслись, щебеча, стайкой ее подруги-феи, с чемоданчиками.

Они столкнулись у подъезда.

— Ой, девочки! — воскликнула Маруся.— Что я вам расскажу — умереть!!

И она сунула девочкам торт, розы и чемоданчик, чтобы ничто не мешало ей умереть и рассказывать.

Но в это время через улицу быстро переходил толстяк.

Сто воздушных шариков взлетали над его головой. Они приподнимали его к небу, и он шел легкой, взлетающей походкой.

— Фея Синичкина среди вас? — обратился он к балеринам.

Подруги, хихикая, показали на Марусю.

Толстяк снял с плеча веревку с сотней шаров и протянул их Марусе.

Она, как завороженная, взяла шары и... взлетела!

С воплем взлетела она над улицей Зодчего Росси!

Хорошо, что ее подруги-феи подпрыгнули, ухватили за ноги и вернули на землю.

ЛЮДОЕД ПРОТИВ ЛАСТОЧКИ

На сцене Малого оперного шел балет «Айболит», картина вторая.

Добрый доктор лечил Обезьян в тропическом лесу Африки. Он ставил градусники Обезьянкам, мерил им пульс и давал из большой ложки лекарство.

Вдоль ящиков с красными крестами танцевала Ласточка с Обезьянками, которые уже выздоровели.

Ласточку, под глиссандо и вздохи труб, танцевала Синичкина. Она очень старалась.

Из-за кулис на нее благосклонно глядели, кивая головами, помреж, Бармалей (секретарь профкома) и Главный разбойник (из кассы взаимопомощи).

— Наша-то Синичкина,— сказал Разбойник,— как стала танцевать, а?

— А все с тех пор,— сказал Бармалей,— после букета от африканского принца!

— Ну, что ж,— сказал помреж,— если так пойдет дальше — выдвинем. Дадим ей вариации Крокодила.

А в это время, пока она танцевала, во дворе дома на Владимирской происходила совершенно другая сцена.

Рядом с футбольными воротами мальчишки (те самые, которые кричали Синичкиной «Браво!» со второго этажа) дорисовывали на большом ящике-ларце яркими синими буквами — «Синичкиной».

Они очень усердно трудились и все до одного измазались красками — стали вроде индейцев.

Самый длинный мальчишка нарисовал на ящике цветок и сказал:

— Нормально.

Почему-то он приложил ухо к ящику, послушал и скомандовал:

— Раз! Два! Взяли!

Шесть мальчишек взялись со всех сторон за ящик и понесли со двора.

А на сцене добрый доктор Ай-болит лег спать и начался сон. Ему снились бабочки и разноцветные птицы, которые кружились вокруг него.

В это время мальчишки с ящиком на головах подходили к подъезду театра.

Тот, кто шел сзади, лягнул ногой переднего. Тот тоже его лягнул, но не достал, и они вошли в вестибюль.

А на сцене началось что-то ужасное! Прибежали с длинными ножами разбойники, а во главе страшный Людоед-Бармалей!

Они открыли ящик с лекарствами — а там были не лекарства, там сидели Танечка и Ванечка (бывшие принцесса Аврора и принц Дезирэ).

Ваня начал храбро сражаться со злодеями, но его схватили.

На этом месте загремели аплодисменты и пошел занавес.

Танечка и Ванечка взялись за руки и пошли кланяться. А разбойники и Бармалей с Айболитом не пошли.

На сцену летели маленькие букетики.

Почитатели Танечки и поклонницы Ванечки столпились вокруг оркестра и изо всех сил били в ладоши, вопя «Браво!», «Танечка!» и «Ванечка!».

Ваня и Таня кланялись, прижимая цветы к сердцам.

Они вызвали Людоеда и Доктора, и те тоже начали кланяться.

Тут средняя дверь в зал распахнулась, и торжественно появились шестеро мальчишек.

Они несли на головах белый ларец.

Зрители привставали с мест и оглядывались.

Мальчишки донесли ларец до оркестра и поставили краем на барьер.

Танечка и Ванечка, как премьеры, с интересом ждали подарка.

Музыканты с трудом перетащили ларец через оркестровую яму и поставили на авансцену.

— Артистке Синичкиной,— возгласил передний мальчишка ломающимся, петушиным голосом.

— Опять эта Синичкина! — прошипела Танечка.— Я просто не нахожу слов!

Публика бурно аплодировала.

— Открыть! — раздался чей-то зычный бас с галерки.

— Ну, погоди, Синичкина! — проворчал Людоед.

А по коридору кулис мчались разбойники.

— Что случилось? — кричали зайчики, обезьянки и крокодил, высовываясь из уборных.

Разбойники ворвались в комнату, на двери которой было одиннадцать фамилий. Вдоль зеркал уже раздевались Жираф, Паук-Крестовик, Утка-Кика и Ласточка-Синичкина. (В этом балете фей не было.)

Разбойники, ни слова не говоря, схватили за руки Ласточку-Марусю и (она только успела пискнуть: «Опять?!») вытащили из уборной.

Публика бурно аплодировала.

— От-крыть! От-крыть! От-крыть! — скандировали студенты на галерке.

Танечка посмотрела на Марусю так, будто это она — Людоед. А Маруся издали, с ужасом, глядела на ларец, как на змею.

Со всех сторон собрались Зайчики, Бабочки и Крокодилы. Все уставились на ящик.

Мальчишки удрали.

Под восторг публики Людоед-Бармалей раскрыл ларец.

В нем оказался второй — синий.

Из синего ларца Разбойники вынули зеленый.

Публика веселилась.

За кулисами лысый инспектор показывал на часы, топал ногами и потрясал кулаками в воздухе.

Вокруг ларца собрались все звери, столпились, ожидая, что будет дальше!

Синичкина-Ласточкина краснела и бледнела.

На каждом ларце было написано «Синичкиной» и нарисованы цветочки.

Из зеленого ларца показался голубой. Из голубого — розовый.

Из будки высунулся растрепанный осветитель, а музыканты стали на стулья и выглядывали из оркестра.

Но вот вынули последний, седьмой ларец, желтый, и оттуда...— нет, этого еще не видели стены Малого оперного академического театра! —... оттуда с треском прорвавшегося парашюта — вылетело видимо-невидимо белых глубей!

Артисты, ахнув, отпрянули!

Инспектор балета, на которого наскочил Медведь,— свалился.

Публика умирала от смеха.

Белые голуби разлетелись! Они порхали по всей сцене, над джунглями!

Под бурные аплодисменты и хохот за ними гонялись пожарные, Обезьянки и все остальные!

Голубей ловили на колосниках! На планшете! В будке осветителей!

Это была новая картина в сказке!

Наконец поймали всех птиц.

Всех! Кроме одной!

Последний голубь влетел в режиссерскую балета! Он опрокинул вечные чернила на расписание репетиций. Потом угодил сам в чернила. Оттуда — в клей.

За ним с горестным криком гнался инспектор.

Голубь взлетел, смазав его крылом по лысине, оставив на ней радужные крапинки (лысина стала похожа на яйцо Райской птицы), и снова влетел на сцену — за ним мчались Разбойники.

Голубь с писком уселся на голову Людоеда.

Людоед-Бармалей схватил голубя, но не смог его снять. Голубь приклеился! Публика просто выла от восторга.

— Спасибо тебе, Синичкина,— горько сказал Людоед и под истерический хохот публики покинул величественно сцену.

Синичкина шла за ним — она тоже чуть не падала от смеха.

Людоед прошипел ей в ухо:

— Я, как секретарь профсоюзной организации, ставлю твое поведение на общем собрании!

— Да, да,— сказал Главный Разбойник, большой общественник,— мы тебе объявим выговор за хулиганство! С занесением в личное дело!

— А при чем тут она? — заступился доктор Айболит.

— При чем тут я? — сквозь слезы спросила Синичкина.

— Не было б тебя — не было б этого безобразия!

— Глупые! — сказал мудрый Айболит.— Неужели вы не поняли? Это же объяснение в любви!

Пошел занавес.

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Две Синичкины, мать и дочь, сидели в своей собственной комнате, но можно было подумать, что здесь открылся цветочный магазин!

Отовсюду выглядывали разные цветочные головки...

Настурции смотрели с подоконников...

Лилии цвели на столе...

Розы дремали на столике...

Гиацинты и георгины в корзинках и горшках покоились на полу...

У всех цветов были разные личики... И разные выражения... Вот, например, если вглядеться в анютины глазки внимательно — они похожи на мордочки зверьков.

Да, можно было подумать, что это цветочный магазин, если б не раскрашенный ихтиозавр, который висел на стенке, перегибая свою сказочную голову на потолок. И смотрел на Марусю.

Разные удивительные вещи, реликвии тропических стран висели, лежали и стояли, вытеснив Синичкиных.

Разноцветные воздушные шары толпились у потолка.

Маруся задумчиво поглядела на ихтиозавра:

— И, главное, теперь я как во сне... не знаю, что будет со мной в следующую секунду!

— Хм...— сказала мать,— сколько я живу... сколько живу — я не видела ничего подобного...

Сверху раздался гортанный крик.

Синичкины вздрогнули, посмотрели вверх.

На карнизе сидела большая черная птица и боком глядела на Синичкиных одним блестящим глазом.

И тут раздался звонок.

Синичкины вскочили, прыгая через цветы, бросились открывать. На лестнице стояла сердитая почтальонша.

— Только к вам и бегай! Двадцать раз в день! Для вас теперь надо отдельную работницу связи!

— Извините,— сказала Маруся и расписалась в получении телеграммы.

И они с мамой помчались в комнату.

Телеграмма лежала перед ними на столе, а они сидели и опасливо на нее глядели.

— Боюсь открывать,— сказала Маруся.— Вдруг открою, а оттуда... Они склонились над столом.

— Тринадцать... Семь... Пятнадцать...— прочла мама, что сверху — число и часы.

— Эх, будь что будет! — Маруся осторожно раскрыла телеграмму и возникло легкое, как едва уловимый запах духов — тихое музыкальное видение...

Третий ноктюрн Листа на челесте...

Синичкины смотрели друг на друга тревожными, прислуживающими глазами...

Музыкальное видение исчезло. Маруся открыла телеграмму.

«Вчера упала звезда, и я успел задумать желание... До скорой встречи...»

Подписи не было.

Мама Синичкина восторженно поглядела на дочку.

— Нет, если я не узнаю, кто это — я умру! — твердо заявила Маруся.

И в этот момент зазвонил особенным, мелодичным звоном телефон. Маруся сорвала трубку и приложила ухо. А ее мама приложила ухо к трубке с другой стороны.

Трубка молчала.

В трубке гремела тишина, как шум океанского прибоя в раковине, когда приложишь к ней ухо.

А потом, словно метроном, забилось чье-то сердце.

А потом снова далеким видением возник ноктюрн Листа.

— Ласточка? — чуть слышно спросил дрожащий, чарующий низкий голос.

— Кто? Д-да...— прошептала Маруся.

— Спасибо вам, что мы встретились с вами в одном мгновении... Но одной песчинке, в бездне времени и пространства...

Синичкины слушали, затаив дыхание.

— Мы ведь могли не встретиться никогда... Правда? Никогда... Как не встречаются столько людей на свете...

Маленький некрасивый человек стоял на площади Чернышевского, в телефонной будке и тихо говорил, закрыв глаза:

— Вы знаете? Вы, наверно, не заметили — Вы и музыка — это одно и то же... Одно и то же... И если б... мазурку Шопена расколдовали — она, наверно, оказалась бы второй Синичкиной!

Вокруг будки волновалась очередь. Ему стучали в стекло. Женщина с пакетом, из которого торчали селедочные хвосты, сердито показывала Утченко три пальца — «три минуты прошли!»

Но он ничего не слышал, закрыв глаза, объяснялся телефонной трубке в любви.

Женщина с селедками приоткрыла дверь а будку.

— Что он — обалдел? Болтает во сне?!

И вдруг — с ней что-то произошло!

Она немного послушала, у нее сделались круглые глаза, а потом вытянулось лицо, а потом появилось странное, какое-то отрешенное выражение...

— Чего там такое? — проворчал челоаек в соломенной шляпе.

Женщина открыла рот, чтоб ответить, но вместо слов... пленительные звуки ноктюрна услышал от нее человек в шляпе.

Он остолбенел, уставившись на женщину с селедками... А потом у него изменилось лицо. Он обернулся и тихой музыкой челесты (это не было пение, а все та же волшебная челеста!) обратился к прохожим...

Вокруг телефонной будки собиралась толпа. Ноктюрн окутывал мощным гипнозом музыки. Люди высовывались из окон и застывали задумчиаыми портретами в рамах.

— Что дают? — врезался в толпу парень, жующий пирожок.

Но на него зашикали, и он замер с набитым ртом...

Останоаилось движение. Намагниченные волшебной атмосферой, стояли автобусы и машины.

Очередь к лавке на другой стороне улицы мучилась любопытством — что там случилось?

— Запомяим, кто за кем! — сказала толстуха, и все помчались к будке.

И тоже застыли, слушая чарующую музыку любви, с задумчивыми лицами, растроганными глазами.

А толстуха подперла голову ладонью и горестно думала о чем-то саоем, не сбывшемся в жизни...

Появилась курносая старшина милиции. Она было вынула свисток и свистнула, проталкиваясь сквозь толпу, но услышала ноктюрн и оцепенела...

Электрические часы, висящие на углу, остановились. Они показывали 5 часов 16 минут и ни на секунду больше!

В 5 часов 16 минут площадь Чернышевского была очарована атмосферой возвышенной любви...

Синичкины самозабвенно слушали с обеих сторон трубки.

Незнакомец молчал.

Музыка исчезла. В трубке гремела тишина океанского прибоя.

— Вы здесь? — тихо спросила Маруся.

— Здесь.

— Знаете, что? Пожалуйста... я вас очень, очень, очень прошу — встретьте меня сегодня, после спектакля...

Утченко в ужасе схватился свободной рукой за голову.

— Не могу...— сказал он в отчаянии.

— Нет?!

— Я... Вы... я... Дело в том, что... Ну, как назло... уезжаю сегодня... «Стрелой»... по важнейшему делу!

Маруся поглядела на мать и поникла у трубки.

— Ты его проводишь,— шепнула мать.

— Я приду Вас проводить, хорошо?

Трубка молчала.

— Номер вагона,— шепнула мать.

— Какой вагон? — спросила Синичкина.

— Международный,— сказал Утченко хрипло и повесил трубку.

— Все кончено,— сказал он себе, повернулся уходить и замер.

Со всех сторон будки, прижав носы к стеклам, в него жадно впились женщины.

— Ты не спросила, как его зовут,— сказала мама.

Но Маруся больше ничего не слышала.

Она смотрела на себя в зеркало затуманенными глазами... Она смотрела на себя, на загадочное существо, на заколдованную мазурку, на совершенство, которое встречается раз в жизни, на предмет возвышенной, необыкновенной любви.

И цветы смотрели на нее. И ихтиозавр.

И мама Синичкина, всхлипывая, с восторгом смотрела снизу вверх на свою дочку...

Маруся смотрела на себя в зеркало сияющими глазами — стояла белая ночь, а на Марусиной голове торчали двадцать пять бигуди.

Кроме нее, в зеркале виднелись еще две феи, подруги по театру (Фея Сирени и Фея Канарейка).

Они снимали с Маруси бигуди и причесывали ее на разный манер. Маруся появлялась в зеркале то с челкой, то с распущенными волосами, то с пышным хвостом.

Мама Синичкина озабоченно выглядывала в зеркале справа и слева.

— А потом он сказал...— И Маруся закрыла глаза.— «Спасибо, что Вы есть на этой земле...»

Фея Сирени: Надо же! А ты ему сказала: «Пожалуйста»?

Фея Канарейка: Ну вот еще, что она — ненормальная? *(Марусе)* Не дергай головой.

Маруся: Главное, «спасибо, что Вы есть на этой земле...»

Фея Сирени: Это на какой земле? На Огненной?

Фея Канарейка: Господи, какая бестолковая! Он же вообще про землю! *(Марусе)* Не вертись.

Маруся: А потом почему-то сказал, честное слово, что я мазурка Шопена!

Фея Сирени *(вытаращив глаза)*: Кто? Кто ты?!

Фея Канарейка: Ну что особенного? Конечно, она мазурка. Если хочешь знать — две капли воды! Раз он говорит — он лучше знает!

Маруся *(вглядываясь в себя)*: А может, девочки, все-таки сделать хвост?

Фея Канарейка *(покладисто)*: Ну сделаем хвост!..

И она сделала Синичкиной пышный хвост.

Фея Сирени *(вздыхая)*: Вот так — всю жизнь проживешь... И никто не пришлет тебе ихтиозавра...

Маруся встает перед зеркалом — счастлиаан и красивая.

Фея Канарейка: Постой! *(Великодушно сняла с себя изумрудные клипсы и нацепила Марусе на уши.)*

Фея Сирени: Ну, раз так... *(Вытащила из кармана заветные «Пари Суар».)* Мне для себя на них поглядеть жалко... Но для тебя, если такой случай... *(Она зубами открыла пробку и щедро полила духами Синичкину.)*

— Ой, девочки...— растроганно сказала Маруся.— Вы такие лапочки!

Ее мама прослезилась:
— Вы, девочки, как две феи, наряжаете Золушку на бал!
А Золушка-Синичкина обняла всех троих сразу.

СОБАЧИЙ ЧАС

Тревожная белая ночь стояла над городом.
На перроне, перед «Стрелой», суетились. Носильщики, лавируя в толпе, везли на тележках чемоданы.
У жесткого вагона бородатые студенты лихо качали товарища. Он взлетал, переворачиваясь в воздухе, вместе с рюкзаком. А потом рюкзак, ботинок и кепка начали летать рядом с ним.
У международного вагона с букетиком фиалок робко стояла Синичкина.
Она искала глазами среди входящих в вагон таинственного незнакомца. Но все входили не те...
Толстый усатый генерал, отдуваясь, влез на ступеньки. За ним лейтенант с бакенбардами нес два чемодана.
Потом высоченный интурист — хиппи в заплатанных джинсах и грязной меховой куртке с бляхами — сел в вагон.
Вот он! Синичкина со страхом отступила... Киноартист, герой детективов с ужасно знакомым лицом, небрежно протянул билет проводнице.
Неужели он?!
Синичкина с бьющимся сердцем сделала к нему крошечный шаг, но киноартист скучающе скользнул по ней взглядом, зевнул и вошел в вагон.
И это не он! Но где же?!
Маруся никак не могла представить, что таинственный незнакомец был рядом с ней!
Что он стоял, спрятавшись за чьи-то спины и нацепив искусственный нос и усы, глядел издали грустными собачьими глазами!
Строгий голос по радио предложил всем отъезжающим войти, а всем провожающим выйти и отдать отъезжающим их забытые билеты.
И на перроне сразу стало, как в муравейнике, когда в него воткнут палку. Все сразу засуетились.
Все стали целоваться и обниматься и говорить друг другу одинаковые слова.
А потом уезжающие ушли в вагоны, и наступила та томительная минута, когда говорить уже не о чем, а поезд еще не ушел и приходится что-то показывать друг другу пальцами, делая вид, что пишут, или почему-то вертя телефонные ручки, хотя таких телефонов нет уже лет сто!
Поезд двинулся. Салютуя огнями и мраком, он прошел мимо печальной Синичкиной.
И когда огонек последней площадки скрылся, Маруся криво улыбнулась, понурила голову и медленно пошла к выходу.
Утченко тоже опустил голову и поплелся за ней.
Проходя мимо урны, Маруся бросила туда свои фиалки и быстро пошла, подняв нос кверху.
Утченко выудил из урны ее цветы и с невыразимой тоской поглядел вслед исчезающей фее.

Белая ночь светилась на набережной Невы.
Одинокий рыболов стоял, как фламинго, и печально смотрел на неподвижный поплавок.
А мимо него разные собаки вели своих владельцев на ночную прогулку.
Время от времени они (собаки) поднимали задние лапы и степенно шли дальше.
На каменном спуске, у самой воды, свесив голову, сидел Утченко.
Букетик фиалок лежал на ступеньке рядом.
Он не заметил, как старый черно-седой пес с коричневыми подпалинами его обнюхал. Потом пес с отвращением понюхал фиалки и чихнул.
— Фу! — сказал псу скрипучий голос.
Утченко поднял голову.
Над ним, в сиянии белой ночи, возвышалась старая дама в старинной черной шляпе, под вуалью... Она дернула пинчера за поводок.
— Послушайте, не Вы ли тот самый молодой человек, которому в театре я презентовала бинокль?
— Тот самый.
— И как Вас, в таком случае, зовут?

— Утченко...
— А как Вы думаете, кто я?.. Фу! — сказала она собаке.— Мое имя Алиса Витальевна Гольдич-первая. А это — Гуго фон Шуленбург унд Гельбах.
Дама погладила старого пса. Пес тряхнул золотыми медалями и поглядел на нее слезящимися глазами.
— Вы видите перед собой чемпиона трех выставок кровного собаководства... А я, хм... трудно поверить... хм... солистка Мариинского театра... Бывшая...
Она скорбно улыбнулась.
— А теперь... хм... руководитель породы доберман-пинчеров... Фу! — сказала она Гуго фон Шуленбургу, который, склонив голову набок, некоторое время прислушивался к блохе, как к скрипке, а потом вцепился себе куда-то около хвоста и, выставив заднюю лапу, стал похож на жареную курицу.
— Вы не думайте, это не блохи. Это чисто нервное.
— Я не думаю,— сказал Утченко.
Дама печально улыбнулась.
— Да, молодой человек... Теперь вы можете меня найти на галерее Михайловского театра. А прежде... Вы видите этот дом?
Она показала на особняк с колоннами, дремавший в фосфорическом свете.
— ...Это мой дом. Его подарил мне в шестнадцатом году красавец барон, кавалергард... Он увез меня, пигалицу, кордебалетку с репетиции «Феи кукол», а потом застрелился...
Гуго понурил голову. Дама задумалась.
— Были раньше ценители балета. Лили Куракиной за тридцать два фуэте — коляску с кровными рысаками... Тильде Кшесинской — просто так — дворец на Каменноостровском... А теперь... Ах, мейн либер Августхен, все прошло... Все прошло... Гуго, за мной...
Дама пошла мелкими шажками, а пес поплелся за ней. А потом она повернулась:
— И не смотрите больше в бинокль наоборот... А впрочем... не все ли равно...— она махнула рукой.
И Гуго фон Шуленбург повел солистку императорского театра по набережной, мимо решетки спящего Летнего сада.

Часы в переговорной на Невском показывали два часа ночи.
На стуле, в зале, перед пустыми кабинками, дремал обнимая портфель, одинединственный посетитель. Он ждал, когда его вызовет Комсомольск-на-Амуре.
У окошечек дежурных не было.
Все три телефонистки сбились в глубине комнаты, под плакатом: «Ни одной жалобы от клиентов».
У одной была рыжая челка, у другой — черная, а у третьей — белая.
— Ах, он змей! — возмущенно воскликнула толстушка с рыжей челкой.
— Не мешай! — сказала девушка с черной.
А некрасивая, со светлой челкой, с крашеными волнистыми волосами, как у шахматного коня из карельской березы, продолжала:
— И главное, с кем хочешь — с Люськой, Валькой... А меня не зовет!
— Вот гад,— сказала толстушка.
— Я тогда решила — сама приглашу его на дамское танго!
— Нормально,— сказала черная челка.
— В парикмахерскую сходила... Накрутилась... Маникюр...
— Ну? Ну?
— Пришла, значит, в Лесотехническую на танцы... Сижу, жду... Держу сумки... А Зинка подряд со всеми отплясывает!
— Вот наглая!
— Сижу, жду... Объявили дамское танго... Пошла его приглашать... А он... А он...— всхлипывает.
— Ну?
— А он мне: «Я не танцую»...
Резкий звонок. Звонки... Звонки... Звонки...
Толстушка бросилась к телефону.
— Дежурненькая... Дежурненькая... Мы ждем Комсомольск-на-Амуре... Не отвечает?
Она высунулась из окошка.
— Гражданин, а гражданин!
Клиент с портфелем встрепенулся.
— Амур не отвечает!
Клиент вздохнул, встал, пожевал губами и, зажав портфель под мышкой, ушел.
Толстушка вернулась к подругам.

— Я, говорит, не танцую, а? Я не надеялась, что он такой гад. Говорит, не танцую. А сам бросился приглашать Зинку!

Толстушка захлебывалась от возмущения.

— Ну, это вообще!!

— А Зинка что?! Неужто пошла??!

Белая закивала головой и зареаела.

— Вот гадина! — ахнула толстушка.— Я б такую подругу...

Тут она заметила в окошке посетителя.

Он стоял и безмолвно ждал, протирая очки.

Белая челка вытерла нос и глаза и пошла к окошку.

— Ну, чего? — спросила она не очень любезно.

— Я умоляю Вас... Мне нужно, чтоб Вы солгали.

Она вытаращила глаза на странного некрасивого человека в очках. Нет, он не был пьяным.

— Позвоните по здешнему телефону и скажите, что... Спрашивают с мыса Надежды...

— Да Вы что?!

— Это вопрос жизни и смерти...

Девушка поглядела в его отчаянные, несчастные глаза, такие огромные, через выпуклые стекла, и все простила мужчинам.

— Давайте телефон... Кого вызывать?

Призрачный свет белой ночи падал через легкую штору.

Дремали цветы и воздушные шарики.

Спал ихтиозавр, положив морду на карниз потолка.

На столике истерически зазвонил телефон. Он захлебывался резкими, короткими тревожными звонками.

Вбежала сонная Маруся, на ходу застегивая халатик, со сна кинулась в другой угол, споткнулась о корзину цветов и на одной ноге доскакала до телефона.

— Синичкину,— сказал голос телефонистки.

— Я Синичкина.

— Вас вызывает мыс Надежды.

— Какой мыс?!

— Не отходите от телефона.

Трубка молчала.

Маруся нервно зевнула. Ее била дрожь от ночного холода. Она ждала, положив голову на трубку, закрыв глаза.

— Это Вы?!

Дежурная, прижав трубку к уху, отчаянно замахала подругам.

Те бросились каждая к своему телефону и впились а трубки.

— Как странно,— тихо сказала Маруся.— Вот только что Вы мне снились... Рассказать? Это было где-то... не знаю... Рельсы уходили за горизонт... и не было никого... кроме нас... с Вами... Я шла по одной рельсе, а Вы рядом. Я опиралась о Ваше плечо... А Вы... какой странный сон... обнимали меня... И тени... Уходящее солнце бросало вперед наши длинные-длинные тени. И было так хорошо идти вместе...

Она замолчала.

Шарики покачивались на потолке.

— А какой я был? — тихо спросил Утченко.

— Вы были похожи, знаете, на кого? На Марчелло Мастрояни...

— Да, мы очень похожи,— сказал Утченко.— Нас часто путают...

Телефонистка, которая их соединила, фыркнула: «Вот дает!» И быстро закрыла рукой трубку.

Синичкина сказала:

— Знаете, я была сегодня на вокзале... А Вы... обманули меня... Зачем?

Он молчал.

— И вообще — кто Вы?.. И зачем Вы... вошли в мою жизнь?

Ее голос звенел от слез.

— А потом исчезли...

Черная и рыжая челки, прильнувшие к телефонным трубкам, переглянулись затуманенными глазами.

— И больше не возвращайтесь, слышите? И не присылайте мне бабочек и ихти... и птеродактилей, потому что... я не знаю, куда их Вам отослать...

Он молчал.

— И не смейте являться ко мне во сне...

Фея исчезла. Остались короткие, тоскливые звонки...

Утченко медленно повесил трубку.

Все три телефонистки жадно выглядывали из окошек. Две из трех ждали Марчелло Мастрояни, но увидели маленького некрасивого человечка, пытающегося незаметно проскользнуть в дверь...

СМЕРТЬ РОМЕО

Комната Утченко уже не была удивительной. Она была пустой. Вместе с ихтиозавром к Синичкиной переселились все реликвии чужих путешествий.

На стенке висела одинокая карта Тихого океана, а на столе — Марусины увядшие фиалки и маскарадный нос вместе с усами и очками.

Крутилась хриплая, заигранная пластинка из «Спящей красавицы».

Утченко, худой и небритый, сидел за столом, положив голову на руки.

А вокруг него сидели друзья и помощники по фантазиям.

Кассирша из гастронома, что на углу Загородного...

И длинный мальчишка дворовой футбольной команды, что несли голубей в театр.

И толстяк, вручивший Фее Бриллиантоа воздушные шары.

И дворник, передааший ей розы.

Все сидели и молчали.

Пластинка вдруг забуксовала и закрутилась на одном месте. Утченко остановил ее и, свесив голову, начал рисовать Синичкину прямо на столе.

Она получилась с крылышками не то ласточки, не то феи. В таком виде она стояла на пуантах.

— Так что будем делать? — спросила кассирша. Все молчали.

— Кха...— деликатно кашлянул толстяк.— Я, как водитель седьмой стройконторы могу заехать за Марусей на подъемном кране. Все на него поглядели.

— Ну и что? — спросила кассирша.

— Что — «что»?

— Что дальше?

Толстяк не нашелся, что сказать.

И Утченко печально покачал головой.

Помолчали.

— Можно мне? — поднял руку мальчишка.— Мы так с нашей дворовой командой надумали. Давайте, мы будто нападем на Марью Ивановну. А Вы, Сергей Васильевич, ее как будто спасете!

Все поглядели на мальчишку.

— Умник нашелся,— сказала кассирша.— И все вместе с Сергеем Васильевичем попадете в отделение.

Утченко рисовал веснушки на носу Синичкиной.

— Разрешите обратиться,— сказал дворник и встал.— Я согласен два раза в день подметать их лестницу, Синичкиных. Ну, понятно, от их квартиры.

— Больше ничего не придумал? — ядовито спросила кассирша.

— Больше ничего,— честно сказал дворник.

Утченко взял со стола нос, усы и очки, медленно оторвал нос от усов и очки от носа и бросил под стол, в корзинку.

— Послушайте лучше, что я Вам скажу. Наш бакалейный отдел гастронома собственноручно испечет торт в двенадцать килограммов весом.

И кассирша торжественно обвела взглядом присутствующих.

— Было,— сказал толстяк.

— Что было?

— Торт был.

— Так тот был на сколько кило? На шесть? А этот на двенадцать.

— Старо,— сказал дворник.

Кассирша обиделась.

— Ну, дело хозяйское,— сказала она, поднимаясь.— У меня кончается перерыв.

Она вынула из сумочки деньги и ведомость и положила перед Утченко: — Итак: всего на счету у Вашей феи было двести рублей, ноль копеек. Забрано феей четырнадцать копеек на сырок. Итого в остатке сто девяносто девять рублей 86 копеек. Проверьте, не отходя от кассы.

— И больше она ничего не взяла? — горестно спросил Утченко.

— Ничего,— сказала кассирша.— Я пошла.

И ушла, бросив сочувственный взгляд на Утченко.
Помолчали.
За кассиршей поднялся дворник.
— Я рядом тут, если что...— потоптался и ушел.
А потом астали толстяк и мальчишка.
— Спасибо, друзья мои...— тихо сказал Утченко.
И друзья-помощники покинули своего шефа.
Утченко остался один...
— «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте...» — сказал он, понюхал увядшие фиалки и начал писать: «Милая Маруся! К вам обращается друг известного (зачеркнул) неизвестного вам человека, которого вы знаете... Только что я вернулся (Утченко задумался) из Энска за Мысом Надежды... Человек, которого Вы знаете, был ранен (зачеркнул) тяжело ранен, выполняя одно испытание. Он погиб на моих руках. И последние его слова были: „Прощайте, Маруся, ласточка и Фея Бриллиантов“. Остаюсь с уважением к Вам (он задумался)... Летчик-испытатель сержант Кукурин».

Солнце играло в комнате Синичкиной, оно вспыхивало на всем, на чем можно вспыхнуть, а Фея Маруся разливалась в три ручья над письмом сержанта Кукурина.
Феина мама всхлипывала и гладила дочку по голове.
Лепестки увядших цветов усыпали пол... Один-единственный, сморщенный, похудевший воздушный шарик болтался у потолка в лучах солнца.
Уличный репродуктор передавал мазурку Шопена.
Но вот мазурка кончилась. Радио замолчало.
Раздался выстрел. Это лопнул последний шарик, свалившись на Синичкиных резиноаой тряпочкой.
Маруся громко заплакала, но вдруг перестала и подняла пораженное лицо к репродуктору...
Она услышала... нет, этого не может быть... его голос! Его обольстительный, мягкий, неповторимый голос!
Этот голос печально сообщал, что «во всем мире — бури, ливни, муссоны, ураганы и землетрясения... А также наводнения. И даже тайфун „Мария“ идет к Антильским островам. А в Ленинграде проливной дождь».
Мама Синичкина ахнула.
— Это он! — твердо сказала Маруся.— Двух таких голосов нет на свете!
От репродуктора били молнии солнечных лучей.
— Читал Утченко,— сказал неповторимый голос, и репродуктор умолк.

Синичкина вылетела из парадной, конечно, никакого дождя не было! Она мчалась по улице Марата.
Она бежала по Невскому...
Она неслась по улице Толмачева, чуть не сбивая милых, добрых, любезных, смеющихся прохожих...
Они извинялись, когда она их толкала.
А один старичок, когда она уронила его, сказал:
— Простите, ради Бога.
Солнце горело в окнах домов. Играло на стеклах машин и троллейбусов. Вспыхивало молнией на очках прохожих...
И мазурка Шопена мчалась вместе с Синичкиной, сверкая блестками хрустальных пассажей — ввepx!
Синичкина взбежала по ступенькам Дома радио и замерла с отчаянно бьющимся сердцем...
Оттуда выходили красавцы и красавицы, скрипачи несли скрипки, а виолончелисты — виолончели, но никто не смотрел на Синичкину, занятые разговорами.
И тут показался маленький, грустный некрасивый человек.
Вдруг он увидел Марусю, и отчаяние отбросило его назад.
Он чуть не упал.
Маруся приблизилась к нему.
Она посмотрела в его добрые, испуганные, несчастные глаза, такие громадные под выпуклыми стеклами...
— Простите меня...— тихо сказал он своим печальным, удивительным, неповторимым голосом.
И Маруся Синичкина, всхлипнув, бросилась ему на шею.
И наверно, опять зацепилась за его пуговицу.

Вера БУРДИНА

Журавлиное эхо

Притяженье слабеет земли,
и печальнее мир, и чудесней...
Упадут в синеву журавли
и останутся там, в поднебесье.

Не вернется на ветви листва.
У родных пепелищ не согреться.
Притяженье слабеет родства —
отдохни, опустевшее сердце.

Отплывая, гудят корабли,
и светло за кормою от чаек.

Притяженье слабеет любви.
Отчуждения ветер крепчает.

Я не вижу знакомых мне лиц,
застилает глаза ветра кипень.
И с ветвей отлетающий лист
обретает свободу и гибель.

Но все слышится, слышится мне,
даже в пору январского снега,
журавлиное долгое эхо
в опустевшей давно вышине.

◆◆◆

Я столько лет живу без тишины —
березовой, рябиновой, ольховой,
рассветной, поднебесной, родниковой,
неведомой и той, полузнакомой,
когда мы были, милый мой, нежны.

И вот сейчас друг другу не нужны.
От суеты и шума — беспризорны.

Слова легки, а страсти наши вздорны.
Без глубины мельчают в море волны,
слабеют крылья птиц без вышины.

Я столько лет живу без тишины!

Когда-то в детстве

Известковый курган. Шрамы сизые
заметает печаль и ковыль...
Мы приходим с корзинкой за гильзами,
разрываем горячую пыль.

А в ларьке за железными ставнями
с непонятным названьем «Утиль»
дядя Коля с культей и медалями
наклоняет над кружкой бутыль...

Будет мат-перемат, не иначе,
только нас его брань не проймет.
— Не приму! — прохрипит и заплачет:
— Не приму!..
Мы заплачем — возьмет.

И тогда, в голубые ладошки,
еще хнычущей ребятни,
вдруг прольется серебряный дождик
с уцелевшей его пятерни.

◆◆◆

В комиссионном магазинчике
былое с будущим в ладу:
девчонка, отведя мизинчики,
примерит белую фату.

О, предстоящее замужество,
пьянящий подвенечный дым!
Но платье легкое и кружево
с печальным запахом чужим...

Вон сколько их, ценой помеченных,
висит средь будничных одежд!
Чужие платья подвенечные
еще с пыльцой былых надежд.

Ах, не в цене заветы бабушек,
что платьям белым нет цены,—
в который раз, как крылья бабочек,
огнем они опалены!

Последнее утро

Ни следа до крыльца из степи
по нетканой февральской холстине.
Под окошком лишь пес на цепи
осыпает из пасти иней.

И твердеют зрачки его глаз,
дыбом шерсть застывает на холке:
там, за ставнями, мертвая мгла,
ни дымка хозяйской махорки.

От мороза трещали венцы...
С темных стен в изголовье кровати
безымянно смотрели бойцы
в орденах, в победной браваде.

Свет сочился тяжелый, как ртуть,
из-под ставней и стыл на подушке...
Вдруг ударили ходики в жуть
заполошным криком кукушки.

Ни вдова, ни военный оркестр
тишины за окном не нарушат.
Только пес в беспощадность небес
завывает... тише и глуше.

А под вечер — пуста конура,
промороженная фанера.
Оттопыривается кобура
участкового милиционера.

У звонницы

Л. М. Агееву

На заре пахнет дымом, багульником!
Как туман звон струится окрест!
Только слышу: хрипит, богохульствует,
льет обиду звонарь в благовест:

— Упади, птица светлая месяца,
сбей меня с колокольни крылом!
Зря осилил высокую лестницу,
разбудил стопудовый гром!
Над юдолью каменной города
языками ворочал я зря —
не разбудит оглохших ни колокол,
ни безбожный хрип звонаря!

Небо птицами дышит и осенью,
вырастают дожди, как трава,—
медным громом, сиреневой окисью
сожжена моя голова!
Свою гибель я вижу воочию:
благовест разорвет мне виски!
Языками уже не ворочаю —
Мной ворочают языки.
Мне давно под грохочущей бездною
плечи выверпуло бечевой!
Сокруши звонаря, гром небесный,
отпусти меня, вечевой!

Три небесные сестры

Ночь и ветер — кот и пряжа.
Спят атланты, словно стража,
с вечной мукой на устах...
Три мадонны Эрмитажа
оживают на холстах.
Освещает нимбов охра
материнства чистоту,
словно утренние окна
распахнули в черноту:
запах неба и сирени
и предвечное «уа»,
скорбь мадонны Рафаэля,
смех мадонны Бенуа,
тихий шепот монны Литты,
теплота ее соска...
Словно краски, в рамах слиты
счастье, вера и тоска.
Бьются в сумраке три сердца
материнства. Спят века.
По щеке Христа-младенца
капли слез и молока...

Ни любовь, ни меч, ни слово
мать с младенцем не спасут.
Впереди всегда Голгофа.
Вознесенье. Вечный суд.

Марек
ВАВЖКЕВИЧ

Старая женщина по имени Роза

Матери

Она умерла давным-давно.
Тогда ей было чуточку за девяносто.
Сегодня ей уже за сто двадцать.
И с каждым годом она все моложе.
И все начинает наново.
Вот она хоронит мужа, от которого имела шестерых детей.
(Он отдал Богу душу,
успев перед этим обанкротиться.)
Вот поднимает детей на ноги.
Становится чемпионкой Варшавы по фигурному катанию на коньках —
И никто уже не упомнит, кем был тот, кто катался с ней в паре.
И никто уже знать не знает, был ли он ее любовником.
А вот мне бы хотелось, чтоб был.
Чтоб и ей перепало немного любви после шести беременностей.
Вот она обыгрывает в карты,
В забытую уже игру под названием «девятый вал»,
Самого крупного шулера столицы.
Он был фольксдойчем.
Он заслужил этот свой проигрыш.
А она вот живет. И идет война.
А она все живет. И война кончается.
Вот бежит она с улицы Топель до самого Прушкова.
И такой мороз, и такие сугробы.
И она умудряется уложиться в неполных три часа.
А потом еще готовит обед на шестнадцать персон.
И еще смеется. И живет дальше.
Вот она бреется уже ежедневно, как и подобает истинным джентльменам.
Трудится. Крутится, горбясь.
(Это после пневмоторакса
с выпиливанием ребер.)
Причесывает свои реденькие седые волосы.
И живет. И умеет считать деньги.
Вот у нее уже внуки. И жизнь продолжается.
И вот у нее уже правнуки, имен которых она никак не запомнит,
вечно их путает.
А еще она жуткая сладкоежка.
И хвастается в кавярне, что вчера удалила зуб.
(А у нее с сорока лет вставные челюсти.)
Живет. И чудом избегает удара ножом.
Клюет носом, сидя перед телевизором.
Вот она хоронит двух сыновей.
А еще проклинает невестку.
Вот на станции Влохи говорит о кондукторе: «Идиот!»
И в этом ее слове вся детерминированность существованья.
Вот она хоронит третьего сына.
И теперь уже умеет считать только до трех.
И живет. И просыпается во втором часу ночи.
И смотрит в ночь. И в два часа все на свете помнит.
Все. Даже то, чего и в помине не было.
Вот она прижимает к груди голову своего мужчины.
Вскармливает своих шестерых.
Дает деньги на мороженое несчетным праправнукам.
Вот она засыпает во сне
Сыпучем, как высохшая река.
И живет. И умирает. И улыбается, умирая.

Смерть после такой жизни —
Это осенняя улыбка.
Вот она садится в «Боинг». И опять живет.
И на Монреальской Олимпиаде
Выигрывает забег на десять тысяч метров.
И флаг цвета старых ее очей медленно поднимается на мачту.
И трубят в фанфары
Архангелы Гавриил, Михаил
И Александр. Тот третий, который был ее мужчиной.
И буря аплодисментов и мои слезы
Перед телеприемником сердца.
Я смотрю на нее с помощью Телестара.
Я слышу шелест ее черной шерстяной юбки.
Я вижу три нитки жемчужин.
Она что-то говорит. И я кручу ручку настройки.
«Я счастлива,— говорит она.— Моя дочь Ванда родила сына».

Перевел с польского **Виктор МАКСИМОВ**

Курцио
МАЛАПАРТЕ

КАПУТ

Роман

Красные собаки

Денно и нощно шел дождь: море разливанное украинской грязи медленно растекалось до самого горизонта. По огромной равнине ветер носил жирный запах грязи, смешанный с затхлым запахом гнивших в бороздах, неубранных колосьев пшеницы и нежным и вялым ароматом подсолнухов. Из черных зрачков подсолнухов осыпáлись семечки, а длинные желтые ресницы мягко опадали вокруг большого круглого глаза, похожего на пустой и белый глаз слепца.

На деревенских площадях немецкие солдаты, приходя с фронтовой линии, молча бросали ружья прямо на землю. Они с головы до ног покрылись черной грязью, у них отросла борода, потухшие и белые глаза запали и стали походить на глаза подсолнухов. Офицеры смотрели на солдат, на их брошенные на землю ружья и помалкивали. Отныне Blitzkrieg, молниеносная война, окончилась и уступила место Dreissigjähriger Blitzkrieg, молниеносной тридцатилетней войне. Победоносная война закончилась, началась война проигранная. И я видел, как в глазах немецких офицеров и солдат зарождалось белое пятно страха, я видел, как это пятно постепенно расширялось, поглощая зрачок, сжигало ресницы и ресницы падали, одна за другой, как длинные желтые лепестки подсолнухов. Когда немец начинает бояться, когда таинственный немецкий страх начинает точить его кости — тут он и становится более всего ужасен и жалок. Он становится отвратителен, его разъедает печальная жестокость, а смелость его молчит и молчит она безнадежно.

Русские пленные, которых приводили с линии фронта в тыл, были не теми, что в первые месяцы войны против России. Это были не те люди, что в июне, июле и августе. В сопровождении немецких солдат они шли по летней жаре, пешком, целыми днями шли в красно-черной пыли украинской равнины. В первые месяцы войны женщины в деревнях выходили на порог, смеялись и плакали и приносили пленным поесть и попить.

— Ох, бедный, бедный! — говорили они.— Бедные!

Женщины приносили поесть и попить даже солдатам охраны, которые сидели на скамейках вокруг сброшенных в грязь гипсовых статуй Ленина и Сталина, солдаты курили и весело разговаривали между собой, держа между колен автоматы. Во время остановок русские пленные почти свободно расхаживали по деревне, они входили в дома, мылись нагишом у колодцев. Но по свистку немецкого капрала все возвращались на места, и колонна двигалась дальше, с песней выходила из деревни и тонула в желто-зеленом море огромной равнины. Женщины, старики, дети шли за колонной, смеясь и плача. В какой-то момент они останавливались и долго стояли, махая на прощание рукой и кончиками пальцев посылая воздушные поцелуи пленным, которые уходили под жарким солнцем по пыльной дороге и, оборачиваясь, кричали:

— До свидания! До свидания!

Солдаты немецкой охраны шли с автоматами за спиной, переговариваясь друг с другом, они шли по дороге, вившейся между изгородями и подсолнухами. А подсолнухи кланялись и выглядывали из-за оград, смотрели, как уходили пленные, долго не отводя от колонны круглого черного глаза, пока колонна не исчезала в огромном облаке пыли.

Но теперь победоносная война закончилась и началась проигранная война. Солдаты немецкой охраны больше не шли с автоматами за спиной, болтая и пересмеиваясь между собой. Они сжимали края колонны, вопя хриплыми голосами и вперяя в пленных черный и блестящий глаз автомата. Бледные и исхудалые пленные еле тащили ноги по грязи, они были голодны, им хотелось спать, а в деревнях женщины, старики, дети смотрели на них полными слез глазами, тихо приговаривая:

— Ничего нет, ничего нет!

Окончание. Начало см.: «Нева», 1990, № 10, 11.

У людей больше ничего не оставалось, даже куска хлеба, даже стакана молока. Немцы все взяли, все растащили.

— Ничего, ничего! Все равно! — отвечали пленные.

И колонна под дождем проходила деревню, не останавливаясь. Тонула в море черной грязи.

Затем начались первые «уроки на свежем воздухе», первые упражнения в чтении по колхозным дворам. Один раз мне случилось присутствовать на одном из таких «уроков», это было в колхозном дворе рядом с Немировским. С тех пор я всегда отказывался присутствовать на подобных уроках.

Пленных выстроили во дворе колхоза. Вдоль забора под большими навесами в беспорядке валялась сельскохозяйственная техника: косилки, культиваторы, механические повозки, веялки. Шел дождь, пленные вымокли до костей. Они стояли здесь уже в течение двух часов, молча и поддерживая друг друга. Здоровые светловолосые парни с бритыми головами и со светло-серыми глазами на широком лице. У них были большие мозолистые руки с короткими и узловатыми пальцами. Почти все — крестьяне. Рабочие, по большей части колхозные механики, выделялись среди прочих осанкой и видом рук: они были выше ростом, худощавее, кожа у них была светлее, сухие руки с длинными и гладкими пальцами знали молот, рубанок, гаечный ключ, отвертку, ручку мотора. Их можно было узнать по строгим лицам, по прищуренным и внимательным глазам.

Вот немецкий унтер-офицер, фельдфебель, вошел на колхозный двор в сопровождении переводчика. Он встал перед пленными, расставив ноги, и заговорил с благодушным видом отца семейства. Он сказал, что сейчас будет устроен экзамен по чтению: каждый прочтет громким голосом текст из газеты. Те, кто хорошо выдержат экзамен, получат место секретарей в канцелярии лагерей для военнопленных. Другие, те, что не сумеют с честью пройти проверку, будут использованы на земляных работах — чернорабочими, землекопами.

Переводчик в чине зондерфюрера, маленький и худой человечек не старше тридцати лет, с бледным лицом в мелких красных прыщах был уроженцем России — из немецких поселенцев у Мелитополя, и говорил по-русски с особым немецким акцентом; в первый раз, когда я его увидел, я сказал ему, что Мелитополь означает «город меда».

— Да, в районе Мелитополя много меда,— ответил он мне грубым голосом и насупился, а потом прибавил: — Но я не занимаюсь пчеловодством, я — школьный учитель.

Короткую и благожелательную речь фельдфебеля, слово в слово, перевел зондерфюрер. Тоном школьного учителя, который любит своих учеников, он посоветовал обращать внимание на ударение и читать свободно и, вместе с тем, старательно, потому что, если пленные не пройдут хорошо экзамен, им же будет хуже.

Пленные молча выслушали, а когда зондерфюрер умолк, они заговорили все вместе, пересмеиваясь между собой. У многих был приниженный вид, пришибленное выражение лица, они посматривали на свои мозолистые крестьянские руки. А другие смеялись от всего сердца, потому что были уверены, что успешно сдадут экзамен и станут секретарями в канцелярии.

— Ruhe! Тихо! — внезапно крикнул фельдфебель.

Приближалась группа офицеров, во главе которой шел старый полковник, высокий, худощавый и сутуловатый человек с короткими серыми усами. Он слегка тянул ногу. Полковник рассеянно посмотрел на пленных, потом монотонно заговорил, проглатывая слова, как бы спеша закончить фразу. После каждой фразы он делал долгую паузу и смотрел в землю. Он сказал, что те, кто выдержат экзамен и так далее... Зондерфюрер, слово в слово, перевел речь полковника, потом от себя добавил, что правительство в Москве истратило миллиарды на советские школы, что он-то это хорошо знал, потому что сам был учителем в советской школе немецкого поселения под Мелитополем, что все те, кто провалятся на экзамене, будут отправлены на работы землекопами и чернорабочими, и если они так ничему и не выучились в школе, то пусть пеняют на себя. Создавалось впечатление, что зондерфюрер лично был заинтересован в том, чтобы все прочли бегло и с правильным ударением.

— Сколько их? — спросил полковник у фельдфебеля, почесывая подбородок рукой в перчатке.

— Сто восемнадцать,— ответил фельдфебель.

— По пяти сразу и каждому — две минуты,— сказал полковник,— мы должны за час с этим покончить.

— Jawohl! [1] — сказал фельдфебель.

Полковник подал знак одному из офицеров, у которого под мышкой была пачка газет, и экзамен начался.

[1] Слушаюсь! *(нем.)*

Пять пленных сделали шаг вперед: каждый протянул руку, взял у офицера газету (это были старые номера «Известий» и «Правды», найденные в служебных помещениях колхоза) и читал громким голосом. Полковник поднял левую руку, посмотрел на часы. Так он и стоял с поднятой на уровне груди рукой, следя глазами за стрелкой часов. Шел дождь, газеты намокали, размокали, провисали в руках пяти пленных. А те читали, то краснея, то бледнея, влажные от пота, спотыкаясь на словах, заикаясь, делая ошибки в ударении, перескакивая через строчки. Все умели читать, но с трудом, кроме одного молодого человека, который читал уверенно, медленно, время от времени поднимая глаза от газеты. Зондерфюрер слушал чтение с иронической улыбкой, в которой, как мне показалось, я почувствовал оттенок презрения: ведь в своем качестве переводчика он был главным судьей. Он был Судьей. Он уставился на читавших, глаза его с рассчитанной медлительностью и злым выражением переходили от одного к другому.

— Halt! [1] — сказал полковник.

Пять пленных подняли глаза от газет и ждали. Фельдфебель по знаку судьи крикнул:

— Те, что не прошли экзамен, пойдут налево, туда, а те, что прошли,— направо, вот туда.

Когда первые провалившиеся — их было четверо — по знаку судьи, понурив головы, отошли налево, из рядов остальных пленных послышался иронический и веселый смех, офицеры вместе с фельдфебелем тоже смеялись, и зондерфюрер тоже засмеялся.

— Бедненькие! — говорили пленные своим неудачливым товарищам. И смеялись. Тот, что выдержал экзамен, один-одинешенек в своем углу направо, смеялся пуще других и подтрунивал над беднягами. Все смеялись, кроме тех пленных, которые были похожи на рабочих, они упрямо и зорко смотрели на полковника и молчали.

Потом был черед следующих пяти пленных. Они тоже старались читать получше, не цепляясь за слова, не ошибаясь в ударении, но только двоим удалось прочитать бегло, трое же других читали, краснея от стыда или бледнея от смущения, облизывая пересохшие губы.

— Halt! — сказал полковник. Пятерка пленных подняла головы, газетой утирая пот со лбов.

— Вы трое — туда, налево, двое — направо! — выкрикнул фельдфебель по знаку зондерфюрера.

А остальные посмеивались над провалившимися:

— Эх, бедный Ваня,— говорил один.— Бедный Петр! — говорили они, хлопая друг друга по плечу, словно говоря: — Ну, вам теперь камни таскать — не перетаскать! — И все смеялись.

Один из пяти пленных третьей группы читал очень хорошо, бегло, хорошо выговаривая слоги, и время от времени поднимал глаза и смотрел прямо в глаза полковнику. Газета, которую он читал, была старым номером «Правды» от 24 июня 1941 года, на первой странице говорилось: «Немцы напали на Россию! Товарищи солдаты, советский народ добьется победы, раздавит захватчиков». Под дождем слова слетали звучно, а полковник смеялся, зондерфюрер смеялся, фельдфебель, офицеры — все смеялись. Даже пленные улыбались, с восхищением разглядывая товарища, который читал, как настоящий школьный учитель.

— Браво! — сказал зондерфюрер, и лицо его лучилось радостью, он казался гордым за пленного, который так хорошо прочел, он был доволен и горд, словно речь шла о его собственном ученике.— Ты — туда, направо,— сказал фельдфебель пленному добродушным голосом, с восторгом подталкивая его рукой. Полковник посмотрел на фельдфебеля, словно хотел ему что-то сказать, но ничего не сказал, и я заметил, что он слегка покраснел.

Собравшаяся справа группа улыбалась, все были довольны. Они сдали экзамен успешно и смотрели на своих неудачливых товарищей с насмешкой. Но те, что попали в число счастливчиков и имели вид рабочих, молчали и пристально смотрели на полковника. В какой-то момент он встретился с ними взглядом. Он покраснел, с жестом нетерпеливого раздражения крикнул:

— Schnell! Быстро!

Экзамен продолжался примерно час. Когда последняя группа пленных — всего три человека — отчитала свои две минуты, полковник повернулся к фельдфебелю и сказал ему:

— Пересчитайте их!

Провалившихся на экзамене людей из левой группы оказалось восемьдесят семь, а тех, с правой стороны — тридцать один человек. Тогда по знаку полковника заговорил зондерфюрер. Да, он, как истинный школьный учитель, был недоволен учениками.

[1] Стоп! *(нем.)*

Он сказал, что разочарован, что глубоко сожалел, ведь пришлось стольких отстранить, что лично он был бы счастлив всех пропустить на экзамене.

Как бы там ни было, сказал он, те, кому не удалось сдать экзамен, не должны терять надежду: с ними хорошо обойдутся и, если они будут работать и проявят старание, которого им не хватило на школьной скамье, им не придется жаловаться. Пока он говорил, группа сдавших экзамен с сочувствием смотрела на неудачливых товарищей, а те, что были помоложе, со смешками подталкивали друг друга локтями. Когда зондерфюрер окончил речь, полковник повернулся к фельдфебелю и сказал:

— Alles in Ordnung. Weg! [1]

Потом он, не оборачиваясь, направился в сторону штаба, за ним последовали офицеры, которые то и дело поглядывали назад, тихо переговариваясь между собой.

— Вы останетесь здесь до завтра, отправитесь в трудовой лагерь,— сказал фельдфебель группе слева. Затем он повернулся к правой группе счастливчиков и жестким голосом приказал им выстроиться в ряд. Как только пленные выстроились, локоть к локтю (у них были довольные лица, они улыбались, посматривая на товарищей с иронией), фельдфебель пересчитал их и сказал:

— Тридцать один,— сделал знак рукой ожидавшему в конце двора наряду СС. Затем приказал пленным: — На-пра-во, марш!

Пленные повернулись направо, пошли, усердно топая по грязи. Когда они близко подошли к ограде, фельдфебель отдал приказ:

— Halt! — и, обернувшись к наряду эсэсовцев, которые встали за спинами пленных с автоматами наготове, он откашлялся, плюнул на землю и крикнул: — Feuer! [2]

При звуке залпа полковник, который был всего в нескольких шагах от двери штаба, остановился и быстро обернулся, офицеры тоже остановились и посмотрели туда, где только что прогремел залп. Полковник провел рукой по лбу, как бы утирая пот, затем вместе с офицерами прошел в дверь.

— So! [3] — сказал мне зондерфюрер, проходя мимо.— Нужно очистить Россию от всей этой ученой братии. Крестьяне и рабочие, которые слишком хорошо умеют читать и писать, опасны. Они все коммунисты.

— Natürlich,[4]— ответил я,— но в Германии все рабочие и все крестьяне прекрасно умеют читать и писать.

— Немецкий народ — это народ высокой культуры.

— Ну, конечно,— ответил я,— немецкий народ — это народ высокой культуры.

— Nicht wahr? [5]— сказал, смеясь, зондерфюрер и направился к штабу.

Затем, по мере того как возрастал их таинственный страх, все больше расширялось в их глазах таинственное белое пятно страха, немцы начали убивать пленных, у которых были больные ноги, которые не могли идти, они начали сжигать деревни, если наряды реквизиции не получали в этих деревнях столько-то мер хлеба, муки, ржи, кукурузы, такого-то количества лошадей, домашнего скота. Когда евреев не стало, они начали брать крестьян. Они вешали их за горло или за ноги на деревьях на деревенских площадях, развешивали их вокруг пустых пьедесталов, где за несколько дней до этого стояли статуи Ленина и Сталина, их вешали рядом с омытыми дождями трупами евреев, которые уже долгие дни качались под черным небом.

— А! Жидовские собаки! Die jüdische Hunde! — говорили, проходя мимо, немецкие солдаты.

Вечером, когда мы останавливались в деревнях на ночевку (мы теперь были в самом сердце бывших казачьих территорий на Днепре) и когда мы зажигали огонь, чтобы просушить одежду, намокшую на спине от дождя, солдаты ругались между собой тихим голосом.

В медленном, утомительном, бесконечном марше на восток мы дошли до первых казацких деревень. Старые бородатые казаки сидели у порога домов и смотрели на проходившие мимо колонны немецкой армии. Они посматривали вверх, на слегка вогнутое над огромной равниной прекрасное украинское небо, нежное и легкое украинское небо, покоящееся на горизонте на высоких дорических колоннах чисто-белых облаков, поднимавшихся из пурпурных глубин осенних степей.

По ночам я иногда уходил от бивуака или из дома, в котором устраивался на ночлег, брал с собой одеяла и шел в хлебное поле около лагеря или около деревни. Растянувшись в намокшей от дождя соломе, я ждал рассвета, слушая в полудреме, как мимо с шумом проходили обозы румынской кавалерии, колонны танков.

---

[1] Все в порядке. Прочь! *(нем.)*
[2] Огонь! *(нем.)*
[3] Вот! *(нем.)*
[4] Конечно *(нем.)*.
[5] Не так ли? *(нем.)*

Стаи бродячих голодных собак подходили ко мне, виляя хвостами, они обнюхивали меня. Это были маленькие, беспородные украинские собачонки с желтоватой шерстью, красными глазами и на кривых ногах. Часто какая-нибудь собачонка укладывалась рядом со мной, лизала мне лицо и каждый раз, как раздавались шаги на соседней тропинке или колосья потрескивали под сильным порывом ветра, собака тихо рычала. Тогда я говорил ей:

— Лежать, Димитрий! — и будто я разговаривал с человеком, с русским. Я говорил ему: — Молчи, Иван,— я как бы разговаривал с одним из тех пленных, что старались хорошо прочесть, что сдавали экзамен, а теперь лежали в грязи с изъеденным негашеной известью лицом, там, под изгородью, в колхозном дворе, в деревне рядом с Немировским.

Потом дожди кончились, и через несколько дней назойливого и холодного ветра вдруг стало подмораживать. Снега еще не было, а наступили внезапные и жестокие осенние заморозки. Ночью грязь затвердела и лужи подернулись сияющим, тонким, как кожа, ледком. Воздух стал прозрачным и чистым, а серо-голубое небо, казалось, все покрылось трещинами, как разбитое зеркало.

Марш немцев на восток возобновился. Грохот артиллерии, стрекот ружейных выстрелов и пулеметных очередей раздавались сухо и чисто, не смягчаясь эхом. Тяжелые танки генерала фон Шоберта, которые во время долгих дождливых дней с трудом продвигались, как жабы, барахтаясь в вязкой и хваткой грязи на равнине между Бугом и Днепром, зашумели вдоль затвердевших от заморозков дорог. Синий дым из выхлопных труб разрисовывал воздух над вершинами деревьев, и издали видно было, где проходили танки.

То был самый опасный момент большого русского осеннего кризиса 1941 года. Армия маршала Буденного, этого советского Мюрата, медленно отступала к Дону, а в арьергарде действовали кавалерийские отряды казаков и маленькие танки, немцы называли их Panzerpferde, то есть лошадьми в броне. Водители Panzerpferde, маленьких и чрезвычайно подвижных машин, по большей части были молодые татары-рабочие, стахановцы и ударники со сталелитейных заводов Дона и Волги. Они действовали, применяя тактику татарской кавалерии: внезапно появляясь, они били по флангам противника, исчезали за лесом и кустарником, прятались за неровности ландшафта и вновь неожиданно появлялись с тыла, описывая широкие спирали по полям. Это была тактика легкой кавалерии Мюрата, которой он так гордился. Танки кружили по равнине, словно лошади в манеже.

Но Panzerpferde с каждым днем появлялись все реже, и я спрашивал себя, где же скрывался Буденный, усатый Буденный с огромной армией казачьей и татарской кавалерии. В Ямполе мы еще не перешли Днестр, а крестьяне говорили нам:

— Ну, Буденный вас поджидает за Бугом!

Пройдя Буг, мы слышали, как крестьяне говорили:

— Ну, он дожидается вас за Днепром.

А теперь:

— Буденный поджидает вас за Доном.

Немцы, как ножом, врезались все дальше и дальше в украинскую равнину, и уже рана болела, нагнаивалась, превращалась в нарыв. Вечером в деревнях, где колонна останавливалась для ночлега, я слушал глухие голоса граммофонов где-нибудь в сельсовете, колхозе, в универмаге всегда отыскивался граммофон и сто ка пластинок: это были пластинки с обыкновенными заводскими, колхозными песнями для рабочих клубов, и всегда среди них попадался марш Буденного, я слушал марш Буденного и думал: что, черт возьми, делает Буденный? Где же он, наконец, этот усатый Буденный?

В один прекрасный день немцы начали охоту на собак. Сначала я подумал, что обнаружился какой-нибудь случай бешенства и генерал фон Шоберт приказал уничтожить собак. Эсэсовцы и танкисты бегали по улицам, стреляли из автоматов, кидали гранаты в бедных бездомных кривоногих собак с желтоватой шерстью и блестящими красными глазами. Немцы преследовали собак в садах и огородах, во дворах и под изгородями, бегали за ними по полям. Бедные животные убегали в лес, таились, ложась на брюхо в канавах за огородами, или искали убежища в домах, забивались в углы, в крестьянские кровати, за печки, под лавки. Немецкие солдаты входили в дома, выгоняли собак из их убежищ, убивали прикладами.

Самые жестокие в этой охоте были танкисты. Можно было подумать, что они питали к этим бедным собакам какую-то личную ненависть. Но почему? Я задавал танкистам этот вопрос. Их лица мрачнели:

— Спросите у собак! — отвечали они сухо, поворачиваясь ко мне спиной.

Но старые казаки, сидя у порогов домов, посмеивались в усы и хлопали друг друга по коленям.

— Эх! Бедные собачки! — говорили они и хитро посмеивались, будто жалели не бедных собак, а бедных немцев. У старух, выглядывавших из-за изгороди палисадника, девушек, спускавшихся к реке с двумя ведрами на коромысле, детей, набожно хоронивших в поле бедных убитых собачек,— у всех на лицах была грустная и хитрая улыбка. По ночам повсюду: и в деревнях, и в полях, и в лесах — слышен был лай, жалобный вой, слышно было, как в поисках пищи собаки царапались вокруг изгородей и домов, а немецкие часовые орали:

— Кто идет?

Чувствовалось, что немцы боялись чего-то ужасного и таинственного, боялись собак.

Однажды утром я находился на артиллерийском наблюдательном посту, откуда непосредственно можно было видеть атаку немецких танков. Соединения тяжелой артиллерии под прикрытием леса ожидали команды идти в атаку. Было ясное и холодное утро. Я смотрел на поля, по которым поблескивал иней, на черно-желтые леса подсолнухов под поднимавшимся небом (небо было точно таким, какое описано у Ксенофонта в третьей книге «Анабасиса»: там, вдали, прямо передо мной, оно рождалось из паров, и действительно это был обнаженный и розовый, молодой античный бог среди голубых и зеленых небесных вод — он поднимался ввысь, освещая дорическую колонну Пятилетки, пятилетки из бетона, стекла и стали советской тяжелой промышленности). Вдруг я увидел, как из леса выходило танковое соединение и веером рассыпалось по равнине.

За несколько мгновений до начала атаки генерал фон Шоберт прибыл на наблюдательный пункт. Он всматривался в поле боя и улыбался. Танки шли, а за ними пехотинцы продвигались по бороздам от гусениц, словно прорезанным резцом по медной дощечке равнины, спускающейся на юго-восток от Киева. Было что-то дюреровское в этой широкой картине, нарисованное с сухой четкостью, в этих таинственных, окутанных мимикрической сеткой солдатах, словно античные гладиаторы, аллегорические фигуры стоявших по краям этой гравюры на меди, в глубине открытой перспективы, где деревья, обозы, пушки, машины, люди, лошади распределились разными группами на первом плане склона, покато спускавшегося от пункта наблюдения к Днепру; затем далее, по мере того как расширялась и углублялась перспектива,— в согнувшихся за танками фигурах с автоматами в руках, в рассеявшихся танках среди высокой травы и в зарослях подсолнухов. Было что-то дюреровское в готической тщательности деталей, которые немедленно подмечал глаз: будто резец гравера, отдыхая, задержался на широко открытых челюстях мертвой лошади, на бредущем в кустах раненом, на солдате, прислонившемся к стволу дерева, приложив руку ко лбу, чтобы прикрыть глаза от солнечного света, и тяжесть руки резчика оставила на меди глубокий след. Так же и глухие голоса, ржание, редкие сухие выстрелы, резкий скрежет гусениц — казались гравюрой Дюрера в ясном и холодном воздухе осеннего утра.

Генерал фон Шоберт улыбался. Тень смерти уже лежала на нем, смерть паутиной затянулась над ним и, конечно, он уже чувствовал эту тень у себя на лбу, он прекрасно знал, что всего через несколько дней он погибнет в пригороде Киева и что даже в самой смерти проявится поразительное изящество его манер, несколько легкомысленная венская элегантность (он знал, конечно, что умрет через несколько дней, приземляясь на своем маленьком самолете, «стрекозе»; на аэродроме только что занятого Киева колеса его «стрекозы», кося траву авиационного поля, попадут на мину, и он исчезнет в букете красных цветов неожиданного фейерверка. Только его носовой платок с вышитыми белым по голубому полотну инициалами упадет на траву аэродрома).

Генерал фон Шоберт был одним из тех старых баварских дворян, для которых Вена — лишь ласковое прозвище Мюнхена. В нем было нечто непередаваемо старообразное и, вместе с тем, юношеское, что-то старомодное в его сухом профиле, в иронической и грустной улыбке, что-то мечтательное и меланхоличное в голосе, которым в Бельцах, в Бессарабии, он говорил мне:

— Увы! Мы воюем с белой расой.

В голосе, которым в Сороках, на Днестре, он говорил мне:

— Побеждая, мы одерживаем смерть.

Он хотел сказать, что последний великий лавровый венец немецких побед окажется смертельным для немецкого народа, что вместе с победами немецкая нация завоюет собственную смерть.

В это утро он улыбался, смотрел на колонну танков, веером выезжавших на киевскую равнину. А на полях этого офорта Дюрера старинным готическим шрифтом было написано: «Побеждая, мы одерживаем смерть».

Танки, за которыми следовали штурмовики, уже глубоко проникли в пустынную равнину. После первых ружейных выстрелов великая тишина обрушилась на огромное пространство, плескавшее волнами травы, объятой огнем первых осенних заморозков. Казалось, что русские покинули поле боя и отступили туда, за реку. Какие-то большие птицы поднимались над купами акаций, множество серых птичек, похожих на



Рис. Б. Аникина

воробьев, попискивая, поднималось над лугами, и их крылья тускло поблескивали в лучах восходящего солнца. Над далеким прудом пролетели две дикие утки, медленно гребя крыльями. И вот, одна за другой, из леса, там, вдали, появились черные точки, затем еще и еще, они быстро двигались, исчезали за кустами, опять появлялись, ближе и ближе, во весь опор стремясь навстречу немецким танкам.

— Die Hunde! Die Hunde! [1] — кричали повергнутые в ужас солдаты вокруг нас. Ветер доносил веселый и свирепый лай, словно стая собак гналась за лисицей.

Перед внезапным натиском собак танки замешкались, начали ерзать, двигаясь зигзагами, яростно выплевывая пулеметные очереди. Следовавшие за танками пехотинцы остановились, сбитые с толку, затем в панике разбежались, мечась туда и сюда по равнине. Чисто и легко, словно звон стекла, доносился стрекот пулеметов. Лай своры кусал яростный вой моторов, время от времени слышны были слабые выкрики, которые ветер сдувал под шелест травы:

— Die Hunde! Die Hunde!

Вдруг до нас донесся глухой шум взрыва, затем другой и еще один, и мы увидели, как два, три, пять танков взлетели на воздух, стальные плоскости блеснули в высоких гейзерах земли.

— А! Собаки! — сказал генерал фон Шоберт, проводя рукой по лбу.

Это были противотанковые собаки: русские натаскивали их кидаться под пузо танков. К началу атаки собак привели на линию фронта, их два или три дня не кормили. Как только немецкие танки появились из леса и веером рассыпались по равнине, солдаты пустили собак: «Пошел! Пошел! Вперед! Вперед!», и собаки, неся на спине сильную взрывчатку со стальной антенной контакта, торчавшей как небольшая радиоантенна, бросались со всех ног за едой под брюхо немецких танков. Они кидались под танки, и танки взлетали на воздух.

— Die Hunde! Die Hunde! — кричали солдаты вокруг нас. Бледный, с печальной улыбкой на губах, генерал фон Шоберт провел рукой по лбу, посмотрел на меня и сказал по-французски мертвым голосом:

— Ах! Почему, почему? И собаки!

Так немецкие солдаты с каждым днем становились все свирепее, охота на собак становилась все безжалостнее и яростнее, а старые казаки посмеивались, похлопывая друг друга по коленям:

— Эх! Бедные собачки! — говорили они.

По ночам по черной равнине раздавался собачий вой и поскребывание по изгородям и стенам домов.

— Кто идет! — кричали немецкие солдаты. Дети просыпались, спрыгивали с кроватей, тихонько открывали двери, потихоньку подзывали в темноте:

— Иди сюда, иди сюда!

Однажды поутру я сказал зондерфюреру из Мелитополя:

— Когда вы перебьете всех собак, когда в России не останется больше ни одной собаки, русские дети побегут против ваших танков.

— Ach so! Все они одной породы! — ответил он.— Все они сукины дети!

ЧАСТЬ IV. ПТИЦЫ

Стеклянный глаз

Принцесса Луиза Прусская, внучка кайзера Вильгельма II (ее отец, умерший несколько лет тому назад принц Иоахим Гогенцоллерн, был младшим братом кронпринца), должна была вместе с Ильзе встречать меня на вокзале в Потсдаме.

— Мы поедем из Литцензее на велосипедах,— сказала мне по телефону Ильзе.

Был влажный и теплый весенний вечер. Когда я вышел из вагона берлинского поезда, легкий дождичек поднимал в зеленом воздухе серебряную пыль. Дома на другой стороне площади выглядели алюминиевыми. Офицеры и солдаты группами стояли по тротуарам перед вокзалом.

Пока я изучал пропагандистскую афишу, вывешенную в вестибюле здания вокзала (на афише два эсэсовца с автоматами, с уродливо-резкими готическими лицами, в надвинутых на лоб больших стальных касках, с холодным и жестким взглядом серых глаз, четко выделялись на фоне пейзажа: за ними виднелись охваченные пламенем дома, скелеты деревьев, пушки в грязи по самые оси колес), я почувствовал, что на мою руку легла чья-то рука.

— Добрый вечер! — сказала Ильзе. У нее покраснели щеки от езды на велосипеде, а светлые волосы растрепались на ветру.— Луиза ждет нас на улице,— сказала она,—

[1] Собаки! Собаки! *(нем.)*

она осталась сторожить велосипеды.— Она улыбнулась, потом прибавила: — She's very sad, poor child, be nice to her.[1]

Луиза прислонила оба велосипеда к столбу газового освещения и ждала нас.

— Как вы поживаете? — спросила она у меня на особом французском, специфически потсдамского звучания — твердом и робком. Она смотрела на меня снизу вверх, улыбаясь и слегка склонив голову к плечу. Она спросила, нет ли у меня, случайно, булавки. Увы! У меня не оказалось булавки.

— Во всей Германии невозможно найти булавки,— сказала она смеясь. Она чуть-чуть разорвала себе юбку и была очень озабочена этой неприятностью. На ней была маленькая, сдвинутая на затылок, тирольская шапочка из зеленого фетра, твидовая юбка табачного цвета, кожаный пиджак мужского покроя, который сжимал ей грудь, подчеркивая тонкость талии и изящество бедер. Она была в коротких носках и с голыми коленками. Она радовалась встрече со мной. Почему бы мне не съездить вместе с ней в Литцензее? У кого-нибудь, конечно, удастся раздобыть велосипед, и я проведу ночь в замке. Но я никак не мог, мне нужно было завтра же утром ехать в Ригу и в Хельсинки. А не мог бы я отложить отъезд? Литцензее — прекрасное место, говоря по правде, там не замок, а окруженный чудесным лесом старинный загородный дом. В лесах Литцензее водятся целые стада лосей и оленей, и природа там прекрасна, очень молода.

Мы направились к центру города. Я шел рядом с Луизой, а она опиралась на велосипед. Дождь перестал, вечер был теплым и ясным, безлунным. У меня возникло ощущение, что я иду рядом с девушкой с окраин моего родного города. Будто я опять, юношей, оказался в Прато, где вечером, в час, когда работницы выходят с фабрик, я шел за Бианкой по тротуару Фабриконе, за Порта дель Серральо, я провожал ее до дома, ведя рядом с собой велосипед. На тротуаре было грязновато, и Луиза шла, не обращая внимания на грязь, она шла по лужам, как это делают девушки-работницы в моем родном городе, совсем как когда-то это делала Бианка. Первые бледные и далекие звезды забрезжили сквозь облака, еще слегка закрывавшие небо, в ветках деревьев нежно и радостно переговаривались птицы, и голос реки колыхал воздух в конце долины, словно занавес, который треплет ветер. Мы остановились на мосту, наклонились над перилами и посмотрели на воду. По течению плыла лодка, она прошла под сводами моста, в ней сидели два солдата. Луиза, облокотившись на мраморные перила, смотрела, как тихо текла вода между заросшими травой берегами. Она приподнялась на цыпочки, опираясь на перила, совсем как делала Бианка на мосту Меркатале, чтобы посмотреть, как вода Бизенцио скользила вдоль высокой красной стены, окружающей город. Я покупал Бианке кулек лупинов или тыквенных семечек.

— Вы, Луиза, любите лупины и соленые семечки?

— Когда я была во Флоренции, каждый день я покупала кулек семечек на углу улицы Торнабуони. Но теперь все это кажется сказкой.

— Почему на медовый месяц вам не поехать в Италию, Луиза?

— А! Вы уже знаете, что я выхожу замуж? Кто вам сказал?

— Мне недавно сказала об этом Агата Ратибор. Поезжайте на Капри, ко мне, Луиза. Сам я буду далеко, в Финляндии. Вы там будете за хозяйку дома. На Капри воздух, право, нежен, как мед.

— Не могу. У меня отобрали паспорт. Мы не можем выехать из Германии. Мы живем в Литцензее, как под домашним арестом.

Жизнь членов императорской семьи была не слишком легка и весела. Они не имели права удаляться от своих резиденций более, чем на сколько-то там километров. Луиза смеялась, склоняя голову к плечу. Ей пришлось просить специальный пропуск, чтобы поехать в Берлин.

Деревья отражались в воде. Светившийся легкой кисеей серебристого тумана воздух был мягок. Мы уже давно отошли от моста, когда около нас остановился молодой офицер и поздоровался с нами. Это был молодой человек высокого роста, блондин с открытым и улыбавшимся лицом.

— О! Ганс! — сказала Луиза, покраснев.

Это был Ганс Рейнгольд. Стоя навытяжку перед Луизой, строго держа руки по швам, улыбаясь, он смотрел на девушку. Но мало-помалу лицо его медленно поворачивалось, словно под действием силы, не зависевшей от его собственной воли: там, куда он смотрел, размеренным шагом шел взвод солдат, громко топая каблуками по асфальту. Это были его солдаты, которых только что сменили на посту, и они возвращались в казарму.

— Ганс, не хочешь пойти с нами? — тихо спросила Луиза.

— Я еще не кончил играть в солдаты. Вечером я на службе,— сказал Ганс. Теперь его взгляд скользнул в сторону от Луизы, он провожал глазами уходивших по улице солдат, которые громко стучали каблуками по асфальту.

[1] Она очень грустна, бедное дитя, будьте с нею поласковее *(англ.)*.

— До свидания, Ганс,— сказала Луиза.

— До свидания, Луиза,— сказал Ганс. Он поднял руку к козырьку, отдал честь Луизе с твердостью, вполне соответствовавшей духу потсдамского воинства, затем обернулся к Ильзе и ко мне и сказал:

— До свидания, Ильзе,— и легким поклоном простился со мной, затем походным маршем присоединился к отряду, вскоре исчезнувшему в конце широкой улицы.

Луиза шла молча, слышны были только шелест велосипедных шин по мокрому асфальту, шум автомобиля в какой-то улице подальше да топот людей по тротуару. Ильзе тоже молчала и время от времени встряхивала светлой головой. Но человеческий голос все-таки нет-нет да нарушал тишину, вернее, перекрывал приглушенные вечерние звуковые аккорды или фрагменты звуков, то есть все то, что составляет тишину вечернего провинциального города. Правда, человеческий голос вполне гармонировал с оркестром городских звуков, именно человеческий голос, простой и одинокий человеческий голос.

— В будущем месяце Ганс должен отправиться на фронт,— сказала Луиза,— у нас только и будет времени, что пожениться.— И после секунды нерешительности она прибавила: — Эта война...— И замолчала.

— Эта война наводит на вас страх,— сказал я.

— Нет, не это. Вы говорите неточно. В этой войне есть нечто...

— Что же? — спросил я.

— Ничего, я хотела сказать... но не стоит.

Мы дошли до ресторана, который находился у моста, вошли. В зале было полно людей. Мы сели за столик в конце маленького отдельного зала, где за одним столиком в молчании сидело несколько солдат, а за другим — две девушки, почти девочки, обедали в обществе престарелой дамы, возможно, гувернантки. Их длинные светлые косы лежали за спиной, и отогнутый и накрахмаленный белый воротничок на сером платьице выдавал в них воспитанниц пансиона. Луиза словно была в смятении. Она осматривалась, словно искала кого-то, и все время с печальной улыбкой поднимала глаза на меня. Вдруг она заявила:

— Больше не могу!

Но в ее простом изяществе сквозило холодное безразличие, то безразличие, которое отличает характер потсдамцев, оно же присутствует и в барочной архитектуре Потсдама, в потсдамском неоклассическом стиле, в светлом искусственном мраморе церквей, дворцов, казарм, пансионов, домов, что аристократических, что буржуазных,— высоких строений, поднимающихся до вершин деревьев с влажной и густой зеленью.

Рядом с Луизой я чувствовал себя свободно и просто, как будто она была простой девушкой с фабрики. Изящество Луизы заключалось в ее простоте, в проявлении чуть робкой печали, той грустной печали, которая рождается и поселяется в человеке в результате безрадостной жизни, вечной, каждодневной усталости, во мраке тяжелого и бесцветного существования. В Луизе не было и тени уязвленной гордости, печальной жертвенности, фальшивого смирения, той тщеславной стыдливости и спесивого целомудрия, той внезапной обидчивости, в проявлении которых недалекие люди видят знаки утерянного величия. Ее отличала печальная простота, некая тонкая и бессознательная терпеливость. Я чувствовал себя с нею свободно и просто, как с любой одной из тех работниц, которых встречаешь к вечеру в вагонах метро или по туманным улицам берлинских предместий, у заводов, в час, когда немецкие рабочие группами выходят с работы и расходятся по домам, униженные и печальные оттого, что за ними, на расстоянии, следует толпа бледных и молчаливых, полуголых и босых, нечесаных девушек-пленниц, которых в результате операций по захвату белых рабов немцы навезли сюда из Польши, с Украины, из Прикарпатья.

Руки Луизы — тонкие и изящные, у нее бледные и прозрачные ногти. У нее тонкие запястья, и на них видна игра голубых вен, переходящих в линии руки. Одну руку она положила на скатерть, рассматривая гравюры с изображениями лошадей, украшавшие стены зала, это были знаменитые чистокровные лошади венского ипподрома: они то шли в испанском парадном аллюре, то скакали галопом на фоне пейзажа из голубых деревьев и зеленых вод. А я смотрел на руку Луизы. У нее была типичная рука Гогенцоллернов. Я узнавал руки Гогенцоллернов по их малому размеру и провинциальному изяществу: по легкой припухлости, выгнутому наружу большому пальцу, очень короткому мизинцу и чуть более длинному, чем другие, среднему пальцу. Рука Луизы покраснела и погрубела от стирки, по ней побежали тонкие морщинки, изрезанные трещинками, ее руки походили на руки полек и украинок, которых я видел, когда они ели кусок черного хлеба, сидя на земле возле стены литейного завода в Рюлебене, рука Луизы походила на руки «белых рабынь» с Востока, русских женщин, работавших на металлургических заводах, тех, что к вечеру заполняют тротуары промышленных районов Панкова и Шпандау.

— Вы можете привезти мне из Италии или из Швеции немного мыла? — спросила Луиза, пряча руку.— Я сама стираю чулки и белье. Немного хозяйственного мыла.— И после смущенного молчания она прибавила: — Я предпочла бы работать на фабрике простой работницей. Мне больше невыносимо терпеть жизнь буржуазного ничтожества.

— И ваш черед скоро придет,— сказал я ей.— Вас тоже отправят работать на плавильню.

— О, нет! Они вообще не хотят слышать о Гогенцоллернах! Мы стали париями в их Германии. Они не знают, что с нами делать, с нашим императорским величеством,— сказала она с ноткой презрения.

В это мгновение два солдата с черными повязками на глазах вошли в зал. Их сопровождала сестра милосердия, ведя за руку. Усевшись за столик неподалеку от нас, они стали неподвижно и молча ждать. Время от времени сестра оборачивалась и смотрела на нас.

— Как они молоды! — тихо сказала Луиза.— Совсем дети.

— Им еще повезло — война не проглотила их. Война не глотает трупы, она пожирает живых солдат. Она отъедает ноги, руки, глаза живых солдат и почти всегда, пока они спят, по-крысиному. Но люди все-таки цивилизованнее крыс — они не едят живых людей. Неизвестно почему, они предпочитают есть трупы. Может быть, потому что трудно съесть живого человека, даже когда он спит. В Смоленске я видел русских пленных, они ели трупы товарищей, умерших от холода и голода. Немецкие солдаты с самым милым и приличным видом молча смотрели на них. Не правда ли, немцы полны гуманности? Они же не были виноваты: им нечем было накормить пленных. Поэтому они стояли здесь же, смотрели, качая головами, и говорили:

— Arme Leute! Бедные люди!

Немцы — люди сентиментальные, самый сентиментальный и цивилизованный народ в мире. Немцы не едят трупов. Цивилизованный народ не станет есть трупы. Потому что он пожирает живых людей.

— Прошу вас, не будьте жестоки, не рассказывайте подобных ужасов,— попросила Луиза, кладя руку на мою.

Я чувствовал, что ее передергивало, и в этот момент во мне проснулись два чувства — жалости и ярости.

— Холод был страшный,— продолжил я свой рассказ,— и меня начало тошнить. Мне было стыдно перед немцами показать себя слабым. Офицеры и солдаты смотрели на меня с презрением, как смотрят на мужчину-тряпку. А я краснел, хотел извиниться за миг слабости, но тошнота помешала мне извиниться перед немцами.

Луиза молчала, я чувствовал, как дрожала ее рука. Она закрыла глаза и, казалось, перестала дышать. Наконец, она сказала, не открывая глаз:

— Иногда я спрашиваю себя, виновата ли моя семья во всем, что происходит сегодня. Вы думаете, что и мы, Гогенцоллерны, тоже причастны к этому и мы тоже обязаны за это отвечать?

— А кто не обязан отвечать? Я не Гогенцоллерн, а мне тоже приходит в голову, что и я виновен, что и я ответствен за то, что происходит сегодня в Европе.

— И я спрашиваю себя, должна ли я, как немецкая женщина, любить немецкий народ. Женщина по фамилии Гогенцоллерн ведь обязана любить немецкий народ, правда?

— Вы не обязаны его любить. И все-таки немцы — очень милые люди.

— О, да! Немцы очень милы,— улыбаясь, сказала Луиза.

— Хотите, я расскажу вам про стеклянный глаз?

— Я не хочу слышать рассказов о жестокостях,— возразила Луиза.

— Это не о жестокости. Это простая сентиментальная немецкая история.

— Говорите тихо,— сказала Луиза,— солдаты могут вас услышать.

— Я возвращался со Смоленского фронта, очень усталый от того, что тошнота не давала мне спать. Ночью я просыпался с сильными болями в желудке, с ощущением, что проглотил какого-то зверя и этот зверь теперь кусал меня изнутри. Будто я съел кусок живого человека. Часами я лежал в темноте с вытаращенными глазами. И вот, однажды я сидел в кафе гостиницы «Европейская» в Варшаве. Оркестр играл старые польские песни и венские вальсы. За соседним столиком в обществе двух медицинских сестер сидели немецкие солдаты. Кафе битком набила обычная, блестящая и ничтожная публика, люди, полные достоинства и рыцарской меланхолии, высокородные поляки, которых в эти годы нищеты и рабства встречаешь во всех местах сборищ в польской столице. Мужчины и женщины сидели за столиками с напряженными лицами, молчаливо слушая музыку или тихо переговариваясь. На всех была мятая одежда, заношенное белье, стоптанные туфли. В манере поляков всегда сквозит благородство. Все равно что смотришь в потускневшее зеркало, а в нем самые обычные жесты видятся как движения, исполненные древнего изящества и благородства.

Но женщины со свойственной им величавой и гордой простотой казались великолепными, и внешний блеск в значительной степени затенял на их лицах голодную бледность. У них была усталая улыбка. Однако в этой усталой улыбке на страдальче-

ски скорбных губах не было и тени мягкости, смирения, не было жалости, никакой жалости или прощения. Они походили на раненых птиц, на пойманных птиц, на сбитых бурей чаек, когда на черном фоне неба белые чайки мечутся над морем и их крики смешиваются с грохотом ветра и волн. За соседним столиком немецкие солдаты все время как-то странно таращили глазв, не меняясь в лице. В их широко открытых глазах я видел, как самым непонятным образом расширялись и сужались зрачки при том, что они не моргали. Но они и не были слепыми: одни читали газету, другие внимательно наблюдали за музыкантами в оркестре, за входившими и выходившими, за хлопотавшими вокруг столиков официантами и смотрели в запотевшие стекла больших окон за пустую и заснеженную широкую площадь Пилсудского.

Вдруг я с ужасом заметил, что у них не было век. Я уже видел солдат без век один рвз на Минском вокзале, за несколько дней до этого, когда ехал из Смоленска. Ужасные холода прошедшей зимы повлекли за собой самые невероятные несчастные случаи. Тысячи и тысячи солдат обморозились, потеряли уши, носы, пальцы, половые органы. Многие облысели. Я видел солдат, полностью облысевших в одну ночь. У некоторых волосы выпадали клоками, они запаршивели, как шелудивые псы. И многие потеряли веки. Выжженные морозом веки опали кусочками мертвой кожи. Сидя в кафе гостиницы «Европейская» в Варшаве, я с ужасом смотрел на глаза этих несчастных солдат: в вылупленном глазу у них расширялись и сужались зрачки, они напрасно пытались отвести глаза от света. Я представил себе, как эти бедняги спали, лежа в темноте с широко открытыми глазами. Я думал о том, что они делали со своими глазами ночью — с широко открытыми глазами они кое-как проживали день в ожидании желанной ночи. Сидя на солнце, они нетерпеливо ждали, когда, наконец, ночная тень веками опустится на их измученные глаза,— и я думал, что их ждало безумие, ведь только безумие набросит на их безвекие глаза хоть немного тени.

— О! Хватит! — почти закричала Луиза.

Она смотрела на меня, вытаращив странно побелевшие глаза.

— Вы не находите, что все это мило, очень мило? — улыбаясь, спросил я.

— Молчите! — прошептала Луиза.

Она закрыла глаза, и ей трудно было дышать.

— Давайте я расскажу вам про стеклянный глаз.

— Вы не имеете права мучить меня,— сказала Луиза.

— Это вполне христианская история, Луиза. Вы разве не принцесса немецкого императорского дома, вы не из семьи Гогенцоллернов, разве вы не являетесь, что называется, девушкой из хорошей семьи? Почему бы мне не рассказать вам вполне христианскую историю?

— Вы не имеете права,— снова коротко сказвла Луиза.

— Ну тогда, по крайней мере, разрешите, я расскажу вам детскую историю.

— О! Прошу вас, молчите,— сказала Луиза.— Разве вы не видите, что я дрожу? Вы меня пугаете.

— Я рвсскажу вам про неаполитанских детей и английских летчиков,— скавзл я,— вполне милая история. Знаете, даже в войне иногда проявляется своеобразная прелесть.

— Самое ужасное в войне,— сказала Ильзе,— это как раз то, что́ в ней случается милого. Я не люблю, когда чудовище улыбается.

— В начале войны я был в Неаполе. Однажды вечером я пошел на обед к одному моему приятелю, который жил в Вомеро. Вомеро — это тот холм, который возвышается надо всем городом, и от него спускается к морю Позиллипо. Место очаровательное. Несколько лет тому назад это еще была сельская местность, повсюду там, утопая в зелени, виднелись домики и виллы. У каждого дома был свой огород, маленький виноградник, несколько сливовых деревьев — это все были террасами возделанные куски земли, где росли баклажаны и помидоры, капуста и зеленый горошек, благоухали базилики, розы и розмарины. Розы и помидоры Вомеро не уступали ни по красоте, ни по вкусу античным розам Реструма и помидорам Помпеи. Сегодня огороды превратились в скверы и парки. Но среди огромных зданий из железобетона и стекла сохранилось несколько вилл и скромных крестьянских домиков прежних времен. Там еще можно увидеть, как зелень одинокого огорода сияет под солнцем на фоне огромного бледно-голубого залива. Там, напротив, в серебряном тумане, из моря выступает Капри, направо — Искья с прекрасным Эпомэо, налево, сквозь прозрачное зеркало моря и неба, виден берег Сорренто, а совсем налево — Везувий, благородный идол, некий великий Будда, сидящий на берегу залива. Проходя по улочкам Вомеро, там, где Вомеро меняет название, сливаясь с Позиллипо, среди деревьев и домов можно высмотреть древнюю и торжественно стоящую сосну, в тени которой покоится в могиле Вергилий. В этой стороне города, в деревенском домике с огородом, жил мой приятель.

Пока готовился обед, мы расположились на свежем воздухе, куря и мирно перебрасываясь словами в беседке из виноградных лоз. Солнце уже село, и небо мало-помалу угасало. Место, пейзаж, час дня и время года были как раз теми, что воспел Санназаро, здесь был именно воздух Саннazаро в час, когда запах моря и деревенских садов примешивается к мягкому восточному ветру. Когда вечер стал подниматься с моря в благоухании больших букетов уже влажных от ночной росы фиалок (море и вечер раскладывают по выступам окон большие букеты фиалок, они нежно пахнут всю ночь и наполняют комнаты приятным морским дыханием), мой приятель сказал:

— Ночь будет ясной. Они обязательно прилетят. Я пойду разложу по саду подарки от английских летчиков.

Я ничего не понял и очень удивился, увидев, как он пошел в дом и вышел оттуда с куклой, маленькой деревянной лошадкой, трубой и двумя пакетиками конфет. Не говоря мне ни слова и, конечно, внутренне посмеиваясь над моим удивлением, он заботливо разложил предметы под кусты роз и салат-латук, на гравий аллейки, на край бассейна, в котором целое семейство красных рыбок поблескивало спинками.

— Что это ты делаешь? — спросил я.

Он серьезно посмотрел на меня и рассказал, что его дети (они в это время уже спали) во время первых бомбежек так ужасно испугались, что здоровье младшего опасно пошатнулось, поэтому мой приятель придумал превратить страшные бомбежки Неаполя в некий детский праздник. Как только ночью начинали выть сирены, они с женой выскакивали из кроватей, брали за руки малышей и принимались радостно твердить:

— Как хорошо! Как нам повезло! Английские самолеты опять прилетели и сбрасывают вам подарки!

Так они спускались в подвал — жалкое и бесполезное убежище — и, забившись туда, в момент смертельной тревоги смеялись и восклицали: «Как нам повезло!», пока счастливые дети не засыпали у них нв руках, мечтая о подарках от английских летчиков. Время от времени, когда взрывы бомб и грохот рушившихся зданий раздавались совсем близко, малыши просыпались и отец им говорил:

— Вот, вот, они бросают вам подарки!

Оба малыша хлопали в ладоши и радостно кричали:

— Хочу куклу!

— А я хочу саблю!

— Папа, ты думаешь, англичане принесут мне кораблик?

На рвссвете, когда грохот моторов мало-помалу удалялся и стихал в посветлевшем небе, отец и мать брали детей за руки и вели в сад.

— Ищи, ищите,— говорили они им,— наверное, упало в траву.

Оба малыша усердно копались в кустах роз, среди салата-латука, в помидорах и находили то куклу, то деревянную лошадку, а подальше — пакетик с конфетами. С тех пор дети больше не боялись бомбежек, они с нетерпением ждали их и с радостью слушали разрушительный грохот. Иногда поутру они находили даже маленький самолетик на пружинках и, конечно, это был бедный английский самолетик, который сбили своими пушками злые немцы, пока он бомбил Неаполь на удовольствие маленьким неаполитанцам.

— О! How lovely! [1] — воскликнула Луиза, хлопая в ладоши.

— Теперь,— сказал я,— я расскажу вам про Зигфрида и кошку. История про Зигфрида и кошку не понрввилась бы тем двум неаполитанским детишкам, но вам она очень понравится. Типично немецкая история, а немцы любят немецкие истории.

— Немцы любят все немецкое,— сказала Луиза,— а Зигфрид — это сам немецкий народ.

— А кошка, Луиза, что же такое кошка? Нет ли и в ней немножко Зигфрида?

— Зигфрид — единственный в мире,— сказала Луиза.

— Вы правы: Зигфрид — единственный в мире, а все другие народы — это кошки. Так слушайте про Зигфрида и кошку. Я был в деревне Рите около Панчева у Белграда и ждал переправы через Дунай. Какие-то выстрелы дырявили утренний апрельский воздух, прозрачным льняным экраном натянутый между городом и нами. Отряд эсэсовцев ожидал приказа переправляться через реку. Все они были очень молоды, у всех были треугольные готические лица с острым подбородком, резким профилем, а в светлых глазах сиял чистый и жестокий взгляд Зигфрида. Они молча сидели на берегу Дуная, повернув головы в сторону горевшего Белграда и держа автоматы между колен. Один из них сидел поодаль от всех, около того места, где сидел я сам,— совсем ребенок. Ему было примерно лет восемнадцать. Блондин с голубыми глвзами и красными губами, на которых светилась невинная и холодная улыбка. Мы разговорились о жестокостях войны, о рвзвалинах, траурах, массовых убийствах. Он сказал мне, что новичков-эсэсовцев учат, не моргнув глазом, суметь перетерпеть боль других. Я повторяю вам, его голубые глаза были невероятно чисты. Он рассказал, что новички-эсэсовцы не считались достойными своего звания, если они не умели удачно выдержать испытание с кошкой. Новичков учили левой рукой хватать кошку за шкирку так, чтобы она могла

[1] Как мило! *(англ.)*

защищаться лапами, а правой рукой небольшим ножичком выкалывать ей глаза. Так их учили убиввть евреев.

Луиза схватила меня за руку, ее ногти впились в меня сквозь материю рукава:

— Вы не имеете права...— тихо сказала она, повернув бледное лицо в сторону двух слепых солдат, которые молча ели, слегка откинув головы назад. Сестра милосердия помогала им легкими и медленными жестами, направляя неуверенные движения их руки и кончиками пальцев дотрагиваясь до их спины всякий раз, когда их нож или вилка попадали не туда, мимо тарелки.

— Ах, Луиза! Простите меня,— сказал я,— мне тоже омерзительна жестокость. Но существует некая истина, и вы должны ее знать. Вы должны знать, что в некотором смысле кошка тоже из породы Зигфридов. Вы никогда не задумывались, что Христос тоже в некотором роде Зигфрид? Что Христос — это распятая кошка? Вы не должны думать, как приучены думать все немцы, что Зигфрид — единственный в мире, что все другие народы — кошки. Нет, Луиза, Зигфрид тоже из породы кошек. Вы знаете происхождение слова «kaputt»? Это слово происходит от древнееврейского «koppâroth», что значит «жертва». Кошка — это «koppâroth», это жертва, это оборотная сторона Зигфрида, это принесенный в жертву Зигфрид, жертвопринесенный Зигфрид. И всегда, всегда наступает момент, когда Зигфрид, этот единственный в мире Зигфрид, тоже становится кошкой, когда ему приходит «kaputt». И это тот момент, когда Зигфрид приближается к смерти, когда Гаген — Гиммлер готовится, как кошке, выколоть ему глаза. Немецкий народ превратился в «koppâroth», в жертву, ему придет «kaputt» — вот его судьба. В этом заключается скрытый смысл его истории: метаморфоза, превращение Зигфрида в кошку. Луиза, вы должны знать некоторые истины. И вы тоже должны знать, что все мы в один прекрасный день станем «koppâroth», жертвами, что и нам когда-то придет «kaputt», что мы христиане, что Зигфрид тоже христианин, что Зигфрид тоже кошка. Сами императоры, их дети и их внуки тоже должны знать некоторые истины. Вы получили плохое воспитание, Луиза.

— Я уже не Зигфрид,— сказала Луиза,— я уже больше кошка, чем принцесса императорского дома.

— Да, вы больше похожи на работницу с фабрики, чем на принцессу Гогенцоллерн.

— Вы думаете? — робко спросила Луиза.

— Когда на фабрике у вас будет подружка, она будет вам симпатизироввть.

— Я именно хотела бы работать на фабрике, на заводе. Я изменила бы имя. Я работала бы как простая работница.

— Зачем же менять имя?

— Гогенцоллерн... Вы думаете, другие рабочие будут меня уважать, узнав мое настоящее имя?

— Во что превратилось теперь имя Гогенцоллернов!

— Расскажите про стеклянный глаз,— вдруг тихо попросила Луиза.

— Это самая обычная история, каких много, Луиза. Бесполезно ее рассказывать. Это христианская история. Вы же, безусловно, знаете всякие христианские истории, правда? Они все похожи одна на другую.

— А что вы подразумеваете под христианской историей?

— Вы читали «Контрапункт» Олдоса Хаксли? Так вот, смерть ребенка, маленького Филиппа, в последней главе — это христианская история. Олдос Хаксли мог не прибегать к бесполезной и излишней жестокости и не убивать ребенка. Однажды Олдоса Хвксли пригласили в Букингемский дворец. Королева Мария и король Георг V пожелали с ним познакомиться. Это был как раз период большого успеха романа «Контрапункт». Их величества приняли Олдоса Хаксли очень приветливо. Они разговаривали с ним о его книгах, расспрашивали о его путешествиях, замыслах, о духе современной английской литературы. После беседы, когда Хаксли был уже на пороге, готовясь выйти, Его Величество Георг V любезно призвал его вновь. Король казался озабоченным, видно было, что он все хотел что-то сказать Хаксли, но не решался. Наконец, король Георг V сказал Хаксли неуверенным голосом:

— Господин Хаксли, мы с королевой должны высказать вам упрек. Право, зачем было заставлять умирать ребенка!

— O! What a lovely story! [1] — воскликнула Луиза.

— Это христианская история, Луиза.

— Расскажите мне про стеклянный глаз,— краснея, попросила меня Луиза.

Осенью 1941 года я был на Украине, около Полтавы. Район наводнили партизаны. Будто вернулись времена казацких восстаний Хмельницкого, Пугачева, Стеньки Разина. Отряды партизан бродили по днепровским лесам и болотам. Ружейные выстрелы и автоматные очереди гремели наугад из развалин бывших деревень, из рвов, зарослей.

[1] Какая милая история! *(англ.)*

Затем опять наступала тишина, плоская, ровная, глухая, монотонная тишина огромной русской равнины.

Однажды немецкий офицер во главе артиллерийской колонны проходил через деревню. В деревне не осталось ни души, казалось, что дома давно были брошены. В колхозных конюшнях множество лошадей валялось на земле, они все еще были привязаны к пустым кормушкам. Они пали от голода. Деревня имела тот жуткий вид русских деревень, на которые обрушилась ярость немецких расправ и репрессий. Офицер смотрел с некоей меланхолией, с неопределенным болезненным ощущением, почти со страхом, на опустевшие дома, солому на порогах, широко распахнутые окна, заглядывал в пустые и немые комнаты. Из огородов, над изгородями, торчали черные круглые, неподвижные глаза подсолнухов, они пристально смотрели из-под длинных желтых ресниц, печально следили за проходившей колонной.

Офицер ехал, склонившись к гриве лошади, обеими руками опираясь на головку передней луки седла. Офицеру было около сорока лет, это был человек с уже поседевшими волосами. Время от времени он поднимал глаза к небу, затем привставал в стременах, оборачивался, чтобы проследить за колонной. Солдаты группами шли за орудийными повозками, лошади месили копытами грязь на дороге, а во влажном воздухе призраком стояла деревня. Поднялся ветер, закачал трупы евреев, повешенных на деревьях. Долгий шепот пробегал от дома к дому, похоже было, будто толпа детей босиком пробегала там, по мрачным комнатам, слышался какой-то постоянный хруст. Наверное, по опустевшим домам сновали полчища крыс.

Колонна остановилась в деревне, и солдаты уже расходились по улочкам между садами в поисках воды, чтобы напоить лошадей. Но в это время галопом проскакал офицер, крича:

— Weg, weg! [1]

Проносясь мимо, он для верности касался концом кнута солдат, которые уже расселись было по порогам домов.

— Weg, weg! — кричал офицер.

Среди солдат послышалось слово: Flecktyphus [2]. Это страшное слово прокатилось по всей колонне, дошло до последних батарей, стоявших за деревней, все солдаты возвратились на свои места у орудий, и колонна двинулась дальше. В сером воздухе засвистели кнуты, и артиллеристы на ходу, с ужасом вглядывались в распахнутые окна домов, где на соломенных матрацах лежали мертвецы, изможденные, сизые, призрачные, с широко раскрытыми глазами. Неподвижно сидя на лошади и остановившись посередине деревенской площади у опрокинутой в грязь статуи Сталина, офицер смотрел, как проходила колонна. То и дело он подносил руку ко лбу и осторожно массировал свой левый глаз мягким и усталым движением.

Закат солнца был еще далек, но первые вечерние тени сгущались в кронах деревьев в лесу, который мрачнел, темнел и тускло синел в глубине. Лошадь под офицером нетерпеливо топтала копытами грязь на дороге, делая вид, что сейчас встанет на дыбы и понесет галопом вперед, во главу колонны, которая уже выползала из деревни. Но вот офицер пустил лошадь шагом вслед за последним снарядным ящиком в хвосте колонны и, поравнявшись с последними домами, привстал в стременах и посмотрел назад. Улица, площадь были пусты, дома — мрачны и тоже пусты. А между тем шепот, шуршание детских босых ног или голодных крыс все слышалось издали, сопровождая колонну. С печальным видом, раздраженно, офицер поднес руку ко лбу и подавил над глазом. Вдруг из деревни раздался ружейный выстрел, просвистел у него в ушах.

— Halt! — крикнул офицер. Колонна остановилась. Автомат с хвоста колонны зtstрочил по домам деревни. После первых ружейных выстрелов последовали другие: партизанский огонь становился все жарче, напористей, яростней. Два артиллериста упали, их настигли пули. Тогда офицер пришпорил лошадь, галопом проскакал вдоль колонны и отдал приказ. Солдаты бегом бросились по полю и, стреляя, окружили деревню.

— К орудиям! — крикнул офицер.— Уничтожить все!

Партизанский огонь продолжался, еще один артиллерист пал под выстрелами. Офицера охватила бешеная ярость. Он галопом скакал по полю, подбадривая солдат, приказывая стрелять из орудий с таким расчетом, чтобы расстрелять деревню со всех сторон. Некоторые дома уже занялись огнем. Целый град зажигательных бомб обрушился на деревню. Пробитые стены, раздавленные крыши, вырванные деревья заволокло тучами дыма. Партизаны неустанно продолжали отстреливаться. Но огонь немцев был таким ожесточенным и массивным, что деревня быстро превратилась в огромный костер. Вот тогда из огня и дыма вышла группа партизан с поднятыми руками. Среди них — старики, но в большинстве — молодые, была даже одна женщина. Офицер наклонился, с седла посмотрел на каждого. Пот заливал ему лицо.

[1] Прочь! Прочь! *(нем.)*
[2] Сыпной тиф *(нем.)*.

— Расстрелять! — сказал он глухим голосом, приклвдывая руку к глвзу. У него был раздраженный голос. И его жест — это прикладывание руки к глазу — тоже, вероятно, был признаком раздражения.

— Огонь! — крикнул фельдфебель.

После автоматной очереди офицер обернулся, посмотрел на тела только что упвв-ших людей, махнул кнутом.

— Jawohl! — сказал фельдфебель, разряжая пистолет в кучу трупов.

И вот офицер поднимает руку, артиллеристы опять впрягают лошадей в повозки с орудиями, колонна выстраивается для следования по дороге, движется дальше.

Склонившись над гривой лошади, офицер обеими руками опирается на головку передней луки седла, следует за колонной на расстоянии пятидесяти шагов за последним орудием. Уже удаляется лошадиный топот, стихает в грязи равнины, и вдруг опять ружейный выстрел свистит в ушвх офицера.

— Halt! — кричит офицер.

Колонна останавливается. Хвостовая батарея опять открывает огонь по деревне. Все автоматы в колонне стреляют по горящим домам. Между тем ружейные выстрелы медленно и размеренно пробивают облако черного дыма.

— Четыре, пять, шесть,— считает офицер громким голосом.

Стреляет только одно ружье, значит, там только один человек. Вдруг из облвка дыма бегом выскакивает тень с поднятыми руками. Солдаты хватают партизана и толкают его к офицеру, который, наклонившись, внимательно смотрит на него.

— Ein Kind! [1] — тихо произносит офицер.

Перед ним стоит ребенок не более десяти лет, он худой, на него жалко смотреть, он одет в лохмотья, лицо его черно, волосы порыжели от огня, руки обожжены.

— Ein Kind!

Мальчик со спокойным видом смотрит на офицера, щурит глаза. То и дело он медленно подносит руку к лицу и сморкается двумя пальцами. Офицер сходит с лошвди, закрутив вокруг кисти поводья. Он останавливается перед мальчиком. У него усталый, раздраженный вид.

— Ein Kind!

У него тоже есть сын, там, дома, в Берлине, в его доме на Витцлебенплатц, мвльчик такого же возраста, нет, наверное, Рудольф на год постарше, этот совсем уж ребенок, ein Kind! Офицер постукивал по сапогу хлыстом, и лошадь рядом с ним нетерпеливо топчет землю копытами, потираясь мордой о плечо офицера. На расстоянии двух шагов переводчик, немец из Балты, нетерпеливо ждет, стоя навытяжку. Это же совсем малыш — ein Kind! Я пришел в Россию не с детьми воевать. Вдруг офицер наклоняется к мальчику, спрашивает у него, остались ли еще партизаны в деревне. Голос у офицера усталый, в нем слышится досада, он будто опирается, отдыхая, на голос переводчика, который жестким и злым тоном повторяет по-русски вопрос.

— Нет,— отвечает мальчик.

— Почему ты стрелял в моих солдат?

Мальчик смотрит на офицера с удивлением. Переводчик вынужден повторить вопрос.

— Ты свм знаешь, чего ты меня спрашиваешь? — отвечает ребенок.

Голос его спокоен и ясен. Он отвечает без тени страха, но не безразлично. Он смотрит офицеру прямо в лицо, и перед тем, как ответить, как солдат, становится в позицию «ружье к плечу».

— Ты знаешь, кто такие немцы? — спрашивает у него офицер.

— Ты разве сам не немец, товврищ офицер? — отвечает мальчик.

Тогда офицер делает знак, и фельдфебель хватает ребенка за руку, вытаскивает пистолет.

— Нет, не здесь, подальше,— говорит офицер, поворачиваясь спиной.

Мальчик шагает рядом с фельдфебелем, стараясь идти с ним в ногу. Вот офицер оборачивается, поднимает хлыст и кричит:

— Ein Moment! [2]

Фельдфебель оборачивается, с недоумением смотрит на офицера, затем возвращается назад, толкая ребенка перед собой на вытянутой руке.

— Который час? — спрашивает офицер. Затем, не дожидаясь ответа, принимается ходить взад и вперед перед мальчиком, похлопывая хлыстом по сапогу. Лошадь тянет поводья и ходит за ним, опустив голову и отдуваясь. В какой-то момент офицер останавливается, долго молча смотрит на него, потом говорит медленно, тихо, раздраженно:

— Слушай, я не хочу делать тебе зла. Ты совсем малютка, а я не воюю с малышами. Ты стрелял в моих солдат. Но я не воюю с детьми. Lieber Gott! [3] Не я придумал вой-

---

[1] Ребенок! *(нем.)*
[2] Минутку! *(нем.)*
[3] О, Господи! *(нем.)*

ну! — Офицер останавливается, потом говорит мальчику со странной мягкостью в голосе: — Слушай, у меня один глаз стеклянный. Его трудно отличить от настоящего. Если ты сможешь ответить мне сейчас же, не раздумывая, какой глаз у меня стеклянный, я тебя отпущу, оставлю тебя на свободе.

— Левый глаз,— немедленно отвечает мальчик.

— Как ты догадался?

— Потому что стеклянный смотрит добрее.

Луиза сильно сжала мне руку.

— А ребенок? Что с ним сталось, с ребенком? — тихо спросила она.

— Офицер расцеловал его в обе щеки, одел в золото и в серебро и, вызввв королевскую карету, запряженную восьмью белыми лошадьми в сопровождении сотни ослепительных кирасиров, повез мальчика в Берлин, где Гитлер под возгласы толпы принял его как сына короля и отдал ему в жены свою дочь.

— О, да! Я знаю, вот так и должно было кончиться!

— Через некоторое время я встретил этого офицера в Сороках на Днестре. Человек очень серьезный, превосходный отец семейства. Но настоящий пруссак, настоящий Пифке, как говорят венцы. Он рассказал мне и о своем сыне Рудольфе, мальчике десяти лет. Действительно, было трудно отличить стеклянный глаз от настоящего. Он мне сказал, что именно в Германии делают лучшие в мире стеклянные глаза.

— Молчите! — сказала Луиза.

— У всех немцев один глаз стеклянный! — сказал я.

ЧАСТЬ V. СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ

Голые люди

Губернатор Лапландии Каарло Хиллила поднял руку и сказал:

— Malianne.

Мы обедали в губернаторском дворце в Рованиеми, находящейся за полярным кругом столице Лапландии.

— Северный Полярный круг проходит точно под этим столом, под нашими ногами,— сказал Каарло Хиллила.

Граф де Фокса, посол Испании в Финляндии, наклонился и посмотрел под стол. Все рассмеялись, и де Фокса тихо сказал сквозь зубы:

— Чертовы пьяницы.

Пьяны были все. Люди сидели бледные, потные, глаза блестели и смотрели в одну точку, те самые финские глаза, которые от алкоголя становятся перламутровыми. Я говорил де Фокса:

— Августин, не пей слишком много.

А Августин отвечал мне:

— Да, да, ты прав, я слишком много пью, ну, вот, это последняя рюмка.

Олави Коскинену, который, поднимая рюмку, говорил ему:

— Malianne!

Де Фокса отвечал:

— Нет, спасибо, я больше не пью.

Но на него пристально смотрел губернатор и спрашивал:

— Вы отказываетесь выпить за наше здоровье?

И я тихо говорил де Фокса:

— Ради всех святых, Августин, будь осторожен, говори всегда «да», ради Бога, говори «да»!

И де Фокса говорил «да», все время «да», то и дело поднимал рюмку и говорил:

— Malianne!

У него было красное лицо, потный лоб и из-за запотевших стекол очков глаза смотрели неуверенно. «Пусть будет, что будет!» — думал я, смотря на испанца.

Вероятно, было уже около полуночи. В легкой дымке тумана солнце сияло на горизонте, как апельсин в шелковистой бумаге. Призрачный северный свет с ледяным упорством струился в раскрытые окна, ослепительным отсветом своим, какой случается иногда наблюдать в операционном зале, он зажигал огни в обширной столовой в стиле финского ультрамодерна — низкий потолок, белые крашеные стены, карельской березы паркет,— где последние часов шесть мы сидели за столом. Большие прямоугольные длинные и узкие окна выходили на обширные низины Кемийоки и Оунасийоки и на лесистые дали Оунассельки. На стенах были развешаны старые финские ковры — их ткут на деревенских станках пастухи и крестьяне — и несколько эстампов шведских художников Шьёльдебранда и Авеелена и француза, виконта де Бомона. Среди прочих был один очень дорогой ковер с вытканными на нем деревьями,

оленями, луками и стрелами в розовых, серых, зеленых и черных тонах, а на другом, тоже редкостном ковре, доминировали белый, розовый, зеленый и коричневый цвета. На эстампах изображены были виды восточного побережья Ботнического залива и Лапландии, течения рек Оулуйоки, Кемийоки, речных портов от Тервола и Торнио до Рованиеми. В конце XVIII и начале прошлого веков, когда Шьёльдебранд, Авеелен и виконт де Бомон гравировали по своим чудесным медным дощечкам, Роввниеми был всего только большой деревней, населенной первыми финскими землепроходцами: пастухами оленей и рыбаками-лапландцами. В Рованиеми были маленькие, из сосновых бревен дома, а вокруг защитной стеной стояла простая деревянная изгородь. Вся деревня ютилась вокруг Торни, кладбища и красивой выкрашенной в серый цвет бревенчатой церкви. Итальянец Басси построил ее в неоклассическом стиле, стиль этот, сам по себе, шведского происхождения, однако состоит из элементов французского стиля эпохи Людовика XV и архитектурного стиля России времен Екатерины. Эти элементы обнаруживаются в покрытой белым лаком мебели в старинных домах первых финских поселенцев на восточном побережье Ботнического залива и Лвпландии. Между окнами и над дверями здесь висело оружие — старинные финки, финские ножи puukko с узорчатыми лезвиями, костяными рукоятками в чехле из оленьей шкуры с коротким и мягким мехом. У каждого из сидевших за столом финнов висели у пояса такие puukko.

Во главе стола, в покрытом шкурой белого медведя кресле сидел губернатор. Бог знает, почему я сидел спрвва от губернатора, а посол Испании, граф Августин де Фокса, тоже Бог знает, почему сидел слева от него. Де Фокса злился.

— Понимаешь, зто не по мне,— говорил он мне,— только для Испании я и стараюсь.

Титу Михаилеску был пьян и говорил ему:

— А, для Испании, для твоей и для другой, да? Для всех Испаний?

А я стврался его успокоить:

— Я тут ни при чем,— говорил я.

— Ты не представляешь Италии, почему ты сидишь справа от него? Или ты тоже представляешь и ту, и другую Италию сразу, да, Мвлапарте, ты что, представляешь все Италии?

— Заткнись! — говорил ему Августин.

Лично я просто обожаю слушать пьяные разговоры, и я слушал спор между Михаилеску и де Фокса, который они вели со сдерживаемой и церемонной яростью пьяниц.

— Не волнуйся, губернатор левша,— говорил ему Михаилеску.

— Ты ошибаешься, он не левша, а косоглазый,— отвечал де Фокса.

— Ах! Если он косоглазый, то тогда другое дело, тогда ты должен протестовать! — отвечал Михаилеску.

— Ты думаешь, он нарочно косит,— спрашивал у него де Фокса,— чтобы посадить меня слева от себя?

— Совершенно верно! Он нарочно косит,— отвечал Михаилеску.

Тогда граф Августин де Фокса, посол Испании, обращался к Каарло Хиллила, губернатору Лапландии, и говорил:

— Господин губернатор! Я сижу слева от вас и я не на своем месте!

Губернатор смотрел на него с большим удивлением:

— Как? Вы не нв своем месте?

Де Фокса, легко кивая головой:

— Вы сами разве не находите,— спрашивал он,— что я должен был бы сидеть на месте господина Малапарте?

Глубоко пораженный губернатор долго смотрел на него, потом обращался ко мне:

— Что? — говорил он мне.— Вы хотите поменяться местами?

Все с большим удивлением переводили взгляд на меня:

— Вовсе нет,— отвечал я.— Я сижу на своем месте.

— Ну вот, вы видите,— с торжествующим видом говорил губернатор, обращаясь к послу Испании,— он сидит на своем месте.

Тогда Титу Михаилеску говорил де Фокса:

— Но, дорогой мой Августин, ты разве не видишь, что губернатор вполне одинаково владеет обеими руками?

Де Фокса краснел, протирал очки салфеткой и говорил со смущенным видом:

— Да, ты прав, я просто этого не заметил.

А я строго смотрел на Августина:

— Ты слишком много выпил,— говорил я.

— Увы! — отвечал Августин с тяжелым вздохом.

Мы уже шесть часов кряду сидели зв столом, и после красных раков из Кемийоки, хороших шведских закусок, икры, «siika» и копченого оленьего языка, супв с капустой и со свиными ножками, огромной розовой, как губы молоденькой девушки, семги из Оунасайоки, после жаркого из оленя и тушеных медвежьих лап, салата из огурцов

с сахвром на помутившемся горизонте нашего стола, среди бутылок шнапса, мозельского вина и шато лафита, наконец, на фоне неба цвета зари появился коньяк. Все мы сидели неподвижно, погрузившись в глубокое молчание, как всегда бывает во время финских звстолий в час коньяка. Мы прямо смотрели друг на друга, и ритуальная тишина нарушалась только возгласами:

— Malianne!

Мы больше не ели, но челюсти губернатора Каарло Хиллила все продолжали двигаться с глухим, почти угрожающим шумом. Каарло Хиллила было чуть больше тридцати лет, он был небольшого роста, с очень короткой шеей. Я смотрел на его толстые пальцы, на атлетические плечи, короткие и мускулистые руки. У него были маленькие раскосые глаза, смотревшие из-под узкого лба и тяжелых красных век. У него были темно-русые, завитые, вернее, вьющиеся волосы не длиннее ногтя. Какие-то белесоватые, толстые и потрескавшиеся губы. Говорил он, опуская голову и подбородком касаясь груди. Время от времени он поджимал губы и глядел исподлобья. В глазах его светился дикий и хитрый взгляд, быстрый, неистовый взгляд, в котором сквозили раздражение и жестокость.

— Гиммлер — гений! — сказал Каарло Хиллила, стукнув кулаком по столу.

Утром у него была четырехчасовая встреча с Гиммлером, и поэтому он был несказанно горд.

— Heil Himmler! [1] — сказвл де Фокса, поднимая рюмку.

— Heil Himmler! — повторил Каарло Хиллила, потом строго и пристально посмотрел на меня с глубоким упреком в глазах и добавил: — Вы хотите заставить нас поверить, что вы видели его, разговаривали с ним и не узнали его?

— Повторяю вам, я не знал, что зто был Гиммлер,— ответил я.

Однажды к вечеру, за несколько дней до этого, в холле отеля «Пойянхови», перед лифтом, стояла группа немецких офицеров. На пороге лифта стоял среднего роста человек в гитлеровском мундире, очень похожий на Стравинского. Монгольский тип лица, широкоскулый, с близорукими глазами, рыбьими белесыми глазами за толстыми стеклами очков, похожих на стекла аквариума. Странное лицо с жестоким и невнятным выражением. Он говорил громким голосом и смеялся. В какой-то момент он закрыл решетчатую дверь лифта и готов уже был нажать на кнопку, когда бегом как раз подскочил я, прокладывая себе дорогу среди офицеров, наспех открыл дверь, влетел в лифт и сделал это так неожиданно, что офицеры не успели меня удержать. Персонаж в гитлеровском мундире попытался меня оттолкнуть. Весьма удивившись, я сам оттолкнул его и, закрыв лифт, нажал на кнопку. Так я оказался в железной клетке, нос к носу с Гиммлером. Он смотрел на меня удивленно, может быть, даже раздраженно, был бледен и показался мне обеспокоенным. Он забился в угол лифта и выставил вперед руки, словно пытаясь отразить неожиданное нападение. Он смотрел, тяжело дыша, на меня, вылупив свои рыбьи глаза. Я же, все удивляясь, тоже смотрел на него как ни в чем не бывало. Сквозь стекла лифта я видел, что офицеры, а за ними несколько гестаповцев бежали со всех ног по лестнице, нвталкиваясь друг на друга на поворотах. Я обернулся к Гиммлеру и, улыбаясь, извинился, что нажал на кнопку и не спросил его прежде, на каком зтаже он хотел выйти.

— На третьем,— сказал он мне, улыбнулся и явно несколько успокоился.

— Я тоже,— заявил я,— еду до третьего.

Лифт остановился на третьем зтаже, я открыл дверь и любезно сделал ему знак пройти первым. Но Гиммлер, слегка кивнув, вежливым жестом указал мне на дверь, и я первым вышел из кабины на глазах у пораженных офицеров и гестаповцев.

Только я лег у себя в номере и укрылся одеялом, как ко мне в дверь постучался эзсовец. Гиммлер приглашал меня зайти и выпить пунш в его номере. «Гиммлер? Perkele!» — подумал я про себя. Perkele — зто финское слово, совершенно неприличное и означает оно «дьявол». Гиммлер? Что ему от меня надо? Где же я мог его видеть? Мне и в голову не пришло, что он и был тем человеком в лифте. Гиммлер! Мне же нужно было опять вставать с кровати, одеваться, да и потом, это же было приглашение, а не приказ. Я послал сказать Гиммлеру, что благодарил его за приглашение и просил извинить меня, что смертельно устал и уже успел лечь в постель. Чуть позже ко мне в дверь опять постучали. На этот раз зто уже был гестаповец. Он принес мне в подарок бутылку коньяка от Гиммлера. Я предложил гестаповцу выпить.

— Прозит! — сказал я.

— Heil Hitler! — ответил гестаповец.

На следующее утро директор гостиницы вежливо попросил меня освободить комнату. Он переселил меня на первый этвж, в двухместную комнату в конце коридора. Другая кровать была занята агентом Гестапо.

— Ты нарочно не узнал его! — сказал мне мой друг Яаакко Леппо, уставившись на меня пристально-враждебными глазами.

---

[1] Да здравствует Гиммлер! *(нем.)*

— Да я никогда раньше его не видел, как я мог его узнать? — ответил я.

— Гиммлер — невероятный человек, чрезвычайно интересный,— сказал Яаакко Леппо.— Ты должен был принять его приглашение.

— Это человек, с которым я лично не хочу иметь ничего общего,— ответил я.

— Вы ошибаетесь,— сказал губернатор.— Я тоже до того, как имел честь повидать его лично, воображал, что Гиммлер — ужасный человек с пистолетом в правой руке и с хлыстом в левой. После того как я проговорил с ним в течение четырех часов, я убедился, что Гиммлер — человек исключительной культуры, артист, настоящий художник, благородная душа, открытая всем человеческим чувствам. Я даже больше скажу: это сентиментальный человек! (Именно твк и сказал губернатор: «сентиментальный»!)

Он добавил, что теперь, когда он узнал Гиммлерв твк близко, после того как имел честь разговаривать с ним в течение четырех часов, если бы он стал его рисовать, он изобразил бы Гиммлера с Евангелием в правой руке и с молитвенником в левой (именно так он и выразился: «с Евангелием в правой руке и с молитвенником в левой!»). И стукнул кулаком по столу.

Де Фокса, Михаилеску и я — все мы не смогли скрыть улыбки. Де Фокса обернулся ко мне и сказал:

— Когда ты увидел его в лифте, что у него было в руках: пистолет и хлыст или Евангелие и молитвенник?

— У него ничего не было в руках,— ответил я.

— Тогда это был не Гиммлер, это был другой человек! — строго сказал де Фокса.

— Евангелие и молитвенник, именно так! — настаивал губернатор, стуча кулаком по столу.

— Ты нарочно сделал вид, что не узнал его,— сказал мой друг Яаакко Леппо,— ты прекрасно знал, что это был Гиммлер.

— Вы подвергались серьезной опасности,— сказал мне губерятор,— некоторые из присутствовавших могли подумать, что это был заговор, могли в вас выстрелить.

— У тебя, безусловно, будут еще неприятности,— сказал Яаакко Леппо.

— Malianne,— сказал де Фоксв, поднимая рюмку.

— Malianne,— ответили все хором.

Все сидели очень прямо, опершись о спинки стульев, покачивая головами, как будто дул сильный ветер. Сухой и сильный запах коньяка плаввл по комнате. Яаакко Леппо в упор смотрел на де Фокса, на Михаилеску и на меня, и в его тусклых глазах светился обычный враждебный огонек.

— Malianne! — произносил время от времени губернатор Каарло Хиллила.

— Malianne! — отвечали хором все остальные.

В стекла больших окон я видел печальный, пустынный и обездоленный пейзаж, тянувшийся вдоль Кемийоки и Оунвсийоки, чудесно прозрачные и глубокие перспективы лесов, вод, небес. Обожженный сильным и чистым ослепительным северным светом открывался вдвли огромный горизонт, покачиваясь в волнообразном ритме лесистых холмов, которые в мягких складках своих прячут болота, озера и извилины больших северных рек. Я смотрел на пустое небо, очень высокое, на скорбную пропасть света над сияющим холодом листьев и вод. Весь скрытый смысл зтого прозрачного пейзажа заключался в цвете неба, этой насквозь выжженной чудесно-белым светом высокой ледяной пустыни, отсвечивавшей холодно-белым гипсом. Под небом, на котором бледный диск ночного солнца словно был нарисован на гладкой и белой стене, деревья, камни, трава, вода как бы струились, истекали странным мягким и липким веществом — этим призрачным и ослепляющим гипсовым светом. Будто смотрело на меня бесформенное гладкое гипсовое лицо без глаз, без губ, без носа, похожее на яйцевидные головы персонажей Де Кирико.

На залитых сквозь стекла холодно-настойчивым ослепительным светом лицах присутствовавших оставалось совсем мало тени — капля голубизны во взгляде, под веком и во впадине, которая отделяет веко от брови. Кроме глаз, северный свет выжигает с лица всякий другой признак жизни, весь его человеческий вид. Он придает человеческому лицу вид лика смерти.

Обратившись к губернатору, я сказал, что его собственное лицо и лица остальных напомнили мне виденных мною ночью, по приезде в Рованиеми, спящих людей. У них были гипсовые лица без глаз, без губ, без носа, гладкие, яйцевидные. На закрытые глаза спавших людей свет ложился робко, легким мазком, образуя некий теплый глазок, капельку тени. Только капельку голубизны. И единственным признаком жизни на лицах была эта капля тени.

— Яйцевидное лицо? У меня тоже яйцевидное? — спросил губернатор, глядя на меня удивленно и беспокойно трогая свои глаза, нос, рот.

— Да,— ответил я,— абс л тно йицевидное.

И тогда все посмотрели на меня удивленно и с беспокойством стали ощупывать свои лица. И я рассказал о том, что видел в Соданкюля, по дороге в Петсамо. Я остановился в Соданкюля, наступила тихая ночь: небо было белое, деревья, дома, холмы — все казалось белым, гипсовым. Ночное солнце смотрело живым глазом, но без ресниц.

Вдруг я увидел, что по дороге из Ивало едет машина «скорой помощи», она остановилась перед домиком напротив почты, где помещался госпиталь. Санитары в белых халатах (ах, этот ослепительный цвет льняных халатов!) стали вынимать носилки из машины «скорой помощи» и раскладывать их по траве. Трава была мягкого белого цвета, подчеркнутого голубизной. На носилках тяжело, неподвижно и затвердело лежали гипсовые статуи с яйцевидными головами, с овальными гладкими лицами без глаз, без носа и без рта. С яйцевидными головами.

— Статуи? — спросил губернатор.— Вы на самом деле хотите сказать именно статуи, гипсовые статуи? И их привезли в больницу на «скорой помощи»?

— Да, это были статуи,— ответил я.— Гипсовые статуи. Но вот серое облако прикрыло небо, и из полутьмы неожиданно явились моим глазам существа и предметы, которые до сих пор растворялись в огромном белом свечении неба, они возникли вокруг меня, и я вдруг обнаружил их истинную форму. В мелком дождичке легшей на землю тени от облака гипсовые статуи внезвпно обернулись человеческими телами, гипсовые маски — человеческими лицами, живыми человеческими лицами. Это были люди, это были раненые солдаты. И они удивленно и неуверенно водили зв мною глазами, потому что и я на их глазах внезапно из гипсовой статуи обернулся человеком, живым человеком из тела и тени.

— Malianne,— сказал губернатор, с серьезным видом уставившись на меня удивленными и обеспокоенными глазами.

— Malianne,— хором ответили присутствовавшие, поднимая полные до краев рюмки с коньяком.

— Но что делает Яаакко? Он что, сходит с ума? — сказал мне вдруг де Фокса, хватая меня за руку.

Яаакко Леппо прямо и неподвижно сидел на стуле, он слегка наклонил вперед голову и говорил тихо, но жестикулируя, с бесстрастным лицом, а глаза его наполнились черной яростью. Медленно он уронил правую руку вниз, вынул из ножен висевшую у пояса финку с рукояткой из оленьей кости и внезапно резко поднял руку, короткую и толстую руку, сжимавшую кинжал, при этом пристально, прямо в глаза, смотря на Титу Михаилеску. Все остальные, подражая ему, обнажили и занесли свои ножи.

— Нет, не так,— сказал губернатор. Он тоже выхватил нож и поквзал жест охотника на медведя.

— Я понял, прямо в сердце,— слегка побледнев, сказал Титу Михаилеску.

— Вот так, прямо в сердце,— подтвердил губернатор, показывая, как удар наносится ножом сверху вниз.

— И медведь падает на землю,— сказал Михаилеску.

— Нет, он сразу не падает,— ответил Яаакко Леппо.— Он делает несколько шагов вперед, шатается и падает. Это великолепный момент охоты.

— Все они пьяны в стельку,— тихо сказал де Фокса, сжимая мне руку.— Мне что-то становится жутковато.

Тогда я сказал ему:

— Только не показывай, что тебе страшно, ради Бога! Если они заметят, что ты боишься, они же еще и обидятся. Они не злые, но, когда выпьют, становятся как дети.

— Я знаю, они не злые,— согласился де Фокса.— Они как дети. Но я ведь боюсь детей.

— Чтобы показать, что ты не боишься, скажи громко malianne и выпей рюмку одним махом, смотря им прямо в глаза.

— С меня довольно,— сказал де Фокса.— Еще одна рюмка, и я просто упаду.

— Ради Бога,— сказал я,— не напейся. Когда испанец напивается, он становится опасен.

— Сеньор министр,— сказал финский офицер, майор фон Хартманн, обращаясь по-испански к де Фокса,— в Испании, во время гражданской войны, я развлекался тем, что обучал друзей по Терсио пользоваться финским ножом. Очень занятное дело. Хотите, я вас тоже научу, сеньор министр?

— Не вижу в этом необходимости,— с подозрительным видом сказал де Фокса.

Майор фон Хартманн посещал кавалерийскую школу в Пинероло и сражался добровольцем в Испании в армии Франко, он был человеком вежливым и властным, ему нравилось, когда ему вежливо подчинялись.

— Не хотите, чтобы я вас научил? А почему? Вы просто *должны* уметь пользоваться ножом, сеньор министр. Смотрите. Левой рукой вы опираетесь на стол, растопырив пальцы, вынимаете нож правой рукой и начинаете наносить удары между растопыренными пальцами левой руки. Острие ножа входит в стол между указательным и средним пальцем. Видите?

— Valgame Dios! [1] — бледнея, воскликнул де Фокса.
— Хотите попробовать, сеньор министр? — спросил фон Хартманн, протягивая де Фокса свой нож.
— Охотно бы попробовал,— заявил де Фокса,— но не могу растопырить пальцы. У меня рука, как утиная лапа.
— Как странно! — недоверчиво сказал фон Хартманн.— Покажите!
— Не стоит,— ответил де Фокса, пряча руки за спину.— Это недостаток, просто врожденный недостаток. Я не могу растопырить пальцы.
— Покажите,— повторил фон Хартманн.
Все склонились над столом, желая посмотреть на руку посла Испании, которая должна была походить на утиную лапу. А тем временем де Фокса прятал руки под стол, засовывая их в карманы, прятал их за спину.
— Значит, вы перепончатый? — спросил губернатор, потрясая ножом.— Покажите нам ваши пальцы, господин министр.
Финны потрясали финскими ножами и наклонялись над столом.
— Перепончатый? — запротестовал де Фокса.— Я не перепончатый. Не совсем, если хотите. У меня только чуть-чуть кожи между пальцами.
— Кожу нужно надрезать,— сказал губернатор, поднимая длинный нож.— Разве можно ходить с гусиными лапами!
— Гусиными лапами? — сказал фон Хартманн.— В вашем возрасте у вас гусиные лапы? Покажите мне ваши глаза.
— Глаза? Почему глаза? — спросил губернатор.
— А, у вас тоже гусиные лапы? — сказал де Фокса.— Покажите мне ваши глаза!
— Глаза? — беспокойно переспросил губернатор.
Все придвинулись к столу в намерении поближе рассмотреть глаза губернатора.
— Malianne! — сказал губернатор, поднимая рюмку.
— Malianne! — хором повторили остальные.
— Вы не хотите с нами выпить, господин министр,— сказал губернатор, с оттенком упрека обратившись к де Фокса.
— Господин губернатор, господа,— серьезно заявил посол Испании, поднявшись.— Я не могу больше пить. Я заболею.
— Вы заболели? — сказал Каарло Хиллила.— Вы, правда, заболели? Так выпейте! Malianne!
— Malianne,— не поднимая руки, сказал де Фокса.
— Пейте же! — сказал губернатор.— Если вы больны, нужно выпить.
— Августин, ради Бога,— сказал я де Фокса,— если они поймут, что ты еще не напился, ты пропал. Не давай им понять, что ты еще не напился, выпей, Августин.
Когда попадаешь в страну финнов, нужно пить. Они считают, что тот, кто не пьет с ними наравне или отстает от них, пусть на два-три malianne, на две-три рюмки,— ненадежный человек, ему нельзя доверять, нельзя довериться, все смотрят на него подозрительно.
— Августин, только не дай им заметить, что ты еще не напился.
— Malianne! — сказал де Фокса, снова со вздохом усаживаясь и поднимая рюмку...
— Пейте же! Господин министр! — сказал губернатор.
— Valgame Dios! — воскликнул Августин, закрывая глаза и одним махом осушив рюмку, до краев полную коньяка.
Губернатор снова разлил коньяк по рюмкам, наполнил их до краев и сказал:
— Malianne!
— Malianne! — повторил де Фокса и опять поднял рюмку.
— Августин, побойся Бога, не напейся! — сказал я де Фокса.— Пьяный испанец — это безобразие. Подумай, ведь ты посол Испании.
— Мне наплевать! — сказал де Фокса.— Malianne!
— Испанцы не умеют пить! — заявил фон Хартманн.— Во время осады Мадрида я стоял с Терсио перед университетским городком...
— Как? — прервал его де Фокса.— Мы, испанцы, не умеем пить?
— Августин, побойся Бога, ведь ты посол Испании.
— Suomelle! — сказал де Фокса, поднимая рюмку.
«Suomelle» означает по-фински «да здравствует Финляндия».
— Arriba Espana! [2]— сказал фон Хартманн.
— Августин, побойся Бога, не напивайся!
— Заткнись! Suomelle! — сказал де Фокса.
— Да здравствует Америка! — сказал губернатор.
— Да здравствует Америка! — сказал де Фокса.
— Да здравствует Америка! — хором повторили все остальные, поднимая рюмки.

[1] Храни меня Господь! *(исп.)*
[2] Вперед, Испания! *(исп.)*

— Да здравствует Германия! Да здравствует Гитлер! — крикнул губернатор.
— Заткнись! — сказал де Фокса.
— Да здравствует Муссолини! — сказал губернатор.
— Заткнись! — сказал я, улыбаясь и поднимая рюмку.
— Заткнись! — сказал губернатор.
— Заткнись! — повторили хором остальные, подняв рюмки.
— Америка,— сказал губернатор,— это большой друг Финляндии. В Соединенных Штатах живут сотни и сотни тысяч эмигрантов из Финляндии. Америка — это наша вторая родина.
— Америка — рай для финнов,— сказал де Фокса.— Когда европейцы умирают, они надеются попасть в рай. Когда умирает финн, он надеется попасть в Америку.
— Когда я умру,— сказал губернатор,— я не отправлюсь в Америку. Я останусь в Финляндии.
— Еще бы! — сказал Яакко Леппо, с угрозой взглянув на де Фокса.— Живые или мертвые, мы хотим жить в Финляндии.
— Конечно! — подтвердили все присутствующие, кидая на де Фокса враждебные взгляды.— Мы все хотим жить в Финляндии, когда умрем.
— Я хочу икры,— сказал де Фокса.
— Хотите икры? — спросил губернатор.
— Очень люблю икру,— сказал де Фокса.
— В Испании много икры? — спросил префект Рованиеми Олави Коскинен.
— Когда-то у нас была русская икра,— сказал де Фокса.
— Русская икра? — наморщив лоб, спросил губернатор.
— Русская икра превосходна,— сказал де Фокса.— В Мадриде ее очень любят.
— Русская икра отвратительна! — сказал губернатор.
— Полковник Мерикаллио,— сказал де Фокса,— рассказывал мне занятную историю про русскую икру.
— Полковник Мерикаллио умер,— сказал Яакко Леппо.
— Мы стояли на берегу Ладоги,— принялся рассказывать де Фокса,— в раикколь-ском лесу. Финские сисситы нашли в русской траншее коробку, полную какого-то темно-серого вещества, жира. Однажды полковник Мерикаллио вошел в барак на первой линии, а сисситы занимались в это время тем, что начищали свои сапоги снегом. Полковник Мерикаллио понюхал воздух и сказал: «Какой странный запах!» Пахло рыбой. «Да это вакса для сапог, она пахнет рыбой»,— ответил солдат, показывая полковнику жестяную коробку. Это была коробка с русской икрой...
— Русская икра годится разве что для чистки сапог,— с глубоким презрением заявил губернатор.
В этот момент слуга настежь распахнул двери и объявил:
— Генерал Дитл!
— Господин министр,— сказал губернатор, поднявшись и обращаясь к де Фокса,— немецкий генерал Дитл, герой Нарвика, главнокомандующий северным фронтом, оказывает мне честь, приняв мое приглашение. Я счастлив и горд, господин министр, что вы встретите генерала Дитла в моем доме.

Снаружи до нас донесся неимоверный шум: лай, мяуканье и хрюканье, можно было подумать, что стаи диких собак, кошек и стада свиней устроили свару в холле дворца. Мы удивленно посмотрели друг на друга. Но вот дверь распахнулась, и мы увидели, как на пороге на четвереньках появился генерал Дитл и на четвереньках же вошел в комнату. За ним гуськом, тоже на четвереньках, следовала группа офицеров, вот так, друг за другом! Странная процессия, лая, мяукая и хрюкая, продвинулась до середины столовой, и генерал Дитл, встав на ноги самым корректным образом по стойке «смирно», приложил руку к фуражке и зычным голосом выкрикнул финское пожелание тому, кто чихнет: nuba!
Я всматривался в достаточно своеобразную внешность стоявшего перед нами человека: высокий, худощавый, вернее сухопарый генерал — старый кусок сухого дерева, грубо обработанный каким-нибудь баварским плотником прежних времен. У него было готическое лицо, типичное для персонажей старинных деревянных скульптур, изображающих немецких властителей. На его блестящем лице глаза светлели дико и вместе с тем по-детски, ноздри невероятно заросли шерстью, лоб и щеки были изрезаны бесконечным числом морщин, походивших на трещины на старом и иссохшем куске дерева. Гладкие и темные, коротко стриженные волосы бахромой обрамляли лоб, как на листах Мазаччо, превращая его лицо в монашеское и в то же время в юношеское — и это было неприятно. Его манера смеяться, кривя рот, еще более усиливала создаваемое им неприятное впечатление. Его жесты отличались резкостью, нервностью, лихорадочностью, они открывали в его натуре нечто патологически-извращенное, выдавали как бы присутствие в нем самом и вокруг него чего-то такого, чего он

сам не признавал, не выносил и от чего он чувствовал себя в опасности: он вел себя так, словно его все время кто-то выслеживал, подсматривал за ним. Это был еще молодой человек — лет пятидесяти. Но, как и все молодые альпийские стрелки из Тироля и Баварии, те, что теперь были разбросаны по лесам Лапландии, по болотам и тундре за Полярным кругом, по всему огромному фронту, который от Петсамо и полуострова Рыбачий идет вниз, вдоль течения реки Лицы до Алакуртти, до Саллы, он успел невероятно состариться: желто-зеленый цвет лица, депрессивно-грустный взгляд явственно свидетельствовали о признаках того медленного распада, похожего на развитие проказы, который заживо пожирает человеческое существо на Крайнем Севере. Это походит на процесс старения, старческого разложения: гниют зубы, выпадают волосы, по лицу прокладываются глубокие морщины, человеческое тело покрывается желто-зеленой кожей, какая бывает на гниющем трупе. Вдруг он глянул на меня. Я увидел его взгляд. У него был взгляд смирного и покорного зверя, в глазах светились покорность и отчаяние, и меня это смутило. У него был странный, звериный, таинственный взгляд, которым смотрели и немецкие солдаты, молодые альпийские стрелки генерала Дитла, беззубые, лысые, морщинистые молодые люди с белыми, заострившимися, как у покойников, носами,— я не раз видел как они печально и задумчиво бродили в лесных чащобах Лапландии.

— Nuba! — воскликнул Дитл. Потом прибавил: — Где Эльза?

Вошла Эльза. Маленькая, худенькая, миловидная, одетая, как кукла, хрупкая девочка (Эльза Хиллила, дочь губернатора, выглядела совсем ребенком, хотя ей уже было восемнадцать лет), она вошла через дверь в конце комнаты, обеими руками ухватив серебряный поднос, на котором в ряд стояли бокалы с пуншем. Она семенила по комнате, быстро-быстро перебирая маленькими ножками по паркету из карельской березы. Улыбаясь, она подошла к генералу Дитлу и сказала с очаровательным реверансом:

— Иванаива! Здравствуйте!

— Иванаива,— кланяясь, ответил Дитл.

Он взял с серебряного подноса бокал с пуншем, поднял его и крикнул:

— Nuba!

Офицеры его свиты тоже взяли с подноса пунш и ответили:

— Nuba!

Дитл запрокинул голову назад и махом выпил, офицеры синхронно повторили его жест. Дикий, сильный и мягкий аромат пунша расплылся по комнате. У пунша такой же сильный и мягкий запах, какой издает олень под дождем, запах оленьего молока. Я прикрыл глаза и стал себе представлять лес у Инари, на берегу озера, у впадения Йуутуванйоки. Идет дождь, небо — то самое лицо без глаз, белое лицо смерти. Дождь смутно шепчет в листве деревьев и траве. Сидя на берегу озера с трубкой в зубах, старая лапландка бесстрастно, не мигая, смотрит на меня. Стадо оленей пасется в лесу, олени поднимают глаза и посматривают на меня. У них покорный взгляд отчаявшегося существа, таинственный взгляд мертвых. Запах оленьего молока разносится по дождю. Отряд немецких солдат с покрытыми сеткой от комаров лицами, в толстых перчатках из оленьего меха сидит под деревьями на берегу озера. И у них в глазах — покорность и отчаяние, у них тоже таинственный взгляд мертвецов.

Генерал Дитл взял маленькую Эльзу за талию и увлек по комнате, танцуя под звуки вальса, который сам же и напевал и все хором подхватывали, хлопая в ладоши и звякая об рюмки рукоятками финских ножей и кинжалов альпийских стрелков. У окна стояла компания молодых офицеров, они молча пили и смотрели на происходившее. Но вот один из них повернул голову в мою сторону, прямо, невидящими глазами, посмотрел на меня, и я узнал в нем князя Фердинанда Виндишгреца. Издали улыбнувшись ему, я назвал его по имени: Фрики! А он отвернулся в другую сторону, пытаясь найти того, кто его позвал. Кто же может догадаться, откуда доносится голос, когда он зовет тебя из глубины воспоминаний, да еще таких далеких!

Тот Фрики, что обернулся ко мне, был стариком. В нем не осталось молодого Фрики, каким он был в Риме, во Флоренции и в Форте деи Марми. Но все-таки в нем еще оставалось нечто от его прежнего изящества. Только теперь в самом его изяществе появилось нечто извращенное, а лоб покрыла прозрачная белая пелена. Я смотрел, как он поднимал рюмку и двигал губами, произнося: nuba, потом, отбрасывая назад голову, пил. В его движении становился виден костяк его головы, слабенький, обтянутый кожей под поредевшими волосами белый череп, рыжеватым отсветом поблескивала мертвая кожа лба. Он тоже лысел, у него тоже шатались зубы. За восковыми ушами я видел хрупкий и нежный детский затылок — затылок больного ребенка или тщедушного старца. Руки у него дрожали, когда он ставил рюмку на стол. Ему было всего двадцать пять лет, бедному Фрики, а у него тоже был таинственный взгляд мертвеца.

Но вот я подошел к нему и тихо позвал:

— Фрики!

Фредерик медленно обернулся, медленно меня узнал. Для него я был вроде утопленника, который медленно поднимался из глубин воспоминаний и у которого было неузнаваемое лицо. И все-таки он узнал меня и с грустью стал смотреть на меня, изучать мое изменившееся лицо, усталый рот, белый взгляд. Он молча пожал мне руку. Молча, улыбаясь, мы долго глядели друг на друга, и в эти минуты мне представился другой Фредерик, тот, что был со мною на пляже в Форте деи Марми: как река меда течет по песку солнце, медом, золотистым и теплым светом истекают сосны вокруг моего дома (но Клара с тех пор вышла замуж за князя Фюрштенбергского, а Суни теперь влюблена). Оба мы подняли глаза и взглянули на белый отсвет листьев, воды, неба. «Бедный Фрики»,— подумал я. А Фрики неподвижно стоял перед окном, словно и не дышал. Он молча смотрел на огромный лапландский лес, на спокойные дали, на то, как медленно разворачивались перед нашими глазами зеленые и серебряные виды рек, озер, лесистых холмов под белым и ледяным небом. Я коснулся рукой руки Фредерика, и это, может быть, была с моей стороны некая ласка. Фредерик повернул ко мне лицо — на морщинистой и желтой коже покорно блестели отчаявшиеся глаза. И вдруг я узнал этот взгляд.

Я узнал этот взгляд, и меня передернуло. Я с ужасом понял, что и у него был взгляд зверя, таинственный взгляд зверя. У него стали оленьи глаза, подумал я, глаза покорного и отчаявшегося оленя. Потерявшего надежду оленя. Я хотел ему сказать: «Нет, Фрики, только не ты!» Но у него тоже был звериный взгляд, покорный взгляд отчаявшегося оленя. «Нет, Фрики, только не ты!» Но Фредерик молча смотрел на меня, как будто на меня смотрел олень. На меня смотрел олень покорными глазами отчаявшегося зверя.

Другие офицеры, товарищи Фредерика Виндишгреца, тоже были молоды: двадцать, двадцать пять, тридцать лет, но у всех на желтых и морщинистых лицах появились признаки старости, разложения, смерти. И у всех был покорный взгляд отчаявшегося оленя. Все они — звери, думал я, все они — дикие звери, с ужасом думал я. У всех на лицах и в глазах светилась прекрасная и печальная, вялая успокоенность дикого, потерявшего надежду зверя. Все они заражены сосредоточенным и меланхоличным звериным безумием. Звериной поразительной невинностью, приводящей в ужас звериной жалостью. У всех было одно и то же лицо смертельно уставшего человека, один и тот же голый лоб, та же беззубая улыбка, тот же олений взгляд. Даже жестокость, немецкая жестокость, угасла на их лицах. У них были глаза Христа, глаза зверя.

И вдруг мне вспомнилось то, что я услышал тотчас же по приезде в Лапландию, о чем говорили шепотом, как о чем-то странном, непонятном (и действительно, это было странно, непонятно), о чем было запрещено говорить. Мне припомнилось то, что я услышал тотчас же по приезде в Лапландию, то, что рассказывали о молодых немецких солдатах, об этих самых альпийских стрелках генерала Дитла — что они вешались на деревьях в чаще леса или целыми днями сидели на берегу озера, долго смотрели на далекий горизонт, потом стреляли себе в висок из пистолета или во власти поразительного безумия, словно одержимые любовной фантазией, бродили по лесам, как дикие звери, или бросались в неподвижную гладь озер, а то и просто ложились на ковер мха под шептавшимися на ветру соснами и ждали смерти, вот так, тихо, умирали в ледяном одиночестве, в уединении отчужденно-безразличного леса.

«Нет, Фрики, только не ты!»,— хотел я сказать, но в это время Фредерик спросил:

— Ты видел моего брата в Риме?

И я ответил:

— Да, я видел его перед отъездом. Один раз вечером в баре «Эксельсиор».

Между тем я хорошо знал, что его брат был убит, я знал, что князь Гуго Виндишгрец, офицер итальянской армии, погиб в объятом пламенем самолете над Александрией. Но я ответил Фредерику.

— Да, я видел его вечером в баре «Эксельсиор». Он был с Мартой Гульельми.

А Фредерик спросил:

— Ну, как он?

И я ответил:

— С ним все в порядке. Он спрашивал меня про тебя и просил передать тебе привет.

И ведь я хорошо знал, что Гуго был мертв.

— Он не дал тебе письма для меня?

— Я видел его только мельком, вечером, перед самым отъездом. У него не было времени написать тебе, он только просил передать тебе привет.

Вот так я ему и ответил, а между тем хорошо знал, что Гуго был мертв. Фредерик сказал:

— Гуго — отвважный малый.

И я ему ответил:

— Да, он действительно настоящий парень. Все его очень любят. Он желает тебе много-много всякого приятного.

Однако я знал, что Гуго умер. Фредерик посмотрел на меня:

— Бывает ночью,— сказал он,— я просыпаюсь и думаю, что Гуго умер.

Он сказал это и посмотрел на меня глазами дикого зверя, взглядом, который бывает у мертвых.

— Почему ты думаешь, что твой брат умер? Я видел его в баре «Эксцельсиор» перед отъездом из Рима,— ответил я, а ведь знал, что Гуго умер.

— А разве плохо умереть? — сказал Фредерик.— В этом нет ничего плохого. Это не запрещено. Разве запрещено умирать, как ты думаешь?

Тогда я вдруг признался ему и голос мой дрожал:

— О, Фрики! Гуго умер! Я видел его в баре «Эксцельсиор» в вечер отъезда из Рима, и он уже был мертв. Я уже давно знал об этом, еще до его смерти.

Он наполнил свой бокал. Я взял бокал, который Фрики мне протянул, и рука моя дрожала.

— Nuba! — сказал Фрики.

— Nuba! — ответил я.

— Мне хочется хоть на несколько дней съездить в Италию,— после долгого молчания сказал мне Фредерик.— Мне хотелось бы съездить в Рим.— Потом прибавил: — А что делает Паола? Ты давно ее видел?

— Я встретил ее на гольфе однажды утром, незадолго до отъезда из Рима. Паола прекрасна. Я очень люблю ее, Фрики.

— Я тоже очень ее люблю,— сказал он. Потом спросил: — А как поживает графиня Чиано?

— Как ей поживать? Она живет точно так же, как и другие.

— Ты хочешь сказать...

— О, совсем нет, Фрики!

С улыбкой посмотрев на меня, он сказал:

— А Мариза, что она поделывает? А Альбертина?

— Ах, Фрики, они же все живут как потаскухи. В Италии сейчас на это большая мода. Все живут как потаскухи. Король, папа, Муссолини, наши обожаемые князья, кардиналы, генералы — все в Италии занимаются проституцией.

— В Италии всегда так было,— сказал Фредерик.

— Так всегда было и так всегда будет. И я тоже, как и все прочие, в течение многих лет занимался проституцией. Потом такая жизнь мне опротивела. Я восстал против нее и попал на каторгу. Но даже попасть на каторгу, даже пострадать за свободу — тоже один из способов заниматься проституцией. Даже говорить, что все — ложь, что все это — оскорбление для тех, кто погиб, кто умер за свободу,— тоже один из способов заниматься проституцией. Выхода нет, Фрики.

— В Италии всегда было так,— сказал Фредерик.

Мы долго молчали. Фредерик, улыбаясь, смотрел на меня глазами дикого зверя, покорным взглядом отчаявшегося зверя. С другой стороны комнаты до нас донеслись душераздирающие вопли. Я обернулся и увидел, что генерал Дитл, губернатор Каарло Хиллила и граф де Фокса стояли в окружении группы немецких офицеров. Голос Дитла вдруг сделался резким и пронзительным, а ему вслед слышались оглушительные выкрики и смех. Я никак не мог разобрать, что произносил генерал Дитл: мне казалось, что он очень громко повторял одно и то же слово, все время одно и то же слово — «traurig», что значит «печально». Фредерик осмотрелся и сказал:

— Это ужасно. Денно и нощно, все время эта беспрерывная оргия. А между тем самым впечатляющим образом учащаются случаи самоубийств среди офицеров и солдат. Сюда приехал сам Гиммлер, лично, он пытается положить конец эпидемии самоубийств. Ему остается только арестовывать мертвых. Он будет хоронить их со связанными руками. Он воображает, что, нагоняя страх, может прекратить самоубийства. Вчера он расстрелял трех альпийских стрелков, которые пытались повеситься. Гиммлер не знает, что мертвецам — хорошо, прекрасно.— И он посмотрел на меня олеными глазами, тем таинственным звериным взглядом, которым обладают глаза мертвых.— Многие стреляют себе в висок из револьвера. Другие бросаются в реки и озера. И это все — самые молодые из нас. Есть и такие, что в безумном бреду бродят по лесу.

— Trrraaauuurrrig! — пронзительным голосом воскликнул генерал Дитл, подражая отвратительному свисту бомбы, а генерал авиации Менш завопил вслед за ним: «Бум!», имитируя страшный взрыв бомбы. Все хором вопили, свистели, хрюкали вослед ему, изощряясь, как могли, и руками, ногами, губами пытаясь в точности воспроизвести грохот рушащихся, осыпающихся стен и воющий, улюлюкающий свист осколков, отброшенных в небо силой взрыва.

— Trrraaauuurrrig! — кричал Дитл.

— Бум! — вопил вслед ему Менш.

И за ними обрушивался поток криков и воплей диких зверей. В этой сцене смешались воедино людская дикость, гротеск, варварство и ребячество. Генералу Меншу

было около пятидесяти лет — маленький худенький человечек с желтым и морщинистым лицом, беззубым ртом, редкими седеющими волосами, хитренькими глазками в обрамлении сети тонких и мелких морщинок. Он вопил:

— Бум! — глядя на де Фокса дикими, полными ненависти и презрения глазами.

— Halt! — вдруг закричал генервл Менш и поднял руку. Потом, обратившись к де Фокса, грубо спросил: — Как будет «traurig» по-испански?

— Говорят triste, я думаю, так,— ответил де Фокса.

— Попробуем с triste,— сказал Менш.

— Trrriiissste! — крикнул генерал Дитл.

— Бум! — взвыл Менш. Потом поднял руку и сказал: — Нет, triste не пойдет. Испанский — не военный язык.

— Испанский — христианский язык,— сказал де Фокса.— Язык Христа.

— Смотри, Христос! — вскричал Менш.— Попробуем кричать «Христос».

— Хррриииссстттооос! — взревел генерал Дитл.

— Бум! — возопил генерал Менш, потом поднял руку и сказал: — Нет, Христос не пойдет.

— Христос — не немецкое слово,— улыбаясь, сказал де Фокса.

В этот момент к генералу Дитлу подошел офицер и сказал ему что-то тихим голосом. Дитл обернулся к нам и громко объявил:

— Господа, Гиммлер, возвратившись из Петсамо, ждет нас в главном штабе. Пойдемте и поприветствуем Гиммлера, как подобает верным немецким солдатам.

На всей скорости мы проехали в машинах по пустынным улицам Рованиеми, затерянным под белым небом, перерезанным у самой земли розовым шрамом горизонта. Было, может быть, десять часов вечера, а может быть, и десять часов утра. Над крышами качалось бледное солнце, дома были цвета матового стекла, а река печально поблескивала между деревьями.

Мы быстро приехали в военный поселок, состоявший из бараков, выстроенных на опушке леса серебристых березэ, совсем близко от города. Здесь и была ставка генерального штаба Северного фронта. К Дитлу подошел офицер и что-то ему сообщил, тогда генерал, повернувшись к нам, сказал, смеясь:

— Гиммлер в штабной сауне. Пойдемте, посмотрим на голого Гиммлера! — Взрыв смеха встретил его слова. Почти бегом Дитл подошел к бараку из сосновых бревен, находившемуся уже в лесу, на некотором расстоянии от военного поселка. Он толкнул дверь, и мы вошли.

В сауне, финской бане, большое место занимает очаг и котел, из которого на раскаленные камни, наваленные над очагом с горящими в нем благоуханными поленьями березовых дров капает вода, немедленно испаряющаяся облаком пара. На полках, идущих одна над другой вдоль стен сауны, сидят или лежат голые мужчины — их с десяток. Белые, размякшие, дряблые и безоружные. Они так невероятно голы, что кажется, что на них нет даже кожи. Они похожи на раков с бледно-розовой кожей, и эта кожа издает кисловатый запах раков. У них широкая и жирная грудь с набухшими и обвислыми сосками. Лицо строгое и жестокое — немецкое лицо. Оно странно не соответствует их голым белым и дряблым телам, оно кажется маской. Голые люди сидят или лежат на скамьях, как усталые трупы. Время от времени медленно, с трудом, они поднимают руку и обтирают пот, который течет с их белесых тел в желтых веснушках, блестящих веснушках вроде чесотки. Они сидят или лежат по лавкам, как сваленные сюда трупы.

Голые немцы — невероятно безоружны. В них нет тайн. Они уже не страшны. Секрет их силы не в коже, костях и крови, а в их мундире. Мундир — это и есть их настоящая кожа. Если бы народы Европы знали о дряблой наготе, беззащитной и мертвой наготе, которая прячется под немецким мундиром, самый слабый и беззащитный народ не испугался бы немецкой армии. Малый ребенок осмелился бы выступить против целого немецкого батальона. Достаточно увидеть немцев голыми, чтобы понять тайный смысл их национальной жизни, историю их нации. Генерал Дитл поднял руку и крикнул зычным голосом:

— Heil Hitler!

— Heil Hitler! — ответили голые люди, заботливо поднимая руку с березовым веником.

В сауне как раз наступил кульминационный момент — там происходил ритуал веника. Но слаб и мягок был самый жест махавших вениками рук.

Среди увиденных нами голых существ был человек, он сидел на нижней полке, и мне показалось, что я его узнал. Пот струился по его широкоскулому лицу, на котором близорукие глаза без очков белесо и вяло поблескивали, как рыбьи глаза. Он высоко держал голову, и в позе его чувствовалась спесь и наглость. То и дело он встряхивал головой. При этом внезапном движении глазные впадины, ноздри, уши заливались потоками пота, как будто голова его была переполнена водой. Руки он держал на коленях, как школьник, которого наказали. Между его руками розовел выпирающий,

дряблый и пухлый живот со странно торчащим пупком, который на мягком тоне живота выглядел бутоном розы. Детский пупок на старческом животе.

Я никогда в жизни не видел такого голого живота, он был такой розовый и нежный, что хоть пробуй его вилкой. Большие капли пота стекали, скользя вдоль груди, и струились по коже нежного живота, собирались на лобке, как роса на кусте. Под лобком висели чахлые и вялые два яичка в дряблой коже, похожей на скомканный бумажный мешок. Он явно гордился своими яйцами, как Геркулес своим мужским достоинством. Он будто растворялся в воде прямо на наших глазах, так он потел. Я даже побаивался, что через какое-то мгновение от него останется только дряблая и пустая кожица, ибо казалось, что даже его кости размягчались на глазах, превращаясь в желе, и растворялись. Он походил на фруктовое мороженое, поставленное в печь. Только скажешь amen — и уже от него ничего не останется, один пшик, лужица пота на полу.

Когда Дитл поднял руку и сказал «Heil Hitler!», человек встал, и я его окончательно узнал. Это был тот человек из лифта, это был Гиммлер. Он стоял перед нами (плоские ступни со странно загнутым вверх большим пальцем) и его короткие руки болтались по бокам. Пот ручьями стекал с висевших, как кисточки, пальцев. С лобка тоже лило потоком, и от этого Гиммлер походил на брюссельского Маннекенписа. Вокруг его дряблых сосков росли две маленькие короны волосков, два ореола из светлых волос. С сосков тоже лил пот вроде молока.

Ухватившись за стену, чтобы не упасть на скользком, мокром и липком полу, он показал нам круглые и выпуклые ягодицы с отпечатавшейся на них татуировкой от перекладины скамьи. Но вот ему удалось восстановить равновесие и, обернувшись, он поднял руку и хотел заговорить, но струившийся по лицу пот залил ему рот и помешал сказать: «Heil Hitler!» При этом жесте, который прочие голые люди приняли за движение самобичевания веником, все они взмахнули вениками и сначала принялись хлопать друг друга, потом, по общему согласию, обрушили веники на плечи, спину, ягодицы Гиммлера, стали хлестать его с возрастающей силой.

Березовые ветки веников оставляли на размякшем теле белые отпечатки. Потом отпечатки краснели и исчезали. Краткосрочная растительность из березовых листьев появлялась и исчезала на коже Гиммлера. Голые люди с яростной силой поднимали и опускали веники: дыхание коротким свистом вырывалось из их толстых губ. Сначала Гиммлер попытался защищаться, прикрывая руками лицо. Он смеялся, но вынужденным смехом, и это обнаруживало его ярость и страх. Затем, когда веники спустились ниже и стали кусать ему бедра, он стал поворачиваться то в одну, то в другую сторону, прикрывая локтями живот, крутясь на цыпочках, втягивая шею в плечи, взвизгивая истерическим смехом, словно его больше донимала щекотка, чем сами удары. Наконец, Гиммлер увидел, как за нами распахнулась дверь сауны, и, вытянув руки и прокладывая себе путь, он бросился к двери, а за ним ринулись голые люди, которые, не переставая, хлестали по нему вениками. Гиммлер убежал к реке и бросился в воду.

— Господа,— сказал Дитл,— в ожидании, когда Гиммлер закончит свои банные дела, я приглашаю вас выпить рюмку у меня.

Мы вышли из леса, прошли через поле и вслед за Дитлом вошли в его бревенчатый домик. Словно я переступил порог чистенького домика в баварских горах. В камине потрескивал приятный огонь от сосновых веток, приятный запах смолы плавал в теплом воздухе. Мы опять принялись пить и хором кричать «Nuba!» каждый раз, как Дитл или Менш подавали к тому знак поднятием своих рюмок. В какой-то момент, пока прочие потрясали финками или кинжалами альпийских стрелков, стоя вокруг Менша и де Фокса и при этом изображая последние мгновения корриды (Менш был быком, а де Фокса — торреро), генерал Дитл сделал нам с Фредериком знак следовать за ним. Мы вышли из комнаты и оказались в его рабочем кабинете. В углу, у стены, стояла его походная кровать. На полу лежали волчьи шкуры, на кровати — заменяя одеяло, разложена была великолепная шкура белого медведя. К стене кнопками было приколото много фотографий горных пейзажей: башни Вайоле, Мармолада, Тофаны, Тироля, Баварии, Кадоре. На столе у окна в кожаной рамке стояла фотография женщины с тремя девочками и мальчиком. Женщина выглядела простым и милым существом. Из соседней комнаты слышался пронзительный, резкий голос Менша среди взрывов смеха, диких воплей, топота ног и хлопков. От голоса Менша дрожали стекла в окнах и оловянные кувшинчики на камине.

— Пусть они развлекаются, эти дети! — сказал Дитл, растягиваясь на походной кровати. Он обратил глаза к окну, и я увидел, что у него тоже был покорный взгляд отчаявшегося оленя, таинственный взгляд зверя, который бывает у мертвецов. Сквозь деревья солнце светило на бараки альпийских стрелков, на опушке леса стояли бревенчатые домики офицеров. С реки доносились голоса и смех купальщиков... Гиммлер! Гиммлеров розовый живот! В сосновых ветвях крикнула птица. Дитл закрыл глаза: он спал.

Фредерик, сидя в покрытом волчьей шкурой деревенском кресле, тоже закрыл глаза и заснул. Одна рука его лежала вдоль тела, другая покоилась на груди — ручка ре-

бенка, маленькая, белая. Чудесно быть мертвым. От отдаленного рева моторов потускнел серебристо-зеленый цвет березового леса. В высоком и прозрачном небе гудел аэроплан. В комнате рядом продолжалась оргия — дикие крики, шум разбитых бокалов, хриплые голоса старались перекричать друг друга, слышался детский громкий смех. Я наклонился над Дитлом, победителем Нарвика. Дитл — герой немецкой войны, герой немецкого народа. Он тоже Зигфрид и одновременно — конька. Он — Герой и Kapparoth, жертва, ему тоже Kaputt. Как прекрасно быть мертвым.

Из соседней комнаты доносится пронзительный голос Менша, низкий голос де Фокса, гомон препираний. Я иду к двери. Менш стоит перед бледным и мокрым от пота де Фокса. Их окружили офицеры, все держат бокалы в руках.

Генерал Менш объясняет:

— Выпьем за здравие народов, которые сражаются за свободу Европы. За Германию, Италию, Финляндию, Румынию, Венгрию...

— ...Хорватию, Болгарию, Словакию,— подхватывают другие.

— ...Японию...

— ...Испанию,— говорит посол Испании в Финляндии, граф де Фокса.

— ...за Испанию — nicht! — кричит Менш.

Де Фокса медленно опускает бокал. У него бледный и мокрый лоб.

— ...за Испанию! — повторяет де Фокса.

— Nein, nein, Spanien nicht! [1] — кричит Менш.

Все смотрят на де Фокса, а он, бледный и решительный, стоя прямо перед генералом Меншем, смотрит на него гордо и гневно.

— Если вы не выпьете за здравие Испании,— говорит де Фокса,— я крикну: «Ваша Германия — говно!»

— Nein! — кричит Менш.— Spanien nicht!

— Ваша Германия — говно! — кричит де Фокса, поднимая бокал, и оборачивается ко мне — в глазах его мелькают молнии торжества.

— Браво, де Фокса,— говорю я ему,— ты выиграл пари.

— Да здравствует Испания! Германия — говно! — кричит де Фокса.

— Ja, ja, Германия — говно! — кричит Менш, поднимая бокал.

Все обнимаются, некоторые падают на пол. Генерал Менш ползет на четвереньках по полу, пытаясь ухватиться за бутылку, которая медленно катится по деревянным доскам.

Зигфрид и семга

— Кресла, обитые человеческой кожей? — спросил Курт Франц недоверчиво.

— Да,— подтвердил я,— кресла были именно обиты человеческой кожей.

Все рассмеялись. Георг Биндаш заявил:

— Наверное, очень удобно.

— Очень нежная тонкая кожа,— сказал я,— почти прозрачная.

— В Париже,— сказал Виктор Морер,— я видел книги, переплетенные человеческой кожей. Но кресла, такого никогда не видел.

— Эти кресла находятся в Италии,— сказал я,— в замке графов Конверсано, в Пулье. Граф Конверсано в середине XVII века заставлял сдирать кожу с убитых врагов, а врагами его были священники, дворяне, повстанцы, бандиты. Граф Конверсано приказал обить кожей врагов кресла в большом зале своего дворца. Среди этих кресел одно обито кожей с живота и груди монахини. На нем еще видны отполированные и истертые временем, вернее, употреблением, соски.

— Употреблением? — спросил Георг Биндаш.

— Подумайте, ведь сотни людей сидели в этом кресле за три-то столетия! Мне кажется, такого достанет, чтобы истерлась даже грудь монашки.

— Этот граф Конверсано, вероятно, был чудовищем,— сказал Виктор Морер.

— Кожей всех евреев, которых вы уничтожили,— сказал я,— сколько сотен тысяч кресел можно обить?

— Миллионы,— сказал Георг Биндаш.

— Кожа евреев ни на что не годится,— сказал Курт Франц.

— Ну, конечно, кожа немцев лучше,— сказал я.— Из нее можно было бы выделать великолепный материал для обивки.

— Ничто не сравнится с кожей Гермеса,— сказал Виктор Морер, которого генерал Дитл прозвал «парижанином». Виктор Морер, двоюродный брат Ганса Морера, секретаря по прессе посольства Германии в Риме, был уроженцем Мюнхена. Многие годы он прожил в Париже, а теперь служил под началом капитана Рупперта. Для Виктора Морера Париж заключался в баре Риц, а Франция — в его друге Пьере Ко.

[1] Нет, нет, за Испанию нет! *(нем.)*

— После войны,— сказал Курт Франц,— немецкая кожа ровным счетом ничего не будет стоить.

Георг Биндаш засмеялся. Он растянулся на траве, на лицо надел сетку от комаров. Он пожевывал березовый лист и время от времени приподнимал сетку, чтобы сплюнуть. Он засмеялся и спросил:

— После войны? Какой войны?

Мы сидели на берегу Йуутуанйоки, около озера. Река бурлила между большими глыбами камней. От деревни Инари поднимался голубой дым, лапландские пастухи варили суп из оленьего молока в медных котелках, подвешанных над костром. Солнце качалось над горизонтом, словно его трепал ветер. По теплому зелено-голубому лесу волнами пробегали порывы ветра и чудесно шептались в травах и листве. Стадо оленей паслось на другом берегу реки. Между деревьями просвечивало серебряное озеро с розово-зелеными прожилками. Великолепный старый мейсенский фарфор. Именно так оно и было: я видел зеленые и розовые тона мейсенского фарфора, робкие и горячие тона зелени, теплые розовые, там и сям свернувшиеся, как молоко, в бледные и поблескивавшие пурпуром сгустки. Пошел дождь — вечный летний северный дождь. Легкое шуршание пробежало по лесу. Внезапно луч солнца скользнул по мейсенскому фарфору зелено-розового озера и в воздухе раздался легкий звон, нежный и жалобный звон треснувшего фарфора.

— Для нас война окончена,— сказал Курт Франц.

Война шла далеко от нас. Мы оказались здесь вне войны, на далеком от нее континенте, мы жили здесь вне времени, отрезанные от всего человечества. Я уже более месяца ездил по лапландским лесам, по тундре, вдоль берегов Лицы, по наворотам пустынных камней, холодных и голых фьордов, там, у Петсамо, на Ледовитом океане, по красным сосновым лесам и по белым березовым рощам, вокруг озера Инари, по болотам в районе Ивало. Уже более месяца я жил среди этого странного народа, молодых альпийских стрелков, баварцев и тирольцев, беззубых, лысых, с желтыми и морщинистыми лицами, с покорными глазами отчаявшихся диких зверей. Я спрашивал себя, что же могло так глубоко изменить их внешность. Это были те же немцы, которых я встречал у Белграда, Киева, Смоленска, Ленинграда, у них были те же глухие голоса, твердые лбы, широкие и тяжелые ладони. Но в них проявлялось нечто странное, удивительное, в них было что-то чистое, чего я никогда вообще не встречал в немцах. Может быть, то была их звериная жестокость, их жестокая наивность, похожая на невинную жестокость зверей и детей. Они говорили о войне, как о давно прошедшем, далеком событии, говорили с внутренним презрением, с обидой на учиненные насилия, на голод, разруху и уничтожения. Будто бы им хватало жестокости, суровости самой природы, будто их уединенная жизнь в беспредельных лесах, их удаленность от привычной цивилизации, скука во время бесконечной зимней ночи в долгие месяцы тьмы, которую време от времени разрывало на части пожаром северных сияний, муки бесконечного летнего дня, когда день и ночь солнце неумолимо и настойчиво смотрит в окно горизонта,— будто бы все это толкало их отречься от свойственной человеку жестокости. Довольно и самой природы с ее жестокостью! Словно они переняли от диких зверей их покорное отчаяние, их таинственное понимание смерти. У них был олений глаз, темный, сияющий и глубокий глаз, таинственный звериный взгляд, который бывает в глазах мертвецов.

Несколько дней тому назад я вышел ночью в лес. Мне не спалось. Было уже заполночь. Бледное, чистое, прозрачное небо выглядело шелковистой бумагой. Ни тени облака! Сначала оно мне показалось именно таким: бездонное, прозрачное — огромное, беспредельное, голубое и пустое пространство. Между тем с безмятежного неба шел мелкий невидимый дождичек, который промочил меня до костей, и он нежно и очень мелодично шептался с листвой в кустах и в светлом ковре мха. Я пошел дальше в лес и прошел больше мили, когда глухой немецкий голос приказал остановиться. Ко мне подошел патруль альпийских стрелков в масках-сетках от комаров. Это был один из многочисленных отрядов патрулей, специально натасканных на лесную войну на Севере,— они бродят по лесам и болотам в районе Ивало и Инари и охотятся на норвежских и русских партизан. Мы сели под скалой, развели костер из валежника, потом курили и болтали под легким дождичком, пропитанным запахом смолы. Они рассказали мне, что напали на следы целой волчьей стаи. Несколько дней тому назад они уже заметили присутствие волков где-то рядом по беспокойству, которое проявляли олени в стадах. Все эти солдаты были тирольскими и баварскими горцами. Время от времени из леса доносился то хруст ветки, то глухой птичий крик.

Пока мы тихо разговаривали (как всегда тихо; в этом климате голос человека кажется фальшивым, каким-то нарочитым, нечеловеческим, отрешенным от человека, разочарованным — поистине, это сам голос тлеющего в душе страха, он находит способ выразиться и до конца проявиться только в самом себе, в своем собственном звуке, в своем отголоске, в эхе), между деревьями, в сотне шагов от нас, замелькали бежавшие рысцой звери, похожие на собак с короткой шерстью цвета серо-ржавого железа.

— Волки! — сказал солдат.

Они бежали мимо нас и смотрели в нашу сторону красными и блестящими глазами. Они нас совершенно не боялись, нисколько не остерегались. В их доверии к нам заключалось не только нечто мирное, миролюбивое, но я сказал бы, что-то рассеянное, отвлеченное. Они бежали бесшумно, быстро и легко, длинными, скорыми и мягкими шагами. В них не было ничего свирепого, а только некая благородная робость, вроде горделивой и очень жестокой снисходительности. Один солдат поднял ружье, но его товарищ, стоявший рядом, опустил его дуло. И в этом жесте было отречение, уход от жестокости, свойственной человеку. Будто человек, попав в эти уединенные, нечеловечьи места, не находил другого способа выразить свою принадлежность к роду человеческому, как только восприняв звериную печаль и нежность.

— Вот уже несколько дней,— сказал Георг Биндаш,— как генерал фон Хейнарт вне себя. Ему не удается поймать семгу. Вся стратегия и выучка немецких генералов оказалась несостоятельной перед хитростью семги.

— Немцы — плохие рыболовы,— сказал Курт Франц.

— Рыба не любит немцев,— сказал Виктор Морер.

Лейтенант Георг Биндаш, адъютант генерала кавалерии фон Хейнерта, был первым немцем, на которого я натолкнулся, прибыв в Инари. В гражданском своем бытии Георг Биндаш служил судьей в Берлинском суде. Это был человек лет тридцати, высокий, широкоплечий, с костистыми челюстями. Он ходил немного сутулясь и недружелюбно поглядывая.

— Такой взгляд,— говорил он сам,— судье не подобает иметь.

Время от времени он плевал на землю с выражением глубокого презрения на сумрачном лице. У него было лицо цвета выделанной кожи. Именно поэтому мы в этот самый день и заговорили о креслах графа Конверсано. Эти плевки на землю были к лицу, как говорил сам Биндаш, генеральскому адъютанту в немецкой кавалерии, «но у меня на это есть особые причины!» — заявил он. Эта его привычка наводила меня на мысль, что Георг Биндаш плевал, как он это делал, на всех немецких генералов. Если выбирать между генералом фон Хейнертом и лапландской семгой, он отдавал предпочтение скорее все-таки семге. Но, как и все немцы, будь они судьи или нет, Георг Биндаш все равно подчинялся генералам. И лучшая европейская семга, которую даже немцы считают семгой, тоже, как и все прочие, должна была подчиняться генералам.

Прибыв в Инари, я сразу начал бродить по деревне в поисках спального места. Я очень устал с дороги и буквально падал с ног. Я проехал шестьсот километров по Лапландии, и, когда добрался до Инари, первым моим желанием было выспаться в кровати. Но оказалось, что в Инари кровать была большой редкостью. Деревня состояла из четырех-пяти деревянных домиков, не более. Они стояли вокруг небольшой площади, похожей на деревенский базар, где финн по имени Юухо Никанен принял меня и, сердечно улыбаясь, показал все свои самые лучшие товары: целлулоидные гребенки, финские ножи с костяными рукоятками, таблетки сахарина, перчатки из собачьего меха, мазь против комаров.

— Вам нужна кровать? Для того, чтобы в ней спать? — спросил меня Юухо Никанен.

— Ну конечно, чтобы в ней спать.

— И вы пришли ко мне? Но я ведь не продаю кроватей. У меня когда-то была походная кровать в лавке, но я ее продал три года тому назад директору Осаки Панкки в Рованиеми.

— Не могли бы вы указать кого-нибудь,— спросил я его,— кто согласился бы предоставить мне кровать, пусть всего на несколько часов?

— Одолжить вам кровать? — сказал Юухо Никанен.— Вы хотите сказать, чтобы кто-нибудь уступил вам свою очередь? Ну! Это, мне кажется, трудно. Немцы отобрали у нас кровати. Мы теперь спим по очереди в тех нескольких кроватях, которые у нас еще остались. Попробуйте пойти к мадам Ирьяа Пальмунен Химанке. Возможно, у нее есть свободная кровать в гостинице или, может быть, ей удастся уговорить немецкого офицера уступить вам кровать на несколько часов. А в ожидании своей очереди поспать вы можете пойти поудить рыбу. Я дешево продам вам все необходимое для ловли семги.

— В реке много семги?

— До того, как немцы начали строить мост на Йуутуанйоки, было огромное количество семги. Плотники слишком шумят пилами, топорами и молотками на реке и мешают ей. В Ивало немцы тоже строят мост, и семга уплыла из Ивалойоки. Но это еще не все. Немцы ловят рыбу, бросая в воду гранаты. Они устраивают настоящие побоища. Они уничтожают не только семгу, а и все виды рыбы. Они, может быть, думают, что могут поступать с семгой так же, как они поступают с евреями? Мы им этого никогда не позволим. Недавно я сказал генералу фон Хейнерту: если немцы, вместо

того чтобы воевать с русскими, будут продолжать воевать с нашей семгой, мы встанем на ее защиту.

— С семгой,— сказал я,— легче воевать, чем с русскими.

— Не скажите,— сказал Юухо Никанен,— вы ошибаетесь: семга — рыба очень смелая, и не так-то легко ее победить. По-моему, немцы совершают грубую ошибку, начав воевать с семгой. Придет день, когда немцы будут бояться даже семги. Тем дело и кончится. Та война так и кончилась.

— Но, тем временем,— сказал я,— семга уплывет из ваших рек.

— Но не от страха,— сказал Юухо Никанен с обидой в голосе.— Семга не боится немцев, она их презирает. Немцы — люди вероломные, бесчестные, коварные и, в особенности, что касается рыбной ловли. Они не знают, что такое «fair play».[1] Они уничтожают семгу гранатами, вы меня понимаете? Они не верят, что рыбная ловля — это спорт, они думают, что это в некотором роде Blitzkrieg. А семга — самое благородное животное в мире. Она предпочитает умереть, чем нарушить закон чести. Она до конца борется с благородным человеком, а сама — наиблагороднейшее существо. Она героически рискует жизнью, не унижается до того, чтобы тягаться с бесчестным противником. Немцы злятся, что семги им не попадаются в наших реках. А знаете, куда эмигрирует семга?

— В Норвегию?

— Вы, может быть, думаете, что норвежцы в лучшем положении, чем семга? Ведь и в Норвегии есть немцы! Семга плывет за полуостров Рыбачий, к Архангельску и Мурманску.

— А! Семга уплывает в Россию?

— Да, она уплывает в Россию,— сказал Юухо Никанен. Его бледное широкоскулое лицо собралось тысячью мелких морщинок и стало похоже на выставленную на солнце потрескавшуюся маску из глины.— Семга уплывает в Россию,— сказал он.— Будем надеяться, что в один прекрасный день она не приплывет к нам обратно с красной головой.

— Вы уверены, что она вернется?

— Да, она вернется. И даже скорее, чем вы думаете,— сказал Юухо Никанен. Потом, понизив голос, он прибавил: — Можете мне поверить, господин, немцы проиграют войну.

— Ах! — воскликнул я.— Вы говорите, что немцы проиграют войну?

— Я хочу сказать, войну с семгой,— объяснил Юухо Никанен.— Право, здешние люди, лапландцы, финны, все дорожат семгой. Недавно на берегу нашли мертвых немецких солдат. Наверное, семга их и прикончила, вам не кажется?

— Наверное,— сказал я.— Дорогой господин Юухо Никанен, я с удовольствием порадуюсь победе семги. Дело семги правое, оно касается всего человечества и всей цивилизации. Но, пока суд да дело, мне необходима кровать, я хочу выспаться.

— Очень устали?

— Смертельно устал и хочу спать.

— Советую вам пойти в гостиницу к мадам Иръяа Пальмунен Химанке,— сказал Юухо Никанен.

— Это далеко отсюда?

— В версте, не больше. Может и так получиться, что вам придется потерпеть и лечь в кровать с каким-нибудь немецким офицером.

— В одну кровать?

— Немцы любят спать в чужих кроватях. Если вы скажете немцу, что кровать ваша, может быть, он уступит вам немного места.

— Спасибо, господин Юухо Никанен.

Госпожа Иръяа Пальмунен Химанка встретила меня любезно. Это была женщина не многим более тридцати лет, с печальным и усталым лицом. Она немедленно сказала мне, что попросит лейтенанта Георга Биндаша, адъютанта генерала фон Хейнерта, уступить мне одну из своих кроватей.

— В скольких же кроватях спит этот господин? — спросил я.

— У него в комнате две кровати,— объявила госпожа Иръяа Пальмунен Химанка,— и я надеюсь, он согласится уступить вам одну из них. Хотя с немцами, вы знаете...

— Мне плевать на немцев! Я спать хочу...

— Мне тоже плевать,— уточнила Иръяа Пальмунен Химанка,— но до известного предела. Немцы...

— Никогда,— сказал я,— немцев не следует просить об услуге. Если вы попросите немца оказать вам услугу, заранее можете быть уверены, что он откажет. Все превосходство Herrenvolk[2] заключается в том, что он говорит «нет». У немцев никогда не

[1] Честная игра *(англ.)*.
[2] Народ господ *(нем.)*.

нужно ни просить, ни спрашивать. Я сам все устрою, госпожа Иръяа Пальмунен Химанка, я тоже побывал в шкуре семги.

Погасшие глаза госпожи Иръяа Пальмунен Химанки вдруг вспыхнули.

— О! — сказала она.— Какой благородный народ итальянцы. Вы первый итальянец, которого я вижу в жизни, и я не знала, что итальянцы тоже защищают от немцев семгу. А между тем вы, итальянцы,— союзники немцев. Вы благородный народ.

— Итальянцы,— сказал я ей,— тоже из породы семги. Все народы Европы — та же семга.

— Что с нами будет,— сказала госпожа Иръяа Пальмунен Химанка,— если немцы уничтожат всю семгу в наших реках или погонят ее отсюда? В мирное время мы получали доходы от любителей рыбной ловли, которые на лето приезжали в Лапландию из Англии, Канады, Северной Америки. Ах, эта война!

— Поверьте мне, госпожа Иръяа Пальмунен Химанкв, эта война закончится так же, как и предыдущая. Семга прогонит немцев.

— Дай-то Бог! — воскликнула госпожа Иръяа Пальмунен Химанка.

Мы поднялись на второй этаж. Гостиница в Инари выглядит как альпийский приют. Это деревянное строение в три этажа, к нему пристроено маленькое кафе, в котором пастухи и рыбаки-лапландцы собираются по воскресным дням после службы в церкви и беседуют об оленях, о водке и о семге, а потом возвращаются в свои хижины и палатки, затерянные в чащобах, в недрах огромного полярного леса. Госпожа Иръяа Пальмунен Химанка остановилась перед дверью и вежливо постучала.

— Herein![1] — крикнул изнутри хриплый голос.

— Лучше мне войти одному,— сказал я.— Я сам все устрою, вы увидите, все будет хорошо.

Я толкнул дверь и вошел. В маленькой, обшитой березовыми досками комнатке стояли две кровати. На той, что стояла у окна, прикрыв лицо сеткой от комаров, лежал Георг Биндаш. Я даже не сказал «добрый вечер», а просто бросил на свободную кровать рюкзак и плащ. Георг Биндаш приподнялся на локтях, осмотрел меня с головы до ног именно так, как судья смотрит на преступника, улыбнулся и, улыбаясь, начал с поразительной мягкостью и чрезвычайной вежливостью ругаться сквозь зубы. Он валится от усталости, ибо весь день провел стоя в ледяной воде Йуутуанйоки рядом с генералом фон Хейнертом, и сейчас хочет спокойно поспать, хотя бы два часа.

— Спите спокойно! — сказал я ему.

— Вдвоем в одной комнате спится плохо,— сказал Георг Биндаш.

— Еще хуже втроем,— сказал я, ложась на кровать.

— Хотел бы я знать, который час? — спросил Георг Биндаш.

— Десять часов.

— Десять утра или десять вечера?

— Десять вечера.

— Почему бы вам не погулять по лесу два часа? — спросил Георг Биндаш.— Дайте мне спокойно поспать, по крайней мере, еще два часа.

— Мне тоже хочется спать! Я пойду гулять завтра утром.

— Здесь вечер или утро — все едино. Солнце в Лапландии светит даже ночью.

— Мне больше нравится дневное солнце.

— Вы тоже приехали из-за этой проклятой семги? — спросил Георг Биндаш.

— Из-за семги? Разве в этой реке еще есть семга?

— Есть одна-единственная рыбина, но она не дается, проклятая!

— Одна-единственная?

— Одна-единственная,— сказал Георг Биндаш,— но это огромная, хитрая и смелая рыбина. Генерал фон Хейнерт попросил подкрепления в Рованиеми. Он не уедет из Инари прежде, чем не поймает ее.

— Подкрепления?

— Генерал,— сказал Георг Биндаш,— всегда остается генералом, даже когда он ловит семгу. Мы уже десять дней простаиваем с ним по пояс в воде. В ту ночь мы чуть ее не поймали. Я хочу сказать, в ту ночь она почти что проплыла между нашими ногами. Она подплыла к нам, но не схватила приманку. Генерал в большом гневе, он говорит, что семга издевается над ним.

— Издевается над ним?

— Она издевается над немецким генералом! — сказал Георг Биндаш.— Но завтра, в конце концов, прибудет подкрепление, которое запросил генерал в Рованиеми.

— Батальон альпийских стрелков?

— Нет, просто-напросто один капитан из альпийских стрелков, капитан Карл Шпрингеншмидт, специалист по рыбной ловле, по альпийской форели. Шпрингеншмидт — из Зальцбурга. Вы не читали его книгу «Tirol am Atlantischen Ozean»?[2]

[1] Войдите! *(нем.)*
[2] «Тироль на Атлантическом океане» *(нем.)*.

Тиролец всегда остается тирольцем, даже на берегах Северного Ледовитого океана. Если он специалист по форели, он сумеет выловить одну-единственную семгу, как вы думаете?

— Форель — не семга,— улыбаясь, сказал я.

— Кто знает? Капитан Шпрингеншмидт говорит, что да, а генерал фон Хейнерт говорит, что нет. Посмотрим, кто из них прав.

— Просить подкрепления против одной-единственной семги не достойно немецкого генерала.

— Генерал — всегда генерал,— сказал Георг Биндаш,— даже когда он сражается с одной-единственной рыбиной. Как бы там ни было, а капитан Шпрингеншмидт только даст ему несколько полезных советов. Генерал хочет действовать сам. Спокойной ночи.

Георг Биндаш лег на спину и закрыл глаза, но сразу же их открыл и сел в кровати, спросил мое имя, мою фамилию и фамилию моих родителей, день и месяц моего рождения, мою национальность, религиозную и расовую принадлежность, и все это он сделал точно так, как это делается при допросе преступника. Затем он вынул из-под подушки бутылку с водкой и налил две рюмки.

— Прозит!

— Прозит!

И опять лег на спину, закрыл глаза, заснул, улыбаясь. Солнце прямо светило ему в лицо. Комнату заволокло тучей комаров. Я заснул. Проспал я несколько часов подряд, думаю, что так, и проснулся, когда до моего слуха донесся слабый звук кастаньет. Биндаш спал глубоким сном, закрыв лицо сеткой от комаров, и походил на умирающего гладиатора на арене цирка. Меня неожиданно разбудило короткое и нежное постукивание кастаньет. И еще раздавалось шуршание травы, шелест листьев. И совершенно ясно слышался звук кастаньет. Мне показалось, что под моими окнами двигалась длинная процессия. Будто испанские танцовщицы, севильские танцовщицы вереницей шли к святилищу Пресвятой Девы Макаренской, постукивая кастаньетами, мягко держа над головой правую руку, а левую уперев в бедро.

Действительно, слышался звук кастаньет, который мало-помалу ширился, становился громче, отчетливей и ближе. Правда, в этом звуке отсутствовало эхо запахов, которые всегда сопровождают стук кастаньет,— запахов вялых цветов, жареных пирожков, ладана. Но все-таки я слышал звук сотен и сотен кастаньет. Длинная вереница андалузских танцовщиц, движущихся по сияющей от ледяного ночного солнца дорожке! При этом не слышалось криков толпы, взрывов хлопушек, торжественных оркестровых аккордов. Только этот шуршащий, сухой и все приближавшийся звук кастаньет.

Я спрыгнул с кровати и разбудил соседа. Георг Биндаш приподнялся на локтях, прислушался и, улыбнувшись, посмотрел на меня. Потом он сказал с иронией в голосе:

— Это олени. У них есть два когтя за копытом, они стучат во время ходьбы — вот это и есть ваши кастаньеты. Вы приняли их за испанских танцовщиц? — прибавил он.— Генерал фон Хейнерт тоже думал, что это андалузские танцовщицы. Я в два часа ночи вынужден был привести ему в комнату оленя! — И он, плюнув на пол, снова заснул с улыбкой на губах.

Я подсел к окну. Стадо из нескольких сотен оленей галопом пробегало по лесу к реке. Этот северный лес был наполнен призраками из средиземноморских стран, из жарких южных краев. Призраки из смазанной оливковым маслом и разгоряченной солнцем Андалузии. В ледяном и разреженном воздухе — и это уж был совершенный бред — я даже стал улавливать запах потных человеческих тел.

Ночное солнце косо скользило по островкам, рассеянным посреди озера, раня их лучами и заливая кровью. Там, в недрах деревни Инарп, жалобно лаяла собака. Все небо покрылось рыбьей чешуей — она рассыпалась и дрожала, отсвечивая, в холодном и ослепительном свете. Мы с Куртом Францем возвращались к озеру и спускались по склону холма. Среди сотни островов посреди озера я видел священный лапландский островок, Юконсаари, языческое святилище, самое знаменитое на весь район Инари. Именно там, на этом маленьком, конической формы островке, словно конус вулкана, окрашенном ночным солнцем в пурпурный цвет, в старину, осенью и весной, лапландцы собирались и приносили в жертву своим духам оленей и собак. Еще сегодня лапландцы испытывают священный страх перед островком Юконсаари и появляются там только по определенным дням. Их толкает туда бессознательное, возможно, и ностальгическое чувство, память о древних языческих церемониях.

Мы сели под дерево передохнуть и стали смотреть на огромное серебристое озеро, голо простиравшееся перед нами в ледяном пламени ночного солнца. Война была далеко. Я более не чувствовал вокруг себя печального запаха человека, вспотевшего, раненого, голодного, мертвого человека, который осквернял воздух несчастной Европы. Здесь слышен был запах смолы, холодный и слабый аромат северной природы: деревьев, воды, земли, диких зверей. Курт Франц курил свою коротенькую норвежскую

трубку Lille Hammer, которую он купил в лавке господина Юхо Никанена. Я наблюдал за ним, потихоньку разглядывал его, разнюхивал, каков он есть. Он был такой же, как другие, а может быть, как и я сам. От него исходил запах дикого зверя. Запах белки, лисы, оленя. Запах волка. Вот-вот, именно запах летнего волка, когда зверь не ожесточен от голода. От него исходил запах дикого зверя, волка в летнюю пору, когда зеленая трава, теплый ветер и освободившаяся ото льда и растекающаяся по лесу тысячей ручьев вода, перешептываясь струями, устремляется к безмятежному озеру, когда вообще все красоты природы умаляют его жестокость, смягчают его дикость, утоляют его вечную жажду крови. От него исходил запах умиротворенного волка, отдыхающего, мирного волка. В первый раз за три года войны я почувствовал себя спокойно рядом с немцами. Война была далеко, мы находились вне войны, вне человечества, вне времени. Война шла далеко от нас. Действительно, Курт Франц издавал запах летнего волка, запах немецкого мужчины, когда нет войны, когда его не тревожит жажда крови.

Мы спустились с холма. Едва мы вышли из леса по соседству с деревней Инари, как оказались у загона из высоких белых березовых стволов.

— Это оленья Голгофа,— сказал Курт Франц.— Здешний осенний ритуал — бойня оленей. Это вроде лапландской пасхи, напоминает принесение в жертву ягненка. Олень — это лапландский Христос.

Мы вошли в обширный загон. В холодном и ярком свете, который словно косил траву перед нами, внезапно возник сказочный, поразительный лес: тысячи и тысячи оленьих рогов, нагроможденных там и сям в фантастическом переплетении. В некоторых местах здесь были просветы, даже лужайки с отдельно стоящими кустами. Легкий налет зелено-желто-красного цвета покрывал самые старые рога. А многие из них были молодые и нежные — их еще не покрыла твердая костная кора. Другие — широкие и плоские с ровными разветвлениями — были рога и в форме ножа, они походили на торчавшие из земли лезвия. В одной стороне загона были нагромождены тысячи и тысячи оленьих черепов, имевших форму ахейских шлемов с пустыми треугольными глазницами в твердой белой и гладкой лобовой кости. Все рога походили на стальные останки воинов, павших на поле битвы. Олений Ронсеваль. А между тем вокруг них не видно было следов борьбы, сражения. Совсем наоборот , порядок, спокойствие, обстановка совершенно мирная и торжественная. По лугу пронесся порыв ветра и задрожали травинки, проросшие между неподвижными деревьями-рогами фантастического леса.

Осенью стада оленей, ведомые инстинктом, словно смутным призывом, пробегают огромные расстояния, направляясь к таким вот голгофам, где, сидя на корточках, их поджидают лапландские пастухи, сдвинув на затылок свои «шапки от всех четырех ветров» - nelyäatuulen lakki, зажав в маленькой руке короткие блестящие ножи. У лапландцев самые маленькие и тонкие руки на свете. Их руки — превосходный и бесконечно тонкий механизм из наикрепчайшей стали. У них тонкие терпеливые пальцы, точные, как пинцет часовщика из Шо-де-Фон или гранильщика бриллиантов из Амстердама. Послушно и податливо олени подставляют шею под смертельный финский нож: они умирают без крика, с патетической и безнадежной мягкостью.

— Как Христос,— сказал Курт Франц.

Внутри орошенного огромным количеством крови загона трава растет жирная, мощная. Но листики на некоторых стебельках будто бы выжжены сильным огнем. Может быть, это жар и пыл оленьей крови окрасил их в красный цвет и сжег, как огонь.

— Нет, нет, это не кровь,— сказал Курт Франц,— кровь не жжет.

— Я видел, как одна-единственная капля крови сожгла целые города.

— Мне противен вид крови,— сказал Курт Франц.— Кровь — это грязь. Она сразу все пачкает. Более всего мне противны две вещи — блевотина и кровь.

Он провел рукой по лбу, уже изъеденному паршей облысения. Он зажал трубку Lille Hammer во рту без зубов, но время от времени вынимал ее и яростно сплевывал. Пока мы проходили через деревню, две женщины, две старые лапландки, сидя на пороге у дома, следили за нами полузакрытыми глазами, поворачивая нам вслед желтые морщинистые лица. Они сидели на корточках и курили коротенькие глиняные трубочки, положив руки на колени. Тихо шел дождь. Большая птица низко пролетела над кронами сосен, издавая глухой монотонный крик.

Перед гостиницей генерал фон Хейнерт готовился отправиться на рыбную ловлю. Он натянул лапландские сапоги из оленьей кожи — они доходили ему до середины бедра, завесил себя большой сеткой от комаров, по локти погрузил руки в толстые перчатки из собачьего меха и теперь, стоя перед гостиницей, дожидался, когда слуга-лапландец Пекка приготовит свертки с едой. Генерал фон Хейнерт экипировался, как для военных действий: глубоко надвинутая на лоб стальная каска, у пояса — большой маузер. Он держал в руках длинную удочку и опирался на нее, как это делал немецкий ландскнехт, держа в руках копье, время от времени он обращался к капитану альпий-

ских стрелков, стоявшему рядом с ним. Это был маленький человек, коротенький, с седыми волосами, с розовым и улыбающимся лицом, типичным лицом тирольского горца. На почтительном расстоянии за генералом стоял Георг Биндаш, замерев по стойке «смирно», тоже обутый в высокие сапоги, тоже в перчатках, при оружии и в сетке от комаров, покрывавшей его до самой земли. Он приветствовал меня кивком головы, и по тому, как он двигал губами, я понял, что он нашептывает некие цветистые берлинские ругательства.

— На этот раз,— заявил генерал фон Хейнерт,— победа у меня в руках.

— В прошлые дни вам не очень везло,— сказал я.

— Да, по-моему, тоже, мне не очень везло,— сказал генерал фон Хейнерт.— Но капитан Шпрингеншмидт думает иначе. Кажется, я допустил ошибку. Семга — капризная и упрямая рыба, и я не принимал во внимание ее характер. Это и было моим глубоким заблуждением. К счастью, капитан Шпрингеншмидт, знаменитый во всем Тироле специалист по ловле форели, утверждает, что тирольская форель обладает совершенно таким же характером, что и лапландская семга. Не правда ли, капитан Шпрингеншмидт?

— Jawohl! — сказал капитан Шпрингеншмидт, кивнув, потом, обернувшись ко мне, прибавил по-итальянски с вязким тирольским акцентом, который особенно заметен, когда тирольцы начинают говорить именно по-итальянски: — Когда ловишь форель, не следует показывать ей поспешности. Нужно терпение. Прямо-таки монашеское терпение. Если форель поймет, что рыболов не стеснен временем, что он не спешит и вполне терпелив, она начинает нервничать, злиться и совершает оплошности. А рыболов должен уметь использовать эти оплошности. Форель...

— Да,— сказал я,— форель. А семга?

— А семга — та же форель,— ответил капитан Шпрингеншмидт, улыбнувшись.— Форель — нетерпеливая рыба, она устает ждать, идет навстречу опасности. Если она хватает наживу, она погибла. Рыбак тянет ее к себе, и все, что происходит потом,— детская игра. Форель... А семга — это та же форель, только большего размера. Незадолго до войны, в Ландеке, в Тироле...

— Кажется,— сказал генерал фон Хейнерт,— моя семга — это великолепный экземпляр, лучшая рыбина, какую только видели в этих краях. Это огромное животное и поразительно смелое. Подумайте только, на днях она чуть не толкнула меня мордой в колено.

— Нахальная семга,— сказал я,— она заслуживает кары.

— Проклятая рыбина! — сказал генерал фон Хейнерт.— Только она и осталась в Йуутуанйоки. Верно, она вбила себе в голову, что силой прогонит меня из реки и останется в ней хозяйкой. Мы еще посмотрим, кто кого переупрямит, семга или немец!

И он засмеялся, разинув пасть и сотрясая складки сетки от комаров, которая заходила волнами.

— Может быть,— сказал я,— ваш генеральский мундир ее раздражает. Вам нужно было одеться в гражданское платье. Это не fair play выходить на ловлю семги в генеральском мундире.

— Was? Was sagen Sie, bitte? [1] — сказал генерал фон Хейнерт с потемневшим лицом.

— У вашей семги,— сказал я,— возможно, нет чувства юмора. Капитан Шпрингеншмидт, может быть, скажет вам, как нужно обращаться с семгой, лишенной чувства юмора.

— С форелью,— сказал капитан Шпрингеншмидт,— нужно вести тонкую игру. Генерал должен делать вид, что находится в реке совсем по другой надобности, чем она себе воображает. Форель так и хочет, чтобы ее обманули.

— На этот раз вы научите семгу уважать немецких генералов! — смеясь, сказал я.

— Ja! Ja! — воскликнул генерал фон Хейнерт. Но тут же его лицо снова потемнело, и он подозрительно взглянул на меня.

В это время госпожа Иръяа Пальмунен Химанка появилась на пороге гостиницы, за ней следовал Пекка, он нес на подносе бутылки водки и рюмки. Улыбаясь, хозяйка гостиницы подошла к генералу, наполнила рюмки и подала сначала генералу, затем всем нам по рюмке.

— Прозит! — сказал генерал фон Хейнерт, поднимая рюмку.

— Прозит! — хором ответили мы.

— Heil Hitler! — сказал я.

— Heil Hitler! — повторили остальные.

Между тем с десяток альпийских стрелков, покрытых сетками от комаров и вооруженных автоматами, подошли к нам. Это был патруль, охрана, наряд, назначенный сопровождать генерала, чтобы во время ловли семги охранять его от возможного внезапного нападения русских или норвежских партизан.

[1] Что, что, простите, вы сказали? *(нем.)*

— Вперед! — скомандовал генерал, пускаясь в дорогу.

Мы шли молча, спереди и сзади нас сопровождал эскорт солдат охраны. Невидимый дождь шептался с листьями. В кроне дерева резко вскрикнула птица, за сосновыми стволами под аккомпанемент стрекота кастаньет быстрым галопом прошло стадо оленей. В холодном свете ночного солнца лес казался серебряным. Мы шли по берегу реки, до колен утопая в мокрой от дождя траве. С обычным для него выражением побитой собаки на лице Георг Биндаш исподтишка посмотрел на меня. Время от времени генерал фон Хейнерт оборачивался и молча посматривал на Биндаша и на Шпрингеншмидта.

— Jawohl! — говорили одним и тем же тоном оба офицера, прикладывая руку к краю стальной каски.

Наконец, после часа ходьбы, мы прибыли к стремнинам.

В этом месте Йуутуанйоки расширяется и течет широким руслом, усеянным большими глыбами темного гранита, торчащими из пенистого, бурного, но неглубокого потока. Пекка и другие лапландцы, которые несли принадлежности для рыбной ловли и мешки с провизией, остановились и стали устраиваться под скалой. Часть солдат охраны растянулась вдоль берега реки, другие перешли реку вброд и встали на посту по другому берегу, спиной к реке. Генерал фон Хейнерт внимательно осмотрел свою удочку, попробовал леску, потом, обернувшись, сказал:

— Пошли! — и вошел в воду, а за ним оба офицера.

Я остался на берегу и сел под деревом рядом с Куртом Францем и Виктором Морером.

Голос реки раздавался мощно, полно, река пела. То ее голос разбивался в крик, то угасал в низком грудном звуке. Встав посреди течения, погрузившись по пояс в ледяную воду, генерал держал удочку, как ружье, и осматривался, делая вид, что стоит посреди реки совсем не затем, не по тому поводу, который выдумала семга. Биндаш и Шпрингеншмидт стояли рядом с ним, чуть сзади, в почтительной позе, подобающей военным в присутствии генерала. Пекка и другие лапландцы сели в кружок, закурив трубки и молча наблюдая за генералом. В ветвях сосен кричали птицы.

Прошел примерно час, как вдруг семга напала на генерала фон Хейнерта: сильно тряхнуло удочку, она согнулась, заходила ходуном, натянулась, и генерал качнулся, сделал шаг вперед, два шага и упал на колени, но смело сопротивлялся внезапному нападению. Битва началась. Высыпав на берег, лапландцы, солдаты охраны, Курт Франц, Виктор Морер и я — все затаили дыхание. Вдруг длинными деревянными и тяжелыми шагами генерал пошел по течению, с силой погружая сапоги в воду, то и дело цеплялся правой ногой то за один, то за другой камень, с нарочитой медлительностью уступая территорию. В этом вовсе не было какой-то новой тактики немецкого генерала, ибо и ловля семги тоже предполагает, чтобы, продвигаясь вперед, генерал сдавал позиции. Время от времени генерал останавливался, с большим трудом закреплял завоеванную позицию — с таким трудом потерянную, хотел я сказать, если говорить на языке рыболова и, в частности, на языке ловца семги,— при этом он упрямо сопротивлялся яростным рывкам противника. Затем, мало-помалу, медленно, осторожно маневрируя стальной вертушкой, он начал наворачивать леску, тем самым притягивая все ближе доблестную семгу. Со своей стороны, с рассчитанной медлительностью семга уступала: то она выныривала из потока и показывала блестящую серебристо-розовую спину, сильно хлопая хвостом и взбивая целые столбы пенистой воды, то показывала длинную морду, приоткрытую пасть, круглые глаза, расширенные и пристальные. Затем, как только ей удавалось найти упор между двумя камнями и тайком укрепиться там или попасть в более быстрое и бурное течение, в которое она могла упереться хвостом, она награждала противника неожиданным и сильным повым рывком, тянула его на себя и увлекала вниз по течению, вдоль стального звеневшего троса стремнины. На атаки семги генерал фон Хейнерт отвечал твердой немецкой выдержкой, своею прусской спесью, самолюбием, которое наводило его на мысль, что на карту поставлен не только его личный престиж, но и престиж мундира. Возвышая голос, он хрипло и коротко вскрикивал: «Achtung!» [1] Потом поворачивал голову и вопил Биндашу и Шпрингеншмидту что-то другое, какие-то хриплые слова, которые покрывала то пронзительная, то низкая песнь реки. Но в такие минуты, против подобной семги, какую помощь мог оказать своему генералу бедный Георг Биндаш? Какую помощь мог оказать бедный Шпрингеншмидт в сражении с подобной форелью? С каждым новым шагом вперед генерала фон Хейнерта Георг Биндаш и Шпрингеншмидт не могли сделать ничего иного, как еще раз и еще раз шагнуть за ним вслед и, таким образом, мало-помалу генерал и оба его офицера на поводу у сильно тянувшей леску доблестной семги спустились по течению примерно на версту.

С переменным успехом борьба продолжалась уже около трех часов, когда я заметил, что на молодом морщинистом лице Пекки и других лапландцев родилась ироническая

[1] Внимание! *(нем.)*

улыбка. Они кру́гом сидели с глиняными трубками в зубах. Тогда я посмотрел на генерала, туда, на середину реки, где он тяжело продвигался вперед в военном мундире, со стальной каской на голове, с громадным маузером у пояса, весь в складках широкой сетки от комаров. Широкие красные лампасы его генеральских брюк сияли в мертвом отсвете ночного солнца в воде. Теперь можно было сказать, что у него более не хватит сил долго сопротивляться упрямой силе противника. Я почувствовал, что в генерале рождалось некое твердое решение, по его нетерпеливым движениям, по выражению ярости на лице, по интонации его голоса, когда он кричал: «Achtung!», я догадывался, что́ сейчас произойдет. У него была интонация человека с уязвленным самолюбием, который крайне обеспокоен. Генерал разозлился и теперь уже испугался. Он боялся показаться смешным. Вот уже битых три часа он сражался с семгой. Немецкому генералу не подобало проигрывать сражение какой-то рыбе да еще так долго! Он начинал бояться, что проиграет! Если бы он был хотя бы один! Но прямо на наших глазах, на глазах смотревших с иронией лапландцев, на глазах солдат охраны, выстроившихся на посту вдоль реки! И потом был уже прецедент с Советской Россией! С этим нужно было кончать! Ведь могла пострадать его честь, честь немецкого генерала, всех немецких генералов, всей немецкой армии. И ведь был же уже прецедент с Россией.

И вот, генерал фон Хейнерт быстро обернулся к Биндашу и крикнул хриплым голосом:

— Георг! Erschiesst ihn! [1]

— Jawohl! — ответил Георг Биндаш и вплотную подошел к генералу. Потом он спустился длинными, медленными и твердыми шагами вниз по течению, а когда оказался рядом с семгой, которая отбивалась в пенистой воде, все увлекая за собой генерала, остановился, выхватил пистолет из кобуры, наклонился над отважной семгой и прямо в упор расстрелял ее в голову.

Гольф с препятствиями

— Oh no, thank God! [2] — воскликнул сэр Эрик Друммонд, первый лорд Перт, посол Его Британского Величества в Квиринале. Был осенний день 1935 года.

Солнце прорвало розовое облако с зеленой каймой, золотой луч пробежал по столу и прозвенел по хрусталю и фарфору. Огромный простор римских окрестностей открывал нашим глазам дальние перспективы желтых трав, бурые земли, зеленые деревья, среди которых одиноко зияли на октябрьском солнце мраморные гробницы и красные дуги акведука. Могила Цецилия Метеллы пылала ярким огнем осени, сосны и кипарисы Аппиевой дороги качались на благоуханном тмином и лавром ветру

Завтрак подходил к концу. Солнце искрами рассыпалось по бокалам, тонкий аромат портвейна плыл в медового цвета теплом и мягком воздухе. За столом с полдюжины римских княгинь американского и английского происхождения улыбались Бобби, дочери лорда Перта, совсем недавно вышедшей замуж за графа Сенди Манассеи. Бобби рассказывала, что Бени, одноглазый учитель плавания в Форте деи Марми, в самый острый момент дипломатических отношений между Англией и Италией по поводу эфиопского вопроса, в день, когда «Home fleet» с военным вооружением вошел в Средиземное море, сказал ей:

— Англия, как Муссолини, она всегда бывает права и в особенности, когда ошибается.

— Вы действительно думаете, что Англия всегда бывает права? — спросила лорда Перта княгиня Дора Русполи.

— Oh no, thank God! — ответил, краснея, лорд Перт.

— Мне любопытно было бы знать, правдива ли эта история с мальчиком на гольфе и «Home fleet»,— сказала княгиня Дороти ди Сан Фаустино.

Через несколько дней после появления «Home fleet» в Средиземном море, лорд Перт играл в гольф и его мяч, прыгая, покатился в лужу грязной воды.

— Будь любезен, принеси мяч,— попросил лорд Перт мальчика-слугу.

— Пошлите «Home fleet»! — ответил маленький римский слуга.

Вполне возможно, что история была выдумана, но она пришлась по вкусу в Риме.

— Очаровательная история! — вскричал лорд Перт.

Солнце било лорду Перту прямо в лицо, насмешливо выдавая в нем, всегда выглядевшем тонким и розовым, на губах, в прозрачно-голубых глазах тот оттенок детскости и женственности, который есть в каждом англичанине хорошего происхождения, ту поразительную робость с оттенком наивности, юношескую стыдливость, которые с течением времени, с годами, по мере возрастания бремени ответственности и почестей, вовсе не тускнеют и не угасают, а в пожилом возрасте достигают полного расцвета, ибо

[1] Расстреляй ее! *(нем.)*
[2] О нет, слава Богу! *(англ.)*

англичане с белыми седыми волосами наделены добродетелью краснеть в любой момент и неизвестно по какой причине. День был теплый и золотистый — день мятущейся осени. Могилы на Аппиевой дороге, большие латинские сосны, желто-зеленый простор, печальный и торжественный пейзаж создавали фон лицу лорда Перта, и этот фон тонко и живо гармонировал с его светлым лбом, голубыми глазами, белыми волосами, смиренной, слегка меланхоличной улыбкой.

— Britannia may rule the waves, but she can not waive the rules [1],— улыбаясь, заявил я.

Все вокруг рассмеялись, и Дора Русполи сказала с присущей ей манерой говорить стремительно, жестикулируя правой рукой, повернув матовое лицо в сторону лорда Перта:

— Держава, не позволяющая себе нарушать традиционные законы, очень сильна, не правда ли?

— To rule the waves, to waive the rules...— красивая игра слов,— сказала Джейн ди Сан Фаустино.— Но я терпеть не могу игру слов.

— Это joke [2], которым Хеммен Вейпер особенно гордится,— сказал я.

— Хеммер Вейпер — это gossip writer [3], так? — спросила Дора Русполи.

— Что-то в этом роде,— ответил я.

— Вы прочли «Нью-Йорк» Сесила Битона? — спросила дочь Вильяма Филлипса, Беатриса, или Би, как называли друзья.

— Это прелестная книга,— сказала Кора Антинори.

— Жаль,— сказала Джейн ди Сан Фаустино,— что в Италии нет такого писателя, как Сесил Битон. Итальянские писатели провинциальны и скучны. У них нет чувства юмора.

— Они не виноваты,— сказал я.— Италия — провинция. А Рим — столица этой провинции. Можете вы представить себе книгу о Риме, написанную Сесилом Битоном?

— Почему бы и нет? — сказала Дороти ди Фрассо.— Что касается сплетен, Риму не в чем позавидовать Нью-Йорку. Риму не хватает не сплетен, а gossip writer, такого, как Сесил Битон. Вспомните шумиху вокруг папы и Ватикана. Да я сама не вызывала столько сплетен в Нью-Йорке, сколько их рождается здесь, в Риме, по моему поводу. And what about you, my dears? [4]

— Обо мне никто никогда не сплетничал,— сказала Дора Русполи, кидая на Дороти полный оскорбленного достоинства взгляд.

— Да нас попросту обзывают девками,— сказала Джейн ди Сан Фаустино.— По крайней мере, это нас молодит!

Все присутствовавшие рассмеялись, и Кора Антинори заявила, что провинциальная жизнь, может быть, не единственная причина того, что итальянские писатели скучны. Даже в провинции, говорила она, могут оказаться интересные писатели.

— В сущности, даже Нью-Йорк — провинциальный город,— сказала Дора.

— Ну и мысль! — смотря с презрением на Дору, сказала Джейн.

— В какой-то мере это зависит и от языка,— сказал лорд Перт.

— Язык,— сказал и,— очень важен и не только для писателей, а и для целых народов, целых государств. В некотором смысле войны — это ошибки в синтаксисе.

— Или ошибки в произношении,— сказал Вильям Филлипс.— Прошло то время, когда слова «Италия» и «Англия» писались по-разному, а произносились одинаково.

— Возможно,— сказал лорд Перт,— это только вопрос произношения, только и всего. Это как раз тот самый вопрос, который я задаю себе всякий раз, когда возвращаюсь после разговора с Муссолини.

Я представил себе лорда Перта беседующим с Муссолини в огромном зале дворца Венеции.

— Впустите посла Англии,— говорит Муссолини Наварре начальнику технической службы.

По незаметному жесту Наварры дверь послушно открывается, и лорд Перт переступает порог, медленным шагом идет по узорчатому сияющему мрамору к массивному ореховому столу, стоящему перед большим камином XVI века. Муссолини, спиной прислонившись к столу или к камину, ждет его, улыбаясь, делает несколько шагов навстречу, и вот оба стоят лицом друг к другу. Весь собравшись и изо всех сил стараясь покрасоваться и казаться любезным, Муссолини качает огромной, раздутой, белой, круглой, жирной и лысой головой, которой сильное утолщение под затылком, прямо за ушами, придает уродливую тяжесть. Прямой, улыбающийся, осторожный и смиренного вида лорд Перт светится легкой детской краснотой на лбу. Муссолини верит в себя, если он вообще во что-либо верит, но не верит он в то, что логика может оказаться

[1] Британия может править морями, но она не может отказаться от принципов *(англ.)*.
[2] Шутка *(англ.)*.
[3] Репортер отдела светской хроники *(англ.)*.
[4] А как насчет тебя, дорогая? *(англ.)*

несовместимой с удачей, аволн — с судьбой. Голос у него горячий, серьезный и, однако, деликатный. В его голосе иногда звучат странные грудные женские ноты — нечто поразительное, болезненно-женское. Лорд Перт не верит в себя. Oh no, thank God! Он верит в силу, престиж, в вечный британский флот и британский банк, в чувство юмора британского флота и в fair play английского банка. Он верит в тесную связь между полями для игр Итона и полем битвы при Ватерлоо. Муссолини, тот сам знает, что ровным счетом ничего не представляет, и действительно он не представляет ничего и никого. Только самого себя. А лорд Перт — представитель Его Британского Величества...

— У Идена тоже,— сказала Дороти ди Фрассо,— возникли какие-то трудности в разговоре с Муссолини. Кажется, он просто произносил те же слова, но по-своему.

Дора Русполи стала рассказывать о веселых происшествиях, которые всколыхнули римское общество и вызвали в нем болезненное любопытство во время недавнего пребывания Энтони Идена в Риме. Сразу же после завтрака, который устроил ему лорд Перт в посольстве Англии, Иден вышел из посольства один и пошел пешком. Было три часа дня. В шесть часов он еще не вернулся. Лорд Перт начал беспокоиться. А в это время, незадолго до закрытия музеев, молодой секретарь посольства Франции, прибывший в Рим несколькими днями ранее прямо с Кэ д'Орсэ, платя Риму дань новичка, бродил по следам Шатобриана и Стендаля и ходил по залам музея Ватикана. Вот тут-то он вдруг и увидел, что на крышке этрусского саркофага, между палицей Геркулеса и длинным бедром Дианы Коринфской, сидит белокурый молодой человек с тонкими усиками. Он углубился в чтение маленького томика в темном кожаном переплете, который молодой француз принял за томик Горация. Сообразуясь с фотографиями, которыми пестрели римские газеты в тот самый день на первых страницах, молодой секретарь посольства Франции узнал в уединившемся чтеце Энтони Идена. А тот, оказывается, отдыхал в таинственном полумраке музея Ватикана, читая «Оды» Горация, ибо был противником застолий и официальных приемов и скучал на дипломатических встречах, раутах и переговорах. Возможно, как и подобает любому англичанину из хорошей семьи, он начинал беспробудно скучать, как только задумывался о себе самом.

Наш простачок, молоденький секретарь посольства Франции, сообщил о своем открытии коллегам и трем-четырем римским князьям, которых встретил в Охотничьем клубе и в баре Эксельсиор, что взбудоражило все римское общество, по природе своей, по привычке и из тщеславия весьма апатичное. В тот же вечер на обеде у Изабеллы Колонна говорили только об этом. Изабелла была в восторге. Этот простой факт биографии, с виду незначительный, показался ей возвышенной чертой натуры Идена. Иден и Гораций! Изабелла не помнила ни одного стихотворения Горация, но ей казалось, что обязательно должно было сыскаться что-то общее между Иденом и дорогим, изящным, добрым старым латинским поэтом. Тайно она раздражалась на себя, что без чьей-либо подсказки сама не догадывалась, что именно было общего между Горацием и Энтони Иденом.

На следующий день, уже в десять часов утра, все «сливки» римского общества, будто случайно, встретились в музее Ватикана, и каждый просто так нес под мышкой или ревностно сжимая в руках томик Горация. Но Энтони Иден не проявлял признаков жизни, и в полдень все остались в полном разочаровании. В музее Ватикана было жарко и душно, и Изабелла Колонна встала у окна вместе с Дорой Русполи, чтобы немного подышать свежим воздухом и дать «всем этим людям» время уйти. Когда они остались одни, она сказала Доре:

— Моя дорогая, посмотрите же на эту статую. Разве она не походит на Идена? Конечно, это Аполлон. А ведь он похож на Аполлона, он — великолепный молодой Аполлон!

Дора подошла к статуе и стала разглядывать ее сквозь розовую кисею своей близорукости:

— Это не Аполлон, моя дорогая, посмотрите поближе.

Это была женская статуя, может быть,— Диана или Венера.

— В таких делах пол не имеет значения. Вы не находите, что она все-таки на него похожа?

Гораций вошел в моду за несколько часов. На столах Гольф-клуба в Аквазанте, на хлопковых скатертях в красную и белую клетку, рядом с сумочками, пачками «Кемела» или «Голд Флейка» и зажигалками «Дунхилл» лежал Гораций по Скиапарелли, то есть экземпляр произведений Горация, обернутый в носовой платок или в шелковую обертку, как это показывал Скиапарелли в последнем номере журнала «Вог»: он рекомендовал подобного рода предосторожности для сохранения книг от горячего песка на морских пляжах или от влажной пыли на площадках для гольфа. Иногда, вдруг, на столе находили забытый — возможно, то была нарочитая забывчивость — старинный венецианский экземпляр «Од» Горация в великолепном переплете XVI века с золотым тиснением. Правда, золото на нем за прошедшие века несколько потемнело, но зато

герб Колонна сиял на обложке. И, конечно, каждый догадывался, что это была настольная книга Изабеллы.

На следующее утро Иден отправился в Кастель Фуссано. Как только весть распространилась по Риму, целая вереница роскошных машин двинулась по автостраде Остии. Но к этому времени, уже более чем за час до этого, Иден покинул пределы Кастель Фуссано, поплавав немного брассом и приняв непродолжительные солнечные ванны на пляже. Все вернулись в Рим в дурном настроении. Вечером у Дороти дель Фрассо темой разговоров была эта «погоня за сокровищем». Никто не был избавлен от обязанности участвовать в этих разговорах, кроме Изабеллы, которая, как объявила Дороти, обнаружила, что один из ее предков, один из Сурсокков, который проживал долгое время в Константинополе во времена Эдуарда VII и в Лондоне во времена правления Абдул Хамида, перевел на арабский язык «Оды» Горация. Таким образом, обнаруживалось нечто общее между Сурсокками, Горацием и, естественно, само собою разумеется, Иденом, и это нежданно-негаданное родство с Энтони Иденом переполняло Изабеллу законной гордостью. Потом Иден внезапно возвратился в Лондон, и в Гольф-клубе в Аквазанте люди смотрели друг на друга с недоверием, словно ревнивые, подозревающие друг друга соперники-влюбленные. И с грустным доверием тоже — как явно обманутые и разочарованные влюбленные. Изабелла, которой кто-то, возвратившись из Форте деи Марми, передал невинно сказанные Джейн обидные слова (намек на ритуальный банкет, который на Востоке устраивают после похорон), в последнюю минуту отменила званый обед. И Дора немедленно устремилась в Форте деи Марми, чтобы рассказать Джейн об этом событии и довести до ее сведения сплетни обо всей прошедшей «страстной» неделе.

— Ах! И ты тоже, моя дорогая! — сказала Джейн ди Сан Фаустино.— Я издали видела тебя в тот день с таким лицом! Я сразу сказала про себя: ну вот, так и есть, и она тоже заклинилась на еврейчике!

— Все-таки Рим — невероятный город! — сказал лорд Перт.— Здесь дышишь вечностью. Все становится поводом для легенд, даже светские сплетни. Вот и сэр Энтони Иден попал в легенду. Ему оказалось достаточно пробыть в Вечном Городе всего неделю, чтобы приобщиться к вечности.

— Да, но он очень быстро с нею разобщился, хитрец! — сказала Джейн.

Шел Золотой век Гольф-клуба, и шли счастливые дни для Аквазанты, которая с каждым днем приобретала вес. Потом наступила война, и теперь здесь было нечто вроде paseo [1], где молодые римлянки прохаживались перед глазами Галеаццо Чиано и его окружения. Взошедшая из красных туманов войны звезда Галеаццо быстро появилась на горизонте. И наступил новый Золотой век, и по-новому счастливое и престижное общество возвратилось в Гольф-клуб. Однако имена, манеры, взгляды, одежда, может быть, оказались слишком недавнего происхождения, краски выглядели слишком яркими, чтобы не вызывать подозрения — иногда сопровождавшегося ругательствами,— которое обычно вызывают слишком новые люди и вещи в слишком старом мире, где истинное положение дел никогда не определяется ни новизной, ни молодостью. Быстрота, с которой подскочила вверх карьера Галеаццо и его окружения, уже сама по себе оказалась прозрачным намеком на творившуюся в государстве незаконность, и ошибиться в этом не было никакой возможности.

Англичане удалились. Французы удалились. Многие другие иностранные дипломаты готовились покинуть Рим. Немецкие дипломаты заняли места англичан и французов, но произошел явный упадок в манерах, и недоверие, невнятная болезненность в обращении друг с другом заменили свободное изящество прежних времен и старую счастливую непринужденность. Княгиня Анна-Мария фон Бисмарк, чье светлое шведское лицо казалось вышитым по шелковистому голубому небу, служащему фоном для сосен, кипарисов и могил Аппиевой дороги, и другие молодые немецкие дамы, приехавшие из Германии, обладали смиренным и улыбчивым изяществом, и то, что они чувствовали себя чужими в Риме, где все другие иностранцы обычно чувствовали себя как дома, слегка оттеняло их утонченность и стыдливость. Но в воздухе витала какая-то скорбь, проникновенная скорбь.

Молодежь, окружавшая Галеаццо Чиано, отличалась легкомыслием и расточительностью. Таким и должно было быть окружение тщеславного и капризного вельможи. Попадали в этот круг посредством женской благосклонности, а выходили из него в результате внезапной немилости Галеаццо. Здесь развели ярмарку улыбок, почестей, служебных доходных мест, здесь торговали теплыми местечками...

Вздрагивал теплый воздух, гордое солнце золотило стволы сосен и руины могил вдоль Аппиевой дороги, высвечивало красный кирпич, камни и куски античного мрамора, разбросанные среди кустов по краям поля. Сидя вокруг бассейна, молодые

[1] Бульвар *(исп.)*.

англоманы из дворца Киджи очень громко разговаривали между собой по-английски, и какие-то слова иногда долетали и до нас, приятно отдавая Кэмпстоном и микстурой «Кравен». По вызолоченной усталым пламенем осени аллее ходили туда и обратно престарелые римские княгини, урожденные Смит, Браун, Сэмюэл, богатые вдовы, они опирались на палки с серебряными набалдашниками. Это были состарившиеся красотки времен д'Аннунцио, у которых была медлительная походка, обведенные черной тушью глаза и длинные белые точеные пальцы. Бегала девочка с развевающимися волосами, с криком преследуя белокурого мальчика в коротеньких штанишках для игры в гольф. Я видел вокруг себя живую картину жизни, но уже несколько затянутую паутиной времени, помятую, потускневшую, загнутую по краям, как старинная цветная гравюра.

Вот Галеаццо увидел меня, отошел от Бласко д'Айета и, подойдя, положил руку мне на плечо. Уже больше года, как мы с ним не говорили, и я не знал, что ему сказать.

— Ты когда же вернулся? — спросил он с легким оттенком упрека.— Почему ты не зашел со мной повидаться? — Он говорил доверительным тоном близкого друга, но как-то беспомощно, что с ним крайне редко случалось. Я ответил, что в Финляндии очень болел и еще не совсем оправился.

— Очень устал,— добавил я.

— Устал? Ты, верно, хотел сказать, что тебе все надоело? — спросил он.

— Да, мне все надоело,— ответил я.

Он взглянул на меня и после некоторого молчания сказал:

— Ты увидишь, очень скоро все пойдет лучше.

— Все пойдет лучше? Италия — мертвая страна,— сказал я.— Что ты сделаешь с мертвецом? Его можно только похоронить.

— Не скажи, никогда не знаешь, что еще выйдет,— сказал он.

— Может быть, ты прав,— согласился я,— никогда не знаешь, что еще будет.

Я знал Чиано с детства, и он всегда меня защищал, хотя я его вовсе не просил об этом. Он защищал меня в 1933 году, в 1939-м, в 1941-м, он защищал меня перед Муссолини, перед Стараче, Мути, Боккини, Сенизе и Фариначче, и я ему был глубоко и от души признателен, невзирая на политические с ним разногласия. Мне просто по-человечески было его жалко и хотелось хоть как-то и когда-то помочь ему. Но теперь больше уже ничего нельзя было сделать. Его оставалось только похоронить. И вместе со всеми его друзьями мне оставалось только надеяться на то, что его хотя бы похоронят.

— Спасайся, старина! — сказал я ему.

— Я знаю. Он ненавидит меня. Он всех ненавидит. Иногда я задаю себе вопрос, не сошел ли он с ума. Как ты думаешь, нельзя ли еще что-нибудь сделать?

— Сделать уже больше ничего нельзя. Слишком поздно. Ты должен был сделать что-нибудь в 1940 году и помешать ему втянуть Италию в эту постыдную войну.

— В 1940 году? — сказал он и так засмеялся, что мне стало неприятно. Потом сказал: — Война могла бы и хорошо сойти.

Я промолчал. Он почувствовал в моем молчании горечь и враждебное к нему отношение и сказал:

— Не моя вина. Он захотел войны. Что я мог сделать?

— Уйти.

— Уйти? А потом?

— А потом? Ничего.

— Ничего бы от этого не произошло,— сказал он.

— Ничего бы от этого не произошло, но ты мог уйти.

— Уйти, уйти! Каждый раз, как мы с тобой говорим об этом, ты все твердишь одно и то же. Уйти! А потом?

Галеаццо внезапно отошел от меня и быстрым шагом направился к клубу. Я видел, как он на мгновение остановился на пороге, потом вошел.

Я еще некоторое время гулял по площадке, потом тоже вошел в клуб. Галеаццо сидел в баре между Сиприенной и Бригиттой. Вокруг него расселись Анна-Мария, Паола, Марита, Джорджеттв, Филиппо Анфузо, Марчелло дель Драго, Бонарелли, Бласко д'Айета и совсем молодая девушка, которую я не знал. Галеаццо рассказывал, как он сообщил об объявлении войны послам Франции и Англии.

Когда посол Франции Франсуа Понсэ вошел в его кабинет во дворце Киджи, граф Чиано принял его сердечно и тотчас же сказал ему:

— Вы, конечно, понимаете, господин посол, по какому поводу я вас призвал.

— Я обычно не очень догадлив,— ответил Франсуа Понсэ,— но на этот раз я понимаю.

Тогда граф Чиано, стоя за письменным столом, прочел ему официальный текст ноты об объявлении войны: «От имени Его Величества короля Италии, императора Эфиопии и так далее...»

Франсуа Понсэ смутился и сказал:

— Так, значит, война.

— Да.

Граф Чиано был в мундире подполковника авиации. Посол Франции сказал ему:

— А вы что собираетесь делать? Вы станете бросать бомбы на Париж?

— Думаю, что да. Я офицер и выполню свой долг.

— Да! Постарайтесь, по крайней мере, не погибнуть,— ответил Франсуа Понсэ,— не стоит того.

Произнеся эти слова, посол Франции разволновался и сказал еще несколько слов, которые Галеаццо не считал возможным повторить. Затем граф Чиано и Франсуа Понсэ распрощались, обменявшись рукопожатием.

— Что же мог сказать вам посол Франции? — спросила Анна-Мария.— Мне так любопытно, так хочется узнать.

— Нечто очень интересное,— сказал Чиано,— но нет, не могу повторить.

— Спорю, что он обругал тебя последними словами,— сказала Марита,— вот почему ты и не хочешь этого повторять!

Мы все рассмеялись, а Галеаццо больше всех.

— Правильно бы сделал,— согласился Галеаццо,— но на самом деле он не сказал мне ничего оскорбительного, он очень разволновался.

Затем он предложил рассказать о том, как посол Англии выслушал ноту об объявлении войны. Сэр Перси Лоррен вошел и немедленно спросил, по какому поводу он вызван к министру. Граф Чиано прочел ему официальный текст ноты об объявлении войны.

— «От имени Его Величества короля Италии, императора Эфиопии и так далее».

Сэр Перси Лоррен внимательно прослушал, словно боялся пропустить малейшее слово, а потом холодно спросил:

— Это точный текст ноты об объявлении войны?

Граф Чиано не мог скрыть удивления:

— Да, это точный текст,— сказал он.

— А! — воскликнул сэр Перси Лоррен. Потом сказал: — May I have a pencil? [1]

— Yes, certainly. [2]

И граф Чиано протянул ему карандаш и лист бумаги, бланк министерства иностранных дел.

Посол Англии тщательно отрезал шапку бланка при помощи разрезального ножа, согнув лист, посмотрел на кончик карандаша, потом попросил графа Чиано:

— Будьте любезны продиктовать мне то, что вы только что прочли.

— С удовольствием,— ответил граф Чиано, донельзя удивленный.

И он очень медленно прочел, слово в слово, текст ноты. Когда он кончил диктовать, сэр Перси Лоррен, во время диктовки остававшийся бесстрастным, сосредоточенно склоняясь над листом бумаги, выпрямился, пожал руку графу Чиано и направился к двери. Потом он, не обернувшись вышел.

— Вы кое-что забыли в вашем рассказе,— сказала Анна-Мария фон Бисмарк со своим легким шведским акцентом.

Галеаццо с удивлением посмотрел на Анну-Марию и, слегка смутившись, сказал:

— Я ничего не забыл!

— А вот забыл, кое-что забыл! — сказал Филиппо Анфузо.

— Ты забыл нам рассказать,— подтвердил я,— что сэр Перси Лоррен, дойдя до порога, обернулся и сказал тебе: «Вы думаете, что война будет легкой и быстрой. Нет, вы ошибаетесь: война будет очень долгой и очень трудной. До свидания».

Когда он проходил мимо меня, то посмотрел на меня, словно припомнил что-то, и, оставив Сиприенну, положил руку мне на плечо и дальше уже шел рядом со мной.

— Ты увидишь, я долго не пробуду в министерстве. Знаешь, что я думаю? Я ведь всегда останусь Галеаццо Чиано, даже если не буду министром. Мое моральное и политическое положение только выиграет, если Муссолини меня уволит. Ты знаешь, как сделаны итальянцы: они забудут мои ошибки и заблуждения и будут видеть во мне только жертву.

— Жертву? — спросил я.

— Ты можешь поверить, что итальянский народ не ведает, кто за все в ответе? Что он не разберется между Муссолини и мной? Что он не знает, что я противился войне, что я все сделал...

— Итальянский народ,— сказал я,— ничего не знает, не хочет ничего знать и более ни во что не верит. Ты и другие, вы все должны были что-то сделать в 1940 году, помешать развязать войну. Что-нибудь сделать, рискнуть чем-то — вот, где был момент дорого продать собственную шкуру. Теперь ваша шкура ничего не стоит. Но вы слишком любите власть — вот правда. И итальянцы знают это.

---

[1] Не могли бы вы мне дать карандаш? *(англ.)*

[2] Да, разумеется *(англ.)*.

— Ты думаешь, что если сейчас я ушел бы...
— Сейчас слишком поздно. Вы все потонете вместе с ним.
— Что же тогда мне делать? — спросил Галеаццо резким и нетерпеливым тоном.— Чего от меня хотят? Чтобы я дал бросить себя в кучу хлама, как бросают грязное белье, тогда, когда ему это понвдобится? Чтобы я согласился потонуть вместе с ним? Я не хочу умирать!
— Умирать? Не стоит того,— ответил я, повторяя слова посла Франции Франсуа Понсэ.
— Это очень даже правильно, не стоит того,— сказал Галеаццо.— Да, потом! Почему нужно обязательно умирать? Итальянцы — молодцы, они никому не желают смерти.
— Ты ошибаешься,— сказал я.— Итальянцы больше не твкие, как прежде. Они с удовольствием посмотрят, как вы будете умирать, что он, что ты. Он, ты и все остальные.
— А зачем им наша смерть? — спросил Галеаццо.
— Ни за чем. Она ничего не даст.
Галеаццо замолчал. Он побледнел, на лбу выступил пот. В этот момент молоденькая девушка перешла поле и пошла навстречу группе игроков, которые вышли из клуба.
— Какая красивая девушка! — сказал Галеаццо.— Тебе нравится, а? — И он подтолкнул меня локтем в бок.

Кровь

Выйдя из римской тюрьмы Реджина Чели, я сразу пошел на вокзал и сел в поезд на Неаполь. Было 7 августа 1943 года. Я бежал от войны, от бойни, от тифа, голода, н бежал от тюрьмы, от зловонной камеры со спертым воздухом, без света, бежал от грязного матраца, поганого супа, спасался от клопов, вшей и парши. Я хотел только домой, на Капри, в мой уединенный дом, стоящий высоко над морем.

Теперь пришел конец долгому четырехлетнему моему путешествию по Европе, когда я навидался жестокости, когда вокруг меня шла война, лилась кровь, свирепствовал голод, горели деревни, лежали в развалинах города. Я устал, был разочарован, подавлен. Тюрьма в Италии — все еще тюрьма и всегда — тюрьма. Это только тюрьма и ничего больше, там — сбиры и люди в наручниках. Это и есть Италия. Те тоже, Марио Аликата и Цезарини Сфорца, отбыв долгие месяцы заключения, как только вышли вместе со мной из Реджина Чели, как и я, поехали прямо домой. Я пошел на вокзал, сел в поезд на Неаполь и — прямо домой. Поезд переполняли беженцы, старики, дети, женщины, офицеры, солдаты, священники, полицейские. На крышах вагонов было полно солдат, вооруженных или без оружия, в оборванных, грязных, жалких мундирах, а то и полуголых, они вели себя нагло и разнузданно — это были дезертиры, они ехали по домам или так, толком не зная куда. Они смеялись и пели, но видно было, что их пришиб огромный, чрезмерный страх.

Все бежали от войны, от голода, от мора и эпидемий, от развалин, от ужаса и смерти. Все бежали от войны, от немцев, бомбежек, нищеты, страха. Все бежали в Неаполь, а там была война, немцы, бомбежки, нищета, страх, убежища, переполненные отбросами, испражнениями, голодными людьми, измученными, подавленными людьми. Все бежали от безнадежности, мерзкой и ужасающей безнадежности, в которую ввергла людей проигранная война. Все бежали навстречу надежде, что, наконец, кончится голод, страх, война, навстречу отвратительной и жалкой надежде на проигрыш в войне. Все бежали из Италии и навстречу Италии.

Стояла ужасная жара. Я еще не сумел нигде помыться и был все в том же виде, в каком находился в камере № 462, в 4-м коридоре тюрьмы Реджина Чели. Жирный и сладковатый запах клопов еще плавал вокруг меня, у меня отросла борода, волосы спутались, ногти обломались. В купе вагона нас было двадцать, тридцать, сорок человек, кто знает, сколько. Люди давили со всех сторон, мы стояли, прижавшись друг к другу, от жажды у нас пухли губы, фиолетово краснели лица, и все мы стояли на цыпочках, вытянув шеи и широко раскрыв рты, чтобы можно было как-то дышать. У нас был вид повешенных, мертво качавшихся под потряхивания поезда. Время от времени с неба слышалось «ток, ток, ток», поезд останавливался, все выпрыгивали из поезда, шли прятаться в ров, в длинные канавы под откосом железнодорожной насыпи, и люди, не отрываясь, смотрели вверх, неподвижно, пока эти «ток, ток, ток» не проходили. На всех вокзалах наш поезд встречался с длинными немецкими составами. Нагруженные солдатами или оружием, они стояли или двигались, а из них на нас смотрели серыми жесткими глазами немецкие солдаты. Какая же усталость глядела из этих глаз, какое презрение, ненависть!

— Куда они едут? — спрашивали попутчики в вагоне. Стоявший рядом со мной человек спросил:

— Вы с какого фронта?
— Какого фронта? — ответил солдат.— Фронта больше нет. Войны больше нет. Больше нет их «несомненной победы». Больше нет их «Да здравствует дуче». Ничего больше нет. Вы с какого фронта?
И я ответил:
— Я еду из Реджина Чели.
Солдат недоверчиво посмотрел на меня:
— Что это Реджина Чели? Монастырь?
— Это тюрьма,— ответил я.
— Какая тюрьма? — спросил солдат.— Теперь нет больше тюрем. Больше нет полицейских, охранников, надсмотрщиков, нет больше тюрем. Ничего больше нет. В Италии нет больше тюрем. Кончены тюрьмы, кончена Италия! Ничего больше нет!
Глядя на солдата, все кругом стали усмехаться. У них были подлые, дурные, тягостные улыбки, смех людского отчаяния, когда, в силу обстоятельств, люди вынуждены решаться, на что угодно. Все смеялись в лицо солдату, и я тоже смеялся.
— В Италии и нет больше тюрем,— говорили в вагоне,— ах, если бы!
В купе и в коридоре, в других купе все стали смеяться, весь поезд смеялся, все смеялись под тряску и толчки поезда: И вот так, под этот подлый людской смех, поезд замедлил ход и остановился перед огромной грудой развалин и окровавленного рубища — это и был Неаполь.

Сквозь черную и блестящую тучу мух солнечные лучи прямо жарили по крышам и по асфальту, от развалин горячими вздохами поднимались испарения, смердило и от сложенных среди развалин куч мусора. Мощные вихри сухой пыли, похожие на песчаную бурю, поднимались из-под ног редких прохожих. В первый момент город показался пустынней. Но мало-помалу из улочек и дворов я стал улавливать гудение, шум приглушенных голосов, глухой и отдаленный топот. Тогда, бросая пытливый взгляд в таинственные подвалы, внимательно изучая пространства между домами — узкие и высокие трещины-улицы города Неаполя, я заметил скопления людей, то толпами стоявших на месте, то двигавшихся, жестикулировавших. Они сидели кучками на корточках у разведенного между двумя камнями огня и смотрели, как закипала вода в бидоне из-под бензина, в кастрюле, в сковородке, в кофейнике. Мужчины, женщины и дети спали как попало, вперемешку одни на других, на ватных матрацах, на пружинных матрацах, на любом удобном ложе, у дверей, во дворах, среди развалин, в тени от нетвердо стоявших стен, у входов в пещеры и лабиринты, вырытые во влажном туфе и уходящие под Неаполем далеко в недра земли. Внутри, в этих bassi, подземельях, видно было, как стояли, сидели и лежали люди. Там виднелись высокие, барочного стиля кровати, украшенные пейзажами, изображениями святых, Мадонны. Многие еще сидели на корточках на пороге у дверей, молча сидели с печальным видом, типичным видом неаполитанцев, которые более не знали, что им делать и чего ждать. В первый момент город мне показался не только пустынным, но и странно тихим. Я видел бежавших и жестикулировавших людей, я видел, как у них двигались губы, но не слышал ни звука, не слышал шума, не слышал их голосов. Но мало-помалу в пыльном воздухе, поднимаясь, расплылись крики и вопли — по крайней мере, у меня создалось такое впечатление — и обрели в моем ухе форму и вещественность, они с яростью разразились, взорвались вокруг меня и превратились в ровный, сосредоточенный грохот, потекли, словно река в паводок, когда вода прибывает.

По широкой, прямой и длинной улице я спускался к порту, и меня ошеломил, оглушил этот адский шум, ослепили тучи пыли, которые выхватывал с развалин и куч мусора морской ветер. Солнце било тяжелым золотым молотом по наковальне террас и фасадов домов, от которых поднимались черные и гудящие рои мух. Я смотрел вверх и видел раскрытые окна, балконы, а там — женщин с распущенными волосами, они расчесывали волосы, смотрели в голубое небо, будто гляделись в зеркало. Из верхних невидимых кварталов доносились поющие голоса, тут же песню подхватывали тысячи губ, передавая друг другу, из уст в уста, от окна к окну, от улицы к улице, звонко, будто жонглеры перекидывались цветными шарами. Стайками туда-сюда бегала детвора, босоногие дети, одетые в лохмотья, в жалкое рубище вместо рубашек, а малыши — нагишом. Обливаясь потом, они бегали, кричали в большом возбуждении, но, как лунатики, завороженно-оголтело. И бегали они не для того, чтобы посмеяться или поиграть в какую-нибудь увлекательную игру. Внимательно присмотревшись, можно было заметить, что их с головой поглощала торговля, мелочная торговля! Один тащил корзинку салата, другой — горсть угля, еще у одного в руках была кружка с Бог знает какой микстурой, еще один — охапку дров. Совсем как муравьи тащат соломинку, дети несли, например, обгоревшее бревно, какой-нибудь старый и разбитый предмет мебели, бочку, то, что им удалось вытащить из мусорных куч на развалинах. Трупный запах

исходил от куч камня и известки. Стаи ленивых и жирных мух с золотыми крылышками гудели среди развалин. Наконец, я увидел море.

Море так взволновало меня, что я заплакал. Ни река, ни луг, ни гора — даже дерево и облако — не дают такого ощущения свободы, как море. Узник в тюрьме часами, днями, месяцами, годами смотрит из своей камеры на одни и те же гладкие белые стены. Для него — это море. Но он не может представить себе его голубым. Он видит перед собою море белым, гладким, голым, без волн, без бурь, для него — это мрачное море, освещенное тусклым светом, который пропускают прутья решетки. Вот оно, его море, вот она, его свобода — гладкое и белое море, холодная и наводящая скуку свобода.

Здесь же передо мной открылось теплое и нежное неаполитанское море, свободное, голубое неаполитанское море все в завитках мелких волн, с легким рокотом бежавших друг за другом под ласковым прикосновением напоенного солью и розмарином ветра. Передо мной было огромное, голубое, свободное море, морщившееся на ветру. Не то белое, холодное, гладкое и голое тюремное море, а теплое и голубое море — сама свобода, и я, уже издали увидев его с конца улицы, которая через большую площадь спускается к порту, заплакал, не смея приблизиться к нему, не смея даже протянуть к нему руку, страшась, что оно исчезнет, улетучится, отпрянет с отвращением от моей грязной и потной руки с обломанными ногтями.

Я все еще плакал там, наверху, прямо посреди улицы, издали смотря на море, и не заметил, не услышал гудения пчел, раздававшегося высоко и далеко в голубом небе, не увидел, что люди бросились прятаться, побежали к вырытым в горе дырам. Но вот ко мне подошел ребенок, дотронулся до моей руки и мило и мягко сказал мне:

— Сеньор, вон они летят!

И в этот самый момент я почувствовал, как меня понесла толпа, которая, крича на бегу, прибывала и прибывала с верхней части широкой, спускавшейся к порту улицы,— в конце ее, внизу, сияло море. Мне трудно было определить место, где я находился, но по колоннаде церкви я узнал улицу Санта Лючия. Толпа вливалась в какой-то вход и исчезала там, словно ее поглощала некая таинственная сила. Я тоже было пошел за толпой, чтобы, как и все остальные, схорониться в потемках подземелий, но в это время посмотрел на улицу и замер в ледяном оцепенении охватившего меня ужаса.

В мою сторону, из улочек и с лестниц, которые с улицы Санта Лючия поднимаются на Пиццофальконе и на Монте ди Дио, двигалась молчаливая толпа. Скопище омерзительных людских отбросов, неких лемуров и чудовищ, которые ютятся по пещерам, дворам и подвалам этого района Неаполя, в недрах сотен темных улочек, составляющих лабиринт Паллонетто. Они надвигались на меня плотными рядами, как армия, идущая на штурм хорошо защищенной крепости. Они шли медленно и безмолвно, в голой тишине, которая всегда предвещает разрыв первых бомб, они шли в обреченном и жалком одиночестве, на которое их обрекает священный ужас людей перед их омерзительным уродством. Орды кривоногих, одноруких, безногих чудовищ, которых в Турине держат подальше от людских глаз — в приюте Коттоленго,— выползли на улицу, потому что война выдворила их на свет божий из заточения в глубоких норах и лачугах, в которых их держали из жалости, священного ужаса и простонародного суеверия, да и в собственных семьях со стыдом их прятали от света небесного, обрекая на пожизненную темень и тишину. Чудовища медленно спускались, поддерживая и подталкивая друг друга, они были одеты в лохмотья, лица их судорожно гримасничали, но не от страха, а от ненависти, вражды, спеси. Был ли тому причиной ослепительный свет солнца, какой бывает обычно в час дня, или ужас перед неотвратимой бурей огня и железа? Мне казалось, что в их лицах было сатанинское выражение, а из глаз исходил странно-неестественный свет,— злые гримасы и вражда ко всему, что их окружало, зажигали им глаза, изъеденные лихорадкой и залитые слезами безумия. Омерзительный оскал кривил им слюнявый рот. И у всех у них было нечто схожее, общее — у всех текла изо рта пенистая слюна, признак страха и бессильной ярости...

Все это были ютившиеся во чреве неаполитанских улочек чудовища, а люди относились к ним с набожной стыдливостью, так как они были предметом религиозного культа, они были посредниками и ходатаями в магии, которая является истинной тайной религией этого народа. В первый раз за всю их жизнь, вернее за их возведенное в культ существование, война вытащила их на божий свет и показала посторонним. И их молчаливая процессия к пещерам в горе имела вид шествия священных идолов, адских божеств, которые появились в солнечном свете, гонимые подземными толчками, а теперь опять стремились забиться в таинственные недра земли...

В окружении этого сброда уродцев я вошел в пещеру. Это был темный и глубокий грот, подземная галерея, каких много под Неаполем, там, где проходит акведук, водопровод анжевинов, система которого образует под Неаполем огромный неисследованный лабиринт. Через колодцы, выходящие наружу, на улицу, коридоры освещаются там дневным светом. Еще Боккаччо говорит об этих колодцах в новелле об Андреучче да Перуджиа. В этих темных пещерах, в тысячах подземелий, вырытых в здешнем туфе, нашел себе убежище от бомб бедный и удивительный народ, который так и поселился здесь и жил все последние три года в ужасающей тесноте, буквально валяясь в собственных экскрементах, лежа на жалких ложах, натасканных сюда из рухнувших домов. Этот народ торговал, спекулировал, справлял свадьбы и похороны, продолжал делать свои темные делишки по части контрабанды. Я сделал несколько шагов в подземном городе и, обернувшись, сквозь отверстую пасть пещеры увидел подрагивавшее вдали море. Плотные тучи пыли и дыма поднялись от порта. Разрывы бомб долетали в эту плутонову страну приглушенно, слабо, но стенки между пещерами сотрясались и трещали, пускали ручейки пыли. В пещере я застал гам и возню — вовсе не плач, всхлипывания и скрежет зубовный, а крики, песни, перекликавшиеся среди шума толпы голоса. И в них я узнал прежний веселый голос города Неаполя, настоящий его голос. Возникло впечатление, что я попал на Меркато или очутился на площади, заполненной праздничной толпой, возбужденной ритмами Пьедигротты или литургическими песнопениями религиозной процессии. Здесь оказался настоящий Неаполь, живой Неаполь, выживший после трех лет бомбардировок, голода и эпидемий. Здесь был простонародный Неаполь — город улочек, подвалов, трущоб, кварталов без света, без солнца и без хлеба. Электрические лампочки, подвешенные наверху к сводам пещер, освещали тысячи и тысячи лиц оборванной толпы и создавали иллюзию шумной большой площади в каком-нибудь перенаселенном квартале Неаполя, как бы служили освещением для ночной площади во время важного и широко известного местного народного праздника.

Никогда я не чувствовал себя столь близким этому народу, а ведь я всегда думал, что я чужеземец в Неаполе. Я никогда не чувствовал себя столь близким толпе, ведь до этого дня я думал, что совсем чужд и далек ей. Я был весь в поту и пыли, мундир разорвался, отросла борода, лицо и руки были грязными и сальными. Всего несколько часов тому назад я вышел из тюрьмы и, наконец, именно в этой толпе обрел немного человеческого тепла, а в здешних людях обнаружил то же моральное состояние, что мое собственное, но оно было как-то глубже, может быть, истиннее, более древних корней, чем мое. Я обнаружил здесь, что боль, которую древность этого народа, его судьба и своеобразная природа делали священной, в сравнении с моей собственной болью была гораздо глубже — ведь моя боль была только болью одного человека, она не была давнишней, она не имела глубоких корней в моем прошлом, ведь я, один человек, не мог тягаться в древности с этим древним народом. Народная боль не была болью отчаяния, ее освещала большая и прекрасная надежда, рядом с которой мое жалкое и мелкое отчаяние оказалось жалким, чахлым чувством, которого я устыдился и постеснялся.

Вдоль стен пещеры были зажжены пылающие костры в тех местах, где в туфе молотком каменщиков были выдолблены углубления вроде глубоких и неровных ниш, и там, где от главного пути акведука отходили боковые ответвления и устремлялись в недра горы. На кострах кипели кастрюли и котелки с супом — наверное, это и были народные кухни. Муссолини запретил народные кухни в Неаполе, но народ, брошенный на произвол судьбы и на свое собственное попечение, когда бежали отсюда князья и богатые люди, организовал их, как мог и чем мог помогая людям не умереть с голода. Запах картофельного супа с фасолью распространялся от котлов.

Протянутые сотни рук, глиняные тарелки, миски, жестяные бидоны, чугунные котелки закачались над океаном голов, поплыли над толпой, заблестели и забелели в свете электрических ламп и красных отсветов костров, и стало слышно, как чавкают губы, грубо и громко жуют челюсти, звякают тарелки или бедняцкие алюминиевые миски.

Время от времени жевание замедлялось, челюсти останавливались, смолкали крики и голоса, застревал в горле гортанный крик продавца жареной картошки и продавца воды — все прислушивались. Шум и гомон сменяла глубокая тишина, нарушавшаяся хриплым и свистящим дыханием толпы. Волнами по пещере, из грота в грот, до самых глубин темнеющих недр горы с грохотом прибоя раскатывались взрывы. Наступал момент набожного молчания, глубокая пауза — не от страха и ужаса, не из боязни, а от волнения за тех наверху.

— Несчастные! — кричал кто-то рядом со мной из жалости к мукам тех, кто заживо зарыт под развалинами домов, завален в подвалах, погиб в ничтожных убежищах портовых кварталов.

Мало-помалу из глубин пещеры возносилась песнь: женщины хором затягивали заупокойную молитву, здешние священники, свои собственные, оборванные, небритые, невероятно грязные, в черных сутанах, выпачканных известкой, присоединяли свои голоса к хору женщин и, то и дело останавливаясь, благословляли толпу, отпускали всем грехи на варварском латинском языке, смешанном с неаполитанскими словами. Толпа выкрикивала имена своих умерших или тех, кто там, наверху, подвергался опасности, кто жил в портовых кварталах, по кому молотом била бомбардировка, кто находился в море и участвовал в военных действиях. Толпа кричала: «Микеее! Перии

Рафилиии! Кармилиии! Мариии! Дженнариии! Паскааа! Макулатиии!» И все протягивали к священникам руки со сжатыми кулаками, словно сжимая реликвию, оставшуюся от дорогого их сердцу умершего — прядь волос, клок ткани от одежды или кусочек кожи, кусочек кости. Слышались долгие неудержимые рыдания. Несколько минут подряд огромная толпа всхлипывала, кидалась на колени, протягивала руки к небу, выкрикивала мольбы и молитвы, обращаясь к Мадонне Кармельской, Святому Януарию, Святой Лючии, а грохот бомб приближался, сотрясал землю, отдавался в пустотах горы, в зловонные пещеры вырывалось горячее дыхание горы.

Потом, когда разрывы бомб удалялись, вновь раздавались музыкальные зовы продавцов жареного картофеля, картофельных шариков, воды:

— Свежая вода! Свежая вода!..

Они опять перекрывали общий шум, прерывали плачи и причитания женщин и мрачное нашептывание молитв священников. Опять слышались звяканья монеток о кружку для подаяний, которую худые и отарательные монахи пускали по рукам, встряхивая ее и следя за толкавшимся и шумевшим сбродом вокруг. То там, то сям раздавался взрыв смеха, слышалось женское имя, звенело, расходилось по людям. Привычный прежний шум Неаполя, его прежний голос опять нарастал, ширился, звонко и мощно плескался, как голос моря.

Вдруг у какой-то женщины начались схватки, она кричала от резкой боли, стонала, умоляла, по-собачьи выла. Десятки импровизированных повитух — этих сплетниц с шелковистыми волосами и блестевшими от радости глазами — расталкивали людей, прокладывая себе дорогу среди толпы, спешили к роженице, которая вот уже истошно кричала. Женщины спорили из-за новорожденного. Среди них возникла одна, та, что была живее других и смелее, решительнее: старуха с всклокоченными волосами, жирная старая лярва,— она-то и вырвала ребенка у соперниц, сжала его, ощупала, подняла над толкотней вокруг, обтерла подолом своего платья, плюнула ему на лицо, чтобы омыть, облизала, а в это время уже подходил священник для обряда крещения.

— Дайте немного воды! — крикнул он.

Все протянули бутылки, чайники, каменные пористые сосуды, в которых охлаждается вода:

— Назовите его Бенедетто!

— Назовите Бенвенуто!

— Назовите Дженнарио! Дженнарио! Дженнарио! — кричала толпа.

Крики, названные толпой имена — все тонуло в мощном подземном шуме, в котором песни, смех, долгие музыкальные зовы продавцов воды и жареной картошки и бродячих торговцев всем прочим сплетались между собой мотивами единой песни, одной общей жизни и сливались со ржанием лошадей, которых возницы тоже завели в убежище. Огромная пещера действительно походила на большую площадь в ночь праздника Пьедигротты, когда глашатаи замолкают и толпа, возвращаясь с Пьедигротты на площадь, еще немного топчется, задерживается на площади, чтобы подышать свежим воздухом перед сном, выпить последний стакан лимонного сока, съесть последний пончик, когда людям остается только пожелать друг другу спокойной ночи, когда слышатся громкие крики прощаний, которыми обмениваются кумушки, друзья, родные, приятели.

Вот уже дети с порога пещеры крикнули, что опасность миновала, уже из уст в уста передавались сведения о разрушенных домах, о погибших и раненых, заживо похороненных...

Небо было тускло-голубым, море — блестяще-зеленым. Идя среди толпы людей, которые поднимались в сторону улицы Толедо, я на ходу смотрел вокруг себя в надежде увидеть хоть кого-нибудь из знакомых, встретить друга, который устроил бы меня куда-нибудь на ночь, до появления в порту парохода с Капри, который отвез бы меня домой. Целых два дня прошло с тех пор, как пароходик с Капри отплыл в последний раз от пристани Санта-Лючия, и один Бог знал, сколько еще дней мне придется ждать, пока я смогу, наконец, добраться до дома! Близился закат, и жара стала влажной и тяжелой, так что мне казалось, что я шел, закутанный в шерстяное одеяло. Справа и слева, с обеих сторон улицы высились огромные навороты обломков, которые теперь предстали глазам в гораздо более мрачном и ужасном виде, показались еще более жестокими под неаполитанским нежным шелковисто-голубым небом. Мне сжало сердце леденящее ощущение одиночества, и я все смотрел вокруг себя в надежде увидеть дружеское, знакомое лицо среди орд оборванцев, у которых в побелевших от голода, недосыпания и тревоги глазах сияло мужество и достоинство.

Дети засели в развалинах домов, как в крепости. Они устраивали там берлоги, откапывая в кучах камней, балок и исковерканного железа всякий скарб: матрицы, плетеные стулья, миски, горшки всех видов и всех размеров. Они рыли себе пещеры в кучах известки между рушившимися стенами. Крутясь вокруг печей прямо под открытым небом, девушки готовили в старых консервных банках еду для детворы. Малыши нагишом играли среди отбросов и думали только о своих стеклянных шариках, разноцветных камешках, кусочках зеркала, а те, что были постарше, с утра до вечера ходили в поисках пропитания или работы, высматривая, где бы кому-нибудь услужить, например, поднести чемоданы и узлы с одного конца города на другой, помочь эвакуированным семьям тащить скарб на вокзал или в порт. Они тоже составляли целый клан дикой и одинокой детворы без родителей, клан беспризорных, которых мне уже довелось видеть в Киеве, Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде в годы, последовавшие за гражданской войной в России, в годы страшной разрухи. Под обломками, в которых дети устраивали себе жилища из жестянок и обгорелых досок или берлоги, может быть, кто-то еще дышал, ведь огромное количество людей было здесь заживо похоронено, и на этих несчастных за три года войны, наверное, не раз возводились фундаменты нового Неаполя, Неаполя в лохмотьях, голодного и кровоточащего, но все-таки чистого, достойного, более настоящего, чем прежний. Сильные мира сего, богачи бежали из рушившегося города. В нем осталась только огромная армия оборванцев и голодранцев с полными древней и ненасытной надежды глазами, армия беспризорных с жесткими губами, непокрытыми головами, на лбах которых одиночество и голод вытатуировали магические слова. Я шел по ковру из битого стекла, по засыпанной известкой улице, по разбросанным щепкам этого громадного кораблекрушения, и во мне нарождалась древняя и извечная надежда...

По мере того как я спускался к рынку, развалины встречались все чаще, некоторые дома горели, и мужчины и женщины в оборванных одеждах всячески пытались погасить пожары, пользуясь случайно попавшимися под руку предметами, например, полными лопатами бросая в пламя камни и известку, сбивая огонь, а в это время другие передавали из рук в руки по цепочке ведра с водой, которую вычерпывали из моря в порту, третьи же оттаскивали обломки, чтобы они не стали пищей для огня,— балки, куски дерева, мебель, всякие прочие предметы. Видно было, как по всему городу, с разных сторон, люди куда-то спешили, помогая друг другу, вытаскивая мебель из рушившихся домов и перенося ее в пещеры. Люди ходили туда и обратно, везя повозки с овощами в места, где оказалось наибольшее скопление населения,— туда, куда сбегался народ в поисках убежища.

Громче гама и шума на улице раздавались чистые и бесстрастные музыкальные призывы продавцов воды:

— Свежая вода! Свежая вода!

В центре города по улицам отрядами ходили полицейские и на портреты Муссолини с надписями: «Да здравствует дуче!» наклеивали портреты короля и Бадольо с надписями: «Да здравствует король, да здравствует Бадольо!» Другие отряды полицейских выписывали на стенах кистями, которые они макали в ведра с черной краской: «Да здравствует верный Неаполь!», «Да здравствует королевский Неаполь!», и в этом заключалась вся помощь, которую по образу и подобию прежнего новое правительство оказывало выдержавшему пытки городу...

Все помогали друг другу, и среди развалин встречались изможденные и бледные люди, которые с бутылками и кувшинами с водой или кастрюлями с супом в руках старались раздать эту скудную еду и капли воды самым бедным, старым, больным, лежавшим среди обломков в тени стен, которые грозили рухнуть. На улицах было полным полно брошенных грузовиков, автомобилей, трамваев, оставленных на исковерканных рельсах, карет, рядом с которыми прямо в упряжке валялись мертвые лошади. Тучи мух гудели в пыльном воздухе. На площади у театра Сан Карло собралась толпа, казалось, люди только что пробудились ото сна, в глазах у них виделось мертвенное и холодное ослепление. Толпа стояла перед закрытыми магазинами, на дверях которых висели толстые испещренные осколками от бомб завесы...

На рухнувших домах и на тех, что чудесным образом уцелели, торжественно сияло, я даже сразу не мог сообразить что, а это была голубизна, роскошное и жестокое голубое неаполитанское небо. Но по сравнению с ослепительной белизной известки под полуденным солнцем, по сравнению с кучами свежих обломков, походивших на мел, с яркой чистотой трещин на стоявших еще стенах, небо, само небо казалось черным. Оно было того темно-синего цвета, который бывает в звездные ночи, когда нет луны. В какие-то моменты небо казалось твердым, вещественным, как бы сделанным из черного камня. Сумрачный и печальный на кладбище рухнувших стен и угасавших костров пожарищ город лежал, разверстый под густой черной жестокой и чудесной голубизной.

Перевела с итальянского
Н. ШАПОШНИКОВА

Исаак
Башевис
ЗИНГЕР

ДВА РАССКАЗА

От переводчика

Исаак Башевис Зингер родился в 1904 году в Польше. Он получил традиционное религиозное образование, однако следовать семейной традиции — его отец и дед были раввинами — не пожелал: сочинительство, страсть к которому вспыхнула еще в ранней юности, явилось для Зингера единственным способом самовыражения и оправданием собственного существования.

В 1935 году он переезжает в США, где становится, как признает одно из наиболее авторитетных американских литературно-критических изданий «Нью-Йорк ревью оф букс», «одним из подлинно великих современных писателей», причем писателем как бы не вполне американским, хотя бы уже потому, что книги его написаны не по-английски: Зингер единственный сегодня крупный автор, пишущий на идиш.

Впечатления детства и особенности воспитания определили круг его тем и образов, а они, в свою очередь, стали причиной, по которой знакомство нашего читателя с его книгами задержалось лет на сорок. В произведениях Зингера еще продолжает жить давно исчезнувший мир евреев довоенной Восточной Европы, мир, населенный пророками, раввинами, свахами, калеками, грешниками и праведниками. Вместе с тем, Зингер остается вполне современным, поскольку быть современным не стремится. Он едва ли не единственный в нынешней литературе, кто решается на моралистические сочинения, и не прибегает в них к иносказаниям; при этом, как отмечала «Вашингтон пост бук ревью», «никто из современных авторов не пишет так страстно и с такой любовью».

Известность пришла к Зингеру в 1950 году, после появления романа «Семья Москат» — эпического повествования о жизни польских евреев с начала нашего столетия до второй мировой войны.

К настоящему времени Зингер опубликовал более двадцати книг — романов, сборников рассказов, мемуаров. Все они написаны на идиш и переведены на английский (с него, как правило, делаются переводы и на другие языки) при участии автора, а иногда и непосредственно им самим, как это было с публикуемыми здесь рассказами.

В 1978 году к писателю пришла всемирная слава — он стал лауреатом Нобелевской премии. В решении Шведской королевской академии говорилось, что «волнующие произведения Зингера, уходя корнями в польско-еврейскую культурную традицию, воскрешают общечеловеческие ценности»; в основе его книг «лежит спасительный печальный юмор и лишенная иллюзий ясность взгляда».

ПРЕДИСЛОВИЕ [1]

Мне трудно говорить о сборнике из сорока семи рассказов, выбранных из более чем ста, мною написанных. Подобно некоему восточному владыке, имеющему детей от множества жен, я дорожу каждым из них.

Создавая эти рассказы, я сталкивался со многими опасностями, подстерегающими любого автора. Скажу о самых коварных из них. 1. Убеждение, что писатель должен быть социологом и политиком, приспосабливая свое творчество к так называемой социальной диалектике. 2. Жажда денег и быстрого признания. 3. Искусственная оригинальность, то есть заблуждение, что с помощью вычурных фраз, стилистических изощрений и жонглирования абстрактными символами можно передать неизменный и в то же время пребывающий в постоянном движении характер человеческих отношений, запутанное переплетение врожденного и навязанного извне, которое определяет

[1] Это предисловие Зингер предпослал сборнику своих лучших рассказов «The Penguin Collected Stories of Isaak Bashevis Singer», L., 1984. Возможно, изложенные в нем теоретические положения представят интерес для отечественного читателя.

поведение человека. В словесную западню так называемых «экспериментальных» произведений попадали и подлинные таланты; в ней оказалась почти вся современная поэзия — невразумительная, лишенная очарования и понятная немногим. Воображение — это одно, а нарушение того, что Спиноза называл «порядком вещей»,— нечто совсем другое. Литература может прекрасно описывать абсурд, но при этом не должна сама становиться абсурдной.

Хотя рассказ сегодня — не самый популярный жанр, я все же убежден, что он является пробным камнем для любого писателя. В отличие от романа, где встречаются, и порой оправданно, длинноты, повторы и рыхлость композиции, рассказ обязан неуклонно двигаться к развязке. Захватив читателя, он должен держать его в напряжении. Главная отличительная черта рассказов — краткость. Его следует писать по определенному плану, а не превращать в то, что на литературном жаргоне именуется «срез жизни». Такие мастера рассказа, как Чехов, Мопассан и вдохновенный автор истории Иосифа из книги Бытия прекрасно это понимали. Их произведения можно перечитывать сколько угодно, и они не покажутся скучными. Художественная литература не должна быть рассудочной. Писателю не следует барахтаться в психологии и ее многочисленных производных.

Настоящая литература развлекает и поучает одновременно. Она сочетает в себе ясность и глубину. Она таинственным образом соединяет случайность и расчет, веру и неверие, плотские страсти и возвышенные мечты. В ней уживаются реализм и мистика, частное и общее, национальное и общечеловеческое. Она не должна объяснять самое себя, хотя и позволяет это другим. Пришлось снова напомнить эти очевидные истины, поскольку увлечение ложным критицизмом и псевдооригинальностью породило у нашего поколения литературную амнезию, писатели проповедуют идеи, вместо того чтобы рассказывать истории.

Для читателя, желающего услышать от меня нечто «более личное», я процитирую несколько строк (правда, не в том порядке, в котором они создавались) из моих недавно написанных мемуаров: «Я по-прежнему погружен в себя. Я отдался во власть меланхолии. Я поставил мирозданию ультиматум: открой свои тайны или позволь мне умереть. Я должен был бежать от самого себя. Но как? И куда? Я мечтал о гуманизме и этике, основанных на нежелании оправдывать зло, которое Господь обрушил на нас или обрушит в будущем. В своих лучших проявлениях литература может лишь даровать людям забвение несчастий, хотя бы на время».

И я стараюсь изо всех сил, чтобы «время» это длилось как можно дольше.

КЛЮЧ

Около трех Бесси начала готовиться к выходу на улицу. Это всегда было сопряжено со многими сложностями, особенно в такой жаркий день, как сегодня. Прежде всего требовалось натянуть на себя корсет, затем всунуть распухшие ноги в туфли и привести в порядок прическу: Бесси сама покрасила волосы, и теперь они торчали во все стороны, переливаясь самыми неожиданными цветами — желтым, черным, серым и рыжим; но главное — следовало принять меры предосторожности, чтобы соседи не залезли в квартиру и не стащили ее постельное белье, одежду и документы, а то ведь могут и просто забраться, перевоpошить все вещи, а ей потом ничего не найти.

Кроме врагов в человеческом обличье, Бесси преследовали демоны, чертенята и прочая нечисть. Оставляешь очки на тумбочке, а находишь их в тапке. Краска для волос, которую она своими руками помещала в аптечку, через несколько дней обнаруживалась под подушкой. Как-то раз даже на кастрюлю с борщом позарились: после долгих поисков кастрюля нашлась не в холодильнике, куда ее поставили, а в платяном шкафу! Сверху плавали толстые куски прогорклого жира...

Одному Богу известно, как Бесси страдала от этих бесконечных издевательств, как боролась, чтобы выжить и не сойти с ума. Пришлось отказаться даже от телефона, потому что разные аферисты и психопаты звонили днем и ночью, стараясь вытянуть из Бесси ее секреты. Однажды ее попытался изнасиловать молочник-пуэрториканец. Посыльный из бакалейной лавки хотел устроить у нее пожар и специально не потушил сигарету. Чтобы выселить Бесси из дешевой квартиры, где она прожила тридцать пять лет, компания и домоуправитель наводнили комнаты мышами и тараканами.

Бесси давно поняла, что на ополчившиеся против нее силы нет никакой управы: не помогали ни металлические двери, ни специальные замки, ни письма в полицию, мэру и даже президенту в Вашингтон. Но пока человек жив, он должен есть. А ведь на все требуется время — надо и окна проверить, и газ закрутить, и ящики запереть. Бумажные деньги она хранила в томах энциклопедии, в старых номерах журнала «Нэйшнл джиогрэфик» и в гроссбухах, оставшихся после Сэма Бопкина. Облигации и ценные бумаги Бесси засовывала в кресла или прятала в камине, среди поленьев, положенных туда специально для этого. Драгоценности были зашиты в матрасы. Раньше Бесси арендовала сейфы в банке, однако она уже давно догадалась, что у охраны найдутся любые отмычки.

Около пяти Бесси была готова к выходу. Она последний раз взглянула в зеркало и увидела маленькую, толстую, низколобую женщину с приплюснутым носом и косым разрезом узеньких глаз, как у какого-нибудь китайца. На подбородке пробивались маленькие седые волоски. Бесси носила вылинявшие платья с едва различимыми изображениями цветов, стоптанные башмаки и бесформенную соломенную шляпку, украшенную деревянными вишенками и виноградом. Перед выходом она еще раз оглядела все три комнаты и кухню. Повсюду валялась одежда, туфли и пачки нераспечатанных писем. Двадцать лет назад, незадолго до смерти, ее муж Сэм Бопкин продал дело по торговле недвижимостью, поскольку собирался доживать свой век во Флориде. После Сэма остались облигации, банковские книжки, акции и несколько закладных. Бесси и по сей день получала какие-то отчеты, письма и чеки. Налоговое управление претендовало на ее доходы. Каждые несколько недель похоронное бюро предлагало Бесси купить участок на «приличном кладбище». Поначалу она еще следила за своими доходами и расходами, помещала чеки в банк и отвечала на письма. Но в последние годы Бесси запустила все дела. Даже перестала покупать газеты, где раньше читала финансовый раздел.

Выходя, она засунула между дверью и косяком листочки бумаги, испещренные письменами, понятными ей одной. Затем залепила пластелином замочную скважину. А что ей оставалось делать, бездетной вдове, не имевшей ни родственников, ни друзей? Когда-то соседи выглядывали из-за дверей, посмеиваясь над ее чрезмерной предосторожностью, а иные даже издевались. Но это было давно. Теперь она ни с кем не разговаривала. Видела Бесси плохо. Старые очки уже не помогали. Но визит к врачу отнял бы слишком много сил. Ведь все теперь стало трудно, даже войти или выйти из лифта, дверь которого всегда захлопывается с таким ужасным грохотом.

Бесси редко удалялась от дома дальше, чем на два квартала. Улицы между Бродвеем и Риверсайд-драйв с каждым днем делались все более шумными и грязными. Повсюду крутились полуголые уличные мальчишки. Смуглые курчавые мужчины, дико сверкая глазами, орали по-испански на низкорослых, вечно беременных женщин. Те что-то кричали в ответ. Кругом лаяли собаки, мяукали кошки. Где-то вспыхивали пожары, и туда мчалась полиция, пожарные и машины «скорой помощи». На Бродвее исчезли последние бакалейные лавочки и вместо них появились супермаркеты, где продукты надо класть в тележки и вставать с ними в очереди, чтобы заплатить.

Боже мой, после смерти Сэма Нью-Йорк, Америка и, наверное, весь мир стали почему-то разваливаться. Все приличные соседи разъехались, остались одни воры, грабители и проститутки. Трижды у нее выкрадывали бумажник. А когда Бесси жаловалась в полицию, там над ней только смеялись. А улицы! Каждый раз, переходя на другую сторону, приходится рисковать жизнью. Бесси сделала шаг и остановилась. Ей советовали ходить с палочкой, но Бесси еще не считала себя старухой или калекой. Каждые две недели она делала маникюр. Изредка, когда отпускал ревматизм, она доставала старые наряды и примеряла их перед зеркалом.

Бесси не могла сама открыть дверь супермаркета. Приходилось ждать, пока кто-нибудь придержит. Да что говорить, этот супермаркет мог выдумать только дьявол! Со всех сторон сверкают слепящие огни. Покупатели снуют с тележками и готовы смести любого со своего пути. Полки расположены слишком высоко или, наоборот, чересчур низко. После уличного пекла супермаркет встретил ее жутким холодом и оглушительным шумом. Не хватает только подхватить воспаление легких. Но больше всего Бесси мучилась от собственной нерешительности. Дрожащей рукой она подносила к глазам продукты и разглядывала этикетки. То была не жадность молодости, а мудрость, накопленная годами. Бесси собиралась управиться с покупками за сорок пять минут, однако прошло уже два часа, а она еще не выбралась наружу. Дойдя, наконец, до кассы, Бесси вспомнила, что не захватила овсяную крупу. Она покатила тележку назад, и место в очереди сразу заняла какая-то женщина. Когда Бесси расплатилась, подоспела новая беда. Она помнила, что положила чек в сумку с правой стороны, но его там не оказалось. После долгих поисков чек отыскался в маленьком кошельке, лежавшем слева. Нет, скажите, ну кто поверит, что подобное бывает! Расскажи она кому-нибудь, люди подумают, что Бесси созрела для психушки.

Когда она входила в супермаркет, было еще светло. Теперь же день близился к концу. Солнце, почти погрузившись в Гудзон, ползло в сторону туманных холмов Нью-Джерси. Бродвейские дома дышали жаром, накопленным за день. Сквозь вентиляционную решетку, под которой грохотало метро, пробивалось отвратительное зловоние. В одной руке Бесси держала сумку с продуктами, в другой крепко сжимала бумажник. Никогда еще Бродвей не казался ей таким грязным и диким. Воняло плавящимся асфальтом, бензином, гнилыми фруктами и собачьим калом. На тротуаре, среди окурков и обрывков газет, копошились голуби. Непонятно, как в этой сутолоке их еще не затоптали. Со сверкающего неба опускалась золотая пыль. На искусственном газоне, украшавшем вход в магазин, мужчины в пропотевших рубашках жадно вливали в себя ананасовый сок, словно пытаясь погасить пламя, бушевавшее внутри. Над ними свисали кокосовые фигурки индейцев. На соседней улице ребятишки — белые и черные — открыли гидрант и плескались нагишом. Среди этого пекла кружил утыканный репродукторами грузовик, извергая грохочущие мелодии и оглушительные призывы голосовать за очередного политика. У заднего борта разбрасывала листовки девушка с растрепанными волосами, торчащими во все стороны, точно проволока.

Бесси совсем выдохлась, и немудрено: ей пришлось перейти улицу, дождаться лифта и успеть выбраться на пятом этаже до того, как захлопнется дверь. Она поставила покупки на пороге и стала искать ключи. Пилочкой для ногтей Бесси выковыряла пластилин из замочной скважины. Затем вставила ключ, повернула, но на ее беду ключ сломался. В руках остался только обломок! Она ясно осознавала весь ужас случившегося. Другие жильцы держали дубликаты ключей у домоуправителя, но Бесси никому не могла довериться и не так давно заказала новый замок с секретом, с которым, по ее мнению, не справится ни одна отмычка. Дубликат ключа она спрятала в шкафу, так что сломанный ключ был единственным, который Бесси выносила из дома. «Ну, вот и все»,— произнесла она вслух.

Помощи было ждать неоткуда. Соседи — кровные враги. Домоуправитель — спит и видит ее смерть. У Бесси так перехватило горло, что она даже не смогла заплакать. Несчастная огляделась в надежде увидеть злодея, который нанес этот последний удар. Бесси давно примирилась с мыслью о смерти, но умереть вот так, на лестнице или на улице, было бы слишком ужасно. К тому же, кто знает, сколько продлится эта агония? Она задумалась. Может быть, где-то еще открыта слесарная мастерская? А даже если и открыта, так с чего они будут делать дубликат ключа? Значит, надо прийти сюда со всеми инструментами. Но для этого замка нужен человек, связанный с фирмой, которая их выпускает. Хоть бы деньги с собой были! Но Бесси никогда не клала в кошелек больше, чем собиралась потратить. Кассирша в супермаркете дала сдачи всего центов двадцать. «Мамочка милая, не хочу я больше жить»,— запричитала Бесси на идиш, сама удивляясь, что еще помнит этот язык.

После долгих колебаний Бесси решила выйти на улицу. Может, она еще поспеет в магазин металлоизделий или в какую-нибудь лавочку, где продаются ключи? Они помнила, что видела такую где-то неподалеку от дома. В конце концов, у других ведь тоже должны ломаться ключи. Но вот как быть с продуктами? Сумка слишком тяжелая — с собой не потащишь. Выбора нет.

Придется оставить на лестнице. «Наверняка украдут»,— подумала Бесси. Кто знает, может быть соседи специально испортили замок, чтобы она не смогла попасть в квартиру, пока они там что-то воруют или просто портят ее вещи.

Перед тем, как спуститься вниз, Бесси приложила ухо к замочной скважине. Внутри было тихо, если не считать странного непрекращающегося бормотания, причину которого Бесси никак не могла понять. То оно напоминало тиканье часов, то жужжание, то вздохи, словно какое-то существо замуровали в стену или засунули в водопроводную трубу. Мысленно Бесси попрощалась с продуктами, лежащими вместо холодильника в этом пекле. Масло, конечно, растает, молоко скиснет. «Бог меня покарал,— бормотала Бесси.— Проклятье какое-то на мне, точно проклятье!» Соседу, собиравшемуся спуститься на лифте, Бесси сделала знак, чтобы придержал дверь. А вдруг тоже вор? Еще ограбит или, чего доброго, просто так изувечит! Лифт остановился, и мужчина распахнул перед ней дверь. Бесси хотела было поблагодарить его, но осеклась. К чему благодарить своих врагов? Знает она их штучки.

Бесси вышла на улицу и увидела, что уже наступила ночь. Водосточный бак был наполнен до краев. В темной воде, словно в озере, отражались фонари. Где-то неподалеку снова что-то горело. Бесси услыхала завывание сирен и лязг пожарных машин.

Она вышла на Бродвей, пышащий жаром, как раскаленный железный лист. Бесси, которая и днем-то видела неважно, ночью становилась совсем слепой. Витрины магазинов светились, но, что там навыставляли, было не разобрать. На Бесси натыкались прохожие, и она пожалела, что ходит без палки. Шаг за шагом, прижимаясь к витринам, Бесси продвигалась вперед. Вот она уже миновала аптеку, булочную, магазин ковров, похоронное бюро, но магазина металлоизделий не было и в помине.

Бесси не останавливалась. Сил оставалось все меньше, но она не сдавалась. А что, скажите, должен делать человек, у которого сломался ключ? Умирать? Может быть, следует обратиться в полицию? Где-то ведь должны быть люди, которые занимаются такими вопросами. Но где их найти?

Впереди, наверное, произошла авария. Тротуар заполнили зеваки. Полицейские машины и фургон «скорой помощи» перегородили улицу. Кто-то поливал асфальт из шланга, видимо, смывая следы крови. Бесси казалось, что стоящие взирали на это с нескрываемым наслаждением. «Радуются чужому несчастью»,— подумала Бесси. В этом проклятом городе другой радости и не найти. Нет, никто ей не придет на помощь!

Она подошла к церкви. Несколько ступеней вели к запертой двери, на которую падала тень от навеса. С большим трудом Бесси опустилась на ступеньки. Колени дрожали. Спереди и сзади жали туфли. Больно колола сломавшаяся в корсете косточка. «Все силы Зла против меня ополчились». Попеременно подступали тошнота и голод. Во рту стало кисло. «Господи, это конец!» Ей вспомнилась еврейская поговорка: «Если живешь бестолково, то и умрешь неприкаянным».

Даже завещание она не успела составить.

Должно быть, Бесси задремала, потому что, открыв глаза, увидела пустые темные улицы. Вокруг было тихо. Витрины погасли. Жара спала, и Бесси поежилась от холода. Ей показалось, что из сумки вытащили кошелек, но нет, он просто выпал и валялся рядом, на ступеньке. Бесси попыталась его поднять, но рука была словно чужая. В голове, прислоненной к стене, ощущалась каменная тяжесть. Ноги одеревенели. Уши, казалось, были залиты водой. Бесси с трудом открыла глаза и увидела луну. Она висела низко над плоской крышей. Рядом поблескивала зеленоватая звездочка. Бесси изумленно смотрела наверх. Она почти забыла, что есть на свете луна, звезды, небо. Много лет она смотрела только под ноги, ни разу не подняв головы. Ее окна были завешаны гардинами, чтобы живущие напротив не могли за ней шпионить. Что ж, раз существует небо, возможно, есть и Бог, ангелы, рай. Где же еще покоятся души ее родителей? И где сейчас Сэм?

Она, Бесси, забыла все свои долги. Ни разу не пришла на могилу Сэма. Никогда не ставила свечу в день его смерти. Она была настолько поглощена борьбой с темными силами, что забыла о существовании светлых. Впервые за много лет Бесси захотелось прочесть молитву. Всемилостивейший сжалится над ней, хотя она этого и не заслуживает. Может, отец с матерью заступятся за нее на небесах? Какие-то древнееврейские слова вертелись на кончике языка, но она никак не могла их вспомнить. Вдруг ее озарило: «Слушай, Израиль!» [1]. А дальше как? «Прости меня, Господи,— проговорила Бесси,— я заслужила свои беды».

Стало еще тише и холоднее. Светофоры мигали — то красным, то зеленым, хотя машин почти не было. Откуда-то появился негр. Он шел, покачиваясь. Негр остановился рядом с Бесси, взглянул на нее и пошел дальше. Бесси помнила, что в сумке много важных документов, но впервые в жизни ее не волновала судьба принадлежащих ей вещей. Сэм оставил целое состояние, но Бесси к нему не прикасалась. Она продолжала откладывать на старость, словно старость была впереди. «Сколько мне лет? — подумала Бесси.— Чего я добилась за все эти годы? Почему я никуда не ездила, не тратила деньги на себя, не помогала другим?» В душе она улыбнулась. То было какое-то наваждение. Вместо меня жил другой человек. Иного объяснения нет! Бесси была поражена. Ей казалось, что она пробудилась после долгого сна. Сломанный ключ открыл в голове дверцу, запертую со дня смерти Сэма.

Огромный потертый лунный лик краснел теперь по другую сторону крыши. Стало еще холоднее, и Бесси снова поежилась. Она подумала, что может подхватить воспаление легких, однако страх смерти и боязнь оказаться без крыши над головой почему-то исчезли. С Гудзона подул прохладный ветер. На небе появились новые звезды. Черный кот перебежал улицу, направляясь в сторону Бесси. У края тротуара он замер и уставился на Бесси зелеными глазами. Затем приблизился — медленно и осторожно. Бесси не любила животных, всех этих собак, кошек, голубей и воробьев. Они ведь заразу переносят. От них одна грязь. Бесси верила, что в каждой кошке скрывается демон. Особенно она боялась черных кошек, считая встречу с ними дурным предзнаменованием. Но сейчас Бесси с любовью смотрела на это существо, живущее одной лишь милостью Всевышнего — без дома, вещей, дверей и ключей. Кот обнюхал сумочку и подошел к Бесси. Поднял хвост и, мурлыкая от удовольствия, потерся о ее ногу. Бедняжка — хочет есть. Жаль, ничего с собой нет. «Как можно ненавидеть такое славное существо? — подумала Бесси.— Мама родная, это точно было какое-то наваждение. Но теперь я начну новую жизнь». Мелькнула даже шальная мысль: «А может, снова выйти замуж?»

Ночью произошло еще кое-что. Бесси видела белую бабочку. Бабочка порхала над стоящей автомашиной, потом опустилась. Бесси понимала, что это душа новорожденного, ведь после наступления темноты обычные бабочки не летают. Проснувшись в другой раз, она заметила парящий над крышами огненный шар, похожий на сверкающий мыльный пузырь, который скрылся потом за домами. Она не сомневалась, что то была душа только что усопшего.

Бесси задремала. Когда она проснулась, уже светало. За Центральным парком вставало солнце. Со своего места Бесси его не видела, но небо над Бродвеем уже порозовело. На окнах дома слева заиграли языки пламени, стекла вспыхивали одно за другим, подобно иллюминаторам проплывающего корабля. Рядом с Бесси опустился голубь. Переваливаясь на красных лапках, он стал что-то клевать — то ли засохшие хлебные крошки, то ли комочки грязи. «Как они живут,— недоумевала Бесси.— Где спят по ночам, где укрываются от дождя, холода и снега? Надо вернуться домой,— решила она,— люди не оставят меня на улице».

Бесси с трудом поднялась. Казалось, тело приклеилось к ступеньке. Все же она выпрямилась и медленно побрела в сторону дома. Бесси вдыхала влажный утренний воздух, напоенный запахами травы и кофе. Она была уже не одна. Вокруг появились люди. Они спешили на работу. Они покупали газеты в киосках и спускались в метро. Они были просветленно-молчаливы и удивительно

[1] Начальные слова одной из главных еврейских молитв.

спокойны, словно, как и Бесси, вновь обрели себя прошедшей ночью. «Когда же они просыпаются,— недоумевала Бесси,— если сейчас уже бегут на работу?» Выходит, здесь живут не только гангстеры и убийцы. Какой-то молодой человек даже пожелал ей доброго утра. Бесси попыталась улыбнуться в ответ и вдруг поняла, что забыла, как пользоваться этим атрибутом женственности, одним из главных оружий своей юности; кстати, улыбка была среди первых вещей, которым ее научила мать.

Добравшись, наконец, до дома, Бесси увидела своего злейшего врага — домоуправителя-ирландца. Он беседовал с рабочими, убиравшими мусор. Это был огромного роста человек с небольшим носом, мясистой верхней губой, впалыми щеками и острым подбородком. Его пшеничные волосы были зачесаны набок и скрывали лысину. Ирландец удивленно посмотрел на Бесси:

— Что случилось, бабушка?

Бесси сбивчиво рассказала, что произошло. Она показала обломок ключа, который всю ночь сжимала в кулаке.

— Пресвятая Богородица! — вырвалось у него.

— Что же мне делать?

— Я открою вашу дверь.

— Но ведь у вас нет ключа.

— Я обязан уметь открывать любую дверь, скажем, на случай пожара.

Ирландец пошел к себе и через несколько минут возвратился с инструментами и связкой ключей на огромном кольце. Они поднялись на лифте. На пороге по-прежнему стояла сумка, однако продуктов в ней заметно поубавилось. Домоуправитель занялся замком.

— А это что еще за бумажки? — спросил он удивленно.

Бесси промолчала.

— Что же вы сразу не пришли и не рассказали, что случилось? Подумать только, всю ночь бродить по улицам и это в вашем-то возрасте!

Он продолжал возиться с замком, вдруг приоткрылась соседняя дверь и на пороге появилась маленькая блондинка в халате.

— Что с вами стряслось? — спросила она.— Эта сумка здесь со вчерашнего дня. Я решила положить масло и молоко в холодильник.

Бесси с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться.

— Милые вы мои,— пробормотала она.— Если бы я знала...

Ирландец тем временем извлек обломок из замка. Повозившись еще немного, он повернул ключ и дверь отворилась. На пол посыпались бумажки. Они вошли в прихожую, и Бесси почувствовала затхлый запах, присущий долго пустовавшим квартирам.

— Если подобное повторится,— сказал домоуправитель,— обращайтесь ко мне. Я здесь для этого и нахожусь.

Бесси хотела его отблагодарить, но в руках была такая слабость, что она не могла открыть сумочку. Соседка занесла масло и молоко. Бесси дошла до спальни и легла на кровать. Грудь сильно сдавило, и Бесси стало подташнивать. Внутри что-то глухо сотрясалось. Она спокойно прислушивалась к этим звукам, недоумевая по поводу причуд человеческого организма. Домоуправитель что-то говорил, но Бесси не могла разобрать ни слова. То же самое она испытывала лет тридцать назад, когда ей сделали анестезию перед операцией — казалось, доктор и сестра говорят на каком-то иностранном языке и находятся очень далеко.

Потом наступила тишина и появился Сэм. То был не день и не ночь, а какие-то странные сумерки. Она и во сне помнила, что Сэм умер, но вот, значит, сумел-таки выбраться из могилы, чтобы навестить свою Бесси. Выглядел он изможденным и не проронил ни слова. Они двигались в пространстве без неба и земли, словно шли по темному, извилистому туннелю, забитому обломками рухнувшего здания, туннелю, напоминавшему что-то очень знакомое. Потом они увидели две горы. Между ними пробивался свет — не то заката, не то рассвета. Бесси и Сэм нерешительно остановились, чувствуя какую-то неловкость. Все было, как в ту ночь во время медового месяца, когда они отправились в Элленвилл, в Катскиллских горах, и хозяин отеля предоставил им свадебный номер. Бесси услышала те же слова, что и тогда, сказанные тем же голосом и с той же интонацией: «Ключи вам тут не понадобятся. Просто заходите — и дай вам Бог».

ТАНЕЦ

Мне было тогда двенадцать лет, а Матильде Блок далеко за тридцать, возможно и все сорок. Красавицу Матильду, замечательно исполнявшую народные песни, знала вся Варшава. Она выступала в театре Хазамир и, по-моему, даже в Филармонии. Была она стройной, голубоглазой, с удивительно белой кожей и волосами самого что ни на есть золотого цвета, какой я только видел. Она родилась в семье богатых хасидов, бегло говорила на польском, русском и идиш, немного на древнееврейском и даже чуть-чуть на французском, который дочери состоятельных родителей изучали в гимназии. Во время пения она аккомпанировала себе на рояле. Матильда вышла замуж за художника Адама Блока, выставлявшегося в знаменитой галерее Захента, его картины покупали даже заграничные музеи. Он имел мастерскую со стеклянной крышей на Мазовецкой улице, был завсегдатаем Зимянского кафе и его работы бурно обсуждались в тогдашних польских газетах.

Критики хвалили сюжеты его картин, колорит и нежность линий. Однако утонченный живописец сразу после свадьбы стал бить свою жену. Во время медового месяца, как потом рассказывала Матильда, он выбил ей зуб. Однажды Адам ударил ее ножкой стула и пришлось вызывать «скорую». Примерно через два года они разошлись, но Матильда успела родить ему сына, которого назвали Изей. Вскоре Адам снова женился, а Матильда продолжала жить с сыном. Грубость Адама Блока стала ее излюбленной темой. Мой старший брат хорошо знал Адама, они вместе учились живописи. По его словам, Блок никогда не упоминал имени Матильды. Лишь однажды после стакана водки он заявил: «Да то, что я ее не убил, доказывает, что я просто святой».

После развода красивой женщины, к тому же еще и талантливой, вокруг нее всегда увиваются мужчины, однако Матильда ни разу не дала повода для сплетен. Всю себя она посвящала пению и воспитанию сына. Когда я, еще мальчишкой, познакомился через своего брата с Изей, он уже был гимназистом. Внешне Изя походил на мать, однако характер имел отцовский. Учеба его не интересовала. Изя пробовал рисовать, петь, играть на скрипке в оркестре, пытался даже стать актером. За несколько дней до выпускных экзаменов его отчислили из гимназии. В 1914, когда Изе исполнился двадцать один год, его призвали в царскую армию, но из-за слабого сердца сразу отправили домой. Однажды брат рассказывал, что Изя избил свою мать; Матильда плакала, когда говорила ему об этом. «Что мне делать? — причитала она.— Изя — все, что у меня есть в жизни».

В 1917 году мама отвезла меня с младшим братом в Билгорей, оккупированный в то время австрийцами. О Матильде я узнавал только из рекламных объявлений в еврейских газетах. Иногда попадались рецензии на ее выступления. Критики неизменно писали одну и ту же фразу: «Матильда Блок пела, как соловей!» Тогда ей было, по-видимому, уже около пятидесяти.

Я начал писать и частенько захаживал в Клуб писателей и прочие места, где собиралась варшавская интеллигенция. И вот я снова встретил Матильду Блок. Адам к тому времени уже умер. Поговаривали, что он покончил с собой в Париже. После его смерти Матильда много лет носила траур. Она была все такой же стройной, однако волосы не переливались золотом, как раньше, и на лице появилось множество морщин. Прежними остались только глаза — добрые и печальные. Изя, которому было уже за тридцать, так и не женился и жил с матерью. Когда я представился Матильде и напомнил ей о нашем знакомстве, она воскликнула:

— А, тот самый маленький хасид с рыжими пейсами! Как же, я вас читаю в «Литературной эпохе».

Матильда поцеловала меня, и я предложил пойти в кафе. Едва начав разговор, Матильда расплакалась. Она сокрушалась, что Изя не проявляет ни

малейшего желания жениться, с девушками не встречается, работать не хочет. Не так давно ему вдруг взбрело в голову стать танцором, однако он продолжает валяться в постели до полудня, читает развлекательные книжонки, без конца курит и слушает по радио песенки и прочую белиберду.

— Как у него сложится жизнь — не представляю. Я ведь не буду вечно рядом. К тому же, импресарио жалуется, что все труднее устраивать мне концерты.

— А как случилось, что вы, такая красивая, не вышли замуж?

— Замуж? За кого? После нескольких лет жизни с настоящим художником невозможно стать женой какого-нибудь торговца или дантиста, лишенного малейших духовных запросов. Да и вообще, я уже стара для этого.

— А что все-таки произошло между вами и Адамом Блоком? Я ведь был тогда совсем мальчишкой.

— Что произошло? Честно говоря, и сама не знаю. Наверное, я его слишком любила, в этом и была моя беда. Чем сильнее я его любила, тем больше он раздражался. Любое ласковое слово приводило Адама в ярость. От моих поцелуев его просто трясло. Его бесило все, что бы я ни говорила, я постоянно была в чем-то виновата. Но я его уже давно простила, надеюсь, и Бог его простит.

Матильда замолчала и принялась краситься — лицо было размыто слезами. Затем она сказала:

— Вот и Изя такой же. Поди догадайся, что приведет его в бешенство. В ответ на самую невинную фразу он может заорать, как сумасшедший. Он меня часто бьет и все время обвиняет в смерти отца. Ну что я ему сделала? Все его желания исполняю, малейшие капризы. Не успеет слово вымолвить, а я уже даю, что он хочет. Целый день только и делаю, что его ублажаю. Однажды принесла ему тапочки, а он схватил один и при домработнице ударил меня им по лицу. Да что там, сама виновата. Вот теперь и расплачиваюсь.

Матильда достала кружевной платочек. Она настаивала, чтобы я зашел к ней и познакомился с Изей. Матильда жила в одной из тех крошечных квартирок, которые варшавские женщины именуют бонбоньерками. Она была битком набита всевозможными вазочками, статуэтками, картинами и разными старинными безделушками. Конечно, не обошлось без аквариума и клетки с канарейками. Матильда постучала к Изе, но ответа не последовало. За дверью орало радио.

— Так вот и валяется целыми днями. У меня просто сердце на части разрывается.

Она поставила на стол наливку, пирожные и чай с вареньем. Мы начали пить чай, и Матильда принесла новые угощения — шоколад, халву и вишневую настойку. Я просил остановиться, но Матильда продолжала предлагать все новые лакомства.

— Вы слишком добры,— сказал я,— в этом ваше несчастье.

— Я могла бы пожертвовать собой, но кому это надо?

Она раскрыла шкаф и стала показывать свои наряды — вечерние платья, кринолины, меха, блузки. Затем выгребла из ящиков старые украшения и принялась подробно рассказывать о каждом — где оно куплено, у какого ювелира и так далее. Я было собрался уходить, но Матильда стала умолять меня остаться. Из богато украшенного комода она извлекла альбом с фотографиями — ее собственными, родственников, подруг, Адама Блока и Изи, причем со дня рождения до самых последних.

Неожиданно дверь распахнулась и на пороге появился Изя в пижаме, в стоптанных шлепанцах, заросший рыжей щетиной. Его светлые волосы были всклокочены и выглядел Изя так, словно поднялся с постели во время тяжелой болезни.

— Чего тебе надо от человека? — буркнул Изя.

— Подождите, он меня еще бить начнет,— сказала Матильда и хрустнула пальцами.

Глаза ее увлажнились, и она со страхом и нежностью взглянула на сына.

— Не собираюсь я тебя бить,— заорал Изя,— но он хочет уйти. Что ты присосалась, как пиявка. Я слышал, как он тебе десять раз повторил, что должен идти.

— Он бьет меня так же, как его отец, да упокоит Господь его душу. Однажды ненаглядный сынок даже поставил мне синяк под глазом.— При этих словах Матильда направила указательный палец на Изю.

— Простите,— сказал я,— но мне действительно пора уходить.

— Подождите, вы же обещали взять с собой печенье.

Она стала пересыпать его в бумажный мешочек, но пальцы дрожали и печенье высыпалось на скатерть. Напудренный двойной подбородок Матильды поднимался и опускался так, словно существовал сам по себе. По нарумяненным щекам скатились две блестящие слезы.

— Ну вылитый Адам Блок,— сказала Матильда, обращаясь не только ко мне, но и к сыну.— Как только ему что-то не понравится, набрасывается на меня с кулаками. Конечно, я это заслужила, ведь я отдала ему свою жизнь, здоровье, всю себя без остатка. Нет, он меня когда-нибудь прикончит. Мне другой смерти не видать.

— Лгунья, воровка, гнусная великомученица! — заорал Изя.

Он наклонил стол и скинул все на пол — еду, чашки, бутылки, альбомы. Затем ринулся в свою комнату и так грохнул дверью, что задребезжали оконные стекла и закачалась люстра. Я бросился к выходу. Матильда устремилась за мной с криком:

— Печенье! Вы забыли печенье!

Прошло лет десять. Матильда больше не появлялась на сцене. У нее была все та же девичья фигура, однако лицо со сверкающими, как у ребенка, глазами изрезала густая сеть морщин. Красилась она теперь кое-как: тени и тушь иногда стекали на нос и на щеках оставались нерастертые пятна пудры. Она ходила в старомодных платьях и плащах, носила накидки, давно отслужившие свой век, а ее шляпки напоминали перевернутые цветочные горшки. Кто-то сказал мне, что еврейская община назначила ей небольшую пенсию. Раз в год она пела на бенефисе, который организовывали для нее еврейские актеры. Однажды я присутствовал на одном таком бенефисе, и, помнится, Матильда пела песню, заканчивавшуюся словами: «Подобных олухов еще не видел свет и, думается, больше не увидит».

Как-то раз я встретил ее в одном дешевом кафе, где собиралась варшавская интеллигенция. Она сидела рядом с Изей и по причине, непонятной мне и по сей день, ела с ним бульон из одной чашки. Изя тоже постарел. Он стал необыкновенно худым, под глазами появились большие мешки, а белокурые волосы стали наполовину седыми. Изя так и не выбрал для себя подходящего занятия. Что касается Матильды, то к ней стали относиться, как к попрошайке. В Клубе писателей она постоянно ела в долг, и кассиру время от времени приходилось оплачивать счета из своего кармана. У меня она тоже неоднократно одалживала, но не возвратила ни злотого. Она поддерживала молодых провинциальных поэтов, старалась помочь им, как могла. Поэтов отличали безумные лица, нечесаные волосы и глаза, горящие революционным огнем. Нас, то есть писателей, умудрявшихся сводить концы с концами, они пугали гневом народа и возмездием пролетариата. Каждый из них обещал повесить меня на первом же фонаре, как только начнется революция, и все лишь за то, что я работал корректором в «Литературной эпохе» и делал переводы по три злотых за страницу. Матильда бегала повсюду в поисках еды для своих поэтов, выслушивала их длинные стихотворения и восторгалась талантом авторов. Однажды я слышал, как она сказала одному из них:

— Признание придет не сразу, но оно непременно придет,— после чего процитировала украинскую поговорку: — Терпи казак, атаманом будешь.

В Германии Гитлер уже пришел к власти и требовал «польский коридор». В Польше возникла фашистская организация «Нара». В Саксонском саду избивали евреев. В Университете студенты евреи слушали лекции стоя, чтобы не сидеть на отдельных скамейках. Стареющий Пилсудский давал интервью, пересыпанные непристойной бранью. На юго-востоке Польши по вечерам сидели в темноте, поскольку керосин стал непозволительной роскошью, даже спички приходилось расщеплять на четыре части. В Галиции украинцы подняли восстание. На улицах еврейских кварталов происходили стычки сионистов с ревизионистами, коммунистов с бундовцами и сталинистов с троцкиста-

ми. «Литературную эпоху» закрыли. Издатель, объявивший себя банкротом, остался мне должен несколько сотен злотых. Переводы были теперь никому не нужны. В то лето мы с Леной голодали. В Свидере я снял полуразвалившуюся дачу и заплатил за весь сезон, поэтому денег на еду не осталось. Как-то утром я продал часовщику в соседнем Отвоцке свои серебряные часы, заплатил долг в бакалейной лавке и поехал в Варшаву, надеясь продать какую-нибудь статью или рассказ. Но все редакторы оказались в отпусках. Я стал звонить друзьям, знакомым, коллегам. Никого не было дома. Я пришел в отчаянье и к тому же обронил где-то последние пять злотых, на которые собирался пообедать и купить обратный билет в Свидер,— наверное, злые силы решили поиздеваться надо мной. Весь день я просидел в библиотеке Клуба писателей, читая газеты на польском и идиш. Новачинский снова писал о заговоре, организованном евреями, масонами, протестантами, Сталиным, Гитлером и Муссолини с целью уничтожить католицизм и установить диктатуру Сионских мудрецов. Спустились сумерки. Библиотека опустела. Кроме моей, горела еще лишь одна лампа. Я оторвал глаза от газеты и увидел Матильду Блок.

— Милый мой,— воскликнула она,— что это вы сидите тут в одиночестве, да еще с таким задумчивым видом?

Я показал ей статью.

— Ай, да он просто сошел с ума.

— Порой кажется, что все человечество сошло с ума.

Пришлось рассказать ей, что со мной приключилось. Матильда потрепала меня по щеке.

— Голубчик, что же вы сразу не сказали? Я ведь должна вам. Много, даже сама точно не помню сколько. У меня, к несчастью, нет при себе крупной суммы, однако...

И Матильда пригласила меня к себе. Я мог бы у нее поужинать и переночевать.

— А ваш сын...— пробормотал я неуверенно.

— О чем вы говорите? Он же читает ваши книги. Вы его любимый писатель.

Мы сели на троллейбус и отправились к ней. Матильда жила в том же доме, но выглядел он теперь довольно обветшалым. На лестнице было темно. В прихожей пахло газом и грязным бельем. В гостиной обои кое-где отодрались. Ни канарейки, ни аквариума я уже не увидел. Матильда постучалась к Изе, но ответ был тот же, что и десять лет назад — молчание. Она принесла из кухни хлеб и швейцарский сыр. Мы сели за стол. Время от времени Матильда напряженно прислушивалась к чему-то. В своей комнате Изя включал и выключал радио. Из-за двери доносились какие-то странные звуки, словно Изя разговаривал сам с собой. Матильда покачала головой:

— Вот так и прошла вся жизнь. И что? И для чего? Женщины в моем возрасте уже внуков нянчат. А я даже умереть не могу спокойно. Что будет с Изей, когда меня не станет? Ему же и на кусок хлеба не заработать.

Я валился с ног, потому что поднялся в то утро довольно рано и к тому же набегался по редакциям. Матильда предложила мне свою спальню, сказав, что сама ляжет на диване. Я ответил, что меня тоже устроит диван, но Матильда беспокоилась, как бы Изя не вышел ночью из своей комнаты и не потревожил мой сон. Она дала мне туго набитую подушку и тяжелое стеганое пуховое одеяло. Потом принесла пахнущую нафталином пижаму, должно быть, когда-то принадлежавшую Адаму Блоку. Я сразу уснул, но вскоре меня что-то разбудило. У меня было жуткое ощущение, будто кто-то тяжело дышит мне в ухо. Из прихожей доносилось странное шарканье, царапанье и притопыванье. Неужто по квартире разгуливают привидения? Как я ни старался, мне не удавалось понять, что это за звуки. Для крыс они были слишком громкие. Мне хотелось в туалет, и после долгих колебаний я все-таки вышел в прихожую. Дверь в гостиную была приоткрыта. При красном свете ночника я увидел Матильду, в ночной рубашке, танцующую с сыном, на котором тоже было только нижнее белье. Я сразу узнал его костлявую шею, выпирающий кадык и сутулую спину. Казалось, что глаза их закрыты. Они танцевали молча, словно во сне. Я наблюдал за ними по крайней мере минут десять, может быть и дольше. Понимая, что не имею права подглядывать за людьми, давшими мне ночлег, я все-таки не мог заставить себя уйти. Что это был за танец, я определить не мог, думаю, скорее всего, вальс. Их танец — без музыки, в полной тишине — напоминал какой-то полуночный танец гнева. Пораженный, я наблюдал за ними, затаив дыхание. Неужели мать и сын состояли в кровосмесительной связи? А может, они просто сошли с ума? Или передо мной были не они сами, а их души? Я тогда уже немного почитывал оккультную литературу. Мне даже показалось, что Матильда и дышит тяжело, как медиум в состоянии транса. Забыв, зачем поднялся с постели, я на цыпочках вернулся в спальню. Шарканье и притопыванье продолжалось еще некоторое время, и наконец все стихло. Вскоре я заснул, хотя поначалу боялся, что мне так и не удастся сомкнуть глаз.

Утром Матильда пригласила завтракать. Мы уселись за стол на кухне, и она подала кофе и черствый хлеб с мармеладом. При свете газовой лампы Матильда выглядела очень изможденной, к тому же остатки вчерашнего ночного крема придавали ее лицу какой-то желатиновый оттенок. Она пила кофе и жаловалась, что все нынче дорого и что хозяин отказывается делать ремонт в квартире.

— Ему это ни к чему,— продолжала она.— Если я съеду, он сразу увеличит квартирную плату и только выиграет от новых жильцов.

Ее болтовня как-то не вязалась с тем, что я видел ночью.

— Вы хорошо спали? — спросил я Матильду.

Она покачала головой.

— Ай, что у меня теперь может быть хорошо? Вы-то хоть выспались?

— Конечно, спал как убитый.

— Естественно, в вашем-то возрасте.

— А что вы делаете, когда не спится? Читаете?

Матильда отрицательно покачала головой. На ее губах появилась легкая улыбка.

— Танцую.

— Это что, лекарство от бессонницы?

— Для меня — да. Я научилась этому от Изи. Его тоже мучает бессонница. И вообще скажите, как он может спать, если валяется весь день в постели и все думает о чем-то. Он когда-то мечтал стать танцором, так вот, это все, что осталось от его мечты.

Это была наша последняя встреча. Вскоре я уехал в Америку, а Матильда и Изя навсегда сгинули в Варшавском гетто. Я ничего не знаю об их последних днях, но передо мною часто встает картина рвущихся нацистских бомб, людей, мечущихся в поисках укрытия между полыхающими зданиями и посреди всего этого я вижу мать, танцующую с сыном,— они все танцуют и танцуют, пока, наконец, не обрушивается их дом и под каменными обломками мать и сын не затихают навеки.

Перевел с английского А. СМОЛЯНСКИЙ

Роберт
КОНКВЕСТ

БОЛЬШОЙ ТЕРРОР

В 1939 году, выступая на XVIII съезде партии, Мехлис с ужасом и скорбью говорил о неоправданных исключениях из партии, которые проводились в армии в 1935—1936—1937 годах на основе «клеветы», без документально-фактического разбирательства. В последующие годы несколько генералов было освобождено — Мерецков в 1939 году, затем Рокоссовский и Горбатов. Но аресты в армии, так же как и среди гражданских лиц (и при тех же крокодиловых слезах Жданова) не прекратились. Фабрикация новых дел шла своим ходом. В 1940 году Герлинг вспоминал о советских генералах, с которыми ему пришлось сидеть в одной камере. Это были измученные пытками люди, почти у всех были сломаны кости от побоев.

Но даже после этого Красная Армия обладала значительной ударной силой — при условии эффективного командования. Это было продемонстрировано летом 1939 года. Талантливый командир Жуков из бывшей Первой Конной армии отбил атаку японцев, вторгшихся в Монголию. Для этой образцово проведенной операции он сумел сконцентрировать большие силы, численно превосходящие противника, что само по себе было огромным достижением. Однако тактика использования бронетанковых войск, разработанная Тухачевским (которой следовал Жуков), была осуждена и отброшена. К 1937 году Тухачевский и его группа шли по пути создания «военной элиты, выделившейся из массы». Через несколько месяцев после разгрома японцев у Халхин-Гола в основу стратегической доктрины Красной Армии снова была положена устаревшая концепция «массы», и танки начали придаваться более мелким подразделениям.

Когда волна репрессий схлынула, ключевые посты верховного командования оказались в руках людей, не подготовленных для этой роли. Никто из них не обладал стратегическим мышлением. И даже в тактических расположениях войск вдоль границы сказывался «неизобретательный и тупой ум»[1]. Негибкость военно-политической машины приводила к тому, что неполадки наверху сразу сказывались на всей структуре. «Масса», на которой базировалась советская военная доктрина после Тухачевского, стала слишком громоздкой и неповоротливой. Командовать было трудно.

Во время финской войны 1939—1940 годов «некомпетентность клики Ворошилова — Мехлиса,— как пишет английский военный историк Эриксон,— с самого начала привела Красную Армию к катастрофе». Кроме того, младший командный состав обнаружил полное отсутствие хладнокровия и выдержки («нервов», которые Тухачевский считал необходимым качеством). И это понятно — дух самостоятельности был уничтожен во время террора.

В 1939 году немецкое командование произвело оценку боеспособности советских войск. В секретных документах немецкого генерального штаба Красная Армия названа «гигантским военным инструментом», принципы руководства — «хорошими», но кадры руководства — «молодыми и неопытными»[2]. По мнению немецкой разведки, которая в 1940 году предостерегала от недооценки военного потенциала Советского Союза, Красной Армии нужно было четыре года, чтобы вернуться к уровню, на котором она находилась в 1937 году.

Два момента скрашивают этот мрачный период, пришедший на смену репрессиям. Во-первых, командарм Шапошников, бывший царский полковник, все еще продолжал пользоваться доверием Сталина. Несмотря на разгром, ему удалось отыскать и выдвинуть новые таланты. Полномочия Шапошникова как начальника генштаба были ограничены, но ему удалось заполнить несколько командных постов способными офицерами. Этих людей было, конечно, недостаточно, чтобы создать противовес другим, выдвигаемым по прихоти Сталина, Мехлиса и Ворошилова.

Во-вторых, по счастливой случайности два командира бывшей Первой Конной армии оказались хорошими солдатами. Тимошенко, которому пришлось расхлебывать последствия финляндской эпопеи Ворошилова, был уже (7 мая 1940 г.) маршалом,

Окончание. Начало см.: «Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—11.

[1] Erickson J. «The Soviet High Command». London, 1962, p. 583.

[2] См. «Nazi Conspiracy and Aggression». Washington, vol. VI, 1946, p. 981.

а затем стал наркомом обороны. Жуков получил незадолго перед этим восстановленное звание генерала армии, занимал несколько ключевых постов, а в январе 1941 года был назначен начальником генштаба.

Реформы, проведенные в период между 1940 годом и нападением Германии, были недостаточными, но без них Красная Армия была бы, вероятно, уничтожена в первые недели войны. Тимошенко пытался восстановить положение, существовавшее при Тухачевском, но за несколько месяцев нельзя было наверстать урон, нанесенный тремя годами деградации.

К тому же вместе с Тимошенко в маршалы был произведен Кулик — гротескная фигура из царицынской свиты Сталина, которого Ю. П. Петров считает полной бездарностью[1]. Кулик был поставлен во главе артиллерийских войск. Вместе с Жуковым и Мерецковым (незадолго перед тем выпущенным из тюрьмы) звание генерала армии получил еще один ни на что не годный ветеран Первой Конной — Тюленев. Таким образом, после 1940 года четверо из пяти маршалов, двое из трех генералов армии и двое из новых генерал-полковников были выходцами из группы Сталина, действовавшей во время гражданской войны. Двое из восьми оказались достойными кадрами. Уровень остальных выдвиженцев колебался от среднего до катастрофического. Уступки, на которые пошел Сталин перед лицом военной опасности, были пока ограниченными. И вполне можно предположить, что если бы не встряска финской войны, Тимошенко не получил бы возможности выполнить свою программу частичного возрождения армии.

Задача была грандиозной, а в тех обстоятельствах — просто немыслимой. Но кое-что все же можно было улучшить. 12 августа 1940 года отменили систему двойного командования. В сентябре Мехлис был выведен из состава политического руководства армией. Наметилось частичное возвращение к методам подготовки, которые использовал Тухачевский. Но как можно было за оставшееся время создать руководство и возродить дух армии? На посту наркома обороны Тимошенко был неизмеримо эффективней Ворошилова, но последний, наряду с многочисленными сталинскими выдвиженцами, все еще сохранял в своих руках большую власть. А Сталин, наивысшая инстанция, по-прежнему отказывался поверить в возможность германского нападения.

Эриксон, один из ведущих знатоков этого периода, сомневается в том, что накануне германского вторжения «в Советском Союзе существовал последовательный план обороны».

Отношение Сталина к германо-советскому пакту 1939 года — один из самых любопытных эпизодов его политической карьеры. Странное дело: человек, не придававший ни малейшего значения словесным заверениям, равно как и письменным, думал или во всяком случае надеялся, что Гитлер не нападет на Советский Союз. Даже когда у него в руках были исчерпывающие доказательства, представленные советской разведкой, англичанами и немецкими перебежчиками, Сталин отдал строгий приказ рассматривать подобные сообщения как провокацию. Он сказал Шуленбургу «мы должны оставаться друзьями», а полковнику Кребсу «мы останемся вашими друзьями при любых обстоятельствах»[2] в надежде, что его слова возымеют действие. Как еще можно объяснить эти заверения?

Между 1939 и 1941 годами поощрялись нападки на Великобританию, но всякое упоминание слова «фашизм» было запрещено. Советник советского посольства в Париже Николай Иванов получил пять лет тюрьмы за «антигерманские настроения»[3]. Приговор был утвержден — вероятно, из-за бюрократической волокиты — в сентябре 1941 года.

Эренбург приводит в своих воспоминаниях слова старого советского дипломата, который горько заметил, что два года, сэкономленные германо-советским пактом, были потрачены почти впустую. И добавляет: «Он (Сталин) подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил».

Существует мнение, согласно которому вся ненависть и вражда были сконцентрированы на Троцком, поэтому Гитлер как бы оставался в тени. Гитлер был пугалом, скорее предназначенным для устрашения партии, нежели реальной угрозой. С психологической точки зрения в этом, по-видимому, есть доля правды. Однако нужно сказать, что недостаточный контакт с действительностью, обнаруженный Сталиным накануне нацистского вторжения, не чувствуется в его подходе к советско-германским отношениям в первый период действия пакта. В 1939—1940 годах СССР держался непреклонно и отказывался брать на себя конкретные обязательства. Оказывая Германии, как союзник, определенные услуги, он неизменно проявлял даже в самых незначительных переговорах цепкость и подозрительность, торговался за каждую мелочь. В последующий период войны эти же черты были характерны для его отношений с ан-

[1] Ю. П. Петров, с. 332.

[2] Erickson, p. 578.

[3] Эренбург И. Собр. соч., т. 9, с. 246 («Люди, годы, жизнь», кн. 4, гл. 37).

гло-американскими союзниками. Таким образом, утрата чувства реальности — это своего рода «комплекс» 1941 года.

Возможно, что, сознавая беспомощность своей армии и своего режима перед лицом германского нападения, Сталин продолжал слепо надеяться на дополнительную двухлетнюю отсрочку,— надеяться вопреки здравому смыслу. Удача сопутствовала ему долгие годы, и он, видимо, окончательно уверовал в благосклонность судьбы. Но как бы там ни было, 22 июня на него посыпались отчаянные (и нелепые) донесения с границы: в нас стреляют, что нам делать?

А ведь советская армия была больше по численности, сильнее по материальной части и не хуже оснащена технически, чем немецкая. Только в одном нельзя их сравнить: немецкое командование, штаб и офицерский состав были на много голов выше. Гитлер устранил ряд высших офицеров, но у него хватило ума, чтобы понять: вести войну без хорошо обученных военных кадров — невозможно.

Советские армии, принявшие на себя удар немцев, были к этому не подготовлены и не получили нужной поддержки. Они начали в панике отступать. Реакция Сталина была мгновенной: он приказал расстрелять командующего Западным фронтом Павлова и его начальника штаба Климовских, за которыми последовал генерал Коробков, командующий разбитой 4-й армией. Но это не могло спасти три армии и четыре механизированных корпуса, попавших в ловушку между Минском и Белостоком.

Советская авиация, обладавшая огромным численным превосходством над немецкой, была почти полностью уничтожена в первые дни войны. Правда, только одна шестая часть истребительной авиации была укомплектована машинами последнего образца [1]. Но это не сыграло решающей роли: превосходство оставалось весьма внушительным — 5:1, хотя бы только в численности самолетов. По недавним подсчетам генерал-майора П. Григоренко только одних отвечавших современным требованиям советских самолетов было 2700—2800 в то время, как у немцев весь воздушный флот состоял из трех — трех с половиной тысяч машин. Ошибки сталинского руководства ВВС усугублялись, однако, промахами в управлении производством и конструкторской работой. Подготовка пилотов была на низком уровне, тактика была отсталой. Кессельринг назвал уничтожение советских бомбардировочных соединений «избиением младенцев».

Давние недостатки советского самолетостроения и ВВС обнаружились с новой силой в результате главного просчета Сталина — его неверия в возможность немецкого вторжения. Большие соединения советских ВВС находились в момент вторжения на земле и были уничтожены за несколько часов. Сталин, как и следовало ожидать, приказал расстрелять генерала Рычагова, командующего авиацией Северо-западного фронта. Другой генерал, Копец, потерявший шестьсот самолетов, нанеся при этом лишь незначительный ущерб «Люфтваффе», покончил с собой, не дожидаясь кары.

Советская армия обладала огромным преимуществом в количестве танков, причем эти танки не уступали немецким по техническим показателям. Первые поражения советских танковых частей могут быть почти полностью отнесены, как замечает Эриксон, за счет примитивной тактики и некомпетентности штабов. (Генерал-майор Григоренко указывает, что танков было на советской стороне 14 000—15 000, на немецкой — 3712). Исаак Дейчер, автор биографии Сталина, упоминает о том, что репрессированные командиры (так же, как и уцелевшие участники оппозиции) «были выпущены из лагерей для выполнения важного национального задания». На этом стоит остановиться подробнее.

Константин Симонов говорит о существовании двух списков людей, находившихся в заключении, которые были уничтожены соответственно в октябре 1941 и в июле 1942 года, когда Сталин «расценивал положение, как отчаянное». В этих списках значились имена видных советских военачальников. Так, Штерн, Локтионов, сменивший Алксниса на посту начальника ВВС, и Смушкевич (два генерал-полковника и один генерал-лейтенант, все — члены нового ЦК) вместе с рядом других были расстреляны 28 октября 1941 года.

Маршал С. С. Бирюзов сообщает, что некоторые офицеры, освобожденные из лагерей и реабилитированные, могли еще как-то воевать. Другие же были совершенно сломлены: «Полученные в тюрьмах и лагерях моральные, а часто и тяжелые физические травмы убили в них волю, инициативу, решительность, столь необходимые военному человеку». Бирюзов рассказывает о генерале, герое гражданской войны, имевшем одиннадцать ранений, которого арестовали в 1939 году и приговорили к двадцати годам лишения свободы, как «врага народа». Он стал банщиком в лагере строгого режима и получил дополнительно пять лет за кражу нижнего белья. И этого морально искалеченного человека освободили в 1943 году и назначили начальником штаба одной из армий.

[1] Полк. Б. С. Тельпуховский. «Великая Отечественная война Советского Союза 1941—1945 гг.». М., 1959, с. 40. См. также Erickson, p. 583.

В 1941 году на командных постах находились главным образом «кавалеристы», все трое питомцы бывшей Первой Конной армии. Тимошенко оказался способным военачальником, хотя и он проиграл несколько крупных сражений. Деятельность Буденного и Ворошилова (особенно первого) на Южном и Северном фронтах привела к катастрофическим последствиям. Другой протеже Сталина, маршал Кулик, опростоволосился в ленинградской операции. Генерал Тюленев причастен к поражениям на Украине. У всех четырех отняли командование, но ни одного из них не расстреляли. А много лет спустя, уже в 1957 году, Тюленев защищал львовскую операцию Сталина 1920 года — позорное и несмываемое пятно на репутации Красной Армии.

СССР удалось избежать полного поражения по двум причинам: во-первых, благодаря неисчерпаемым человеческим ресурсам; вторая, более важная причина состоит в том, что по ходу войны выдвинулись более талантливые командиры. Это могло произойти только в затяжных боях при отступлении. Новый дееспособный командный состав выделился путем естественного отбора, в горниле борьбы. Выдвиженцев-бездарей, сменивших старые кадры в 1937—1938 годах, пришлось выполоть, как сорняк. Но победа была куплена ценой жизни сотен тысяч советских солдат, ценой сотен километров советской территории, брошенной при отступлении, и продлением срока войны.

В приказах Ставки о контрнаступлениях от Москвы снова были взяты на вооружение военные доктрины Тухачевского. Наступил переломный момент. Но, как сказал автору этой книги один бывший советский офицер: «Не будь репрессий, не пришлось бы делать на пути к Берлину долгий и мучительный крюк через Сталинград».

Репрессии Сталина не только не уничтожили «пятую колонну» внутри СССР, но создали базу для ее появления. Война 1941—1945 годов была первая в истории России война, в которой большое число русских перешло на сторону противника.

Среди блестящих молодых офицеров, которых репрессии миновали, был генерал А. А. Власов. В боевых учениях 1940 года его 99-ая дивизия была признана лучшей. Высокий, сильный мужчина с зычным голосом, любитель крепкого словца, Власов, как вспоминает Эренбург, пользовался любовью солдат и был на хорошем счету у Сталина, который не сумел разглядеть в нем потенциального «изменника».

Попав в плен, Власов, несмотря на немалые затруднения, которые чинили ему нацистские власти, пытался организовать Российскую Освободительную Армию. Изданный им 14 ноября 1944 года политический «Манифест» показывает, что он отнюдь не симпатизировал нацизму — его единственной целью была демократическая Россия [1]. Его смело можно сравнить с ирландскими революционерами 1916 года, которые пытались заручиться поддержкой Германии против Великобритании, или с бирманцами и индонезийцами, вступившими во время последней войны (или пытавшимися вступить) в соглашение с Японией против Запада. Можно вспомнить слова поляка Герлинга (Грудзинского), бывшего заключенного советских тюрем, об ожиданиях, которыми были охвачены узники лагерей: «Я с ужасом и стыдом думаю об Европе, разделенной на две части по реке Буг. На одной стороне — миллионы советских рабов, молящихся об освобождении, которое несет им армия Гитлера. На другой — миллионы жертв немецких концлагерей, которые ждут освобождения Красной Армией, как последней надежды» [1].

Намек Эренбурга на то, что Сталин умел эффективно бороться только с воображаемыми изменниками, вполне обоснован. В августе 1941 года Сталин уничтожил остатки потенциальной политической оппозиции. Два бывших заместителя председателя Совнаркома — Чубарь и Антипов — были, видимо, расстреляны 12 и 14 августа. Подобные меры, судя по всему, были широко распространены. Тот же Герлинг рассказывает, как в лагере, где он сидел, отобрали группу в составе двух генералов, четырех адвокатов, двух журналистов, четырех студентов, работника НКВД высокого ранга, двух бывших лагерных администраторов и еще пятерых ничем не примечательных людей и в июне 1941 года всех расстреляли.

Начало войны способствовало активизации тайной полиции и расширению ее власти. Сводились личные счеты, расправлялись с недовольными или могущими проявить недовольство. Для примера можно взять дело вдовы народного комиссара внутренних дел Украины Брунивого, умершего под следствием. В 1937 году ее арестовали, долго и упорно допрашивали. Результатом была хроническая болезнь почек и несколько переломанных ребер. Через два года Брунивую выпустили и реабилитировали. Она не переставала верить, что все, что с ней случилось — дело рук враждебно настроенных элементов в НКВД, о чем написала Сталину и Вышинскому. В начале 1941 года сотрудников НКВД, которые вели ее дело, судили и дали им по несколько лет за применение пыток. Брунивая чувствовала себя отмщенной. А через два дня после вторжения немцев, 24 июня 1941 года, она снова исчезла.

Когда советские войска начали отступать, были предприняты попытки эвакуировать заключенных НКВД. Во-первых, требовалась их рабочая сила, а во-вторых,

[1] Herling G. «A World Apart». New York, 1951, p. 175—176.

считалось, что они, конечно, с радостью встретят своих освободителей, даже освободителей-нацистов. Но отступление было настолько беспорядочным, в особенности на Украине, что на практике эвакуация зачастую оказывалась невозможной. Тогда заключенных стали в массовом порядке ликвидировать. Есть сведения о массовых убийствах заключенных в Минске, Смоленске, Киеве, Харькове, Днепропетровске, Запорожье и во всех прибалтийских республиках. Недалеко от Нальчика находился молибденовый комбинат, на котором работали зэки. По приказу наркома внутренних дел Кабардино-Балкарской республики всех их расстреляли из пулеметов [1]. Есть сведения, что однажды при отступлении была собрана большая группа заключенных в 29000 человек. Когда появилась опасность дальнейшего продвижения немцев, в результате чего пришлось бы бросить лагерь в Ольгинской, НКВД отпустил на свободу всех, чей срок не превышал пяти лет, а остальных расстрелял 31 октября 1941 года [2]. Этот обычай сохранился и в мирное время: лагерь, расположенный около Ашхабада, 8 декабря 1949 года был разрушен землетрясением. Чекисты окружили его и открыли огонь по уцелевшим заключенным. Из двух тысяч восьмисот человек осталось в живых тридцать четыре.

И все же война принесла с собой некоторые послабления. Перестали, например, преследовать религию. Призывы к традиционному патриотизму нашли отклик по меньшей мере в сердцах русского населения. И все жили надеждой, что как только война кончится, жизнь станет легче: колхозы будут отменены, террор прекратится.

Война породила надежды на избавление. Как говорит один из персонажей романа Пастернака «Доктор Живаго»:

«И вдруг — предложение. Охотниками штрафными на фронт, и в случае выхода целыми из нескончаемых боев, каждому — воля. И затем атаки и атаки, километры колючей проволоки с электрическим током, мины, минометы, месяцы и месяцы ураганного огня. Нас в этих ротах недаром смертниками звали. До одного выкашивало. Как я выжил? Как я выжил? Однако, вообрази, весь этот кровавый ад был счастьем по сравнению с ужасами концлагеря, и вовсе не вследствие тяжести условий, а совсем по чему-то другому».

«...Люди не только в твоем положении, на каторге, но все решительно, в тылу и на фронте, вздохнули свободнее, всею грудью и упоенно, с чувством истинного счастья бросились в горнило грозной борьбы, смертельной и спасительной».

На старые рельсы

25 июня 1945 года, поднимая тост на приеме в Кремле в честь участников парада победы, Сталин не случайно назвал «простых, обычных, скромных» советских людей «винтиками великого государственного механизма». Он намеревался восстановить старую машину и добился своей цели.

В том же месяце стало ясно: показательные процессы были отменены после 1938 года не потому, что Сталин считал их неубедительными и бесполезными, а потому, что в тех обстоятельствах они были уже больше не нужны. Начался суд над шестнадцатью поляками, членами подпольного правительства и армии. Главными обвиняемыми были генералы Окулицкий, который взял на себя командование Армией Краевой после подавления героического Варшавского восстания и капитуляции Бур-Комаровского, и Янковский — главный представитель Польского эмигрантского правительства в Польше. С Окулицким, находившимся тогда в подполье, была установлена связь. Его попросили войти в контакт с советским командованием, гарантируя его неприкосновенность, и при первом же появлении арестовали. Оба генерала и еще тринадцать из четырнадцати подсудимых «сознались» в антисоветской деятельности. Это был последний большой «открытый» процесс, проведенный в Москве. Цель состояла в том, чтобы дискредитировать польское движение сопротивления и оказать нажим на польское правительство в изгнании. Сталин хотел, чтобы оно вошло в коалицию с созданным коммунистами Люблинским комитетом, управлявшим тогда оккупированной Польшей, на условиях, которые обеспечили бы господствующее положение коммунистов.

В Москве, как мы уже сказали, подобных процессов больше не было, но они прокатились по всей Восточной Европе, причем проходили под непосредственным наблюдением советского руководства. Первыми жертвами (как и в СССР) стали люди, не состоявшие в партии: крестьянский лидер Никола Петков в Болгарии и кардинал Миндсенти в Венгрии; затем под суд попали венгр Райк и болгарин Костов.

От системы публичных признаний по сфабрикованным обвинениям отказались в декабре 1949 года, когда она неожиданно дала осечку. Костов, секретарь ЦК болгарской компартии, отказался от всех показаний на открытом заседании суда и оставался

[1] Kravchenko, «I Chose Justice», p. 405.
[2] Там же, p. 282.

непоколебим до конца. Несмотря на негодование суда и слезные мольбы других обвиняемых, он не признался ни в чем. Костов занимал, пожалуй, более сильную позицию, чем обвиняемые первых показательных процессов: он знал, на что идет, и, очевидно, задолго перед этим примирился с идеей смерти и пыток. Его поведение на допросах у немцев было примером для всей болгарской компартии. В отличие, скажем, от Бухарина и других, избалованных годами полного комфорта, в нем была еще сильна подпольная закалка. Кроме того, Костов знал, что за ним стоит молчаливое большинство партии, и не чувствовал своей изоляции так остро, как советские оппозиционеры. И, помимо всего прочего, этот человек обладал поразительной выносливостью.

Последний показательный процесс сталинского периода — процесс Сланского в Праге — был объявлен открытым. На него не допустили, однако, западных наблюдателей. Процесс Сланского был проведен под советским руководством. В ноябре 1951 года Сталин послал Микояна, чтобы вместе с политическими руководителями чехословацкой компартии обеспечить следующую волну арестов. На уровне тайной полиции за постановкой следил М. Т. Лихачев, заместитель начальника следственного отдела по особо важным делам. Лихачева в 1954 году расстреляли вместе с Абакумовым и другими бериевцами [1].

Как сама идея ложного признания, так и техника его получения, изобретенная Ежовым, однако, довольно широко использовались в Азии в 1950-х годах. Китай, например, обвинил Соединенные Штаты в применении бактериологического оружия в Китае, представив в доказательство зараженные перья, насекомых, морских моллюсков, крыс и так далее, сброшенных якобы с американских самолетов. Эти вещественные улики сами по себе не были никаким доказательством, хотя они и убедили кое-кого на Западе. В качестве дополнительного подтверждения китайские власти прибегли к признаниям, которые им удалось вытянуть у американских летчиков.

В самом Советском Союзе в течение трех-четырех лет после войны не было вынесено смертных приговоров, если не считать нескольких видных деятелей власовского движения [2]. Всех тех, кто действительно сотрудничал с немцами (а их были десятки тысяч, по меньшей мере), просто отправили в лагеря, куда вскоре прибыли и советские солдаты, интернированные в Германии.

В 1946—1947 годах аресты обрушились на евреев и офицеров армии, так что вскоре все те, кто были за это время освобождены, снова попали за решетку. Эта реакция на «прогнивший либерализм» получила официальное подтверждение в указе 1950 года, который, как говорят сейчас, был принят по инициативе Берии и Абакумова [2].

Поначалу условия в лагерях стали более смертельными, чем когда-либо. Из набора 1945—1946 годов лишь немногие уцелели к 1953-му. Голод 1947 года [3] отразился, естественно, и на лагерных пайках. Однако в результате реформы и рационализации труда заключенных, в начале пятидесятых годов смертность значительно снизилась. На свободу почти никто не выходил — комендант лагеря в Котласе вспоминает, что за восемь лет, которые он провел на этой должности, был выпущен на волю всего лишь один заключенный. Так что лагерное население росло и к моменту смерти Сталина достигло, вероятно, наивысшей точки.

В консолидации лагерной системы отразилось общее направление советского государства и его экономики. Последняя приобрела форму, к которой, по-видимому, стремился Сталин с тех самых пор, как захватил неограниченную власть. Принудительный труд должен был, очевидно, стать постоянным экономическим придатком нового общества. Сталину удалось создать общество, которое — на всех уровнях — действовало только по команде сверху. Колхозы, оснащенные тракторами, давали стране меньше продовольствия, чем мужики 1914 года с их прадедовскими методами. Но теперь крестьянство находилось под политическим и экономическим контролем и не могло влиять на рыночную конъюнктуру. И так — на всех ступенях лестницы. Приказы, поступающие свыше, подлежали безоговорочному исполнению. Не осталось ни одной области жизни, в которой решающее слово не принадлежало бы Кремлю.

Сталинский строй и социализм, каким его представлял себе Маркс, не лишены сходных черт: капиталистов больше не существовало, крестьянской буржуазии — тоже, хозяйство страны находилось под государственным контролем. Для тех, кто полагает, что отсутствие капиталистов в современном промышленном обществе означает социализм, этого было достаточно. Но в теории социализма есть еще один весьма важный пункт — контроль над государством со стороны пролетариата. Ни в сталинском государстве, ни в сегодняшнем СССР никаких признаков этого не было и нет. Пришлось заполнить пробел фразеологией — мотив «государства рабочих и крестьян» перепевался и перепевается бесконечно, во всех мыслимых вариантах и контекстах.

[1] См. «Nova Mysl», № 7, 10 июля 1968 г.
[2] «Комсомольская правда», 15 ноября 1964 г.
[3] См.: Хрущев Н. С. Строительство коммунизма в СССР. М., т. 8, 1964, с. 205 (Доклад на пленуме ЦК 9 декабря 1963 г.).

Интересно, как сам Сталин относился к созданному им государству? Насколько оно соответствовало идее социализма, в которую он уверовал в молодости? Об этом можно только догадываться. Так называемого «правящего класса», действительно, больше не существовало. Сталин создал (и не отрицал этого) большую привилегированную прослойку, но при нем и она не владела средствами производства. Любая привилегия могла быть дарована только по милости Хозяина.

В этой унитарной системе политика как таковая исчезла. Она сохранилась только в форме интриг на высшем уровне — соперничества за благосклонность Сталина. Это утверждение может показаться парадоксальным: ведь в СССР было больше «политической» агитации и пропаганды — в печати, по радио, на предприятиях и в официальной литературе,— чем в любой другой стране мира. Но эта «политика» была совершенно пассивна. Она состояла лишь в разжевывании решений Хозяина и в разжигании энтузиазма, с которым массам полагалось встречать эти решения. Выросло новое поколение администраторов производства, овладевших приемами управления. Призрак ареста и лагерей подстегивал директоров, так же как система сдельной оплаты выжимала все силы из рабочего, преследуемого угрозой голода. Промышленные руководители, стоявшие во главе этого административного аппарата, такие как Тевосян, Малышев и Сабуров, были всего-навсего бессловесными техниками-исполнителями, монтирующими новую систему.

Систему планирования, хаотически действовавшую в тридцатых годах, удалось рационализировать: выпуск продукции в тяжелой промышленности, что составляло главную цель Сталина, начал, наконец, регулярно увеличиваться. Но когда говорят, что та или иная экономическая система сработала, это еще не значит, что она обладает преимуществами по сравнению с другими системами. Советская система работала с перебоями и подчас — вхолостую; во многих областях планирование было по сути дела фиктивным. Механизм сбыта и распределения — главный порок этой системы — восполнялся существованием черного рынка. И все же созданная Сталиным хозяйственная система была действующей реальностью. Потери и издержки не помешали главной цели — постоянным капиталовложениям в промышленность, на что и шла бо́льшая часть национального дохода. Однако врожденные пороки советского хозяйства сыграли свою роль: расширение производства, купленное ценой таких неимоверных жертв, было не больше, чем в капиталистических странах.

Провести конкретные сравнения трудно, потому что статистические данные о развитии хозяйства в те годы либо засекречены, либо искажены. Но общий результат — тот факт, что в стране была создана растущая промышленность,— окрылил партию и вызвал восхищение в определенных кругах западной интеллигенции. Россию считали сравнительно отсталой страной. А тут появилась надежда (она жива еще и сейчас), что советский метод может быть применен и в остальных странах Востока.

Но при этом забывают, что Россия вовсе не была такой отсталой. До революции она уже представляла собой четвертую промышленную державу мира. При Николае II протяженность железных дорог удвоилась за десять лет, резкий скачок произошел в добывающей и металлообрабатывающей промышленности. Как писал сам Ленин: «Напротив, теперь мы видим, что развитие горной промышленности идет в России быстрее, чем в западной Европе, отчасти даже быстрее, чем в северной Америке... За 10 последних лет (1886—1896) выплавка чугуна в России утроилась... Развитие капитализма в молодых странах значительно ускоряется примером и помощью старых стран». И этот процесс продолжался вплоть до 1914 года.

После 1930 года Сталин значительно расширил промышленную базу. Но он действовал весьма расточительными методами, вероятно, более расточительными с точки зрения экономики и человеческих страданий, чем первая промышленная революция в Англии. Как он воспользовался имеющимися ресурсами? Проблема перенаселения в сельских местностях была решена путем уничтожения наиболее производительной прослойки крестьянства. Большая часть технически подготовленных кадров была ликвидирована по обвинению во вредительстве. Правда, значительное число квалифицированных кадров либо было уничтожено, либо эмигрировало уже во время самой революции. К 1929 году было ясно, что чисто экономические цели могли быть достигнуты куда более мягкими мерами, как, например, в Японии при императоре Мэйдзи.

В конце 1962 года теоретический и политический журнал ЦК КПСС «Коммунист» выступил с критикой сталинских методов планирования. Сталин обвинялся в том, что «его чисто волюнтаристические задания и поправки к планам, вносимые без учета материальных возможностей, нередко липали экономического обоснования целые разделы государственных планов». Именно Сталин,— писал «Коммунист»,— несет ответственность за многолетние неполадки советской экономики. И чтобы свалить с себя вину, он утверждал, что эти трудности неизбежно возникают при быстрых темпах роста производства. Сталинское «волевое планирование — по словам журнала — нанесло огромный ущерб и нашему сельскому хозяйству, на котором последствия культа личности Сталина сильно сказываются до сих пор».

Я отнюдь не разделяю мнения, что метод Сталина был единственным или наилучшим методом ускоренной индустриализации, даже для страны с однопартийным режимом. Но в любом случае основные экономические преимущества, завоеванные Сталиным или приписываемые ему, были налицо еще до начала массовых репрессий. Нет никаких сомнений, что репрессии отрицательно сказались на экономике: в них были уничтожены многие кадры промышленных руководителей, среди них — самых квалифицированных, начиная с Пятакова; лагеря пополнялись за счет далеко не избыточной рабочей силы. Правительство руководствовалось не экономическими соображениями, а интересами деспотизма. Все это привело к снижению темпов экономического развития в 1938—1940 годах.

Урок, который можно извлечь из вышеизложенного, очевидно, состоит в том, что террор, даже когда он оказывается в какой-то степени экономически целесообразным, как в России 1931—1933 годах,— все же нежелательная мера, даже с экономической точки зрения. Ибо террор нельзя внезапно отменить: он обрастает своими кадрами, учреждениями, интересами и порождает свою психологию. Всякая польза, которую он может принести в определенный момент, при определенных обстоятельствах, сводится на нет тягчайшими последствиями в будущем. Поэтому не выдерживают критики никакие доводы в пользу сталинизма, даже если списать жертвы как необходимую плату за первоначальные успехи. Сталинизм — в такой же мере метод индустриализации, как каннибализм — метод перехода на улучшенное питание. Едва ли цель в данном случае оправдывает средства.

После войны Сталин узурпировал все сферы жизни. В области философии, например, он был провозглашен глубоким критиком Гегеля, ученым, впервые внесшим ясность в некоторые изречения Аристотеля, единственным человеком, до конца разобравшимся в теориях Канта. В статье по поводу трехсотлетия со дня рождения Спинозы «Правда» привела несколько сталинских изречений, ничего общего не имеющих ни со Спинозой, ни вообще с философией.

Директор института истории АН УССР Касименко пожаловался впоследствии на конференции в Москве, что в те дни «угроза беспощадной расправы при малейшем проявлении неугодного Сталину толкования истории висела и над историками Украины»[1]. Академик Евгений Жуков рассказал о психологической травме, пережитой историками, которым систематически внушалось, что «теоретически полноценные марксистские труды может писать только избранный вождь — Сталин, глубокие мысли и свежие идеи могут исходить только от него... Таким образом, на протяжении почти двадцати лет — период формирования сознания целого поколения наших людей — самостоятельная творческая мысль в области теории у „простых смертных“ бралась под сомнение»[2].

Действительный член Академии медицинских наук профессор В. В. Парин так подвел итог положения в советской медицинской науке: «Основной вред обстановки культа личности для науки заключался в провозглашении одного мнения, одной точки зрения „неисчерпаемым кладезем мудрости“, последней инстанцией истины... Не случайно подчас в ходе дискуссии по конкретным вопросам науки та или иная концепция подкреплялась не результатами собственных экспериментов ее защитников, а ссылками на научное наследство, одними лишь цитатами из чужих трудов».

Пример деятельности первого секретаря ЦК КП Грузии Мгеладзе показывает, как сталинское отношение к науке сказывалось на местах. Этот пример привел в своем выступлении на Всесоюзном совещании по вопросам идеологии, происходившем в Москве 25—28 декабря 1961 года, секретарь ЦК КП Грузии Д. Стуруа. По его рассказу, Мгеладзе вызвал к себе сотрудников Института марксизма-ленинизма и Института истории грузинской Академии Наук и велел им написать книгу об истории коммунистической партии в Закавказье. Ознакомившись с результатами их работы, Мгеладзе сказал: «Мне, как автору, книга нравится. Но смотрите, чтобы в ней не оказалось ошибок, иначе все вы, дорогие друзья, отправитесь в тюрьму».

Сталин как-то заметил вскользь, что азербайджанцы произошли от мидийцев. Это утверждение стало для историков официальной доктриной, хотя оно было совершенно беспочвенным. Лингвисты «бились пятнадцать лет и в конце концов нашли тридцать пять сомнительных мидийских слов, хотя сам мидийский язык является мифическим»[3].

Несколько приведенных примеров (мы еще ничего не сказали о лысенковщине — трагедии советской биологии) дают общее представление о том, как расправился режим Сталина с интеллектуальной жизнью.

В послеежовские годы деятельность органов госбезопасности несколько утихла. Здесь уже уделялось больше внимания тому, что Орвелл назвал «преступлением мыс-

---

[1] «Совещание историков», с. 69.
[2] Там же, с. 56.
[3] «Совещание историков», с. 338 (выст. А. С. Сумбат-Заде).

ли», даже выражению лица. Так, например, в докладе на XII пленуме ССП секретарь правления Союза А. Сафонов [3] ясно указывал, что дело не только в том, *что* сказано, потому что это «что» может быть в полном согласии с требованиями партии. Нет, еще «надо слышать, в какой интонации обычно ведется критика», так как «пожалуй иные критики с удовольствием цитируют осуждаемые ими пьесы» [1].

В последние годы жизни Сталина началась новая серия репрессий — на этот раз без всякой огласки. В 1949—1950 годах прошло так называемое «Ленинградское дело», по которому были расстреляны член Политбюро Вознесенский, секретарь ЦК Кузнецов и несколько других крупных партийных деятелей. Всего в Ленинграде было арестовано около трех тысяч ответственных партработников, с которыми обошлись очень жестоко — многие из них были расстреляны, и такие же репрессии происходили и в других местах. В 1952—1953 годах сотнями гибли евреи-интеллигенты. Кульминацией этой антиеврейской кампании стало «дело врачей-вредителей», когда Сталин — как рассказал Хрущев — лично вызвал к себе следователя и приказал «бить, бить и еще раз бить» арестованных врачей.

Казнь еврейских писателей, привлеченных к так называемому «крымскому делу» 1952 года,— одна из самых невероятных акций советского государства. Это были коммунисты, подчинившиеся всем требованиям режима и Сталина: «подобно другим, они предавали своих друзей и братьев каждый раз, когда этого требовала партия. Но они должны были умереть, потому что оказались не в состоянии предать свой язык и свою литературу» [2]. Говорят, что поэт Перец Маркиш сошел с ума, и когда его вели на расстрел, пел и смеялся. Последними словами прозаика Давида Бергельсона было изречение из Псалмов: «Земля, о земля, не засыпь кровь мою». (Название его последней книги «Убиенный буду жить» также взято из Псалмов.)

За полтора года до смерти Сталина, 1 августа 1951 года, «Правда» — непонятно из каких соображений — опубликовала статью Герберта Моррисона, тогдашнего министра иностранных дел Великобритании [4]. Моррисон спокойно, но убедительно писал о том, какие возражения вызывает у него советская система по части демократии. В том же номере опубликован ответ на эту статью, в котором говорилось, что Моррисон требует свободы слова для тех, кому ее не следует давать, для «преступников... которые убили... Кирова». Как выяснилось теперь, именно эти люди, и никто другой, обладали свободой слова.

Нет нужды говорить о том, что в Советском Союзе была дозволена только сталинская версия «объяснения» репрессий. Многие знали по собственному опыту, что это ложь, но всякий, кто не мог устоять перед насильственной умственной обработкой путем террора или просто под нажимом пропаганды, примыкал к официальной линии.

Другое дело — заграница. Запад не удалось заставить принять версию Сталина. Тогда, как и теперь, восторжествовала свобода мышления и свобода информации. Но это не смогло помешать огромному распространению официальной коммунистической версии событий.

Недостаток взаимопонимания

Всякому, кто занимается изучением сталинского государства, трудно устоять перед искушением составить полный перечень неверных толкований и ошибок, допущенных на Западе. Значение этого вопроса трудно переоценить, но мы решили остановиться лишь на нескольких, наиболее типичных ошибках, допущенных теми, кто претендует на ясность выводов, моральную зрелость, неподкупность и политическую эрудицию. Один из важных аспектов сталинских репрессий — их воздействие на мировое общественное мнение. Сталин сам учитывал этот аспект, давая распоряжение о проведении процесса Зиновьева. По словам Николаевского, «на него не действует и аргумент об отношении общественного мнения Европы,— на все такие доводы он презрительно отвечает: „Ничего, проглотят“» [3].

Многие действительно «проглотили», и это — один из факторов, сделавших возможным проведение массовых репрессий в СССР. Суды в особенности были бы мало убедительны, если бы какие-нибудь иностранные и посему «независимые» комментаторы не придавали им юридического значения.

А еще до середины тридцатых годов иностранное вмешательство могло привести и приводило к определенным результатам, особенно в связи с тем, что после 1935 года политика Сталина ориентировалась на союзничество. Например, в июне 1935 года

[1] См.: «Октябрь», 1949, № 2, с. 147—148 (Доклад секретаря правления СП СССР А. Софронова).

[2] «Bulletin d'Information de la Commission pour la Verité sur les Crimes de Staline», n. 3, Janvier 1964.

[3] «Московский процесс» в «Социалистическом вестнике», № 1—2, январь 1937 г.

в Париже был проведен Международный конгресс писателей, задуманный как большое мероприятие, проводимое Народным фронтом. Магдалена Паз настаивала на том, чтобы был поднят вопрос о Викторе Серже, арестованном в 1932 году. Это требование вызвало настоящую бурю эмоций, но наконец Магдалене Паз, которую поддерживали Сальвемини и Андре Жид, дали возможность высказаться с трибуны. Советская делегация состояла из Пастернака, Тихонова, Эренбурга, Кольцова и драматурга Киршона — двое последних сами вскоре после этого погибли. За исключением Пастернака, делегация противилась обсуждению этого вопроса и обвинила Сержа в причастности к убийству Кирова, которое произошло, кстати, через два года после его ареста. Впоследствии Андре Жид выразил советскому послу неудовольствие от лица писателей.

В конце года Сержа освободили. Это был последний и почти уникальный случай, когда мировое общественное мнение повлияло на Сталина. Он дает основание предположить, что если бы процесс Зиновьева был во всеуслышание и более или менее единодушно осужден на Западе, то Сталин, возможно, не действовал бы так беспощадно как раз в период Народного фронта. Те, кто «проглотили» тогда советские процессы, стали до некоторой степени соучастниками дальнейших репрессий, пыток и смерти ни в чем не повинных людей. Факты, скрытые от прогрессивного общественного мнения (или — прогрессивным общественным мнением) Запада, касались двух вещей: массового уничтожения людей, которое велось в огромных масштабах, и лживости показательных процессов.

Показания на судах с самого начала вызывали сомнения по трем основным пунктам: во-первых, характер заговоров не вязался с обликом подсудимых, которые всегда выступали против убийства отдельных лиц. Обвинение к тому же гласило, что они были агентами врага на протяжении всей своей политической деятельности. Во-вторых, отдельные утверждения были просто-напросто нелепы — например, Зеленского обвинили в том, что он подсыпал гвозди в масло, чтобы подорвать здоровье советских людей. В-третьих, в некоторых признаниях фигурировали события, происшедшие за рубежом, и их можно было проверить. Они полны заведомой лжи — встреча в несуществующей гостинице в Копенгагене, приземление в норвежском аэропорту в период, когда там не было принято ни одного самолета, и т. д.

На Западе не было недостатка в фактах. Появились сотни статей и книг, подкрепляющих все спорные пункты доказательствами. Троцкий, единственный из обвиняемых, находившийся на свободе, разоблачал фабрикацию дел как нельзя более убедительно. Представительная комиссия во главе с профессором Дьюи изучила имеющиеся данные тщательно и в строгом соответствии с правилами юриспруденции. В опубликованном ею отчете речь идет не о политических разногласиях, а только о фактах. И все же широкие круги Запада пропустили это мимо ушей. Вера в правоту сталинской версии не может быть оправдана никакими разумными доводами. Все предлагаемые доказательства — иррациональны, хотя и пытаются придать своим формулировкам сугубо рациональный характер.

Коммунистические партии повсюду были рупором советского руководства. Представители интеллектуальной верхушки этих партий,— те, что были лучше осведомлены о положении в СССР и не хотели довольствоваться полученным ответом,— реагировали по-разному. Некоторые просто закрывали глаза на вопиющие факты. Один английский коммунист, когда его спросили, что он думает о советских процессах, ответил: «Каких процессах? Я давно уже перестал думать о таких вещах» [1].

Более типичным следует признать отношение Бертольда Брехта, который заметил Сиднею Гуку во время первого процесса: «Чем меньше их вина, тем больше они заслуживают смерти» [2]. Незадолго перед этим он написал пьесу о нацистской Германии. Главные действующие лица — муж и жена, обеспокоенные своей судьбой в связи с тем, что их друзья под следствием. Муж, учитель, не знает, как относится к нему школьное начальство: «Я готов учить чему угодно. Как они хотят — так и буду учить. Но как? Если бы я только знал!» Супруги думают — не повесить ли им на самое видное место портрет Гитлера. Или это будет выглядеть как признание своей вины?

«Ж е н а: Но ведь тебя конкретно ни в чем не обвиняют.

М у ж: Никого ни в чем не обвиняют. Во всех подозревают. Достаточно кому-нибудь выразить о тебе подозрение, чтобы тебя взяли под подозрение».

А потом один из персонажей замечает: «С каких это пор им стали нужны свидетели?».

Брехт клеймит моральную основу нацизма. Главная тема пьесы — страх: мать и отец боятся, чтобы сын-школьник не донес на них. В Советском Союзе, как Брехт, несомненно, знал, тогда творилось то же самое. Павлик Морозов, сын, донесший на своего отца, был провозглашен в СССР героем. Во время коллективизации Павлик вместе со своим пионерским отрядом помогал партии бороться с крестьянством. Он

[1] J u l i a n S y m o n s. «The Thirties». London, 1960, p. 142.

[2] «The New Leader», 10 Oct. 1964.

«разоблачил» своего отца, который был председателем колхоза, а потом попал под влияние кулаков. Отца расстреляли, а затем, 3 сентября 1932 года, группа крестьян, включая брата погибшего председателя, убила самого Павлика. Ему было 14 лет. Он как бы предвосхитил возрастной лимит, которого придерживался Сталин, подписывая смертные приговоры. Вся группа крестьян была уничтожена, а молодой Морозов возведен в герои комсомола. Его именем назван Дворец Пионеров в Москве [1].

В 1962 году советская печать отметила тридцатилетие со дня гибели Павлика Морозова. Корреспондент «Комсомольской правды» побывал, разумеется, в посвященном ему музее. «В этом бревенчатом доме,— пишет он,— проходил суд, на котором Павлик разоблачил своего отца, покрывавшего кулаков. Вот тот самый класс, где занимался Павлик, реликвии, дорогие сердцу каждого жителя Герасимовки. Сколько побывало людей у этих святых и дорогих мест!» [2]. Через три года после убийства, как известно, в Герасимовске поставили памятник «пролетарскому орленку», чтобы его «подвиг» не был забыт.

Самого Брехта, по воспоминаниям близко знавших его людей, коммунизм привлекал не как рабочее движение, которого писатель не знал, а своим стремлением к абсолютному авторитету, тотальным подчинением тотальной власти. Все политические и полуполитические произведения Брехта отражают самозабвенное, холуйское пресмыкательство перед Идеей. Это по сути дела доведенный до вырождения взгляд на партию, которого придерживался Пятаков. (В связи с Брехтом стоит упомянуть, что его любовница, актриса Карола Негер, была арестована в СССР, и с тех пор о ней ничего не известно.)

То, что коммунисты, следуя традиции «благочестивой лжи», принимали и проповедовали неправду, пожалуй, естественно. Любопытно, однако, что это же можно сказать и о многих группировках некоммунистических левых сил. Не так откровенно, с меньшей долей мошенничества и святости, но они тоже обнаруживают тенденцию замалчивать критику, подтасовывать, приукрашивать или игнорировать упрямые факты.

Но стойкие, принципиальные левые упорно сопротивлялись. Эдмунд Вильсон, ознакомившись с обвинениями против Зиновьева и Каменева, когда он еще был в Советском Союзе, сразу же понял их лживость. В Соединенных Штатах адвокатом комиссии, возглавляемой восьмидесятилетним философом Джоном Дьюи, был Джон Финерти, который выступал защитником на процессах Муни и Сакко и Ванцетти. Наиболее сильным и действенным голосом Великобритании, разоблачившим лживость показательных процессов в СССР, была либеральная газета «Манчестер Гардиан». Ту же позицию заняла и традиционная лейбористская партия и ее пресса: партия опубликовала брошюру Фредерика Адлера с откровенным и точным анализом событий. На крайнем левом фланге самым решительным противником сталинских судов был Эмрис Хьюз из шотландской «Форвард». В действительности некоторые группировки левых (не только троцкисты, непосредственно в этом заинтересованные) смотрели на вещи трезво. Но другие круги, несогласные с теорией коммунизма, приняли официальную сталинскую версию.

В атмосфере конца тридцатых годов врагом номер один был фашизм, и поэтому критика Советского Союза, являвшегося якобы главным противником фашизма, подавлялась. Западные столицы, как пишет Артур Кестлер, «кишели художниками, писателями, докторами, адвокатами и молоденькими барышнями, перепевавшими на разные лады, хотя и в смягченной форме, лозунги Сталина».

Несколько западных писателей — Фейхтвангер, Барбюс и даже сентиментальный поклонник Ганди Ромен Роллан выступили с оправданием сталинских процессов. В Америке группа литераторов, художников и деятелей науки, в которую входили Теодор Драйзер, Грэнниль Хикс (впоследствии раскаявшийся), Корлисс Ламонт и Макс Лернер, подписала манифест, осуждающий деятельность комиссии Дьюи. Говоря об отношении британских интеллектуалов, Джулиан Симонс отмечает, что они «охотно примирились с чудовищными неувязками». И добавляет: «Но их никто не обманывал. По отношению к Советскому Союзу они сами себя обманули — и в конце концов им пришлось заплатить за этот самообман».

Среди левых некоммунистических сил, так сказать, широкого народного фронта, чувствовалось некоторое замешательство. Главный орган левой английской интеллигенции «Нью Стэйтсмен» назвал первый процесс «неубедительным», но добавил: «Мы не отрицаем, что в признаниях может быть доля правды». О процессе 1937 года тот же «Нью Стэйтсмен» писал: «Мало кто станет теперь утверждать, что все или некоторые из подсудимых совершенно невиновны». Признания, прозвучавшие на процессе 1938 года, который, согласно «Нью Стэйтсмену», «был безусловно очень популярен в СССР», показались загадочными — «независимо от того, правдивы они или ложны». «Но нет никаких сомнений в том, что в СССР процветает заговорщицкая деятельность» — таков общий вывод «Нью Стэйтсмена», в нем сочетаются недоверие к обвинениям с готовностью поверить в них.

[1] См. БСЭ, 2-е изд., М., т. 28, 1954, с. 310.

[2] «Комсомольская правда», 2 сентября 1962 г. («Пролетарский орленок»).

Несмотря на обилие информации, противоречащей официальной советской версии, эту версию удалось навязать журналистам, социологам и другим иностранным посетителям. В этом состоит одно из достижений сталинизма. Сталин действовал методами, которые на первый взгляд могут показаться грубыми и примитивными, но они срабатывали почти безотказно. В ежовский период СССР посетило больше туристов, чем когда-либо раньше. Они ничего не увидели. Ночные аресты, застенки Лефортовской тюрьмы, переполненные камеры Бутырок, миллионы заключенных, изнемогающих от голода и холода в лагерях Дальнего Севера — все это не предназначалось для иностранцев. Три больших публичных процесса выглядели самыми захватывающими событиями, но и они проходили под строгим контролем, не отклоняясь от заранее составленного сценария.

Разглядеть Советский Союз было нелегко. Советское правительство содержало тогда в Болшеве показательную исправительно-трудовую колонию, которую могли осматривать иностранные посетители. Она привела в восхищение супругов Сиднея и Беатрису Вебб, о ней с похвалой отзывались Д. Притт, Гарольд Ласки и многие другие. Одному из дружественно настроенных посетителей представилась более редкая возможность: Ежи Гликсман, бывший до войны прогрессивным членом варшавского городского совета, посетил Болшево и пришел в восторг от новых гуманных методов криминологии. Но через несколько лет он сам очутился в лагере, причем более типичном для советской карательной системы.

Бывшие заключенные вспоминают, что им иногда доводилось проходить через показательные блоки, которые назывались «тюрьмами Интуриста». Именно их и показывали зарубежным социологам и журналистам. Герлинга, когда он находился в ленинградской пересыльной тюрьме (условия в ней были выше среднего: всего семьдесят человек в камере, предназначенной для двадцати), провели однажды через такое показательное крыло.

То, что произошло в Советском Союзе при Сталине, нельзя понять с позиции здравого смысла, если под здравым смыслом мы имеем в виду представления, которые кажутся разумными и само собой разумеющимися западному демократу. Много заблуждений, распространенных в Англии и в Америке в тот период, объясняются предрассудками. Причем люди не обязательно были настроены просоветски, но просто некоторые события или истолкования этих событий не укладывались у них в уме. Показательные процессы Сталина были не чем иным, как грандиозной фальсификацией — и это следовало разглядеть с самого начала. Но многие на Западе отказывались в это поверить, они отказывались допустить, что государство может насадить в таких масштабах систему дешевой и бессовестной лжи. В этой связи характерно замечание Бернарда Шоу: «Мне так же трудно поверить в то, что Сталин — обычный бандит, как в то, что Троцкий — убийца» [1]. Очевидно подобные события, если бы они произошли в обществе с социальной структурой типа Римской империи или Флоренции эпохи Возрождения, не удивили бы писателя. Заговоры, интриги, личные распри соответствуют духу этих государств. Но в советском государстве была некая обезличенность, и казалось, что оно больше подвержено влиянию политических идей, чем подобным явлениям.

Существовал еще один мощный фактор. И противники и сторонники октябрьской революции представляли себе коммунистов преданными, даже фанатичными людьми — чем-то наподобие иезуитов Контрреформации. Их облик, при всех его недостатках и достоинствах, был несовместим с идеей уголовной преступности. В Англии, с ее чрезвычайно ограниченным опытом революционных движений, это представление все еще живо, особенно среди плохо информированных слоев населения. Оно еще не утратило своей смутной притягательной силы.

Сталин, Каганович, Ворошилов, Молотов и Ягода, даже высшие сановники НКВД Миронов и Молчанов, были до революции членами большевистской партии, которая вела подпольную борьбу с царизмом. Это создавало им ореол «борцов за идею», и он как-то не вязался с антигуманным и преступным поведением. И сейчас еще наверняка на Западе есть люди, которые отказываются поверить в то, что руководители КПСС писали грубости и непристойности на заявлениях осужденных, взывающих к милосердию,— зная, что эти люди совершенно невинны. Своеобразное представление о революционных движениях, существующее в Англии, приводит к такой ошибке. Наряду с идеалистами-простаками, ошибается и разношерстная масса людей, у которых к идеализму примешиваются тщеславие, карьеризм или просто чудачество.

Пожалуй, самым распространенным было мнение, согласно которому дело советских участников оппозиции было просто раздуто, а не тщательно сфабриковано.

[1] Письма Британскому комитету защиты Троцкого, июнь — июль 1937 г. См. Deutscher, «The Prophet Outcast», p. 369 [см. прим. [5]].

Сторонники такого мнения полагали, что, отбросив крайности, они занимают здравомыслящую позицию. На деле это был упрощенный компромисс между правдой и ложью, между правым и виноватым.

К тому же суды были направлены против соперников Сталина. Мысль о том, что Сталин организовал убийство Кирова — убийство в чисто уголовном смысле — была бы отвергнута как нелепость: ведь Киров, как полагали, был ближайшим союзником и соратником Сталина. Когда об этом заикнулись некоторые бывшие оппозиционеры и люди, эмигрировавшие на Запад,— которые, естественно, были лучше знакомы с положением вещей,— на Западе этот вопрос, как не заслуживающий внимания, попросту не стали обсуждать.

Такие взгляды обнаруживают непонимание всей широты политических возможностей в рамках недемократической системы. В более узком смысле это означает неспособность понять советскую действительность и недооценку Сталина. Ибо политическая тактика Сталина была гениально проста: в борьбе за сохранение власти не признавать никаких нравственных и прочих ограничений.

Его соображения о том, «а что скажут за границей?», были в основе своей здравыми. Сфабрикованные им дела, конечно, шиты белыми нитками, но Сталин не пытался заткнуть рот каждому, кто знал о них что-либо. Да в этом и не было необходимости. Что бы изменилось, если бы фальсификация дел была проведена безупречно и если бы Сталин неизменно расстреливал всякого, кто об этом знал? Почти ничего. Сталин лучше разбирался в особенностях общественного мнения как в СССР, так и на Западе. И — увы — он оказался прав! Те, которые были готовы поверить его версии событий, поверили ей, закрыв глаза на частные недоработки и на предостережения других, имеющих доступ к достоверной информации. Государство, отказавшееся сознаться в своих преступлениях и закрывшее доступ к фактам, с успехом могло убедить многих иностранцев, несмотря на то, что у них в распоряжении были сведения очевидцев, переживших сталинский террор. Режимы, аналогичные советскому, усвоили этот урок, но на Западе он по сей день остается источником широкой информации.

О показательных процессах знали все. Но другие репрессивные меры оставались в тайне: в частности, о размерах и характере лагерной системы Запад узнал от бывших узников коммунизма. После освобождения поляков появилась разом масса информации из первых рук. В 1948 году Д. Далин и Б. Николаевский опубликовали подробный отчет с указанием сотен лагерей, с репродукциями лагерных документов и т. д. Британская делегация смогла распространить в ООН текст Исправительно-трудового кодекса РСФСР. Представили результаты своих исследований независимые профсоюзные организации.

На основе этих материалов была воссоздана абсолютно четкая, последовательная и исчерпывающая картина. Но ее отвергли. Жан-Поль Сартр даже высказался в том духе, что сведения о советских исправительно-трудовых лагерях следует игнорировать, хотя возможно они и соответствуют действительности,— иначе французский пролетариат будет повергнут в отчаяние. Почему население советских лагерей должно быть принесено в жертву членам французских профсоюзов, которых гораздо меньше? Непонятно. Так же непонятно, почему мнение французского пролетариата — одного из немногих, попавших под сильное влияние коммунистов,— должно иметь больший вес в международных делах, чем мнение английского, американского и немецкого пролетариата, настроенных антикоммунистически? И если уж на то пошло, почему интеллигенция должна принимать ложь? Подобные этические рассуждения можно было бы счесть временным заскоком, историческим курьезом; и можно было бы ожидать, что всякий, кто выдвигает подобные взгляды, лишится роли морального арбитра. Но этого не случилось.

В 1940—1950-х годах было предпринято много попыток скрыть или опорочить показания людей, побывавших в советских лагерях, да и вообще всякую информацию о репрессиях в СССР. Особенно отличалась этим Франция. В 1950 году писатель Давид Руссе возбудил дело против коммунистического еженедельника «Леттр Франсез». Газета обвинила Руссе в том, что он намеренно исказил выдержку из советского Уголовного кодекса. Адвокаты-коммунисты яростно защищались. Один из свидетелей, доктор Александр Вайсберг, австрийский еврей и до заключения в Советском Союзе — коммунист, подвергался систематической травле. Защитник допускал выражения типа: «Меня воротит при виде немца, дающего показания во французском суде». Но кампания с целью дискредитировать свидетеля не дала результатов. Вайсбергу удалось представить обращение, направленное советским властям после того, как его посадили в тюрьму, где он был охарактеризован как человек, честно служивший Советскому Союзу. Под обращением стояли подписи нескольких видных физиков, включая коммуниста Жолио-Кюри.

Появление в высшей степени поучительной и интересной книги Кравченко «Я выбрал свободу» также вызвало потоки клеветы. В результате этой злобной кампании у первого поколения читателей заглавие этой книги и сейчас, наверное, вызывает неловкое и даже враждебное чувство. Кстати, некролог Виктору Кравченко, опубликованный в лондонской газете «Таймс» 26 января 1966 года,— поразительный пример того, как живучи еще чувства, распространенные в сороковых годах. Газета игнорировала вопрос о правдивости книги Кравченко (задолго до этого установленной) и лживости обвинений против него (также юридически установленной). Она представила эту книгу в виде предосудительного акта холодной войны, очевидно, совершенно забыв, как в действительности было дело.

Между тем, когда «Леттр Франсез» опубликовала статью, написанную будто бы американским журналистом по имени Сим Томас, который утверждал, что его друг из ОАС якобы сознался в том, что книга Кравченко — фальшивка, сфабрикованная данной организацией, Кравченко подал в суд. Во плоти Сим Томас так и не появился, и ясно в общем-то, что его никогда не существовало. На суде коммунисты потерпели полное поражение. Как же реагировали деятели французской культуры на факты, представленные внушительной группой очевидцев? Они отвечали на эти факты эмоциональными излияниями о героизме Сталинградской битвы. Чтобы опровергнуть показания людей, перенесших ужасы лагерей и другие страдания, они выставили таких свидетелей, как настоятель Кентерберийского собора Х. Джонсон и некий Конни Зиллиакус. Последние сочли для себя возможным заявить, что в СССР процветает полная или во всяком случае достойная восхищения свобода. Советское правительство также выставило группу свидетелей, но они, как правило, не выдерживали перекрестного допроса.

Вот, например, ответы советского свидетеля Василенко, который во время репрессий занимал ответственный пост на Украине:

Изар (адвокат Кравченко): Что сталось с нижеследующими членами Политбюро, избранными на Украине до начала репрессий: Косиор?

Василенко: Я его не знаю.

Изар: Затонский?

Василенко: Не припоминаю этой фамилии.

Изар: Они были членами правительства Украины, когда вы там работали. Балицкий?

Василенко: Не припоминаю этой фамилии.

Изар: Петровский?

Василенко: Он работает в Москве.

Изар: Его не репрессировали?

Василенко: Нет.

Изар: Хатаевич?

Василенко: Не знаю, где он сейчас.

Изар: Естественно! Любченко?

Василенко: Не припоминаю этой фамилии.

Изар: Исчез! Сухомлин?

Василенко: Я не помню этой фамилии.

Изар: Якир?

Василенко: Не знаю*.

Василенко, вероятно, забыл от растерянности, что о смерти Якира и Любченко было объявлено официально. Его спросили, что произошло с четырьмя секретарями обкома, к которому он тогда принадлежал, и Василенко «не знал». Затем ему задали вопрос о судьбе пятнадцати директоров и инженеров главных предприятий области, где он был одним из ведущих промышленных руководителей. Свидетель утверждал, что о последующей судьбе десяти из них ему не известно (двое умерли естественной смертью). Но допрос продолжался, и тогда Василенко, не выдержав, огрызнулся: «Почему вы становитесь в позу защитника таких людей, как они?» — это замечание, естественно, несовместимо с неосведомленностью об их судьбе. Значение этой иллюстрации официального советского мышления — иллюстрации, продемонстрированной публично,— выходит за рамки данного процесса.

Кравченко выиграл процесс. Некоммунистическая западная пресса признала за ним полную и безоговорочную победу. Высокую оценку получило искусство его защитника, мэтра Изара, героя Сопротивления, бывшего депутата-социалиста и узника гестапо. Но главную роль в успехе сыграли ум и сообразительность самого Кравченко, которому пришлось иметь дело с весьма опытными французскими адвокатами. Однако после победы детали начали забываться: поток грязи и клеветы зажурчал снова и оставил неприятный осадок. Мне не известно о том, чтобы г.г. Джонсон и Зиллиакус, не говоря уже о французах, попытались восстановить свое доброе имя соответствующими заявлениями. Что касается парижских интеллектуальных кругов, то им нужно было знать только одно: что Кравченко — противник советской системы. А это означало, что он неправ.

Факт существования лагерей в СССР был признан, но их пытались представить в виде весьма гуманных воспитательных учреждений. Английский коммунист Пэт

Слоун, который занимался главным образом налаживанием культурных связей с СССР, опубликовал в 1937 году книгу под заглавием «Советская демократия». В ней он писал: «Если сравнить тюремное заключение в Советском Союзе и в Великобритании, то первое может показаться почти приятным времяпровождением. Ибо суть заключения в СССР — это изоляция от общества. Человек, находящийся в изоляции наряду с другими, имеет возможность заниматься полезным трудом, получать зарплату за свой труд и участвовать в управлении своим изоляционным пунктом, или „тюрьмой", так же, как дети участвуют в управлении школой, рабочие — в управлении предприятием».

А вот выдержка из следующей книги Слоуна «Россия без иллюзий» (1938 г.): «Советские лагеря предоставляют заключенному свободу, необычную для тюрем нашей страны».

В 1966 году Пэт Слоун прокомментировал свою деятельность на страницах журнала «Спектейтор»: «Среди людей, писавших об СССР в тридцатые годы, у меня меньше всего оснований стыдиться своих слов или пытаться взять их обратно».

Главный редактор коммунистического еженедельника «Леттр Франсез» Пьер Дэ писал: «Лагеря по перевоспитанию граждан в Советском Союзе — это достижение, свидетельствующее о полном устранении эксплуатации человека человеком; решительный показатель того, что победивший социализм стремится освободить людей от эксплуатации путем освобождения и самих угнетателей, рабов своего эксплуататорского положения». По иронии судьбы Пьеру Дэ было поручено написать предисловие к французскому изданию «Одного дня Ивана Денисовича», появившемуся при содействии Общества друзей Советского Союза...

Однако активное фальсификаторство поклонников Советского Союза и, что еще хуже,— теоретическое обоснование лжи, сделанное «философами», не были единственным источником заблуждений. Общая смутная доброжелательность по отношению к СССР, наблюдавшаяся даже в тридцатых годах, породила тенденцию к замалчиванию и игнорированию фактов.

Сам побывавший в советском концлагере доктор Юлий Марголин пишет, что «целое поколение сионистов умерло в советских тюрьмах и в ссылке». Зарубежные сионисты никогда не могли им помочь — не потому, что это было трудно, а потому,— продолжает Марголин,— «что нам было все равно. Я не помню ни одной статьи о них в предвоенных газетах. Не было затрачено ни малейшего усилия, чтобы мобилизовать общественное мнение и облегчить их судьбу».

Если так вело себя сионистское движение, состоящее из образованных, любознательных людей с международным кругозором и имеющих к тому же особый интерес к данной категории заключенных, то что же говорить о Западе в целом? Ведь интерес жителей Запада (если он вообще был) мог быть порожден лишь отвлеченными общечеловеческими чувствами.

Западу потребовалось много времени, чтобы переварить последствия сталинской эры. И странно — доказательства, которых было бы достаточно для разоблачения любого другого режима, продолжали наталкиваться на сопротивление. Это явление отлично проиллюстрировано в предисловии Жан-Поля Сартра к книге Анри Аллега о пытках в Алжире. Сартр пишет, что пытки, как нам теперь стало известно, существуют и в коммунистических странах. Мы узнали об этом от Хрущева и из показаний на суде над венгерским руководителем госбезопасности Фаркашем. То есть Сартр по сути дела говорит, что сами по себе свидетельства очевидцев и лиц, самих претерпевших пытки,— наподобие тех, которые собрал в своей книге Аллег,— действительны для Франции, но недействительны в применении к Советскому Союзу.

Разоблачение Сталина в феврале 1956 года не поколебало убежденных коммунистов на Западе, но вызвало у них беспокойство за тех, чья вера менее крепка. Вскоре после того, как содержание выступления Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС стало ему известным, член компартии Франции, нобелевский лауреат и известный «сторонник мира» профессор Жолио-Кюри сказал Илье Эренбургу: «Многие наши интеллигенты после XX съезда заколебались». И добавил: «Я никогда не обманывался». Это подтверждает Кестлер, сообщая, что Жолио-Кюри вместе с Переном и Ланжевеном дал свою подпись под телеграммой Сталину, ходатайствующей об арестованном в Харькове физике А. Вайсберге. Тем самым Жолио-Кюри давал понять, что сознавал необоснованность по крайней мере некоторых обвинений, предъявленных в советских судах.

Подобно многим другим, Жолио-Кюри, вероятно, думал, что радикальные изменения в структуре государства и общества сопряжены с трудностями и личными трениями; такого рода трудности могут возникнуть в любой стране, и лично его это не трогало. Но неприятные факты могут оказать нежелательное влияние на тех, кто знает меньше! Поэтому профессор попросил Эренбурга: «Пожалуйста, при детях расскажите о том хорошем, что у вас делается. А теперь поговорим о прошлом...». «Теперь» — значило «наедине».

Таково, вероятно, рациональное мышление коммуниста. Как бы то ни было, Жолио-Кюри — это всего лишь один, хотя и показательный пример в чрезвычайно пестрой картине антигуманизма и самообмана. Возможно, новые поколения примут эти события ближе к сердцу.

Наследие

5 марта 1953 года, когда умер Сталин, его наследники призывали народ не допустить «паники и разброда» [1]. Эти призывы были излишни — единая воля, исходившая от создателя нового государства, исчезла, но созданная им машина осталась. Стремление к переустройству жизни, охватившее советских граждан, по-прежнему не имело выхода и организационных возможностей.

Отрезок времени, отделяющий нас от того момента, равен по длительности периоду сталинского правления от ежовщины до смерти диктатора. Не стоит подробно углубляться в послесталинский период советской истории. Достаточно сказать, что над политической жизнью все еще висит проблема сталинщины, что официальная линия колеблется между решительным, хотя и частичным развенчанием диктатора (1956—1961 гг.) и позитивной оценкой его деятельности (например в 1957 году и в последние годы).

В данный момент взят курс на прямую реабилитацию Сталина. Но в разгар критики сталинского прошлого время от времени появлялась литература, на которую мы ссылаемся в этой книге.

Определение «культ личности» — это рамки, в которых ведется критика. Оно звучит недостаточно сурово, вызывая ассоциации с тщеславием и подобострастием — а это совсем не те компоненты, которые сделали правление Сталина столь прискорбным. Его жертв гораздо меньше волновало то, что именем Сталина назывались города, и гораздо больше — засилье террора и лжи. В определении «культ личности» есть оттенок деспотизма, но все же оно бьет мимо цели.

В угоду политическому лозунгу в него удавалось впихнуть такие понятия, как разнузданная тирания и — намек на легкие перегибы в оправданном применении силы. Но главное — определение дает возможность утверждать, что советское государство и партия в своей основе остались неизменными. В резолюции XX съезда КПСС мы читаем: «Успехи, которые одерживали трудящиеся Советского Союза под руководством своей Коммунистической партии, вселяли законную гордость в сердце каждого советского человека и создавали такую атмосферу, когда отдельные ошибки и недостатки казались на фоне громадных успехов менее значительными...». И дальше: «Никакой культ личности не мог изменить природу социалистического государства, имеющего в своей основе общественную собственность на средства производства, союз рабочего класса с крестьянством и дружбу народов...».

Но, как писал итальянский коммунистический руководитель Пальмиро Тольятти: «Сначала все хорошее приписывалось сверхъестественным положительным качествам одного человека. Теперь все плохое приписывается его столь же исключительным и просто поразительным недостаткам. В первом случае, так же, как и во втором, мы выходим за рамки критериев, присущих марксизму. Истинные проблемы остаются в стороне — вот почему советское общество приобрело формы, чуждые демократии и законности, к которым оно стремилось. Оно дошло до грани вырождения» [2].

Советское руководство снова и снова повторяло, что оно решительно и непримиримо выступает против любых попыток под видом борьбы с культом личности подорвать основы марксистско-ленинской теории и оживить антимарксистские взгляды и течения, осужденные партией. Сталинский тезис об обострении классовой борьбы (а, следовательно, и возрастании роли террора) по мере того, как побежденные эксплуататорские классы теряют свои позиции, был осужден. Но в официальной формулировке, включенной в программу партии на XXII съезде, об этом сказано лишь с оговорками:

«Общая тенденция развития классовой борьбы внутри социалистических стран в условиях успешного строительства социализма ведет к упрочению позиций социалистических сил, к ослаблению сопротивления остатков враждебных классов. Но это развитие идет не по прямой линии. В связи с теми или иными изменениями внутренней и внешней обстановки классовая борьба в отдельные периоды может обостряться. Поэтому требуется постоянная бдительность...» [3].

За это время произошла некоторая эволюция в методах правления. Особое совещание МВД было упразднено в сентябре 1953 года [4]. 19 апреля 1956 года было отменено

[1] КПСС в резолюциях. 7-е изд., М., ч. II, 1953, с. 1146 (Постановление от 6 марта 1953 г.).

[2] «Девять вопросов о сталинизме». См. «Nuovi Argomenti», 16.06.1956 г.

[3] Программа КПСС. М., 1961, с. 23—24 (ч. 1, гл. III).

[4] В свое время этот немаловажный юридический акт опубликован не был. Мы узнаем о нем из «Советского государства и права», 1956, № 1, с. 3 (Передовая).

террористическое постановление ЦИК от 1 декабря 1934 года, изданное после убийства Кирова.

25 декабря 1958 года новый «Закон об уголовной ответственности за государственные преступления» заменил соответствующие статьи Уголовного кодекса, составленного при Сталине. Некоторые чудовищные меры, например, статьи, карающая семьи людей, бежавших за границу, даже если родственники ничего не знали,— были отменены. Но новый закон остается драконовским во всем, что касается антигосударственных действий, организаций и дискуссий.

Судопроизводство также претерпело некоторые изменения. Вышинского разоблачили, и с его уходом теория о том, что «признания» составляют главный элемент всякого хорошо составленного дела, потеряла прежнюю силу. Но к получению признаний все еще прибегают, придавая этому большой вес — как, например, сейчас (1973 г.) на процессе Петра Якира и Виктора Красина. Суды над Андреем Амальриком, Владимиром Буковским и многими другими, издевательское содержание инакомыслящих — как генерал-майора Григоренко — в психиатрических больницах, показывают, что о правах личности говорить еще не приходится.

Система исправительно-трудовых лагерей остается, и из официальных источников никакой информации о ней получить нельзя. Создается впечатление, что в 1950—1951 годах были приняты меры, направленные на сокращение смертности среди заключенных и повышение эффективности принудительного труда. После смерти Сталина лагерный режим был немного ослаблен, что частично объясняется массовыми забастовками в северных лагерях. Большое число заключенных вышло на свободу по реабилитации и амнистии, но этот процесс прекратился где-то в 1957 году.

Получается такая картина: население одних лагерей резко сократилось, а в других осталось почти на том же уровне. Во многих лагерях заключенных выпустили на вольное поселение. После лагерных бунтов 1953 года (Воркута) и 1954 года (Кунгур) [6)] заключенных переправляют дальше на Восток. Сообщения конца 1956 года, когда операции по сокращению числа заключенных фактически прекратились, показывают, что комплекс Колыма — Магадан изменился очень мало. Репатриированные военнопленные подсчитали, что в то время в дальневосточных лагерях сидело еще более миллиона. Сейчас, видимо, наиболее страшные комплексы типа Колымы и Воркуты значительно урезаны, а более мелкие, как, например, Дубровлаг на Потьме (там расположено по меньшей мере семнадцать лагерей), продолжают существовать в том же виде.

Подсчитать число заключенных в советских лагерях (которые сейчас гуманно перекрестили в «колонии») трудно. Андрей Синявский иронически замечает в повести «Суд идет»: «После амнистии лагерь опустел. Нас, крупных преступников, здесь осталось каких-нибудь тысяч десять». Заместитель генерального прокурора СССР П. И. Кудрявцев в интервью с профессором юридического факультета Гарвардского университета Г. Берманом сказал, что в мае 1957 года, после амнистии, две трети лагерей было закрыто, но упомянул, что строятся новые. По словам Бермана, Кудрявцев старался создать впечатление, что население лагерей составляло в 1957 году 800—900 тысяч человек. Эти цифры кажутся заниженными, поскольку они отсчитывались от трех миллионов, находившихся якобы в заключении в последние годы жизни Сталина. На самом деле их, конечно, было больше. Бывшие заключенные сообщают, с другой стороны, что основные старые комплексы все еще действуют [1]. В неофициальных разговорах советские граждане склоняются к цифре в один миллион, оговариваясь, что не более десяти процентов от этого числа составляют политические заключенные. И все же это число превышает население гитлеровских лагерей в мирное время.

Лагерная дисциплина остается суровой. Указом Президиума Верховного Совета от 5 мая 1961 года впервые была введена смертная казнь за агрессивные акты в отношении администрации (не доходящие до убийства). Словом, после смерти Сталина карательная в полицейская системы СССР были несколько реформированы, но радикальных изменений не произошло.

Эта двусмысленность относится и к советской действительности в целом. Она имеет глубокие политические корни. Власти могли бы укрепить свое положение, если бы им удалось освободиться от бремени прошлого. Ежовщина и последние годы жизни Сталина очень непопулярны даже в партийных кругах — тогда никто не чувствовал себя в безопасности.

Сегодняшний советский режим вырос из сталинщины. Он неуклонно защищает правильность генеральной линии Сталина в борьбе с левыми и правыми уклонистами в двадцатых — тридцатых годах, а значит — защищает основы сталинской политики вообще. Поэтому «десталинизация» удерживается в определенных рамках. Тело Сталина удалено из Мавзолея, но оно все еще покоится на почетном месте у кремлевской стены, среди других «положительных» советских деятелей второго эшелона. Знаменательно, что могила Сталина соседствует с могилой Дзержинского, создателя советской тайной полиции.

Многие из личной свиты Сталина умерли вслед за диктатором, окруженные почестями: Шкирятов — в 1954 году, Вышинский — в 1955 (хотя поговаривают, что он покончил с собой). Но Поскребышев (к моменту написании книги) еще жив и на свободе; он, если верить слухам, пишет мемуары. Кагановича и Маленкова обвиняли в «преступном нарушении социалистической законности» и... тоже оставили на свободе. Большинство руководителей сталинского НКВД расстреляно после серии судов в 1953—1956 годах. Но другие еще здравствуют — например, Серов, ставший в 1959 году начальником разведки в армии. Генерал Горбатов совершенно равнодушно вспоминает о своем «изверге-следователе» Столбунском: «не знаю, где он сейчас» [1].

Пока еще не было сделано серьезной попытки оправдаться за террор в целом. «Великий заговор», во главе которого якобы стоял Троцкий, который поддерживали нацисты, в который были вовлечены политики, военачальники, инженеры, врачи и тысячи рядовых граждан, еще не был вразумительно разоблачен как фальшивка. С другой стороны, прозвучали заявления, которые в пух и прах разбивают главные обвинения на показательных процессах. Группа «заговорщиков» с процесса 1938 года реабилитирована десять лет тому назад, что превращает весь «заговор» в посмешище. Главное «преступление», инкриминированное осужденным 1937 года — покушение на жизнь Молотова — было открыто названо на XXII съезде КПСС ложью. А убийство Кирова, составляющее сердцевину карательной деятельности Сталина? Хрущев дважды — в докладе на закрытом заседании XX съезда в 1956 году и в докладе на XXII съезде партии в 1961 году — назвал официальную версию недостаточной и неубедительной. Причем оба раза он намекнул, что убийство было организовано Сталиным. Итак, правда вытягивается по кусочкам, медленно и болезненно, как крепко засевший гнилой зуб. Но сказанного уже достаточно для того, чтобы вскрыть абсолютную лживость доводов, которыми прикрывался Сталин.

Реабилитация 1956—1957 годов отмечена тем же недостатком логики. Доброе имя военных жертв восстановлено. Казненным сталинцам — Рудзутаку, Чубарю, Постышеву, Эйхе, Косиору и другим — посмертно возвращены все почести. То же можно сказать о Енукидзе и Карахане, осужденных в 1937 году. Но ни один участник процессов Зиновьева и Пятакова еще не удостоился реабилитации.

Что касается бухаринского процесса, то часть осужденных полностью реабилитирована (Икрамов, Ходжаев, Крестинский, Зеленский и Гринько сейчас в фаворе), а другие — нет. Неувязки поистине фантастичны.

Осенью 1962 года югославские источники сообщили, что вскоре будет реабилитирован Бухарин. Но этого не произошло, хотя на Всесоюзном совещании по улучшению подготовки научно-педагогических кадров в исторических науках академик Поспелов сказал: «Студенты спрашивают, были ли шпионами иностранных государств Бухарин и другие, и что вы нам посоветуете прочесть? Я могу заявить, что достаточно внимательно изучить документы XXII съезда КПСС, чтобы сказать, что ни Бухарин, ни Рыков, конечно, шпионами и террористами не были» [2]. Это частичное оправдание важно в принципиальном смысле, но честное имя Бухарина и Рыкова до сих пор не восстановлено. В момент, когда пишутся эти строки, Зиновьев, Каменев, Пятаков, И. Смирнов, Сокольников — это не все, а лишь некоторые видные деятели партии, павшие жертвами показательных процессов — остаются не реабилитированными. Не говоря уже о многих других, которые даже не фигурировали на публичных процессах — Преображенский, Смилга, Угланов, Шляпников, Медведев, Сапронов, Сосновский.

Реабилитация, при всей ее нелогичности и ограниченности, проводится на разных уровнях. Максимумом до сих пор была отдельная статья, в конце которой говорилось, что данный человек пал жертвой клеветы в условиях культа личности. Минимум — это упоминание имени в нейтральном или доброжелательном контексте. Есть, правда, еще один показатель, который нельзя включить даже в категорию «минимум»: он состоит в том, как именно фамилия данного лица фигурирует в биографической справке, прилагаемой к трудам по истории страны и партии. Если человек уже вышел из немилости, то наряду с годом рождения и смерти дается год вступления в партию. Например — «член партии с 1910 года». Если же человек еще не реабилитирован, то формулировка будет иной — «в 1910 году состоял в партии». Руководствуясь этим критерием, можно определить, что Сырцов, например, уже в какой-то мере реабилитирован, а Преображенский — нет.

[1] Положение ко времени написания этой книги см. Paul Barton. «Problems of Communism». March — April 1962.

[1] Горбатов, с. 130 (Из «Хроники» № 9 [см. «Посев», 2-й спецвыпуск, 1969, с. 56] мы узнаем, что Столбунский «живет в Москве и получает высокую пенсию»).

[2] «Совещание историков», с. 298 (Заключительное слово акад. Поспелова).

боязнь взглянуть в глаза прошлому естественно порождает недомолвки и невнятицу. Причина этого ясна — ведь машина, заведенная Сталиным, продолжает работать и по сей день. Принцип однопартийного правления, полное господство партии во всех сферах жизни, сохранение ее монолитности, авторитарное руководство, сосредоточенное в руках кучки людей,— все это остается неизменным. Все кадры нынешнего руководства выкованы старой сталинской машиной. Каналы, по которым они пришли к власти, были установлены при Сталине. Тогда же были выработаны и отшлифованы методы управления, действующие поныне.

Критика сталинского террора, начавшаяся в период хрущевской «оттепели», носила общий характер, была полна недомолвок и не преступала пределов дозволенного. Реабилитация проводилась тогда непоследовательно и наобум. Сейчас этот процесс более или менее прекратился, но, возможно, он возобновится на более поздней стадии. Можно, однако, сказать, что в настоящий момент политические преимущества, которые хотел получить Хрущев в ходе десталинизации, с точки зрения нового руководства уже использованы — группа потенциальных претендентов на власть отстранена от общественной жизни.

После падения Хрущева в октябре 1964 года все спекулятивные и рискованные начинания были пресечены. Это относится и к проблеме сталинщины — письменные дискуссии о наиболее щекотливых местах сталинского прошлого прекратились. В отношении к Сталину сначала стало высказываться холодное уважение, а потом и благосклонность, хотя историки партии этому всячески противились. Так была консолидирована система, созданная Сталиным, исправленная и улучшенная Хрущевым.

Масштабы реакции, воцарившейся после Хрущева, ясно очерчены отношением к делу Ф. Ф. Раскольникова. Во введении к его военным мемуарам (опубликованным в 1964 году) совершенно недвусмысленно говорится, что он полностью реабилитирован, посмертно восстановлен в правах члена КПСС и советского гражданина. Еще в 1968 году отмечаются его заслуги в гражданской войне [1]. Вскоре после этого, однако, его фотографии исчезают со страниц иллюстрированных изданий, и работники редакций, давшие о нем лестные отзывы, получают взыскания или увольняются.

В данный момент внутреннее положение в Советском Союзе противоречит всякой логике. Если эту систему приняли все классы общества (а они теперь сплошь «некапиталистические»), то, казалось бы, можно слегка разжать кулак. То есть, выражаясь западным языком, за тридцать лет «промывания мозгов» и террора можно было создать страну, где оппозиция существующему строю, даже если ее допустить, была бы ничтожной. Похоже, что в 1956 году одному-двум партийным руководителям эта идея стала забредать в голову — если не Хрущеву, то по крайней мере Шепилову. На какое-то время ей, можно думать, поддались и в Китае: самое убедительное объяснение кампании «Пусть расцветают сто цветов!» состоит в том, что китайское руководство решило допустить некоторую свободу в надежде, что она будет способствовать укреплению режима. Но это оказалось тактическим просчетом — и в СССР, и в Китае мгновенно произошли вспышки ереси.

Советский режим являет собой забавное зрелище: с одной стороны, он утверждает, что пользуется всеобщей поддержкой, а с другой — проявляет крайнюю чувствительность к критике, даже самой безобидной, как это было продемонстрировано в деле Синявского и Даниэля. Ясно, что время для примирения с народом, для создания демократической партии марксистского толка, как было запланировано первоначально, еще не наступило. Сейчас, во всяком случае, после сорока лет беспросветных лишений, обещания лучшего будущего еще далеки от исполнения. Люди, ведущие советский караван, если так можно выразиться, привыкли к безжизненному окружению пустыни; они наслаждаются своей властью и знают: попади караван в более плодородный и живописный край — они сразу потеряют эту власть.

У Пятакова была идея, что партия, силой своей политической организации, может создать промышленность и пролетариат (которые, по Марксу, предшествуют социализму), а после этого — вернуться в русло, предсказанное марксизмом. Но «чуда» Пятакова не произошло по совершенно очевидной причине. Думать, что партия, сделав затяжной антимарксистский крюк, снова может стать представителем пролетариата на гуманных и демократических началах, было, конечно, ошибкой. Временное отчуждение стало постоянным. Ибо сталинские методы нельзя испробовать, а потом, достигнув нужных экономических и политических целей,— отбросить. Террор создает свои кадры, свои учреждения и институты, свою психологию. А партийная машина, которая так долго действовала только в своих собственных, ограниченных интересах, превратилась в «новый класс» Джиласа. Этот класс не более способен изменить свои привычки, чем бюрократические классы прошлого.

Эра Сталина была таким кошмарным прошлым, что ее разоблачение принесло явные политические дивиденды режиму, пришедшему на смену. Но одновременно он

[1] См. «Историю СССР», М., т. 3, 1968, с. 103, 523.

унаследовал в готовом виде систему институтов и правящую касту с укоренившимися верованиями и навыками. Партийные бюрократы очень неохотно идут на изменения, даже когда это не ущемляет их права управлять. В СССР же попыток ослабить это право предпринято не было, и вряд ли подобные попытки могут рассчитывать на успех до тех пор, пока не начнется массовое брожение. Сталинизм — это не только особые методы террора и своеобразные взгляды на индустриализацию, но и создание особой политической структуры. В определенном смысле это составляет его суть. Структура же остается без существенных изменений.

«Десталинизация» обычно приравнивается к «либерализации». Но десталинизация, которая проводилась в Советском Союзе во времена Хрущева, состояла лишь в отходе от перегибов и злоупотреблений, допущенных покойным диктатором. Качественно это не меняет систему политического управления СССР или основные принципы, стоящие за этой системой. Россией по-прежнему правит партаппарат; принцип партийности — доктрина, обеспечивающая верхушке право решать все вопросы скорости и направления,— остается неизменным. На практике десталинизация сводится лишь к отказу от чрезмерного пользования кнутом и шпорами.

В последнее время мы неоднократно были свидетелями попыток реабилитировать НКВД. Под огонь критики попали люди, которые, исходя из роли, сыгранной этой организацией в проведении репрессий, «не прочь в связи с ликвидацией последствий культа личности набросить тень чуть ли не на все чекистские кадры» [1]. Отметим, что после падения Хрущева появилась целая серия романов и пьес, в которых агенты тайной полиции выведены героями. Например — «Операция „С Новым Годом!“» (М., 1964) и «Я отвечаю за все» (М.— Л., 1965) Юрия Германа; «Щит и меч» (М., 1965) Вадима Кожевникова; «Улицы гнева» (М., 1966) А. И. Былинова или «Камешки в руке» Салынского.

Параллельно с этим в вышедшем в «самиздате» третьем выпуске сборников «Преступление и наказание», посвященном разоблачению палачей сталинских времен, указано, что, например, «бывший комендант НКВД Грузии Надрая, специализировавшийся на поставке женщин и девочек для Сталина и Берии, был осужден на десять лет, вышел на свободу в 1965 году и живет в Грузии», что полковник КГБ в отставке Монахов, ликвидировавший несколько сот иностранных коммунистов в Соловецких лагерях в начале советско-финской войны, проживает на благоустроенной даче под Ленинградом и что попытка исключить его из партии наткнулась на сопротивление тогдашнего первого секретаря ленинградского обкома Толстикова; что бывший заместитель начальника КГБ Тимирязевского района Москвы А. В. Сугак, «особенно свирепствовавший, преследуя врачей-евреев» в 1952 году, получил место заместителя директора Центрального музея Ленина и живет на даче под Москвой и т. д. Аналогично обстоит дело и с доносчиками. Так, например, В. Н. Астров, «автор сотен доносов», в 1966 году выпустил книгу «Круча», в которой «вывел под псевдонимами и вновь оклеветал ранее оклеветанных им людей».

Относительная свобода оппозиции, существовавшая в начале и даже в середине двадцатых годов, не восстановлена. Внутриполитическое положение СССР на сегодняшний день во многом напоминает то, что было в начале тридцатых годов. Репрессии начались в аналогичном общественно-политическом климате, и никаких конституционных или иных гарантий против повторения сталинского террора нет. Советское общество не больше застраховано от рецидивов тирании, чем древний Рим, где на смену Веспасиану, восстановившему здравомыслие на развалинах империи Нерона, пришел Домициан.

Больше того, как раз во взглядах на сталинщину в последнее время наблюдается устойчиво реакционная тенденция. Уже к началу 1966 года осторожно нащупывается путь к восстановлению положительного отношения к сталинской системе правления. «Правда», например, в январе 1966 г. приветствует «развенчание партией и народом культа личности», но тут же предостерегает: «К сожалению, однако, и в этом деле сказались чуждые марксизму субъективистские влияния, нашедшие отражения также в некоторых трудах историков» [2].

В сентябре 1966 года Уголовный кодекс пополнился статьей 190-й, карающей в своем § 1 «систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление и/или распространение в печатной или иной форме произведений такого же содержания», а в § 3 «организацию, а равно активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти» [3].

[1] «Казахстанская правда», 17 янв. 1965 г., статья Г. Аксельрода «Верность чекиста».
[2] «Правда», 30 янв. 1966 г. («Высокая ответственность историков»).
[3] «Ведомости Верховного Совета РСФСР», № 38 (416), 22 сент. 1966 г. (ст. 1038).

Цель этого законодательства, проливающего определенный свет на характер послехрущевского руководства — пресечь протесты против несправедливостей типа процесса над Синявским и Даниэлем. На это указывали советские писатели и ученые.

Выступая на пленуме итальянской компартии (ноябрь 1961 г.), сенатор-коммунист Секкиа сказал: «Путь, приведший к казням членов КПСС, был долгим. Он начался не в 1937 и не в 1934 году, а гораздо раньше — когда меньшинство было лишено права выражать свое мнение. Меньшинства были изолированы, взяты под подозрение, затем исключены из партии и ликвидированы». С другой стороны, мысль о разрешении нескольких мнений внутри партии получила резкий отпор на XXII съезде КПСС, и с тех пор о ней никто не упоминал.

Но вместе с тем нынешнее положение в СССР отличается от положения тридцатых годов: партийный энтузиазм выветрился, остались только инерция, сила привычки и прежние институты. Если стать на эту точку зрения, то советский режим может показаться чем-то наподобие монархий начала XIX века: они были величественны и могущественны, но их сердце уже перестало биться; осталась только оболочка, которая лопнула, уступив путь демократии.

Более того, сталинская хозяйственная система могла действовать лишь при условии суровых политических и полицейских ограничений — подавления потребительского спроса и замены экономических стимулов тактикой кнута. В эпоху угля и стали она еще была пригодна, но ей весьма трудно совладать с современной техникой. Давление экономических факторов требует коренных перемен, а не мелких реформ, которые были проведены в последнее время.

Каким путем пойдет дальнейшее развитие Советского Союза? Здесь можно выдвинуть несколько вариантов, но следует учесть (как напомнил итальянский социалист Пьетро Ненни), что нет никаких гарантий против повторения того, что произошло в тридцатых годах. Милован Джилас пишет: «К сожалению, и сегодня, после так называемой „десталинизации", можно сказать то же, что и до нее: общество, созданное Сталиным, существует в полном объеме — и тот, кто хочет жить в мире, отличном от сталинского, должен бороться».

Это, быть может, сказано слишком сильно. Но, тем не менее, нынешняя система правления в Советском Союзе, да и в других коммунистических странах, продолжает покоиться на монолитной партии, созданной Сталиным после подавления всей и всяческой оппозиции. Это еще не означает, что в любой момент должна или может произойти вспышка сталинского террора. Однако сегодня с большей чем когда-либо силой звучат слова коммунистки-мученицы и героини Розы Люксембург: «Без всеобщих выборов, без неограниченной свободы печати и собраний, без свободной борьбы мнений жизнь каждого общественного института замирает, становясь подобием жизни, в которой единственным активным элементом остается бюрократия... Более того, такое положение вещей ведет к одичанию общественной жизни» [1].

В этих словах, сказанных о ленинском режиме, нет моральных доводов. Но Роза Люксембург смогла в них ясно предвосхитить все развитие советской страны — от революции до победы Сталина. Пока ее заветы не выполнены, Советский Союз будет страдать — в более или менее острой форме — хроническим недомоганием, достигшим критической точки в годы Ежова. Нам остается только надеяться на полное выздоровление. Признаком такого выздоровления был бы честный разбор прошлого — чтобы советские люди смогли свободно и досконально изучить события, о которых рассказывается на страницах этой книги.

ПРИЛОЖЕНИЯ [7)]

⟨...⟩

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Карательные органы

К 1934 году политические и психологические предпосылки большого террора были уже налицо, и одного усилия сталинской воли оказалось довольно, чтобы пустить террор в ход. Техническая база террора — машина тотального властвования — была уже давно построена и отлажена.

Ленин (в отличие от Маркса и Энгельса) был горячим поклонником якобинского террора и уже в 1905 году предвидел повторение его в России [2]. (В согласии с этим,

[1] Rosa Luxemburg. «Die Russische Revolution». Zweite unveränderte Auflage, Frankfurt/Main, 1963, s. 75.

[2] См. Ленин. Собр. соч., т. 11, с. 47 («Две тактики социал-демократической революции»); см. также т. 10, с. 5, 15 («Социал-демократия и временное правительство»).

руководитель политической полиции Дзержинский был охарактеризован Бухариным, наряду с другими чекистами, как «подлинный пролетарский якобинец») [1]. С этих ленинских позиций была создана теория, по которой «образование ВЧК вытекало из самой сути пролетарской революции. Антибуржуазный террор должен был стать неизбежным последствием» [2].

Ленин, правда, сказал в своей речи на заседании Петроградского Совета 4 (17) ноября 1917 года, т. е. непосредственно после октябрьского переворота, что хотя «нас упрекают, что мы применяем террор, но террор, какой применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять». Но Троцкий, несмотря на заверения, что не предвидится никаких расправ, вскоре дал понять, что может оказаться невозможным ограничить проявления народного гнева, что «буржуазный класс сходит со сцены и потому этими мерами насилия мы помогаем ему скорее уйти» [3].

Тайная политическая полиция, под различными наименованиями действующая до сего дня, была основана 20 декабря 1917 года под названием ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) и заняла на Лубянской площади здание страхового общества «Россия», которым владеет и до сих пор. Неформальное «решение» Совнаркома было потом представлено как официальное постановление. Устав ЧК, выработанный, наконец, в ноябре 1918 года, никак не определил границы ее полномочий, и это не было сделано и при реорганизации ее в ГПУ в 1921 году.

«Решение» от 20 декабря 1917 года формулировало задачи ЧК следующим образом:

1. Расследовать и ликвидировать любые попытки или действия, связанные с контрреволюцией и саботажем, откуда бы они ни исходили на всей территории России.
2. Передавать на суд Революционных Трибуналов всех контрреволюционеров и саботажников и вырабатывать меры борьбы с ними.
3. Комиссия проводит только предварительные дознания в той мере, в какой это необходимо в целях предупреждения.

Этот документ, опубликованный только в 1924 году в статье известного чекиста Якова Петерса [4] и рассматриваемый как «учредительный декрет», даже в советской литературе признается лишь грубой наметкой. На практике же ВЧК должна была быть карательным органом диктатуры, несущим ответственность исключительно перед ее верховными руководителями, и любая предпринятая ею мера санкционировалась без оглядки на протесты. В частности, ЧК не имела права производить расстрелы. Однако первый произведенный ею и ставший известным бессудный расстрел имел место уже 24 февраля 1918 года. Левые эсеры, в то время уже входившие в правительство, пытались поднять вопрос об этом, но Ленин не позволил внести его в повестку дня. «Сама жизнь», писал позже старый чекист Лацис, узаконила право чекиста казнить людей на месте без суда и следствия, и в этом отношении Ленин был согласен с Дзержинским [5].

Уже в апреле 1918 года [6] ЧК ввела собственные суды из трех человек, названные «тройками» и превратившиеся в постоянное учреждение, оформляющее карательные меры.

Убийство Урицкого в сентябре было использовано для оправдания расширения масштаба террора и власти ЧК. Первыми были расстреляны 500 заложников [7]. 5 сентября 1918 года был издан знаменитый декрет «О красном терроре». Согласно этому декрету, Чека была укреплена откомандированием в ее ряды большого числа членов партии; намечено было создание концентрационных лагерей; лица, уличенные в связях с контрреволюцией, подлежали расстрелу, а имена их и основания для расстрела должны были предаваться гласности.

«Инструкция» от 17 сентября 1918 года формально уполномачивала Чека судить и расстреливать без обращения к революционным трибуналам.

Дзержинский уже в то время оправдывал расстрелы невинных людей военным положением, указывая, что на войне тоже убивают невинных солдат противника. Сравнение, конечно, хромает. В бою ведь не приходится делать различия между солдатами противника и никто никогда не предлагал вести войну иначе. Привлечение к суду, напротив, нормально имеет целью расследование фактов и установление личной вины.

Взгляды Дзержинского не разделялись всей партией. Они наткнулись на сопротивление в среде местных Советов, мнение которых обсуждалось в 1918 году. Старый

[1] См. сборник «Феликс Дзержинский 1926—1931», М., 1931, с. 141.

[2] «Правда», 18 дек. 1927 г.; статья К. Покровского «ВЧК — ГПУ (20 декабря 1917—20 декабря 1927)».

[3] См. «Известия», 6 дек. 1917 г.

[4] «Пролетарская революция», 1924, № 10 (33) («Воспоминания о работе в ВЧК в первый год революции»).

[5] М. Лацис в «Пролетарской революции», 1926, № 9 (56).

[6] E. J. Scott in «Soviet Affairs», n. 1, p. 10 (St. Antony's Papers, n. 1, 1956).

[7] «Известия», 3 сент. 1918 г.

большевик журналист Ольминский поместил в «Правде» несколько критических статей, из которых стало ясно, что не вся партия одобряет массовое применение расстрелов и что полномочия ЧК кажутся многим чрезмерными. В одном случае Ольминский протестовал также против скандального и бесчеловечного поведения местной организации ЧК, в которой раздевали и пороли крестьян [1]. Собственный орган ЧК «Еженедельник» печатал перед этим письма местных чекистов с требованием пытать заключенных перед расстрелом.

Видные чекисты контратаковали Ольминского. Один из них, Петерс, так и объявил безо всяких обиняков, что «весь этот шум и плач против энергичных и твердых мер чрезвычайных комиссий не заслуживает того внимания, которое ему придают; он мог появиться лишь среди товарищей, занятых кабинетной журналистикой, а не активной борьбой с врагами пролетариата» [2].

Ленин поддержал их. Он нападал на «близорукую интеллигенцию» в партии, которая топчется на ошибках Чека, и добавлял, что «когда нас упрекают в жестокости, нужно только удивляться забвению элементарных основ марксизма» *[3]. Ленин, правда, попрекнул и чекиста Лациса за его требование террора исключительно на основе классовой принадлежности, без достаточных доказательств прямой враждебности к режиму. Обещая, что они скоро будут вычищены, Ленин признавал также, что вполне понятно, что чуждые элементы проникают также и в ЧК [4].

Это первое указание о том, что недостойные люди проникают в тайную полицию, подхватывается и ее собственным представителем Лацисом, который признает, кроме того, что работа в ЧК разлагает и лучших людей. Лацис пишет:

«...работа чрезвычайных комиссий, протекающая в обстановке физического воздействия, привлекает аферистов и просто уголовный элемент... Как бы честен ни был человек и каким бы кристально-чистым сердцем он ни обладал, работа чрезвычайных комиссий, производящаяся при почти неограниченных правах и протекающая в условиях, исключительно действующих на нервную систему, дает себя знать. Только редкие из сотрудников остаются вне влияния этих условий работы» [5].

Другой чекист, Петерс, заявил со своей стороны, что поскольку чекистам приходится иметь особенно много дела с умирающей буржуазией, они порой заражаются [6], а Дзержинский осенью 1923 года сказал однажды Радеку и Брандлеру, что «святые или негодяи могут служить в ГПУ, но святые теперь уходят от меня и я остаюсь с негодяями» [7].

И как иронически звучат ныне сказанные уже в 1931 году слова Бухарина, всегда, впрочем, выражавшего неумеренный восторг перед машиной террора [8]:

«...когда вспоминаем прошлое, не забудем, сколько безымянных героев нашей ЧК погибло в боях с врагом. Не забудем, сколько из тех, кто остался в живых, представляют собой развалину с расстроенными нервами, а иногда и совсем больных. Ибо работа была настолько мучительна, она требовала такого гигантского напряжения, она была такой адской работой, что требовала поистине железного характера» [9].

После гражданской войны власть политической полиции продолжала расти, а методы ее не становились гуманней. В марте 1920 года ВЧК получила право направлять людей в лагеря принудительного труда на срок до пяти лет простым административным решением в случаях, когда следствие не давало достаточного материала для обычного судопроизводства [10]. Да и «судопроизводство» того времени никак не заслуживает похвал. Архивы Смоленской ЧК за февраль — апрель 1921 года содержат несколько записей судебных заседаний, краткий обзор дела и приговор. Ссылки на какой-либо закон в обосновании приговора отсутствуют, обвиняемого не вызывают, защиты нет.

Кронштадтские мятежники в марте 1921 года писали, что ленинский режим принес рабочим вместо свободы вечный страх попасть в «застенки ЧК», ужасы которых «во много раз превосходят» охранку царского времени [11]. И это было общее мнение о ВЧК, насчитывавшей к тому времени «до 31 000 человек сотрудников» [12].

---

[1] «Правда», 19 дек. 1918 г.
[2] «Известия ЦИК» № 226; статья Петерса цитируется в «Правде», 26 окт. 1918 г.
[3] Ленин, т. 37.
[4] Там же.
[5] М. Лацис. Чрезвычайные Комиссии по борьбе с контрреволюцией. М., 1921.
[6] «Soviet Affairs», n. 1, p. 21.
[7] Эти слова были потом переданы Брандлером биографу Троцкого И. Дейтчеру. См. Deutscher I. «The Prophet Unarmed», p. 109 [см. прим. [5]].
[8] См. напр. его выступление к 10-летию ВЧК в «Правде», 18 дек. 1927 г.
[9] Сборник «Ф. Э. Дзержинский», с. 143.
[10] «Законы РСФСР», 1920; 22, 23, 115.
[11] «Известия» Временного Революционного Комитета матросов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта, 8 марта 1921 г.
[12] М. Лацис. Чрезвычайные комиссии..., с. 12.

ВЧК была расформирована декретом от 6 февраля 1922 года и функции ее перешли к ГПУ (Главному политическому управлению) НКВД; Дзержинский стал одновременно наркомом внутренних дел и начальником ГПУ.

ГПУ были переданы законные полномочия и поставлены задачи, включая «выполнение специальных распоряжений Президиума ВЦИК Совнаркома по охране революционного порядка». Оно имело право держать людей под стражей не больше двух месяцев без одобрения свыше, но на практике это означало почти неограниченную власть. В 1923 году ГПУ было переименовано в ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление), было выделено из состава НКВД и стало самостоятельным органом власти, возглавлявшимся по-прежнему Дзержинским.

Дзержинский, верный политический сторонник Сталина, умер в 1926 году, оставив руководство ОГПУ Менжинскому, происходившему тоже из польской шляхты. Но на передний план уже выдвигалась мрачная фигура Генриха Ягоды. Это был грубый человек с угрюмым взглядом и маленькими усиками на лице красно-кирпичного цвета. До революции он был аптекарем в Нижнем Новгороде (что помогло ему потом солидно поставить изучение и использование ядов в НКВД). Насколько известно, он начал работать в ЧК во время гражданской войны и вскоре был замечен Сталиным в Царицыне (будущем Сталинграде) [8]. К середине двадцатых годов Ягода уже играл значительную роль в руководстве политической полицией, поскольку Дзержинский, помимо своей политической нагрузки, вел еще несколько экономических управлений.

Роль руководителей ОГПУ в период внутрипартийных раздоров второй половины двадцатых годов истолковывается различно. И хотя один из наблюдателей говорит о большом числе троцкистов и лишь отдельных правых уклонистах в рядах чекистов [1], можно заметить и признаки, что руководство органов террора скорее с опаской смотрело на перспективу новых восстаний в деревне. В отчете о разговоре с Бухариным 11 июля 1928 года Каменев утверждает, что Бухарин сказал ему: «Ягода и Трилиссер (глава иностранного отдела ОГПУ) с нами. Было уже полтораста мелких восстаний» [2]. Был также слух, что представители ОГПУ Менжинский, Ягода и Трилиссер ходили к Сталину предупреждать его, что не могут обеспечить безопасность в деревне и получили жесткую отповедь [3].

Расчет Бухарина на поддержку ОГПУ был, однако, очевидно не обоснован. У чекистов несомненно были основания бояться, что недовольство крестьян политикой Сталина может развиться в массовые восстания, но эти тактические соображения не влекли, по-видимому, за собой желания видеть власть в руках Бухарина и Рыкова.

Наоборот, по мере втягивания их в борьбу карательные органы, как и вся партия, оказались в руках у Сталина. Имеется целый ряд непосредственных описаний крестьянских бунтов, главным образом на Украине и на Северном Кавказе. Трехдневные бои в Днепропетровской области закончились массовыми расстрелами в окружающих балках и тысячами приговоров к принудительным работам [4]. Такого рода операции превращали чекистов в клику карателей.

В самом деле, среди них росли товарищеские чувства к Сталину, проявившему здесь уменье и чувство такта. По мере дифференциации сталинского общества, чекисты приобретали особые привилегии. Больше того, Сталин был единственным из вождей, выказывавшим постоянную симпатию к чекистскому стилю работы. Бывшая заключенная передает следующую оценку работника НКВД: «Из товарища Сталина был бы отличный чекист. Мы, чекисты, чувствуем это в нем. Он и душой и телом один из наших. Мы друг друга без слов понимаем. У нас общий язык, общие методы работы. Понимаете, что я имею в виду? В самые трудные моменты Сталин обращался за помощью к чекистам и каждый раз чекисты оказывали ему эту помощь. Многие из его друзей и соратников изменяли Сталину, но ни один чекист не изменил ему никогда! И Сталин умеет это ценить.»

Коллективизация и общее напряжение начала тридцатых годов привели к колоссальному росту ОГПУ, как в размерах, так и в масштабах работы. Численность заключенных, поступающих из деревни, вызвала в 1930 году учреждение ГУЛАГа, Главного управления исправительно-трудовых лагерей, во главе которого встал Ягода.

Мысль о том, что следует арестовывать всякого, кто мог бы сделать что-либо предосудительное, таким образом, закрепилась. Так, например, в 1930 году, когда Великобритания еще имела Генеральное консульство в Ленинграде, ОГПУ затеяло операцию против возможных источников его информации. «Органы» просто-напросто забирали всех, кто имел или мог иметь малейшую связь с англичанами — капитанов всех судов, ходивших между Ленинградом и Лондоном, руководящих работников порта

---

[1] A. Ciliga. «The Russian Enigma», p. 48.
[2] См. Souvarine, «Staline», p. 484.
[3] «Социалистический вестник» (Париж), № 12, 14 июня 1929 г.
[4] Kravchenko. «I Chose Justice», p. 99.

и так далее. Около двухсот человек получили пятилетние сроки[1]. (В определенном смысле мягкость выносимых приговоров была нелогичной и указывала на то, что осужденных, в сущности, не считали шпионами.) Имеется еще немало других свидетельств из этого раннего периода террора о таких же раздутых и ни на чем не основанных делах, как и в последующий период большого террора.

Для защиты собственной персоны Сталин провел такую же тщательную подготовку. Личная охрана Ленина состояла из двух человек и была увеличена до четырех после покушения Фанни Каплан. Личная охрана Сталина состояла из нескольких тысяч человек, и НКВД держал, кроме того, резервные части в постоянной боевой готовности. Дорога на дачу Сталина, протяженностью свыше тридцати километров, охранялась тремя тысячами агентов, снабженных автомашинами, телефонной связью и т. п. Когда Сталин в самом деле ехал по этой дороге, она находилась практически на военном положении[2]. Безопасность Кремля охранялась особенно строго. Пользоваться можно было двумя воротами, Боровицкими и Спасскими. Проверка документов была чрезвычайно тщательной и не допускала исключений даже для крупнейших руководителей НКВД. У входа в Совнарком и Политбюро документы и фотографии сверялись еще раз и кроме того дополнительные проверки производились время от времени еще и в коридорах.

В 1931 году Сталин на короткое время ввел в ОГПУ А. А. Акулова — человека из своего ближайшего окружения. Акулов был сделан первым заместителем Менжинского, но в том же году отозван из «органов», так как Сталин нашел общий язык с новым шефом ОГПУ Ягодой. В 1933—1934 годах Сталин нацелил полицейскую машину на дальнейшие действия. В марте 1933 года было подведено, если не законное, то официальное основание под право ОГПУ расстреливать людей — с помощью нового толкования прежних инструкций[3]. 20 июля 1934 года специальным декретом был утвержден принцип заложничества[4] (см. гл. 5, стр. 276) [9)]. Хотя этот декрет формально должен был применяться исключительно к семьям дезертиров и невозвращенцев, но принцип, положенный в его основу, был выражен совершенно ясно. Преследование родственников стало нормой сталинского террора.

Тогда же, 10 июля 1934 года, ОГПУ снова вошло в состав реорганизованного НКВД. Этот наркомат и стал главной полицейской силой, а его Главное управление государственной безопасности выполняло функции тайной политической полиции.

Год от года чекисты все более превращались в высокооплачиваемую элиту. Они стали в передовых рядах новой привилегированной группы, начинавшей складываться в результате сталинской политики расслоения общества.

В течение всего террора НКВД оставался в привилегированном положении, но большинство старых чекистов было вычищено и заменено новыми — столь же жестокими и наглыми, но с более низким образовательным и интеллектуальным уровнем. Если партийный отбор можно назвать, вслед за А. Вайсбергом, «негативным», то это относится в еще большей мере к чекистам. Виктор Кравченко рассказывает, что секретарь парткома одного небольшого городка привлек внимание начальства, «вскрыв» вредительскую организацию, распускавшую тифозных вшей в городском театре; в результате он был вовлечен в работу НКВД и стал выдающимся следователем в Донбассе.

Отличный портрет энкаведиста, продвинувшегося в ходе сталинских чисток, дал не так давно один советский автор[5]. Люминарский (это имя героя) отличался исключительной бесчувственностью. Он вырос сиротой, не знавшим привязанностей. Директор детдома, в котором он рос, был холодный и грубый мужлан. Люминарский любил его ничуть не больше других, но знал, как угодить ему лестью, выдавая ее за преданность. Он научился «стучать» и сигнализировать. Он заметил, что сигналы лучше всего основывать на фактах, обычно незначительных, но пригодных для создания правдоподобной клеветы. Затем жертву нужно было спровоцировать на возмущенные опровержения, чтобы поймать потом на противоречиях. Люминарский пользуется этими методами на всех ступенях служебной лестницы. В НКВД он делает карьеру с помощью интриг против таких же бессердечных, но менее одаренных товарищей по работе. Он умеет произвести впечатление безотказным выполнением и перевыполнением заданий. Это требует инициативы в преследовании все новых и новых жертв. Так, в деле о дефектной турбине, например, оказывается необходимым не только обвинить во вредительстве главного инженера, но и подобрать ему разного рода помощников, раздувая, таким образом, значение случившегося и приобретая престиж и доверие начальства.

---

[1] Ciliga, p. 177.
[2] Orlov, p. 339—340.
[3] См. «Известия», 12 марта 1933 г.
[4] См. также Собрание Указов № 30, ст. 173 или УК РСФСР (сталинского времени), ст. 58, пар. 1.
[5] Александр Розен в «Звезде», 1965, № 1 и 2 («Последние две недели»).

Таковы те, кому достались плоды сталинских чисток, люди последних лет сталинщины. В их лице тиран уже мог пользоваться силой, не способной ни к состраданию, ни к правде; их деятельность мы проследили на страницах этой книги.

⟨...⟩

Перевод с английского
Л. ВЛАДИМИРОВА

Послесловие 1990 года

Когда «Большой террор» был впервые опубликован на Западе, мы еще не знали самого главного: не сокрушили ли страшные годы массового террора, описанные в книге, дух советских людей?

И вот «Нева» начала публиковать книгу, я познакомился с редакцией журнала, со многими другими ленинградцами,— и ответ на этот вопрос стал для меня очевиден. Да, террор, конечно, нанес огромный ущерб стране, но ему не удалось убить душу России. Беседы с моими новыми друзьями были самым волнующим впечатлением от моей поездки в Советский Союз.

«Нева» дала очень высокую оценку «Большому террору». Мой же долг — указать на недостатки.

Книга писалась в тот период, когда подобные исторические изыскания не могли быть предприняты в СССР и когда бóльшую часть сведений можно было получить только из неофициальных, эмигрантских и косвенных источников.

Общая картина, нарисованная в книге, безусловно, соответствует действительности. Большинство фактов описаны правильно. Однако некоторые нуждаются в уточнении. О ряде важных событий мы теперь знаем гораздо больше, чем в прежние времена,— например, о февральско-мартовском пленуме 1937 года, о судьбе Ежова. Да и в целом мы теперь получаем много новой информации из периодических советских изданий, таких, как «Известия ЦК КПСС» и других.

Когда писалось это послесловие, я уже приступил к работе над новым вариантом текста, где будут использованы все сведения, ставшие известными за несколько минувших лет гласности в Советском Союзе. Книга будет опубликована в 1990 году в Лондоне и Нью-Йорке; кроме того, ко мне уже обратились советские книгоиздатели, высказавшие желание в ближайшем будущем опубликовать книгу в СССР.

Несмотря на определенные недостатки, «Большой террор», как мне кажется, отвечал потребностям своего времени. Он был опубликован в Западной Европе, в Азии и в Америке, где люди очень нуждались в такого рода сведениях для правильного понимания реалий нашей эпохи; затем он стал распространяться в советском «самиздате» (его бесстрашные переводчики и распространители жестоко преследовались властями); а потом вышел в Италии в русском переводе, который и стал широко известен в СССР.

Я предпринял эту работу по двум причинам: мне хотелось собрать все известные события сталинской эпохи в единый исторический монумент и рассказать правду о миллионах страждущих в СССР, чтобы восстановить и упрочить узы дружбы между СССР и всем остальным миром. Я стремился изображать события как можно более точно и объективно.

И все же для того, чтоб понять *такую* историю, нужно не только изучить, но и глубоко прочувствовать ее.

Роберт КОНКВЕСТ
Перевод с английского
А. СЛАВИНСКОЙ

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКЦИИ

---

1) Подробно об А. А. Власове и РОА см.: «Архипелаг ГУЛаг», Ч. 1. гл. 6.
2) Смертная казнь была отменена в мае 1947 г. (заменена 25-летним сроком заключения) и восстановлена 12 января 1950 г.
3) Описка переводчика: в действительности А. Софронов, как правильно указано в подстрочном примечании.
4) Статья о советской политической системе была заказана Г. Моррисону редакцией «Правды», по всей видимости, исключительно в пропагандистских целях: продемонстрировать миру свободу печати в СССР. Моррисон, по словам Г. Герлинга, «воспользовался гостеприимством „Правды", чтобы ... заклеймить полное отсутствие в СССР таковой свободы».
5) См. «Нева», 1990, № 10, с. 146, прим.6).
6) Ошибка переводчика: в действительности Р. Конквест упоминает восстание в г. Кенгире. Подробно о нем см.: «Архипелаг ГУЛаг», ч. 5, гл. 12.

7) Содержание приложений, опущенных в настоящей публикации (далее прямым шрифтом — текст Р. Конквеста, курсивом — редакционный комментарий): Приложение А. Масштаб потерь. *Примерные оценки числа арестованных, казненных и погибших в заключении в период с 1927 по 1938 гг. и перечисление основных соображений, исходя из которых Р. Конквест пришел к своим оценкам; анализ результатов переписи населения 1959 года.* Приложение Б. Ленин о своих преемниках (так называемое «Завещание Ленина»). Приложение В. Члены Политбюро ЦК 1919—1938 гг. *Поименный перечень кандидатов и членов Политбюро ЦК ВКП(б) с указанием дат и причин смерти.* Приложение Г. Состав ЦК ВКП(б) 1934 г. *Поименный перечень членов ЦК (в алфавитном порядке) и кандидатов (в порядке замещения выбывающих членов ЦК).* Приложение Е. Ранние судебные процессы. *Краткий разбор процесса эсеров 1922 г., «Шахтинского дела» (1928 г.), процесса «Промпартии» (1930 г.) и др.* Приложение Ж. Статья 58 Уголовного кодекса РСФСР (в действии до декабря 1958 г.). *Отдельные приложения:* Замечания об источниках. *Анализ степени достоверности основных использованных источников. Приложение фрагментарно цитировалось в редакционных примечаниях к настоящей публикации.* Избранная библиография. *Библиографическое описание основных источников.* Указатель *(именной и предметный).*

8) Р. Конквест относит знакомство Сталина и Ягоды ко времени гражданской войны ошибочно: уже летом 1917 г. они работали вместе в редакции газеты «Рабочий и солдат».

9) В настоящей публикации соответственно: «Нева», 1989, № 12, с. 152, правый столбец.

Дополнительные примечания к публикации исследования Р. Конквеста «Большой террор» («Нева», 1989, № 9—12; 1990, № 1—12)

1989 г.

№ 9, с. 136, прав. ...*убийца Кирова, Леонид Николаев, проник в Смольный...*— Подробности убийства С. М. Кирова Р. Конквест описывает на основании следующих источников: «Правда», 2 дек. 1934 г.; «Правда», 4 дек. 1934 г.; Красников С. Киров. М., 1964, с. 200; Tokaev. «Betrayal of an Ideal», p. 242; Orlov, p. 32; Elizabeth Lermolo. «Face of a Victim». London, 1956, p. 90.

№ 9, с. 136, прав. ...*главного личного охранника Кирова Борисова...*— По-видимому, неточность: согласно свидетельству М. Рослякова, Борисов был не начальником охраны С. М. Кирова, а рядовым охранником (см.: Росляков М. Как это было//Звезда. 1989. № 7. С. 99.).

№ 9, с. 140, лев. *Когда начальника личной охраны Кирова* [т. е. Борисова — *Ред.*] *везли на допрос...*— См. предыдущее примечание.

№ 9, с. 147, прав. ...*в 1937 году... Медведь и все другие бывшие сотрудники ленинградского НКВД были расстреляны... исключение составлял лишь Запорожец...*— Неточность: заместитель Ф. Д. Медведя Ф. Т. Фомин был приговорен к двум годам заключения «за халатное отношение к служебным обязанностям» 23 января 1935 г., отбыл этот срок полностью и вторично был арестован только в мае 1939 г.

№ 10, с. 118, лев. ...*Когда в 1947 году Литвинов был снят с поста министра иностранных дел...*— В действительности М. М. Литвинов (псевдоним; наст. Макс Валлах) (1876—1951) занимал пост наркома иностранных дел СССР с 1930 по 1939 г.

№ 10, с. 129, прав. ...*28 февраля* [1935 г.— *Ред.*] *он* [Ежов — *Ред.*] *был... назначен на... пост председателя Центральной Контрольной Комиссии...*— Неточность. Центральная Контрольная Комиссия ВКП(б) в 1934 году, на XVII съезде ВКП(б), была заменена Комиссией партийного контроля при ЦК ВКП(б) (Подробно см.: Центральные контрольные органы партии: Историческая справка. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 115); заместителем председателя КПК с 1934 г. и председателем с 28 февраля 1935 г. и стал Н. И. Ежов.

1990 г.

№ 3, с. 139, прав. ...*Смородин умер в 1941 году... дает другую дату смерти Смородина — 1937 год...*— П. И. Смородин расстрелян 25 февраля 1939 г. (См.: О судьбе членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранного XVII съездом партии // Известия ЦК КПСС. 1989. № 12. [В дальнейшем — *Биографии*] С. 110.)

№ 3, с. 140, лев. *По поводу смерти Б. Позерна в советских источниках наблюдается поразительный разнобой.*— Б. П. Позерн расстрелян 25 февраля 1939 г. (См.: *Биографии*, с. 108—109).

Там же. *Были арестованы* [и расстреляны — *Ред.*] ...*Кадацкий,... П. И. Струппе...*— Неточность, возникшая в результате обратного перевода: в действительности И. Ф. Кодацкий. Расстрелян 30 октября 1937 г. (См.: *Биографии*, с. 92.) П. И. Струппе приговорен к расстрелу 29 октября 1937 г. (См.: *Биографии*, с. 111.)

№ 4, с. 141, лев. *Любопытна судьба старого аджарского большевика Нестора Лакобы...*— Описка автора: в действительности Н. А. Лакоба (1893—1936) был абхазским большевиком, с 1930 г. занимал должность председателя ЦИК Абхазской АССР.

№ 4, с. 144, лев. ...*совершил самоубийство украинский писатель Хвылевский... Хвылевский послужил примером Скрыпнику.*— Ошибка, возникшая вследствие обратного перевода: имеется в виду писатель Микола Хвылевый (псевдоним; наст. Николай Григорьевич Фитилев) (1893—1933).

№ 4, с. 150, прав. ...*Стецкий... был арестован почти одновременно с Бауманом, а расстрелян позднее.*— А. И. Стецкий расстрелян 1 августа 1938 г. [См.: Состав руководящих органов Центрального Комитета партии — Политбюро (Президиума), Оргбюро, Секретариата ЦК (1919—1990 гг.)//Известия ЦК КПСС. 1990. № 7. С. 124.].

№ 6, с. 151, лев. ...*в Северной Америке во времена Римской Империи...*— Описка переводчика: следует читать: «в Северной Африке».

№ 6, с. 153, прав. ...*арестовали* [И. Бабеля — *Ред.*]: *в мае 1938 года...*— И. Бабель арестован 16 мая 1939 г., расстрелян 27 января 1940 г. (См.: Последние дни Бабеля // Огонек. 1989. № 39. С. 7, 23.)

№ 6, с. 155, лев. ...*По-видимому, Пильняка расстреляли... в 1938 или 1939 году.*— Б. Пильняк арестован 28 октября 1937 г., расстрелян 21 апреля 1938 г. (См.: Андроникашвили-Пильняк Б. О моем отце: Послесловие / Пильняк Б. Красное дерево // Дружба народов. 1989. № 1. С. 154, 155.)

Там же. *Среди других крупных прозаиков, уничтоженных в тот период... Артем Веселый...*— Артем Веселый (псевдоним; наст. Николай Иванович Кочкуров) арестован в конце октября 1937 г., расстрелян 8 апреля 1938 г.

Там же. *И. И. Китаев...*— Ошибка переводчика: в действительности И. И. Катаев (1902—1937 [?]).

Там же. *Кольцов погиб, по-видимому, в 1949 году...*— М. Кольцов расстрелян 2 февраля 1940 г. (См.: Ваксберг А. Процессы // Литературная газета. 1988. 4 мая. С. 12.)

Там же. *Среди репрессированных, которым удалось выжить,— Юрий Олеша...*— В действительности Ю. Олеша репрессирован не был.

№ 6, с. 155, прав. ...*в августе 1937 года он* [Н. Клюев — *Ред.*] ...*исчез бесследно...*— Н. Клюев арестован в Томске 5 июня 1937 г., приговорен к расстрелу 13 октября 1937 г., расстрелян 23—25 октября (так в документе об исполнении приговора) 1937 г. (См.: Субботин С. Последние дни поэта // Литературная газета. 1989. № 20. 17 мая. С. 6.)

№ 6, с. 157, прав. ...*поэт* [О. Мандельштам — *Ред.*], *вероятно, и умер 27 декабря 1938 года.*— Предполагаемая дата смерти О. Мандельштама в настоящее время подтверждена документально. (См.: Нерлер П. Последние фотографии // Литературная газета. 1989. № 16. 19 апреля. С. 7.)

№ 6, с. 158, лев. ...*Бориса Корнилова, расстрелянного в 1937 году...*— Б. Корнилов арестован 20 марта 1937 г., расстрелян 20 февраля 1938 г. (См.: Дмитриев А. Как погиб поэт // Неделя. 1989. № 26. С. 5.)

Там же. ...*О. Щербинская...*— Описка переводчика: в действительности Ольга Сергеевна Щербиновская.

№ 6, с. 158, прав. *На следующий день* [т. е. 15 июня 1939 г.— *Ред.*] *Мейерхольд был арестован. «Театральная энциклопедия» датирует его смерть 2-м февраля 1940 года; «Малая советская энциклопедия» дает другую дату — 17 марта 1942 года.*— В. Э. Мейерхольд арестован 20 июня 1939 г., расстрелян 2 февраля 1940 г. (См. напр.: Из архива Т. В. Мейерхольд-Воробьевой // Театральная жизнь. 1989. № 5. С. 2, 3.)

№ 6, с. 159, дополнение к прим. 7). Доносы Н. В. Лесючевского на Б. Корнилова (от 13 мая 1937 г.) и Н. Заболоцкого (от 3 июля 1938 г.) см.: Лесневский С. Донос // Литературная Россия. 1989. № 10. 10 марта. С. 10—11.

№ 10, с. 126, прав. ...*Спустя еще несколько дней Бела Куна арестовали... Казнен Бела Кун 30 ноября 1939 года...*— Бела Кун арестован 28 июня 1937 г., приговорен к расстрелу и расстрелян 29 августа 1938 г. (См.: Дорохин В. Д. Новые данные о гибели Белы Куна // Вопросы истории КПСС. 1989. № 3. С. 34—35.)

№ 11, с. 144, прав. ...*12 января 1940 года был расстрелян... нарком просвещения Бубнов.*— А. С. Бубнов расстрелян 1 августа 1938 г. (См.: *Биографии*, с. 88.)

Редакция выражает благодарность профессору ЛГУ Анатолию Моисеевичу Вершику за помощь в осуществлении публикации книги Р. Конквеста «Большой террор».

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КЛУБ
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Н. В. ФЕДОРОВ,
министр юстиции РСФСР,
член Верховного Совета СССР

М. Н. ПЕРФИЛЬЕВ,
профессор, ведущий научный сотрудник
Института философии АН СССР

ПОДВОДНЫЕ РИФЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

Период, который переживает наша страна, получивший имя «перестройка», отнюдь не закономерное явление, отражающее поступательное развитие общества от более низкого уровня к более высокому. Нас «экспериментально», нарушая объективный ход истории, завели в «перестройку». Все, что предшествовало ей,— экологические катастрофы, распад науки, социальная и физическая нищета миллионов людей,— есть момент экстремальный, подобный стихийному бедствию, которое угрожает сегодня исходным предпосылкам существования нашей жизни. Устранение обстоятельств, ведущих к пропасти, сохранение природы, общества и человека, утверждение гражданских отношений, прав людей, выработанных цивилизацией,— главное, что связано с перестройкой.

Социализм как реальность, ориентированный на свободное развитие каждого человека, выступающего условием свободного развития всех, может существовать и расцветать только на такой основе. В нашей стране развился антипод социализму — корпоративный строй, основанный на крайне циничной коммунистической демагогии. Перестройка, разумеется,— не шараханье вспять от социализма в его научном истолковании, вместе с тем она не совместима с принципом «тут мы все должны быть в одной связке».

Чтобы предотвратить развал, который со зловещим ускорением поражает наше общество, важно выявить его причины и ответить на вопрос: как же их устранить? Советскому обществу в первую очередь смертельную угрозу несут гипертрофированные непроизводительные расходы и потери во всех отраслях народного хозяйства.

РАСХОДЫ И ПОТЕРИ

Кто знает реальную картину национального разорения, вызванную бесхозяйственностью? «Недавно в нашей печати,— сообщила 25 апреля 1990 г. «Литературная газета» (автор публикации А. Борин),— промелькнули убийственные цифры. Прямой материальный ущерб, нанесенный нам за четыре года войны, равен был 679 миллиардам рублей. А вот убытки от нашей нынешней бесхозяйственности по некоторым оценкам составляют ежегодно 600 миллиардов рублей. За один мирный год мы теряем почти столько же, сколько за все четыре военных года». Если А. Борин имел в виду статью одного из авторов «По неполным данным» («Известия», 1990, 4 января), то он не отразил в публикации существенную деталь — убийственные цифры — *неполные*. Но и они, почти равные национальному доходу, являются тормозом перестройки в проведении экономической и социальной реформы.

О чем идет речь, когда мы говорим о непроизводительных расходах и потерях? Первые — непроизводительные расходы — представляют собой экономически необоснованные бюджетные и внебюджетные затраты, штрафы, незаконные выплаты и недоплаты, растраты, хищения денежных средств и материальных ценностей. Вторые — непроизводительные потери — следствие нарушения технологических процессов производства, требований эксплуатации оборудования, производственных систем; непроизводительного потребления, а подчас и просто неиспользования материальных и трудовых ресурсов; нарушение правил перевозки и хранения продукции. Отмеченные расходы и потери в отраслях народного хозяйства, как правило, взаимосвязаны. Они раскрывают само явление — *ущерб* — одновременно, но с разных сторон, со стоимостной и с вещественной.

Здесь не учтены убытки, порожденные отставанием нашей фундаментальной и отраслевой науки от науки развитых капиталистических стран; ошибки при разработке и внедрении новых технологий, процессов и конструкций; слабость экспериментальной научной и производственной базы и прочее.

Проведен водораздел между потерями и отходами. По расчетам ученых «из общего объема природного вещества, вовлекаемого в общественное производство, форму конечного продукта, потребляемого обществом, принимает лишь 1—1,5 %. Остальные 98,5—99 % представляют собой «отходы» производства» (Социализм и прогресс человечества. Глобальные процессы цивилизации. М., 1987. С. 387). Потери соотносятся лишь с конечным продуктом, потребляемым обществом.

Казалось бы, убийственные цифры расходов и потерь, названные центральными газетами, ЧП не только для общественного мнения, но и для органов власти и управления, для политического руководства страны. Но определяющие деятельность руководства ориентиры Госкомстата СССР иные, они... в 15 раз ниже, а то и более. В 1988 г., именно этот год взят как базовый в статье «По неполным данным», по подсчетам центрального статистического ведомства ущерб от потерь в народном хозяйстве страны не превышал 40 млрд. руб. (ущерб материальных ресурсов определялся суммой в 36,4 млрд. руб., потери живого труда в промышленности — в 2,8).

Расчет Госкомстата в качестве официального был представлен Верховному Совету СССР, правительству страны. Он был включен в доклад члена Политбюро ЦК КПСС В. А. Крючкова «Великий Октябрь и обновление советского общества» («Правда». 1989. 5 ноября). В нем отмечалось: «Народное хозяйство несет огромные потери... Эти потери сопоставимы с годовым объемом капитальных вложений в жилищное строительство (в 1988 г. капитальные вложения в жилищное хозяйство, включая индивидуальное строительство, определялись в сумме 35,6 млрд. руб.— *Авторы.*). Чтобы как-то восполнить столь крупные убытки, приходится затрачивать свыше 40 миллиардов рублей капитальных вложений и труд двух с половиной миллионов человек».

Однако какой-либо положительной реакции на крайне острый сигнал, ставший достоянием общественности — желания вникнуть в причины ножниц в цифрах, проверить, проанализировать расчеты и прочее — со стороны лидеров не последовало. Случайность? Недоверие информации? Первое — исключено, второе — возможно. Следует иметь в виду, что расчеты, ставящие под сомнение цифры Госкомстата об ущербе от потерь, были не только опубликованы, но и переданы одним из авторов статьи в середине февраля 1990 г. Председателю Верховного Совета СССР А. И. Лукьянову и, как депутатский запрос, Председателю Совмина СССР Н. И. Рыжкову — от должностных лиц, как говорится, ни слуху ни духу. И это при том, что такое молчание есть нарушение конституционного права народного депутата — ответ на запрос, как известно, должен даваться безотлагательно.

Скорее всего, молчание правительства определяется не его сомнением в правильности расчета, выполненного официальной рабочей группой Комитета по законодательству, законности и правопорядку, а боязнью признать истинную величину потерь, страхом перед общественным мнением и общественным движением, ибо непроизводительные расходы и потери в

их действительной величине не учитывались и не учитываются ни в прошлых планах, ни в настоящих. Не приняты они во внимание и в докладе Совмина СССР второму Съезду народных депутатов СССР «О мерах по оздоровлению экономики, этапах экономической реформы и принципиальных подходах к разработке тринадцатого пятилетнего плана».

Какова же реальность? В правительственной статистике большая часть расходов и потерь не показана, она учтена лишь в качестве необходимых затрат производства, в результате чего искажаются все социально-экономические показатели: данные о валовом общественном продукте, о произведенном национальном доходе, о производительности труда и многие другие. Система обмана породила массу парадоксов. Один из них: чем значительнее развал в народном хозяйстве, тем, якобы, больше благ и услуг оказывается населению, то есть нам с вами. Бред,— скажете вы? Хуже. Вызванные преступным управлением целодневные и внутрисменные простои, отвлечения тружеников «на сторону» — в колхоз, на стройку, на овощебазу, полная бесконтрольность при использовании и хранении оборудования, материалов, сырья, разворовывание материальных и финансовых ценностей и тому подобное — все это представленное в стоимостном выражении как созидание подается как миф о стабильности и прогрессе социалистического, то есть государственного производства.

Если Правительству и Президенту сознаться, что в народном хозяйстве (и в обществе) правит не закон, а воля вышестоящего, директива, как изловчиться и, сохраняя видимость правопорядка, обойти и учет, и контроль. Как объяснить, что парализовало производство, лишило большинство населения самого необходимого — пищи, одежды, жилья, то наверняка суда им не избежать. Ответ надо будет держать перед обездоленным ими большинством. Словами: «Простите, ошиблись!» — тут уже не отделаться.

Попытки раскрыть тайну, познать реальную картину пресловутых расходов и потерь были и в застойные, и в перестроечные годы. Реакция партийно-коммунистического и государственного аппарата на такие попытки была и остается негативной. В полной мере секрет по сей день за семью печатями. Но и то, что стало известно, побуждает вновь и вновь возвращаться к данной проблеме.

На первой сессии Верховного Совета СССР 13 июля 1989 г. один из авторов (Н. В. Федоров) выступил со специальным заявлением по вопросу сохранения ресурсов страны. Он сказал следующее: «Уважаемые депутаты... дает ли нам полную правду Госкомстат СССР? Если

мы не будем знать ее ...то не сможем проводить нормальную, обоснованную политику. Судите сами — есть ли она, эта полная правда? В этом году в Издательстве „Наука“ вышла книга, в которой я прочитал, что непроизводительные расходы и потери в целом в нашем народном хозяйстве составляют примерно 50 % материальных производственных затрат и оплаты труда в стоимостном выражении. Я не поверил, сделал запрос в Госкомстат. И. А. Погосов — зампред Госкомстата мне сообщил, что в 1985 г. такие расходы и потери составили примерно 17,5 млрд. руб., в 1987 г.— 24, в 1988 г.— 29. Ну, 29 миллиардов, это, конечно, очень много в год, но тем не менее это не 50 %... Тогда я обратился к автору работы, и вот что он мне сообщил.

В 1979 г. при Общем отделе ЦК КПСС была создана специальная группа. Ею были произведены самостоятельные расчеты непроизводительных расходов и потерь. Выяснилось, что цифры статуправления занижены. В 1978 г., например, они были меньше расчетных в 12 раз. Ущерб, выявленный группой, превышал 140 млрд. руб., а ведомством (Госкомстатом) — 11 млрд. руб. 13 марта на беседе с работниками этой группы... бывший до сих пор председатель ЦСУ М. А. Королев признал, что ведомство не имеет методики подсчета всех таких затрат, а потому многие из них остаются неохваченными. Он пообещал разработать методику. Группа вскоре была расформирована. Обещание тов. Королева некому было проверять и он его не выполнил...

Допустим, что экспертная оценка ученых ошибочна, и попробуем поверить в то, что сообщает Госкомстат. Возьмем, например, 1988 г., сельское хозяйство. По официальным данным, непроизводительные расходы и потери здесь составляли 9 млрд. руб. Но Н. И. Рыжков на первом Съезде народных депутатов СССР, сообщил, что только при переработке, транспортировке и хранении потери составляют, цитируя его слова, „четверть того, что выращивает село“. В 1988 г. село произвело продуктов где-то на 140 млрд. руб. Значит, потери только в сельском хозяйстве были равны 35 (хочу подчеркнуть, что речь идет не о всех потерях!), а не 9 млрд. руб....

Невнимание к проблеме может иметь серьезные негативные последствия. Игнорирование ее, как отмечалось, не позволит выработать эффективную политику перестройки. И, если начнется широкое внедрение подлинного хозрасчета, то произойдет выброс десятков миллионов безработных...

Нам надо жестко взять Госкомстат под свой контроль...»

Истинные потери, взятые в единстве, суммированные, потери как необъятная свалка невостребованного интеллекта и напрасного труда миллионов людей на 1/6 территории мира, по сей день не известны не только широким слоям трудящихся, но и народным депутатам. Сейчас общественное мнение должно осознать: уровень потерь — критический, а народные депутаты, если они реальная сила, должны консолидировать народ на предотвращение катастрофы.

Выступление народного депутата Союза, члена Верховного Совета СССР, изложенное выше, Правительством услышано не было (не последовало никаких решений). Вместе с тем, ни на II Съезде народных депутатов, ни на 3-й сессии Верховного Совета СССР, где рассматривалась концепция Правительства СССР по переходу к регулируемой рыночной экономике, слова по данной проблеме он больше не получал.

Так что же мы знаем о непроизводительных расходах и потерях в народном хозяйстве? Комитет Верховного Совета СССР по законодательству, законности и правопорядку при участии Комитета по экономической реформе запросил интересующие его сведения у центральных ведомств, министерств и учреждений. Запросы были адресованы Госкомстату, Госплану, Минфину, Госснабу, ВЦСПС, ГКНТ, Академии наук, КНК, Прокуратуре, МВД, Минюсту и КГБ. Информация поступила от всех организаций, кроме Госснаба.

Что выяснилось! Госкомстат сопроводил свои материалы следующим пояснением: «При анализе представленных материалов следует иметь в виду, что данные отчетности, характеризующие потери, в ряде случаев не совсем объективно отражают действительность. Предприятия нередко скрывают свою плохую работу по ресурсосбережению, нерациональному использованию рабочей силы, производственных фондов, стараются отнести непроизводительные расходы и потери на себестоимость выпускаемой продукции» (И. А. Погосов. 3 августа 1989 г.). И, далее: «Системный счет показателей, характеризующих динамику инфляционных процессов и покупательной способности рубля, индекса стоимости жизни, а также индексов цен и тарифов на платные услуги, намечается с 1990 г.», «расчет уровня и динамики оптовых цен на продукцию производственно-технического назначения будет осуществляться с 1990 г.», «некоторые запрашиваемые Вами данные не входят в компетенцию органов государственной статистики, так, расходы на оборону, на космические программы и тому подобное. (Какие «тому подобные»? — *Авторы.*) Они являются прерогативой Минобороны СССР и Минфина СССР»; «Госкомстат СССР не располагает... данными о числе безработных

и бездомных» (И. А. Погосов. 3 ноября 1989 г.).

Вывод: Госкомстат либо многого не знает, либо то, что он знает,— липа.

Госплан не прокомментировал свои расчетные данные. Надо полагать потому, что приведенные им показатели почти идентичны госкомстатовским. В справке Госплана отмечалось, что «в целом по народному хозяйству за 1988 год убытки (потери) от хозяйственной деятельности составили 29,7 млрд. рублей». Их величина, как мы видим, по сравнению с цифрой Госкомстата выше лишь на 0,7 млрд. руб.

Минфин собственный подсчет непроизводительных расходов и потерь не ведет, пользуется данными Госкомстата. В ответ на запрос он сообщил, что направляет «разработку данных Госкомстата о непроизводительных расходах и потерях на 3-х стр.», что «более подробными данными по этому вопросу (в разрезе видов, отраслей и республик) располагает Госкомстат СССР» (В. С. Павлов. 4 ноября 1989 г.). Но ведь Госкомстат отнес проблемы расходов на оборону, на космические программы и иные позиции (на охрану природы, импорт товаров) как раз к прерогативе Минфина. Стало быть, министерство финансов либо действительно не имеет каких-либо яаработанных расчетов (в таком случае — как верить Госкомстату?), либо Минфин скрывает свои расчеты от Верховного Совета СССР.

ВЦСПС в данном случае предстал, образно говоря, в виде «голого короля». Центральный совет профсоюзов, по сей день выступающий штабом «школы хозяйствования», «школы управления» производством, включивший в профсоюзный Устав «активное участие в создании материально-технической базы» общества, сообщает: «Расчетными данными по перечисленным в запросе вопросам (данными о материальных, финансовых, трудовых потерях в производстве», о «теневой экономике» в стране, о безработице.— *Авторы.*) не располагает» (К. Турысов. 23 ноября 1989 г.).

Как и Минфин, не имеют целостной реальной картины непроизводительных расходов и потерь в народном хозяйстве органы контроля и правопорядка страны — КНК, Прокуратура, МВД. Но ведь именно они должны видеть перед собой эту картину, иначе что значит «контроль» и «правопорядок». Оказывается, однако, истинные цифры расходов и потерь за пределами их компетенций. Кому же как не им необходимо системное знание о производственной патологии, порождаемой базисными ведомствами хотя бы, чтобы предвосхищать события, не зависеть от случая — письменного или устного сигнала об уже случившемся происшествии.

Записки союзных КНК и Прокуратуры, составленные по результатам проверок, касаются лишь некоторых сторон «деятельности» отдельных отраслей, лишь отдельных составляющих потерь. Записки не выводят на понимание общей картины, ибо не разъясняют ситуацию ни в целом, ни в ее основных чертах.

МВД не только не располагает «данными, характеризующими детальную оценку содержания „теневой“ экономики (основные и оборотные средства, рабочая сила, валовый продукт, прибыль)», но и не планирует «проведение такого всестороннего анализа этой проблемы» (Н. Демидов. 22 ноября 1989 г.). Непонятно, как при таких условиях можно если не побороть, то хотя бы потеснить организованную преступность в сферах производства и услуг?

Внешние признаки независимости в оценке производственных затрат (подсчет ведут ведомства, ормально самостоятельные по отношению друг к другу), создают впечатление, что, хотя и весьма робко, шепотом, идет поиск истины. Если, однако, принять во внимание объяснение потерям, данное Госкомстатом, сопоставить сведения других министерств и ведомств с теми, которые приводятся в докладах Правительства, то вскрывается сущностный момент — ведомства корректируют расчеты, прикрывая реальную величину ущерба, который каждую секунду ширится и растет.

Приходится констатировать, что проблемой технического перевооружения и реконструкции предприятий не владеет и ГКНТ. В записках Госкомитета СССР по науке и технике есть робкие упоминания о некоторых возможных и реальных потерях, вызванных, например, низким техническим уровнем отечественной продукции, недооценкой необходимости защиты металлов от коррозии и тому подобное, но сведения ГКНТ, данные как бы походя, не отражают сути вопроса.

Академия наук СССР в лице ее институтов, научных учреждений и советов, не считая отдельных научных сотрудников, также не имеет ни реального представления о проблеме, ни расчетных данных. Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса в 1988 г. выполнил расчеты по проблемам ресурсосбережения в народном хозяйстве, но они в основном являются прогностическими и исходят опять же из официальных данных Госкомстата. Такое положение объясняется, видимо, тем, что научный центр страны не получал ни должной информации о проблеме, ни заявок на ее исследование. В работах некоторых научных сотрудников содержатся расчеты отдельных видов потерь, но в них, как и всюду, нет общей картины явления.

Непроизводительные расходы и потери несут прямую угрозу нашему обществу, в виде разграбленного они щедро питают организованную преступность. Казалось бы, кому как не Комитету государственной безопасности СССР, иметь данные о «криминальном капитале». Запрос Комитета Верховного Совета СССР, направленный в КГБ, содержал просьбу предоставить информацию о потерях в народном хозяйстве, сведения о «теневой экономике», о незаконных валютных операциях. Ответ оказался отпиской. В нем сообщалось: «В связи с запросом... о предоставлении информации по вопросам потерь в народном хозяйстве сообщается следующее. В Комитете государственной безопасности СССР функционирует ряд небольших хозрасчетных предприятий и организаций, занятых строительством, ремонтом зданий и сооружений и оказанием платных услуг сотрудникам Комитета. В этих предприятиях и организациях в 1986—1989 годах ведомственным контролем выявлен материальный ущерб, причиненный переплатами, недостачами, потерями... Основная сумма материального ущерба взыскана с виновных должностных лиц... Незаконных валютных операций за указанный период в системе КГБ СССР не выявлено» (М. Ермаков. 10 ноября 1989 г.). Отписка с подтекстом: КГБ не знает о потерях в стране, КГБ считает только *собственные* убытки.

Так защищает Комитет нашу безопасность или он работает только на себя? Или, поскольку в тексте прямо не сказано — не собираем, не анализируем,— Комитет располагает данными, но тоже скрывает их от Верховного Совета и народа в интересах определенных руководящих структур и лиц?

Не знает реальной картины непроизводительных расходов и потерь и Академия народного хозяйства при Совмине СССР, задача которой знать практику, выступать оппонентом ведомств и министерств по проблемам развития производства, готовить для Правительства научные экспертные оценки по актуальным народнохозяйственным проблемам. На запрос Комитета Верховного Совета АНХ ответила: «Планами НИР Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР не предусмотрено ведение исследований по оценке, определению причин непроизводительных расходов и потерь в народном хозяйстве. В связи с этим, к сожалению, Академия не может предоставить результаты анализа и предложения по интересующему Вас вопросу» (А. А. Модин. 13 октября 1989 г.).

Итог: ведомства, министерства, центральные учреждения не располагают сводными, достоверными данными о непроизводительных расходах и потерях, не владеют методикой их учета.

Однако насущно необходимо, чтобы полное знание о таких расходах и потерях было установлено и обнародовано, даже если это вызовет изжогу у представителей руководящих структур, вельможных профессионалов-управленцев. Конечно же, наш призыв вызовет у них бурный протест, ибо знание народом истинного положения дел в народном хозяйстве высветит не только их профессиональную несостоятельность, но, что еще хуже, чью-то связь с «теневой экономикой», а чью-то с организованной преступностью. Сегодня распад производства, ставший глобальным в нашей стране, нельзя остановить узким кругом доверенных лиц, втихую. Необходима инвентаризация всех составляющих производства, причем не стоимостная, не на глазок и не по анкете. Если причины распада не устранить, то народные депутаты от Союза до поселка, Правительство страны, местные Советы и исполкомы будут обречены. Они вынуждены будут исходить из ложных, «дутых» ориентиров, принимать ненужные народу и делу решения, выдвигать прожектерские планы.

Вот что стоит за отписками приведенных нами министерств, ведомств, других учреждений.

Госкомстат информирует... А в действительности? Возьмем базовым 1988 г., известный в нашей печати как поворотный. Весь мир узнал, что вопреки мрачным прогнозам скептиков (консерваторов и прогрессистов на час!) «удалось остановить сползание к кризису в экономической, социальной и духовной сферах» (М. С. Горбачев. XIX Всесоюзная конференция КПСС. 1988 г.).

Какие были основания для такого заявления? Весьма вероятно, что основным аргументом явились расчетные данные Госкомстата.

В 1988 г. ведомство весьма оптимистично определяло состояние народного хозяйства. В его интерпретации показатели «потери материальных ресурсов» и «потери рабочего времени», которые, образно говоря, есть термометры, отражающие болезнь производства, не внушали беспокойства. Они якобы составляли «около 40 млрд. руб.», были чуть «более 2 % от совокупного общественного продукта». Когда же исключались штрафы от общего числа потерь, поскольку-де здесь имеет место перекладывание средств из одного кармана государства в другой (от предприятия к предприятию), то картина становилась более радужной, убыток уже был не 36,4, а 29 млрд. руб. Нужно сказать, что последняя цифра часто фиксировалась в документах как исходная не только Госкомстатом, но и Госпланом, и Минфином.

Каково же действительное положение дел в народном хозяйстве в использовании материальных и трудовых ресурсов? Каков ущерб от непроизводительных расходов и потерь? Возьмем две ведущие отрасли — промышленность и сельское хозяйство, определяющие состояние дел в стране. Соотнесем расчеты потерь материальных и трудовых ресурсов, выполненные и представленные Госкомстатом, с отдельными расчетами, не совпадающими с официальными статистическими, содержащимися в докладах Президента и руководителей Правительства, в выступлениях министров и глав центральных ведомств, не совпадающие с оценками некоторых ведомств и с расчетами Академии наук СССР. Выявим ножницы между альтернативными величинами, отдавая себе отчет в узости подхода, ибо взяты не все отрасли.

Как следует из расчетов Госкомстата, в промышленности в 1988 г. ущерб от потерь материальных ресурсов исчислялся в 20 млрд. руб. В числе «болевых точек» им названы: порча сырья и оборудования, брак, снижение качества продукции, недоиспользование отходов производства. В общем итоге ущерб, причиненный небрежным хранением сырья и оборудования, самый незначительный, менее десяти процентов. Теперь посмотрим альтернативный расчет. 3 июля 1989 г. в Верховном Совете СССР выступал зам. председателя Совмина СССР, председатель Госснаба СССР П. М. Мостовой. Касаясь бесхозяйственности в стране, он сказал: «Что бы мы ни говорили, ...а промышленной продукции погибает ежегодно на наших глазах 50 процентов. Ресурсы идут в отходы. В том числе при перевозках навалом, без тары, из-за неотработанных технологий, при раскрое и переработке, из-за плохого открытого хранения, из-за брака в работе» (Бюллетень первой сессии Верховного Совета СССР. 1989. № 10. С. 11). Что это означает на языке цифр? В 1988 г. объем промышленной продукции определялся в 903 млрд. руб. и, следовательно, в промышленности убыток по позиции «порча продукции» (не по всем, а только по *одной*!) был равен 451,5 млрд. руб. Величина убытка, связанная с гибелью промышленной продукции, занижена статистическим ведомством в 22,5 раза. Отметим, что Статуправление не опровергло расчет, обнародованный Мостовым, ни в Верховном Совете, ни на страницах печати, не привлекло его к ответственности за клевету. В свою очередь и Правительство не дало оценку ни выступлению руководителя Госснаба, ни «молчанию» Госкомстата.

Далее, из записок ГКНТ и Академии наук СССР, представленных в Комитет по законодательству Верховного Совета СССР, видно, что Госкомстатом существенно занижены потери и по другим позициям. В промышленности ежегодно в связи с «теряемым» сырьем расходуется на добычу его (капитальные вложения) 60—90 млрд. руб. Издержки на ремонт промышленной продукции из-за низкого ее качества составляют примерно 40 млрд. руб. Недоиспользование вторичного сырья и отходов производства повышает затраты первичного сырья в промышленности на 85—100 млрд. руб. в год. Так называемая «антикоррозийная политика» в указанный промежуток времени составляет 60 млрд. руб. На 65 % промышленных объектов страны не осваиваются и не используются свободные мощности. В результате материальные ресурсы страны сокращаются на 50 млрд. руб.

Если к сумме убытка от гибели промышленной продукции, определенной Госснабом, прибавить другие потери, названные Госкомстатом и взятые в его исчислении, то и тогда по самым неполным данным величина его будет в 23 раза выше официальной; потери материальных ресурсов превысят 470 млрд. руб.

В сельском хозяйстве по расчетным данным Госкомстата ущерб от гибели сельскохозяйственной продукции в 1988 г. измерялся суммой в 5,2 млрд. руб. Ведомство учитывало потери продукции при уборке урожая, его транспортировке и хранении, потери при падеже скота, вызванные низкой продуктивностью стада, уменьшении веса скота при перевозках, передержках на убойных площадках, убытки в связи с хищением продукции. Сопоставим эти данные с альтернативными. В выступлениях М. С. Горбачева («Правда». 1988. 1 ноября; 1989. 16 марта) и Н. И. Рыжкова (доклад на первом Съезде народных депутатов СССР 9 июня 1989 г.) приведены цифры, показывающие, что на селе гибнет от 20 до 40 % произведенной продукции. В 1988 г. объем продукции сельского хозяйства определялся в 238,9 млрд. руб. Ущерб от потерь, следовательно, беря за точки отсчета 20 % и 40 %, был в пределах от 47 до 95 млрд. руб.

Из альтернативных расчетных данных мы берем за исходные, за более близкие к реальным те, которые даны в выступлениях наших лидеров. Они подтверждены экспертными оценками Академии наук СССР и ВАСХНИЛ. Анализ агропромышленного производства, проведенный Институтом экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР, показал, что только в сфере хранения, транспортировки и переработки сельскохозяйственной продукции потери и недополучения равны 56—64 млрд. руб. Госкомстат, следует отметить, не опроверг расчетные данные, использованные М. С. Горбачевым и Н. И. Рыжковым.

В этот раз ущерб от потерь сельскохозяйственной продукции занижен ведомством в 9—18 раз.

В стране потери материальных ресурсов не ограничены отраслями промышленности и сельского хозяйства, они значительно больше. К цифрам, которые известны, нужно добавить ущерб от потерь в строительстве, на транспорте, в области материально-технического снабжения, в торговле, в сфере услуг. По расчетным данным Госкомстата, ущерб от потерь во всех этих отраслях равнялся 11,2 млрд. руб. Имеются в виду убытки, вызванные ликвидацией не полностью амортизированных основных фондов, списанием затрат по неосуществленному и прекращенному капитальному строительству, уценкой товаров в торговле, дотацией на содержание жилого фонда, списанием дебиторской задолжности и некоторыми иными обстоятельствами. Имеются альтернативные расчеты (правда, не по всем отраслям и позициям), которые дают основания для сомнений в реальности и этих цифр. В 1988 г., например, «бросовые затраты» в строительстве превышали 24 млрд. руб. (В. Парфенов. Руины. Куда «ушли» 150 миллиардов рублей, отпущенных строителям? // Правда. 1989. 24 мая). Далее, в народном хозяйстве транспортные издержки оцениваются примерно в 120—130 млрд. руб. На «Деловом клубе» «Правды» выяснилось, что в их общем объеме велики нерациональные перевозки, которые никто не подсчитывает («Правда», 1988, 4 октября). И, наконец, самое наглядное и осязаемое каждодневно — сфера материально-технического снабжения. Значительная часть готовой продукции предприятий легкой и пищевой промышленности исчезает, не доходя до магазинов. Разница между валовым производством продукции предприятий и тем объемом, что приходит на базы, в магазины, «составляет... ежегодно 50—60 миллиардов рублей» (Круглый стол «ЛГ»//Литературная газета, 1988, 9 ноября). Госкомстат, отмечаем, никак не реагирует на такие сообщения, направляя свои материалы в органы власти.

Весьма занижены Госкомстатом расчетные данные о потерях рабочего времени, неверны как временные показатели, так и стоимостные. Ведомство уверяет, что в 1988 г. показатель потерь рабочего времени непосредственного производителя был в днях в среднем 0,5—0,9 %. Иными словами, каждый отдельно взятый труженик всякий раз, придя в цех, на стройку и т. д., не дорабатывал положенных ему от 2 до 4 минут. Возможно, что в светлом будущем, к которому мы стремимся, так и будет. Но на сегодня, полагаем, ведомство ошиблось или допустило подлог. В расчетных данных оно отразило не потери, если иметь в виду реальные процессы, а момент отсутствия у ч е т а потерь на предприятиях, в районах и т. д. Некоторое представление о проблеме дает статья рабочего Л. Ямшанова из г. Уфы, опубликованная в «Литературной газете» 30 апреля 1986 г. Он пишет: «...Шестой год я в своем коллективе и постоянно наблюдаю чаепитие в рабочее время, чтение книг, работу станка на холостых оборотах, шатающихся без дела людей... И особенно во вторую смену, когда из-за бесконтрольности потери составляют едва ли не треть рабочего времени. ...такое происходит не только у нас». После публикации прошло более четырех лет, но положение не изменилось, потери рабочего времени не только не уменьшились, но возросли.

Расчетные данные ученых, предоставленные ГКНТ и Академией наук СССР, перекликаются с наблюдениями рабочего. К фонду рабочего времени потери, по их оценкам, составляют 30 %. К «украденному» времени они относят потери, которые вызваны нарушениями производственного и трудового процессов,— внутрисменные простои (теряется в среднем 18 % фонда), целодневные простои (6 %), нарушения дисциплины со стороны рабочего, «узаконенные» отвлечения (колхоз, овощехранилище...), опоздания и неявки на работу.

Прошлые расчетные данные об использовании рабочего времени в отраслях народного хозяйства, выполненные группой ведомств в 1977 г., показывают причины ложности информации Госкомстата, которые он упорно не устраняет. Имеются в виду итоги обследования 249 предприятий Госкомтрудом, КНК, Госстроем, ЦСУ, ВЦСПС по поручению Совмина СССР (протокол № 4, п. 23 от 18 октября 1977 г.). Проверка включала сверку данных статистического и табельного учета, хронометрические наблюдения, фотографию рабочего дня, анализ первичных материалов. Что выявила она? Оказалось — на большинстве предприятий учет и контроль сведен к фиксации явок и неявок на работу, при этом к сокрытию прогулов. Выяснилось, что на многих объектах внутрисменные простои «вообще не учитываются», а там, где регистрируются, занижаются. В 1977 г., по данным статистики, в промышленности внутрисменные и целодневные простои, взятые вместе, к общему фонду рабочего времени составляли 1,5 %. Проверка уточнила цифру — в среднем 8—10 %, иногда до 36, причем только внутрисменные.

Взгляд в прошлое побуждает внимательно рассмотреть настоящее. Если вчера, в так называемые застойные годы, только внутрисменные простои поглощали до 36 % необходимого, но нереализованного труда, то какие потери таят в себе предприятия сегодня — в период распада производства? Может быть, 18 %, 30 % — лишь надводная часть надвигающегося на нас айсберга потерь? Какие силы заставляют Госкомстат молчать, осознает ли он последствия такого молчания для общества, для народов страны?

Расчетные данные Госкомстата о потерях рабочего времени не отражают положение дел во всем народном хозяйстве, они, можно сказать, деструктивны, лоскутны. В них нет информации об использовании труда в сельском хозяйстве. В период перестройки, в годы «борьбы с потерями» на селе, к которой призывал М. С. Горбачев на июльском Пленуме ЦК КПСС, Госкомстат исключил по инициативе бывшего Госагропрома СССР показатель таких потерь. В расчетах нет сведений об использовании живого труда в сфере торговли, материально-технического снабжения и заготовок. Если иметь в виду составляющие потерь рабочего времени, то и здесь открываются пробелы. Чтобы со знанием дела противостоять развалу производства и сферы услуг, необходимо в первую очередь знать реальные величины простоев предприятий — целодневные, внутрисменные,— ибо они, как видно из оценок ученых, определяют процесс. Сведения о внутрисменных простоях ведомство не публикует (в этом оно расписывается на странице 367 статистического ежегодника «Народное хозяйство СССР» за 1988 г.), не делает оно исключения и для Комитета по законодательству Верховного Совета СССР, хотя получило прямое указание Н. И. Рыжкова — «дать!» Не «дают».

Расчетные данные Госкомстата не дают верного представления об ущербе от потерь рабочего времени, наносимого стране непроизводительным, корпоративным руководством аппарата ЦК КПСС, Совмина СССР, центральными и республиканскими ведомствами и министерствами.

Ущерб от потерь рабочего времени Госкомстат, во-первых, оценивает теми издержками, которые сложились не во всех сферах народного хозяйства, а только в промышленности, в которой занято 32 % общей численности рабочих и служащих, и, во-вторых, он все время акцентирует внимание на недоданной продукции, тем самым как бы говоря, что здесь имеют место не столько потери, сколько нереализованные возможности, резервы. В итоге, Госкомстат «сигнализирует» о недоданной продукции из-за потерь на смехотворную а сравнении с истинной сумму 2,8 млрд. руб.

Потери рабочего времени, как мы знаем, удел не только промышленности. Они широко представлены и в других отраслях народного хозяйства. Больше всего, судя по прошлым данным,— в сфере агропрома. Госкомстат, считая потери, берет во внимание только рабочих, труд которых якобы только и поддается измерению, и абстрагируется от профессионалов-управленцев, специалистов и прочих категорий служащих. Ведомство лукавит: проблема измерения потерь вышеназванных категорий, конечно, существует. Она — в неразработанности критериев расчетов. Что же мешало нам за 70 послереволюционных лет не увязать рабочее время служащих с их производственной деятельностью? Только одно — труд профессионалов-управленцев в нашей стране крайне непроизводителен и опосредован установками политических лидеров. Стало быть, ответственность за издержки, порожденные негодным управлением, легче переложить на рабочих — они, мол, не отдают обществу положенное. Но служащие, и в первую очередь управленцы — составная часть рабочей силы, объективная реальность, без них нет производства, их обязанности четко определены. Нельзя не признать, что сегодня они не в равной, а в значительно большей степени, чем рабочие, виновны в развале производства.

Госкомстат, высчитывая ущерб от потерь рабочего времени, прямо связывает его с недоданной продукцией. Ущерб определяется путем умножения трех величин — среднедневной выработки рабочего в стоимостном выражении, численностью рабочих и количеством потерянных человеко-дней. В связи с тем, что при подсчете имеются в виду только рабочие, ущерб, как правило, сопрягается с их работой, им в основном приписываются и так тщательно подсчитываемые «украденные миллионы» (комментарий В. Бровкина к пресс-выпуску Госкомстата//Правда. 1989. 16 июля). Но недоданная продукция, приходится напомнить, есть всего-навсего нереализованная возможность, и, как таковая, она определяет не конкретный рабочий труд, а труд управленческий; подсчетам недоданной продукции предшествуют экспертные оценки учитываемых величин. Недоданная продукция может быть следствием нерадивости рабочих, но тогда вина их должна быть доказана. Госкомстатом вина рабочих постулируется априори. Тем самым, прикрывая корпоративное управление, Госкомстат сшибает лбами рабочих с другими группами населения.

Ущерб от потерь рабочего времени вовсе не в рабочих: он и в оплате как невыполненного, так и ложного, никому не нужного труда, оплате простоев, отвлечений, «мертвых душ», числящихся в ведомостях на зарплату — что является сутью некомпетентного управления. Здесь действительно мы имеем дело с непроизводительными расходами, то есть уже с украденными не миллионами, а миллиардами. В 1988 г. в промышленно-

сти, принимая потери рабочего времени промышленно-производственного персонала, как его именует статистика, непроизводительные расходы, расчетно, составили 23,7 млрд. руб. Если такие потери применить ко всей численности рабочих и служащих при аналогичных условиях, то цифра возрастет до 63,9 млрд. руб. Понятно, что эти суммы, пущенные в оборот «ни за что», не покрываются товарной продукцией. По расчетным данным ученых (материалы Академии наук СССР), в год, ориентировочно, при 30-процентном неиспользовании рабочего времени выплачивается «83 млрд. руб.».

К непроизводительным расходам есть все основания отнести 40 млрд. руб., которые идут на оплату ненужного обществу корпоративного аппврата управления. Здесь ущерб от потерь рабочего времени составляет не 30, а все 100 %.

Что же касается величины недоданной продукции, резерва нашего развития, то она, можно полагать, измеряется не миллионами, как утверждает Госкомстат, а милливрдами.

Так сколько же их? Полной картины того тупика, в который зашла наша страна, конечно, не показать. По одним отраслям народного хозяйства, как мы видели, расчетных данных нет, ни статистических, ни каких-либо иных, по другим они есть, но нередко взятые «с потолка». Учитывая это обстоятельство, альтернативные расчеты, которые официально никто не опроверг, ближе к истине, чем те, которые представил Госкомстат. Приняв во внимание совет Госкомстата,— «необходимо учитывать, что прямое сложение приведенных показателей, характеризующих низкую эффективность производства, в ряде случаев некорректно, так как часто они описывают разные стороны одного и того же явления и это может привести к повторному счету» (И. А. Погосов. 3 августа 1989 г.),— суммируем данные за 1988 год.

Что же мы увидим? В промышленности, при всей неполноте перечня потерь, значительной заниженности некоторых показателей, ущерб был в пределах от 564 до 594 млрд. руб. (в том числе: потери от недоиспользования сырья — 60—90 млрд. руб., от недоиспользования отходов, потерь сырья — 13 млрд. руб., из-за гибели готовой продукции — 451 млрд., ремонт промышленной продукции по причине ее низкого качества — 40 млрд.). В сельском хозяйстве фиксируем ущерб от 47 до 95 млрд. руб. только по одному поквзателю — гибели произведенной продукции, так как не располагаем расчетными данными потерь, связанными с варварским обращением с землей, скотом, семенами и с техникой. В строительство учитываем «бросовые затраты» в сумме 24 млрд. руб.— потери от списания расходов по неосуществленному и прекращенному строительству; опускаем потери, созданные так называемыми «долгостроем» и «незввершенкой», не располагая стоимостной информацией. В сфере материально-технического снабжения, торговли и заготовок принимаем во внимание потери готовой продукции, исчисляемые в 50—60 млрд. руб.

В сфере труда, где рабочее время на треть не связано с производством, но оплачивается, потери соотнесены с ненадлежаще выплаченной зарплатой. Нижняя планка ущерба не определена, а верхняя в таком случае близка к 63 млрд. руб.— за присутствие на работе.

Итак, в 1988 г. общие непроизводительные расходы и потери в народном хозяйстве нашей страны, подчеркиваем, по *неполным* данным, находились в пределах от 748 до 836 млрд. руб. Обращаем внимание, что величина потерь имеет тенденцию к увеличвнию, она будет меняться с появлением новых показателей и уточнением расчетных данных. В валовом общественном продукте, составлявшем 1525 млрд. руб., доля потерь была не менее 45—54 %.

В общем итоге не учтены экологические потери, которые существенно сужают материальные, трудовые и финансовые ресурсы, негативно влияют на процесс воспроизводства труда и социального развития. В связи с тем, что экологическое производство в стране не развивается, отмеченные потери будут все больше выступать дестабилизирующим фактором.

Из года в год к ранее имевшимся потерям добавляются все новые, причем все более грозные для производства. Поскольку мы не знаем общую картину потерь, то не можем выработать адекватную ренкцию на такие процессы. Так, по сей день не обеспечена необходимыми ресурсами кампания по ликвидации последствий аварии Чернобыльской АЭС. На бумаге они есть, а в действительности их нет.

Одна часть потерь, показанная Госкомстатом, лежит за порогом вновь созданного продукта, другая — составная его часть. Вычтем из общей суммы потерь те, которые официально названы ведомством (36,4 млрд.), и получим остаток, равный припискам, которыми устлан путь в корпоративный рай (711—829). Очистив статистический показатель — «валовой общественный продукт» — от таких наносов, увидим, что в нашем распоряжении новая стоимость, которая не превышает 814—696 млрд. Если из остатка вычесть 409 млрд. руб.— некоторые реальные затраты, которые были осуществлены (зарплата — 307,5 млрд. руб., пенсии —

56,5, армии — 77,3[1], космическая программа — 6.9, аварии и стихийные бедствия — 18), то сумма сократится до 405—287 млрд. руб., до уровня, когда общество не имеет возможностя не только расширенно воспроизводить свое производство, но просто повторять его. Уже в 1988 г. страна жила в основном не за счет своего производства, как это принято в цивилизованных странах, уважающих экономические закономерности, а за счет паразитического отношения к своим земельным и ранее накопленным материальным и духовным богатствам. В 1988 г. при совокупном общественном продукте в 1525 млрд. руб. и доли в нем материальных затрат 58,6 % для простого воспроизводства требовалось 895 млрд. руб., то есть в 2—3 раза больше материальных средств, чем имелось. Рост валового общественного продукта идет за счет включения в расчеты непроизводительных затрат и ложных стоимостей.

Оговвриваем, что расчетные даяные, приведенные выше, если иметь в виду нестрогость показателей Госкомстата, условны, но они показывают более или менее реальную картину состояния нашего народного хозяйства и тенденций его «развития».

«ТЕНЕВЫЕ» ОТНОШЕНИЯ

Если посчитать пустоту... Трудно поверить, но оказывается, информация, которую поставляет Госкомстат во все инстанции, имеет завесу прикрытия и создает ее столь могущественная организация, как Госплан СССР. В кулуарах правительственной кухни мифы статистического ведомства о валовом общественном продукте, о национальном доходе, о производительности труда, об использовании в производстве сырья, оборудования, трудовых и финансоных ресурсои начиняются стоимостным содержанием, или, иначе, «пустотой», если по-научному, то в них закладывается «повторный счет», и они становятся реальностью. С подачи ведомства повторный счет повсеместно вошел в практику планирования и учета.

Вот позиция Госплана по отношению к повторному счету, изложенная им в письме в Комитет по законодательству Верховного Совета СССР (А. Монов. 20 ноября 1989 г.):

«...Валовый общественный продукт представляет собой совокупность материальных благ, произведенных предприятиями отраслей материального производства. Определяется его объем как сумма валовой продукции отраслей материального производства. Поскольку он характеризует реальный экономический оборот в процессе воспроизводства, в нем содержатся элементы повторного счета. По примерным расчетам величина повторного счета колеблется в пределах 36—40 % стоимости общественного продукта.

В практике планирования и учета категория общественного продукта используется для характеристики структурных сдвигов в отраслевой и натурально-вещественной структуре общественного производства.

Национальный доход, который является вновь созданной стоимостью и используется для характеристики важнейших микроэкономических пропорций, определения ресурсов для потребления и непроизводственного строительства, повторного счета не содержит».

К письму был приложен расчет величины повторного счета в валовом общественном продукте за 1987 г. (в фактических ценах, в млрд. руб.).

Валовый общественный продукт	1464,5
Валовая продукция сырьевых (добывающих) отраслей промышлениости	74,5
Валовая продукция сельского хозяйства	218,5
в том числе:	
семена и корма	46.8
личное потребление	34,6
Валовая продукция сельского хозяйства без семян, кормов и личного потреблевия	137,1
Итого стоимость первичного сырья	211,2
Материальные затраты без амортизации	741,2
Величина повторного счета в валовом общественном продукте (материальные ватраты без амортизации и стоимости первичвого сырья)	529,6
Доля повторного счета в валовом общественном продукте (%)	36,2

Письмо и расчет — уникальная информация. Она раскрывает, можно сказать, как бы «теневую» деятельность Госплана. В своих методических рекомендациях к разработке государственных планов ведомство не излагает принципы повторного счета.

Показатель «повторный счет» — проблема для статистики не новая, и ей давно дана негативная оценка в науке, когда повторный счет включается в валовый общественный продукт. К. Маркс, анализируя подходы к изучению «годичного валового дохода нации», показал обман, содержащийся в практике использования двойного счета сырья (Соч. Т. 19. С. 398). В современной отечественной и американской экономической науке констатируется момент опасности отождествления суммы повторного счета с объемом реальной продукции. Реальный валовый продукт надо отличать от валового оборота.

[1] По некоторым данным сумма военных расходов в 77,3 млрд. руб. занижена минимум в 3,5—4 раза. («Нева», 1990, № 10.)

Смешение их «толкает производителей на искусственное расширение повторного счета, завышение цен и „вымывание" дешевого ассортимента» (Беседа с известным американским экономистом В. Леонтьевым//Правда. 1989. 27 февраля).

Что из себя представляет повторный счет на деле, можно судить по практике учета мясной продукции в г. Житомире, отражающей уловки Госплана. Об этом рассказал в своей статье, опубликованной в «Правде» (1989. 12 августа), начальник планово-экономического управления Житомирского облпотребсоюза Н. Пушкин.

«Продукция,— пишет он,—...в объеме товаров народного потребления засчитывается дважды. Один раз как мясо скотоубойных пунктов и второй раз уже в качестве изготовленных из него колбас и консервов. Иными словами, один бычок превращается в двух. В прошлом году наши экономисты решили не включать в план выпуска товаров народного потребления и в отчетные данные этот «воздух». Но из Госплана УССР, Госкомстата республики и Укркоопсоюза нас поправили, обязали с начала нынешнего года дважды учитывать одни и те же мясопродукты. Зачем? Ведь от того, что мифический бычок появится в отчетах, мяса на прилавках не прибавится. Значит, приписки, причем узаконенные, нацелены лишь на одно: создать хотя бы мнимое благополучие с товарами народного потребления. И, надо сказать, плановые органы в этом преуспели, если учесть, что только по нашему Житомирскому облпотребсоюзу сумма приписок ныне превысит 20 миллионов рублей. А сколько в стране еще областей, на сколько миллионов или даже миллиардов рублей появится «дополнительной» продукции! Так что аграрий должен быть благодарен госплановским работникам за их изобретательность и «помощь».

В письме Госплана отмечается, что в сумме валовой продукции «содержатся *элементы* (выделено нами.— *Авторы.*) повторного счета», которые колеблются в пределах «36—40 % стоимости общественного продукта». Валовый оборот, связанный с сырьем, представлен в счете полностью, не как элемент. Если же неточности в тексте нет, то, можно полагать, повторный счет есть удвоение, утроение и так далее не только стоимости сырья, но и оборудования, труда, то есть он представлен в сумме как материальных затрат (сырье, амортизационные отчисления), так и национального дохода. В связи с тем, что Госплан в «Методических рекомендациях» валовый продукт не связывает с необходимыми затратами, а подменяет его валовым оборотом, создаются условия, с одной стороны, для роста повторного счета, включения в валовый продукт незатратных стоимостей, с другой — для выведения из валового продукта ресурсов, которые не участвуют в образовании стоимости (сверхнормативные запасы, «незавершенка» в строительстве). Объем валовой продукции, по Госплану, «определяется как сумма стоимостей продукции».

Практика сокрытия потерь, абсолютизации стоимости, обособления ее от вещественного содержания, манипулирования стоимостями, когда, как в сказке, ущерб превращается в достаток, привела к неконтролируемым обществом гигантским залежам материальных ресурсов в виде сверхнормативных запасов, к бескрайним кладбищам «долгостроя», свалкам всевозможных материалов, якобы ничьих, а по сути — бизнесных для «теневой» экономики. Излишки материальных запасов исчисляются сегодня по-разному, но уже не десятками миллиардов рублей; они на порядок, а то и на два порядка выше. В выступлении М. С. Горбачева «сверхнорматив» обозначен в «200 миллиардов рублей» («Правда». 1990. 29 мая). Имеются иные расчеты. «Эксперты,— сообщается в прессе,— поднимают эту планку до 450—600 миллиардов, а бывший председатель АНТа В. Ряшенцев считает, что даже при приписываемом концерну размахе он тронул лишь верхушку айсберга и только — сырье и материалы традиционного экспорта, а весь айсберг — это брошенный, забытый, закопанный в землю триллион» («Комсомольская правда». 1990. 16 июня).

Бесконтрольность позволяет «сверхнорматив», определяемый как вторичное сырье, якобы высвобождающееся от использования первичного, продавать из-под полы, вывозить за границу. «Сверхнорматив» питает контрабанду, множит ряды коррумпированных сил, а «долгострой» позволяет представлять ликвидированные фонды как явные капитальные вложения, выводя реальные ресурсы из-под контроля и направляя их на строительство специальных объектов — персональных дач, офисов и прочее.

Казалось бы, Госснаб СССР, комитет по материально-техническому снабжению, должен держать в памяти все материальные ресурсы, включая сверхнормативные, и рачительно использовать их. Однако, судя по выступлению 3 июля 1989 г. на Верховном Совете СССР зампреда Совмина СССР, руководителя Госснаба П. И. Мостового, его ведомство не знает (или не открывает?) реальной картины «сверхнормативов». «Сверхнорматив» тем временем из рук ведомства уходит в «теневую» сферу. Получается, что вольно или невольно, в вопросе потерь Госснаб, Госкомстат и Госплан — как три богатыря держат единый фронт: на вопрос о «сверхнормативе» они отвечают либо молчанием, либо дезинформацией, либо некомпетентностью.

Народное хозяйство страны задыхается от дефицита финансовых ресурсов, нет реальных сумм на стимулирование труда, на страхование миллионов людей от нищеты. Непроизводительные расходы, вызванные простоями, оплатой ложного или ненужного и даже отсутствующего труда, существенно сужают фонд зарплаты, пенсионные и благотворительные затраты. И тем не менее в финансовой программе Минфина СССР, представленной им в Верховный Совет СССР с целью оздоровления экономики, и речи не идет о ликвидации непроизводительных расходов, министерство как бы не замечает их. Судя по материалам, полученным Комитетом по законодательству Верховного Совета СССР, оно не только не рассматривает вопрос о прекращении оплаты невыполненного и непроизводительного труда, но и не видит проблемы.

Итак, если подсчитать пустоту, то открываются, образно говоря, не только шалости Госкомстата, Госплана, Госснаба и Минфина. Их игры в «недосчет», «повторный счет», скрывают тот валовый продукт, который в результате всевозможных манипуляций выводится за пределы учета и контроля общества, изымается из народного достояния и переводится в сферу «теневых» отношений.

Вся контрольная служба страны, живущая за счет народа, расточающая слова верности ему, упорно не видит как этот же народ обкрадывается. В таких условиях слова «комитет *народного* контроля» звучат кощунственно и глумливо. Отменяемый сегодня в России, Прибалтике, Молдове, но не в Союзе, КНК — корпоративный орган, закрывающий глаза на «теневые» отношения, карающий тех, кто задевает интересы господствующей группы, служащей этой группе, но не народу.

Возня «теневых» дельцов вокруг непроизводительных расходов и потерь не случайна. Сегодня антинародные расходы и потери — это основной, определяющий источник бизнеса, создавшегося в нашей стране. Они позволяют, причем в большинстве случаев в рамках существующих законов, с одной стороны, обирать тех, кто создает блага, с другой — обогащать высшее руководство и его окружение, стоящих одновременно и у истоков власти и у истоков криминального бизнеса.

В стране по мере разрушения общественного производства и расширения «теневого» поляризуются две тенденции. Одна тенденция — это переключение последствий развала на трудящихся, на рабочих, крестьян и интеллигенцию, поскольку все теряемое и расхищаемое есть не чей-то абстрактный, а их реальный, осязаемый ущерб. Такое переключение прикрывается фразами, сочиняемыми аппаратом, мол-де потери, развал и прочее есть не столько следствие вины бюрократии, сколько — нерадивости трудовых коллективов. Вспомним почти хрестоматийные абалкинские слова: «Мы живем не хуже, чем работаем». Или еще: «Мы много говорили: государство, государство, государство. А в это время зачастую строили на скорую руку города, поселки, гибли, засорялись целые районы, портились реки и так далее. А что такое государство? Да это же мы с вами!». И еще: «Если бы дело было только в бюрократах, если бы только в них. Но ведь бюрократ опирается и на инертность трудовых коллективов, и на нежелание менять отношение к делу, менять формы отношения к работе, жизни. ...Мы ...в одной лодке» (М. С. Горбачев. Перестройка — рабочему классу, рабочий класс — перестройке//Правда. 1989. 16 февраля).

Конечно, нерадивость трудового люда плодит потери, но она, и это умалчивают наши лидеры, лишь результат первичного фактора — непрофессионализма управленческого аппарата, вошедшего в систему производства по мандатам партийных комитетов. Сбои в производстве, как бы ничейность ресурсов, нестимулируемый труд — все это плод деятельности бюрократического аппарата, отчужденного от народа. О взаимосвязи же между бюрократами и непосредственными производителями определенно можно сказать: вы не с нами и мы не с вами!

Другая тенденция: так как выброшенное и похищенное скрыто от глаз народа и его законных представителей — народных депутатов, так как выброшенное и похищенное находится вне контроля и вне критики — это открывает путь к отчуждению «потерянной» части национального дохода в пользу «власть имущих», к их сговору с предпринимателями «теневой» экономики по присвоению народного добра, к формированию мафиозных образований по распродаже государственных ценностей.

Теперь рассмотрим более подробно те тяготы, которые лягут на плечи трудящихся в связи с валом потерь и развалом производства.

В результате потерь отечественное производство отброшено почти на 20 лет назад, к началу 70-х годов. Сам факт влияния величины потерь на объем произведенного и чистого продукта, на размер фонда зарплаты и численность работающих — очевиден. Известно также, что увеличение затрат на производство, куда причисляют и потери, уменьшает затраты на потребление. Потери, приближающиеся к 100 % затрачиваемых в производстве ресурсов, ликвидируют общественный труд и фонд зарплаты, вызывают тотальную безработицу, нищету и голод. Это уже полный распад, реанимация такого производства невозможна. Когда потери

приближаются к 50 %, то производство еще живет, но это жизнь тонущего корабля, ежесекундно подающего сигналы SOS.

Если признать, что в 1988 г. непроизводительные расходы и потери составляли не 2,6 % к валовому общественному продукту, как об этом информирует Госкомстат, а 45—54 %, как это показано выше, то фонд зарплаты, включая выплаты из фонда материального поощрения, был равен не госкомстатовским 307,6 млрд. руб., а 162,8—139,2 млрд. руб., обеспеченных товарной массой; и среднемесячная зарплата рабочих и служащих была не 219,8 руб., а 105—90. Если же исходить из среднемесячной зарплаты в сумме 219,8 руб., то в обществе число фактически не работающих рабочих и служащих, по сути безработных, колебалось в пределах 61,6—71,4 млн. человек. В основу расчета уточненного фонда зарплаты взята доля фактического фонда зарплаты в 1988 г. в совокупном общественном продукте.

В том же 1988 г., как мы определили, из-за простоев не работала, получая зарплату, примерно треть тружеников, то есть 38,6 млн. человек. Вычтем из числа фактически неработающих эти миллионы людей, вынужденных трудиться не все рабочее время, жить в условиях уравниловки, то есть частично за счет других. В этом случае фактически не работающих было меньше — 23—32,8 млн. Но здесь надо иметь в виду следующее. «Обогащающиеся», но не производящие в процессе своего труда те или иные блага и услуги — те же безработные. Когда платить начнут не просто за труд, а за нужный людям конечный продукт, эти миллионы окажутся за дверями заводов и фабрик, их «оплачиваемая» безработица будет узаконена юридически.

Весьма справедливы высказывания, что в стране «немало путаницы и спекуляций, на базе которых сформировались и получили распространение представления, отождествляющие справедливость с уравниловкой», понятия и призывы к «борьбе с уравниловкой» (М. С. Горбачев. Перестройка — дело всех народов страны//Правда. 1989. 24 февраля). Не нужно упрощать проблему: уравниловка — следствие затратной системы производства и непроизводительного управления, а не путаницы и спекуляции. Призывы, за которыми не идут конкретные действия, компрометируют лидера. Если же серьезно говорить о «борьбе с уравниловкой», то есть затратным производством, то нужно предвидеть и сам итог акции — «выброс» за ворота предприятий как излишней рабочей силы, так и ненужных для процесса профессионалов-управленцев. По расчетам, только в этом случае безработными могут стать 40—50 млн. человек.

Но то, о чем идет речь, впереди. А сегодня, сейчас в стране, как показывают расчеты, не обеспечены средней ежемесячной зарплатой и, следовательно, в полной мере работой 23—32,8 млн. человек. В их числе, полагаем, лица как полностью не занятые на производстве (ищущие работу; «отчаявшиеся» найти ее, живущие случайными заработками, бродяжничеством), так и вынужденные трудиться неполный рабочий день (частично безработные). Явление стало настолько массовым, что возникла, по сообщению печати, «Ассоциация безработных», в орбите внимания которой «ни много ни мало — 23 миллиона человек» («Правда». 1989. 31 октября). Величина полностью безработных в числе незанятых определяется по-разному. ВЦСПС, например, в записке «О некоторых вопросах социальной, правовой и экономической защиты трудящихся в случае их увольнения», представленной в Совмин СССР 5 октября 1989 г., отмечает, что «в настоящее время более 6 миллионов трудоспособных советских граждан не имеют работу». Госкомтруд произвел расчет рынка труда на 1991 г. (без учета занятых). Здесь рынок оценивается «цифрой в 23,2 миллиона человек» («Известия». 1990. 11 мая). Учитывая фактор потерь, полагаем: число незанятых будет больше, существенно сократится доля тех безработных, кто сегодня еще успешно находит работу.

Сложилась, на первый взгляд, парадоксальная ситуация, которая, если и не полностью, то частично, снимает беспокойство. С одной стороны — незанятость, а с другой — «у нас сегодня, по словам М. С. Горбачева, 10 миллионов свободных рабочих мест» («Правда». 1990. 27 мая). Надо сказать, что факт наличия «свободных рабочих мест» не дает оснований для успокоения. Уточним понятие «свободные рабочие места». На языке профессионалов-управленцев — это недоиспользованные, недоосвоенные производственные мощности. Но, заметим, во-первых, такие резервы не всегда тождественны «свободным рабочим местам» и, как правило, они обусловлены острым дефицитом сырья, подчас отсутствием его, выходом из строя оборудования, большая часть которого физически изношена и морально устарела, взлетом затрат и сужением фонда зарплаты. Что это за «свободные рабочие места», которые не связаны с производством, с выпуском продукции? И, во-вторых, в тех случаях, когда все же такие места есть, они, как правило, рассчитаны на неквалифицированный труд, сулят работнику нищенскую зарплату, крепостническими условиями привязывают тружеников к производству. Ведомства, министерства паразитируют на труде «лимитчиков», «вахтовиков», солдат, силой загнанных в строительные батальоны, больных наркологических учреждений.

Публикации в прессе свидетельствуют, что положение в стране, если отвлечься от мифов, создаваемых аппаратом, определяет тенденция сокращения числа рабочих мест, роста безработицы. По свидетельству ВЦСПС, «проблема безработицы в государственном масштабе не разработана», «нет четкого определения понятия „безработный“, не отработана общегосударственная система помощи людям, оказавшимся по тем или иным причинам незанятыми в общественном производстве и т. п.» (К. Турысов. 23 ноября 1989 г.).

4 февраля 1988 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О внесении в законодательство Союза ССР о труде изменений и дополнений, связанных с перестройкой управления экономикой». По Указу администрация получила право при «достижении работником пенсионного возраста» либо миловать его (оставлять в должности), либо казнить (увольнять). Если оценивать Указ в связи с трудовым процессом, то никакого отношения к этому процессу он не имеет, ибо созидание сопряжено всегда с конечным продуктом, той или иной услугой, при этом совсем неважно, выполнен ли продукт молодым или старым работником. М. С. Горбачев, как только пришел к власти, омолодил значительную часть профессионалов-управленцев, но аппарат вопреки ожиданиям не улучшил, а ухудшил работу.

Что же представляет из себя Указ, повисший как дамоклов меч в виде ст. 33, п. 1^{1} КЗОТ РСФСР над головами почти 20 млн. пенсионеров и предпенсионеров, работающих в народном хозяйстве? Если соотнести этот перл «перестройки» со «Всеобщей декларацией прав человека», 40 лет тому назад провозгласившей — «Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы» (Декларация утверждена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.), то проявляется его антигуманность, реакционность. Указ лишает труженика, достигшего пенсионного возраста, быть субъектом предоставленных ему прав — самому решать, продолжать ли трудиться, либо уйти на пенсию. Указ воскрешает феодальное право, когда администратор выступает в положении господина, а труженик — крепостного. Указ противоречит не только нормам международного права, но и нашей Конституции. Вспомним: Основной Закон, утверждая право граждан на труд, обязывает их добросовестно трудиться, но не принуждает тружеников при достижении какого-либо критического возраста переходить на пенсию. Он не уполномочивает администрацию ломать волю людей. Он, судя по тексту, предоставляет гражданам свободу выбора — работать или нет — при условии, конечно, сохранения ими трудоспособности.

Какие же проблемы решают ведомства с помощью данного Указа? Вольно или невольно, но страх увольнения, провоцируемый администрацией среди пенсионеров и предпенсионеров, позволяет ей исключать из числа радикальных сил перестройки до 20 млн. рабочих и служащих, более того, употреблять их, имеющих наибольшие знания и опыт, против тех, кто выступает с критикой руководства. Указ, кроме всего, есть путь утверждения в трудовом процессе волевых, научно необоснованных ориентиров. Как ответить, например, на такие вопросы трудящихся: «Откуда взялось нелепое убеждение, что инженер может плодотворно работать лишь до 60 лет? Какими критериями это определяется?» («Правда». 1988. 18 января). В самом деле, почему, если 66 лет (В. А. Крючков), 67 (Д. Т. Язов) не предел для того, чтобы быть руководителем КГБ СССР, министром обороны СССР, 60 лет недопустимый возраст для инженера? И, наконец, Указ — средство поддержания неконституционного правления администрации. Здесь все как бы правильно — надлежащий исполнитель, норма права включает необходимые составные и прочее. Однако правовая форма в Указе взята усеченной, односторонней, исключающей волю второй стороны — трудящихся. Если Конституция гарантирует гражданину (как молодому, так и старому) право на судебную защиту, а ст. 18^{1} КЗОТ позволяет администрации сохранять трудовые отношения с работником пенсионного возраста при том, что он работает добросовестно, с полной отдачей, имеет высокие результаты труда, то спрашивается, почему Указ лишает гражданина возможности защищать свое право на труд в суде, где спор был бы рассмотрен по существу (как относится к работе? каковы результаты труда? и тому подобное).

В тесной связи с незанятостью стоит проблема нищеты. Идет расслоение общества, поляризация потребления или, иначе, рост социальной нищеты. Как известно, «социальная нищета» — индикатор, отражающий разрыв между уровнями жизни социальных групп, когда обогащение одной или нескольких групп идет за счет ограбления других. В стране выделилась элита, сосредоточившая в своих руках общественную собственность и власть, живущая «по потребностям», но не вносящая должный пай в общественный продукт. И это в то время, когда большая часть трудящихся ограничена в удовлетворении своих элементарных потребностей в питании, одежде, лечении, жилье, бытовых услугах и т. п. Наряду

с социальной нищетой, среди обобранного большинства ширится другая нищета — физическая, с ней связаны и отсутствие необходимых условий жизни, и недоедание вплоть до голодания и голодной смерти. В 1988 г. в стране, по официальным данным, если считать, что каждый рубль обеспечен товарной массой и не по рыночной, а по государственной цене, за чертой бедности или на уровне физической нищеты жило 36 млн. человек. В 1988 г., однако, товарные запасы покрывали только 28 копеек от рубля, причем не каждого, а учтенного только в Сбербанке. Цены колхозного рынка были в 2,8 раза выше государственных (расчетные данные Госкомстата). Следовательно, среднедушевой доход был существенно меньше примерно вдвое. В этом случае за чертой бедности уже не 36 млн., а 175 из 285, то есть 70 %. Из них 8 млн. живут на уровне голодного существования, ибо их реальный месячный бюджет менее 25 руб.

Различные источники — статистические и социологические данные, материалы ведомств, наблюдения журналистов и прочее свидетельствуют: поляризация групп в обществе возрастает, а обнищание усиливается. «Истинная нищета и неподдельные нищие», показывает пресса, стали сегодня одной из существенных черт Москвы. (Л. Сальников. Нищие//Огонек. 1990. № 22. С. 31). На Верховном Совете СССР народные депутаты говорили о том, что не где-нибудь, а в Ленинграде «сегодня умирают люди с голоду» (Бюллетень первой сессии Верховного Совета СССР. 1989. № 33. С. 27, 28).

И вновь приходится констатировать, что центральная власть ни конфликт общественных групп, вызванный несправедливым распределением благ, услуг, произволом при управлении людьми, ни нищету миллионов не замечает.

Схлестывание таких массовых явлений, как безработица, как нищета при развале производства, завязка их в один узел — все это равносильно смерчу. По мере усиления негативных процессов они ведут к разрушению не только социальных начал общества, к разрыву общечеловеческих связей, к гражданскому противостоянию групп, в руках которых могут оказаться новейшие средства уничтожения людей, к личностной деградации миллионов, к распаду семей, к нарушениям генотипа народов. Физическая нищета, как крайняя форма регресса, по данным науки, таит возможность увеличения груза патологической наследственности, приобретения новых мутаций.

Что делать, чтобы затормозить разрушительные процессы, как-то смягчить удары возможных потрясений? Одним из авторов статьи уже давался ответ на поставленный вопрос (Н. Федоров. «Лишние» люди//Строительная газета. 11 ноября 1989). Сегодня, как и вчера, для начала надо иметь расчетные данные, показывающие объективную, реальную картину непроизводительных расходов и потерь в народном хозяйстве, причем всех ресурсов — материальных, трудовых, финансовых в их вещественных и стоимостных измерениях. Потери, разрушающие общественное производство, сокращают фонды зарплаты, материального поощрения, пенсионный фонд, фонд социального развития, культуры, спорта, сужают сферу труда, вызывают безработицу. Мы должны располагать сведениями о занятости в народном хозяйстве, о внедрении в общественное производство новых технологий, процессов и конструкций, о стимулировании труда, о соотношении общественно-необходимых затрат на производство продукции с фактическими, о профессиональной подготовке рабочих и служащих. Все вместе взятые они явятся основной для экспертной оценки причин безработицы, для проработки путей расширения свободных рабочих мест. Предварительно предстоит разработать концептуальный взгляд на проблему — признать сам факт наличия у нас безработных, определить признаки безработицы и безработного, взаимоотношении между обществом, предприятием и безработным.

Аналогичную работу предстоит провести, ставя перед собой задачу приостановить, сузить рост социальной и физической нищеты в стране. Знание о непроизводительных расходах и потерях даст представление о той материальной базе, на которую можно опираться, определяя помощь нищим, бродягам, бездомным.

В настоящее время решение многих проблем связывается с переходом к регулируемому рынку. Отношения обмена, выражением которых является рынок, необходимое звено в системе экономических связей. В развитой или неразвитой форме, регулируемый или нет, но он всегда есть продолжение производства. В связи с этим проблемы сокращения непроизводительных расходов и потерь, безработицы и нищеты могут быть решены только при развитии производства. Их, конечно, можно решить и с помощью рынка, но тогда объектом купли-продажи будут уже не продукты производства, а само производство, а если оно окончательно распадется, то — сырьевые ресурсы страны. Кто же в таком случае явится покупателем? Ресурсы страны могут скупить предприятия, либо дельцы «теневой» экономики при участии связанных с ними лидеров и профессионалов-управленцев, либо зарубежные фирмы. В любом варианте трудящиеся будут ограблены.

Чем все это обернется для народа? Нации и народности страны потеряют не только свою собственность, но и свое лицо как суверенов.

Кто за кулисами? Если спуститься в царство «теневых» отношений, скрытого от глаз общества, то чудовищный поток потерь, определяемый наверху как безумие, воспринимается здесь иначе. Он, во-первых, не представляется в качестве однородного потока, несущего только ущерб, и, во-вторых,— спонтанного, ненаправляемого, нерегулируемого.

Итак, каковы сегодня «теневые» экономика и возвышающиеся над ними криминальные отношения, каковы возможности системы к перехвату разрушающегося производства, каковы силы, персонифицирующие явление? Обозначим некоторые основные признаки «теневой» экономики, поскольку трактовки ее встречаются разные, нередко к ней причисляют не только спекулятивную, но кооперативную и индивидуальную деятельность. «Теневая» экономика как деятельность группы лиц или отдельного лица, условно, приближенно к действительности,— антисоциальна и противоправна; исходная основа ее — присвоение чужого имущества или отчуждение чужого труда; нарушение, как правило, элементарных прав человека, например, права на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность; использование неправомерных способов обогащения. Если деятельность кооперативная или индивидуальная основывается на отмеченных признаках, то ее можно рассматривать как «теневую». Сам по себе факт использования наемного труда криминала не содержит, применение такого труда не тождественно его присвоению.

В случае, когда деятельность государства приобретает признаки антисоциальности, противоправности по отношению к труду его подданных, она приобретает как бы двойное измерение: а) гражданская, правован; б) корпоративная, «теневая».

В стране основное поле деятельности «теневой» экономики — сфера распределения и обмена (рынка). Судя по материалам, предоставленным Прокуратурой СССР и МВД СССР, основными источниками ее обогащения являются противоправные обменные операции различными ресурсами и готовой продукцией, скрытые от учета сделки и услуги, хищения, спекуляции, приписки, взяточничество. Но «теневая» экономика предпринимает шаги выхода и на производство: левые цеха (Е. Жбанов. Почему он ушел // Известия. 1990. 23 марта), наркобизнес (И. Иванов. Обнаружены подпольные плантации мака // Известия. 1990. 4 июня), втягивание в орбиту «теневиков» кооператоров.

Всесоюзный институт проблем укрепления законности и правопорядка Прокуратуры СССР в справке, представленной в Комитет по законодательству Верховного Совета СССР, отмечает, что в настоящее время «цена» «теневой» экономики сопоставима с объемом годового розничного товарооборота страны. Если взять бюджет в целом, сообщается в справке, то он, исчисляемый в «300—350 млрд. руб.», выглядит примерно так: денежная часть — «100—120 млрд. руб.», сокровища — золото, драгоценности, движимое и недвижимое имущество — «не менее 200—230 млрд. руб.». Криминальный капитал в руках «миллиардеров» агрессивен, разрушителен: он, говорят авторы расчетов, «активно работает, сам себя множит». Ситуация сегодня такова, что при наличии КГБ, МВД, Прокуратуры СССР группа подпольных дельцов, скупив все с баз и со складов, может противопоставить себя Правительству, «свести на нет» те мероприятия по оздоровлению экономики страны, которые оно представило второму Съезду народных депутатов СССР. В начале 80-х годов бюджет «теневой» экономики был в пределах 210—240 млрд. руб., за десятилетие он увеличился, как показывают расчеты, в 1,4 раза.

Из материалов МВД, Прокуратуры СССР, средств массовой информации следует — подпольный бизнес развивается не сам по себе, а при поддержке корпоративных сил ведомств и министерств, которые стоят за кулисами. Именно при их посредничестве создается и уходит на сторону дефицит, безналичный поток превращается в наличный. Иначе появление сотен миллиардов рублей, баснословных скоплений ценностей в подпольном мире не объяснимо. Определенная доля украденного у народа «теневиками» передается высокопоставленным «компаньонам».

Коснемся «теневых» отношений в сфере обменных, рыночных, операций различными ресурсами и готовой продукцией, в которой государственное регулирование наиболее действенно. На III Съезде народных депутатов СССР выяснилось, что как к созданию государственно-кооперативного концерна «АНТ», так и к его деятельности, суть которой — «под видом отходов производства и вторичного сырья скупались для реализации за рубежом дефицитные у нас металлопрокат, бронза, свинец, нержавеющая сталь, минеральные удобрения, изделия из цветных металлов и другие товары», включая танки «Т-72 с соответствующим штатным вооружением» (В Президиуме Совета Министров СССР // Известия. 1990. 31 января), приложили руку не только руководители производственных объединений и министерств (ННО

«Взлет» и других, Минавиапрома, Минрадиопрома и Минобороипрома СССР), но и «наше правительство» — «под документом стоят подписи товарищей Рыжкова, Гусева и других ответственных членов нашего правительства» («Известия». 1990. 16 марта). Оказалось, ибо высказывание на съезде не было опровергнуто, что «этот концерн совершал и предполагал совершать не только те операции, о которых шла речь, но и целый ряд других, в частности, продажу необработанных алмазов из Гохрана и другого очень важного стратегического сырья на суммы, исчисляемые десятками миллиардов», что правительство возложило «обеспечение экономической безопасности деятельности концерна на органы Комитета государственной безопасности», что «именно этому концерну было предоставлено право вывоза без лицензий (в нарушение закона) соответствующих товаров и сырья за границу» (Там же). Заявление Н. И. Рыжкова, сделанное на съезде, что «Правительство может ошибаться, но правительство у нас — некоррумпированное», не было, к сожалению, аргументировано.

В июле 1989 г. на Верховном Совете СССР был вскрыт ущербный для страны обмен в другой сфере — при продаже нефтепродуктов. Топливо вывозилось на базы западногерманской бункерной компании «Бамингфлот», расположенные в Сингапуре, Испании, Голландии, Южной Америке и в других точках мира, в которые заходят наши транспортные суда океанского плавания (около двух тысяч, плюс к ним суда фрахтуемые, плюс суда Минрыбхоза). Причастными к вывозу оказались Минморфлот, Минфин СССР и бывший Госкомитет по внешним экономическим связям Совмина СССР во главе с зампредом Правительства В. М. Каменцевым. Как это делалось?

«Пароходство Минморфлота отдает топливо „Бамингфлоту" — компании, которая несколько лет тому назад висела буквально на волоске от банкротства и которую Минморфлот по непонятным причинам вытащил за волосы из долговой ямы. В иные годы объем поставок топлива доходил до полутора миллионов тонн. Доставляли его советские танкеры из советских портов, портов ФРГ, Испании, Италии, других стран. Продается топливо Минморфлотом по номинальным ценам, взамен этого „Бамингфлот" предоставляет советским судам судовое топливо, так называемый бункер, по максимальным ценам. При этом страна несет огромные потери как топлива, так и инвалюты.

При существующем соотношении цен советские судовладельцы теряли до 200 килограммов топлива за каждую вывезенную тонну. По оценкам специалистов, валютные потери Минморфлота за 1982—1986 годы составили без малого 140 млн. долларов. Опасность заключается и в том, что компания овладела монопольным правом на покупку для наших судов топлива. За 12 лет существования компании „Бамингфлот" Минморфлот не создал в советских портах с помощью этой компании ни одной бункерной базы за исключением ленинградской» (Бюллетень первой сессии Верховного Совета СССР. 1989. № 29. С. 17, 18).

Аналогичное положение складывается и в сфере распределения, где все больше общечеловеческие, правовые принципы и нормы распределения благ и услуг вытесняются «теневыми», где право любой формы собственности опосредовано волей коррумпированных сил. Имущество, доходы каждого человека, зарабатывающего хлеб своим трудом, подвержены помимо официального «теневому» налогу, он извлекается из рабочего кармана с помощью хищений, приписок, спекуляции, взяточничества и прочих манипуляций.

По материалам Прокуратуры СССР, «теневой» бизнес извлекает средства отовсюду: 6—7 млрд. руб. от хищения учтенного или неучтенного имущества на предприятиях, в организациях и в учреждениях; 25—30 млрд. руб., присваивая часть дотаций, которые государство выделяет на закупку сельскохозяйственной продукции; 15—20 млрд. руб. с помощью приписок в строительстве; 2—3 млрд. руб., манипулируя бензином и зарплатой в сфере автомобильного транспорта... Список можно продолжить.

Пышно расцветает преступность и на госдотациях, якобы предназначенных для села, для уплаты за продукты. Как это делается, посмотрим на примере мяса.

Государственная субсидия на мясо составляет 20 млрд. руб. Закупочная цена килограмма мяса 4 руб., розничная — 2. «Получив деньги за закупку,— цитируем справку ВНИИ Прокуратуры СССР от 13.11.89 г.,— расхитители тут же половину присваивают, а другую половину по сговору с работниками торговли передают им для сдачи в банк в виде выручки якобы за реализацию мяса. В действительности ни закупки, ни продажи мяса не было, все эти операции производятся только на бумаге (бестоварные операции)». Но это еще не все! Если «заготовитель» сдает продукцию не в систему торговли, а в систему переработки, то тогда он может присвоить и вторую часть суммы. В системе переработки списывается ежегодно до двух млн. тонн мяса (12 % от заготовляемого объема), исчисляемый (по заготовительной цене) в 8 млрд. руб. Попав в систему торговли, мясо и здесь не перестает приносить «теневикам» дивиденды — «только 20 % его попадает населению по официальным каналам, а 80 % работники торговли сбывают нелегальным путем» (из справки ВНИИ Прокуратуры СССР).

Какова реакция Правительства на проблему? Ссылаясь на интересы народа, оно увеличивает дотации, по сути от народа отчужденные. По сообщению Н. И. Рыжкова, «сейчас дотации только по продовольственным товарам составляют около 100 млрд. рублей» («Известия». 1990. 25 мая).

Стабильным и обильным источником «теневой» экономики в сфере распределения является спекуляция. Организованная на отраслевом уровне, она смыкается с государственными структурами. В стране, по словам специалистов-криминологов, сформировался глобальный «черный рынок».

В начале 80-х годов (обращаем внимание — до перестройки!) свыше 60 % наших сограждан вынуждены были обращаться к спекулянтам — покупать у них товары. Нажива от перепродажи тогда составляла треть стоимости реализуемого (данные НИЭИ при Госплане СССР). В настоящее время, после пятилетнего обновления, почти все товары дефицитны, и потому продаются с приплатой, превышающей в 3—4 раза их розничную стоимость. Продажа производится из-под прилавка, нередко с базы, но чаще всего товары транзитом идут к оптовым спекулянтам. По расчетным данным дагестанских криминологов, сейчас примерно 90 % товаров продается через спекулянтов. Доход «теневого» сектора от перепродажи оценивается в 18—20 млрд. руб. (справка ВНИИ при Прокуратуре СССР).

Во многих сферах обслуживания из спекулянтов-оптовиков, руководителей ведомств и подведомственных предприятий, материально-ответственных работников и прочих лиц сложились организованные преступные группы, продающие по повышенным ценам номера в гостиницах, железнодорожные и иные билеты, запчасти, материалы, всевозможные промтовары, перепродающие как бы оптом скупленные дефицитные услуги и ценности, которые — по документам — все на месте, но в продажу по официальным расценкам не поступают. Так, работники автосервиса страны, получая ежегодно с Волжского автозавода запчасти, а их поступает более чем на 200 млн. руб., и продавая часть из них по 10-кратной стоимости, вынимают из кармана населения миллиард (данные ВНИИ при Прокуратуре СССР).

Готово ли Правительство перекрыть этот источник «теневой» экономики? Оказывается, нет! На II Съезде народных депутатов СССР В. В. Бакатин сказал: «В своем докладе Н. И. Рыжков, говоря о „теневой" экономике, справедливо отметил, что наша правоохранительная система не готова к борьбе с ней» («Известия». 1989. 23 декабря). «Правоохранительные органы,— свидетельствует МВД СССР,— выявляют в сфере экономики всего лишь до 10 % реально имеющих место посягательств на закон» (ГУБХСС и ГУУР МВД СССР. 1 ноября 1989 г.). Что касается ведомственного контроля, то его эффективность равна нулю. На предприятиях, где правоохранительные органы вскрывают хищения и другие преступления, министерские ревизоры бывали неоднократно, но... отклонений от закона не выявляли. Правительство СССР, зная это положение, не ликвидирует столь паразитическую систему надзора.

Весомым звеном системы «теневых» отношений является скрытая от народа и представительных органов власти паразитическая деятельность находящихся у власти лиц, удовлетворяющих свои потребности не в соответствии с внесенным ими в общий продукт трудовым паем, не в рамках очерченных им полномочий. Речь идет о неправовом пользовании этими людьми государственным имуществом и средствами — это и царские выезды за границу за счет казны, и сверхдачи метражом в 3 тыс. м^2, и «спецобслуживание», и прочее, прочее, прочее...

«Теневые» отношения такого рода укоренились среди политических лидеров и в аппарате ЦК КПСС, и в партийных комитетах на местах, среди руководителей и в аппарате Верховного Совета СССР, Совмина СССР, в органах власти и управления республик. Они вошли в жизнь всех министерств и ведомств, поразили многие местные структуры управления.

Так, все прошлые политические лидеры и профессионалы-управленцы от центрального до районного аппарата КПСС получили персональные пенсии, дающие им особые льготы, и сделано это за счет госбюджета. Для комиссий по назначению персональных пенсий было достаточно, что человек, будучи — обязательно — членом партии, работал в аппарате директивного органа. Иерархическая ступенька аппарата определяла статус пенсии. Работа в ЦК КПСС при определенном стаже, то есть если работник не перечил партийному руководству, автоматически влекла пенсию союзного значения. Для работников государственных органов власти и управления определяющими при назначении персональных пенсий были — партийность, работа в аппарате и занимаемая должность.

И сегодня прошлое довлеет над настоящим. Чем хуже дела в стране, тем больше, как показывает статистика, становится персональных пенсионеров, имеющих особые заслуги перед государством, тем больше тратится на них денег из кармана трудящихся. Если в 1980 г. было

421,8 тыс. персональных пенсионеров всех уровней (местных, республиканских, союзных), то в 1988 г.— 589,2; если в 1987 г. было 49,8 тыс. персональных пенсионеров союзного значения, то в 1988 г.— уже 56,5. В 1987 г. сумма выплат в месяц пенсионерам союзного значения была 6,3 млн. руб., в 1988 г.— 7,4 (не считая сопутствующих льгот).

Лидеры и их окружение не отрешились пока от прошлого, они, можно сказать, все еще воспроизводят его. В связи с этим примечателен документ, присланный из Бурятской АССР в Комиссию Верховного Совета СССР по рассмотрению прибылей.

«Начальнику УКСа горисполкома товарищу НЕЧАЕВУ В. П.

Финхозотдел обкома КПСС просит учесть при проектировании 105-квартирного жилого дома по ул. Профсоюзной в жилом блоке по долевому участию обкома партии (40 квартир) следующие дополнения:

1. Полы в жилых комнатах и коридорах предусмотреть из штучного паркета.
2. Обои в жилых комнатах и коридорах предусмотреть повышенного качества.
3. Отопление выполнить чугунными радиаторами М-140А0 (М-140А).
4. Входные в квартиру двери предусмотреть фанерованные.
5. Ванну облицевать кафельной плиткой до потолка.
6. Санузел и кухню облицевать кафельной плиткой на высоту 1,6 метра.
7. В кухне предусмотреть моющиеся обои.
8. Полы в санузле и ванных комнатах облицевать плиткой „Шелкографин“, санфаянс импортного производства.

Оплату повышенных затрат при строительстве обком партии гарантирует».

За какие же заслуги такие «дополнения» в условиях тотального дефицита? За работу в обкоме КПСС...? Вот на что идут членские взносы!

В развитых капиталистических странах при всей двойственности роли публичной власти (служить своему классу и выполнять «общие дела» в интересах всех) она служит большинству. Сегодня буржуазия как средний класс составляет 60—80 %. Возникает вопрос: а у нас, в нашей действительности, какой части населения служат лидеры и профессионалы-управленцы, втянутые в «теневые» отношения? В сущности, они преданы одному «классу» — своему корпоративному клану. «Теневое» положение позволяет им, с одной стороны, быть фактическими обладателями государственной собственности, публичной власти, возвышать себя над законом, а с другой — творить произвол, шельмовать радикальные силы перестройки.

Правительство, констатируем, пока ничего не сделало для разрушения «теневых» отношений власти.

КОРПОРАТИВНЫЙ БЮРОКРАТИЗМ

Пути выхода...? Прежде всего, чтобы сделать шаг вперед, нужна научная, реальная картина как всеобщей бесхозяйственности, так и повсеместного воровства. Независимой от ведомств и министерств экспертизе предстоит героический путь — оценить потери, назвать не только причины, но и их виновников. Далее,— нужна программа по сокращению потерь, выработанная по итогам оценки явления. Вся эта работа реальна, если, кроме участия в ней специалистов, она будет опираться на общественное движение. Всесоюзная программа по спасению ресурсов и производства страны, опирающаяся на всесоюзное движение народов, Советов и трудовых коллективов,— альтернативный фактор политике, проводимой ведомствами, министерствами, «теневой» экономикой и коррумпированными силами.

В стране и сегодня только Верховный Совет СССР независим от ведомств и министерств, он — единственный, кто может организовать работу по подготовке программы, возглавить всесоюзное движение. Комитет Верховного Совета СССР по вопросам законодательства, законности и правопорядка при участии Комитета Верховного Совета СССР по вопросам экономической реформы образовал рабочую группу по проблеме, поручив ей провести экспертную оценку расходов и потерь, внести рекомендации по их сокращению. Поиск уже ведется. Комитет просил Н. И. Рыжкова оказать содействие в формировании группы и создании ей необходимых условий для работы. Обращение Комитетов ВС лидер Правительства проигнорировал, хотя знал, что в стране столь взрывоопасной проблемой никто должным образом не занимается.

Каковы пути спасения ресурсов и производства страны?

В настоящее время практика отношения ведомств и министерств к ресурсам в союзных и автономных республиках, областях и национальных округах хищническая, колониальная. Многие регионы страны лишаются одной из существенных предпосылок жизни людей — вещественного богатства, источников существования, ибо пользуются и распоряжаются всем тем, что на земле и под землей, ведомства и министерства. Ориентируясь только на «вал» в его негативных формах, они стремятся в кратчайший срок почти полностью извлечь из земли полезные ископаемые. Единственный выход — только те, для кого земля со всеми ресурсами выступает природным домом, призваны решать судьбу этой земли и ее недр.

Следующий шаг — незамедлительный вывод трудовых коллективов предприятий из состояния «пассивного саботажа», в которое они поставлены нашей системой управления. Трудящиеся должны иметь гарантированное право самостоятельно решать вопрос выбора любой формы собственности без каких-либо согласований и разрешений сверху. Ограничения здесь возможны, но лишь для предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики, и для оборонной промышленности.

Государственная форма собственности ни в какой мере не должна дискриминировать другие формы. Следует осуществить четкое разграничение объектов и субъектов собственности по каждой форме, определить порядок «входа» в собственность и «выхода» из нее, «перехода» коллективов и отдельных работников из одной формы собственности в другую. Децентрализация и демонополизация владения основными фондами должна «проникнуть» и в государственный сектор.

Следует изъять и передать в руки трудовых коллективов от ведомств и министерств дело создания стимулирующей системы труда, побуждающей производителей к научно-техническому прогрессу и к прилежанию. Важно выработать, опять же в трудовом коллективе, реальные нормативы необходимых затрат производства, исключив из них включения повторного и ложного счета, и оценивать труд каждого по непревышению и снижению в работе таких затрат. Необходимо незамедлительно снять все запреты на распределение и расходование всех средств, зарабатываемых людьми. Им и только им решать, какие фонды и по каким нормативам формировать, как и на что тратить деньги, какую устанавливать своим работникам зарплату и прочее.

Общество просто не может допустить безработицу. Массовый «выброс» рабочей силы можно предотвратить, думается, путем сокращения рабочего дня при сохранении существующей зарплаты.

Следует дать простор предпринимательству, малым предприятиям, иностранным инвестициям, развитию всех форм коллективной и индивидуальной деятельности. Оптимальной правовой формой их развития мог бы стать Закон о свободном предпринимательстве, он явился бы единой юридической базой для всех хозяйственных субъектов — как коллективных, так и индивидуальных. Важно устранить рэкет как «теневой» экономики, так и аппарата управления.

Ускорить или замедлить позитивные процессы перестройки хозяйственного механизма можно применением соответствующей налоговой политики. В этой связи следует отменить необоснованный налог на прирост фонда оплаты труда, скрытые налоги на фонды и трудовые ресурсы, ограничить налог на прибыль (доход) до 30 %, в три раза уменьшить «прогрессивный» налог на заработную плату.

Предстоит заново сформировать систему управления экономикой. Вышестоящие органы только тогда имеют право на существование, если они экономически необходимы нижестоящим. Исключаются необоснованные отчисления нижестоящих организаций вышестоящим. Целесообразно объединить в одном Комитете функции Госплана, Госснаба и Минфина. В этом случае, можно думать, Государственные планы экономического и социального развития станут более сбалансированными в натурально-вещественном и стоимостном выражении и, наконец, появится государственный орган, с которого можно будет спросить за результаты планирования и потребления ресурсов, сохранения продукции и прочее.

Одна из основных проблем перестройки — устранение организованной преступности. С учетом тесной смычки «теневой» экономики с системой управления, коррупции, разлагающей политические структуры, представляется, что Совмин СССР, КГБ, МВД и Прокуратура Союза самостоятельно не способны справиться с организованной преступностью, проникающей в эти структуры. Преступные объединения в результате сращивания с коррумпированными должностными лицами имеют доступ к самым прочным информационным банкам, перешагивая в некоторых случаях осведомленность министра внутренних дел. Уровень, до которого проникла мафия, часто гораздо выше возможностей правоохранительных ведомств. За эту часть дела необходимо взяться самому Верховному Совету, как наиболее независимому на сегодня органу и создать специальную депутатскую комиссию с полномочиями по борьбе с коррумпированными элементами в высших эшелонах политического руководства. Это не будет орган, подменяющий следствие, это будет орган, препятствующий проникновению преступных объединений в политические структуры.

«Ликвидация» класса. Все планы останутся на бумаге, а движение не получит простора, пока не будет решена главная проблема, речь идет о сломе, о ликвидации корпоративного бюрократизма как класса. В стране слой профессионалов-управленцев, манипулируя властью и собственностью, приобрел классообра-

зующие признаки. Он занимает, сегодня, особое место и в обществе, и в системе производства. Имея власть, используя ее, он фактически распоряжается ресурсами страны, средствами производства и совокупным общественным продуктом. По своему усмотрению чиновничество командует производством. В связи с тем, что наша бюрократия не является носителем новой экономической системы, что существующее производство может эффективно функционировать без нее, она является классом со знаком «минус», классом-«люмпен», классом-«паразитом». Что имеется в виду под понятием «ликвидация»? Проблема состоит в отчуждении этого слоя от власти, лишении его как класса классообразующих признаков.

«Болевая точка» общества — отчуждение аппаратом общенародной собственности от народа. Аппарат по сей день определяет, во что вкладывать деньги, кому сколько платить, сколько с кого брать, каким быть расценкам. Фактическая возможность владеть, пользоваться и распоряжаться средствами производства, произведенным продуктом — существенный фактор членения общества на классы, развития классообразующих начал.

В связи с этим насущна потребность немедленной передачи власти, захваченной аппаратом, народу, его выборным органам, трудовым коллективам. Крайне важно изменить содержание управления производством.

Вопиющим является положение, когда система управления, поглощающая ежегодно, по неполным данным, 40 млрд. руб., работает вхолостую, а подчас и во вред обществу.

Вызывает крайнее возмущение система привилегий, которой пользуются лидеры и ответственные работники всех эшелонов власти. Привилегии — это форма присвоения в обществе непроизводительным аппаратом материальных и духовных ценностей, созданных трудом народа. Существует широкая система аппаратных льгот, которая не регулируется нормами права, не контролируется обществом. Ею пользуются лидеры, ответственные работники центральных учреждений, ведомств, министерств, местных партийных комитетов, органов власти и управления. Блага в иерархической пирамиде дифференцированы, они расширяются от основания к вершине, вводя лидеров и его окружение в царство «по потребностям» при нищете миллионов.

Общество в силах разрушить корпоративную систему управления, но при определенных условиях. Идея обновления должна овладеть народом, его сознанием, побуждать к действиям. Важны подготовленность революционных сил и их консолидация. Что же касается в целом преодоления корпоративного бюрократизма, то в этом случае проблема связана с устранением всех обстоятельства, стоящих на пути перестройки.

Александр
ЯНОВ

РУССКАЯ ИДЕЯ и 2000-й ГОД

МОСТ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ: НАЧАЛО ЧЕРНОСОТЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА

«УЛЬТРА»

Я не был лично знаком в Москве с Шимановым. Я только слышал тогда о нем и его единомышленниках — «шимановцах» или «ультра», как их называли мои знакомые из «Русского клуба»[1] и редколлегии «Вече»,— и читал некоторые его сочинения. Судя по этим достаточно скудным сведениям, Шиманов — один из множества современных русских интеллигентов, оставивших мечту о жизненном успехе и сознательно ушедших на самое «дно» материального существования для того, чтобы обрести на этом «дне» свободу. Свободу думать, писать и проповедовать. Шиманов работает лифтером. В этом качестве «в подвале, где сыро и душно, рядом с мусоропроводом», он почти неуязвим для власти. Это дало ему возможность обдумать и написать десятки статей, собранных в две самиздатские книги «Письма о России» и «Против течения».

Но Шиманов не только политический писатель. Он еще и лидер группы «ультра». Впрочем, до 1974 года (то есть до изгнания Солженицына, раскола «Вече» и ареста Осипова) шимановские «ультра» — несмотря на их неизменную активность в Русском клубе — были в нем как бы на втором плане, составляя нечто вроде теневого кабинета. По тем временам как для ВСХСОНовского крыла диссидентской «правой», так и для сторонников «Вече» (в начале семидесятых преобладавших в Русском клубе наряду, впрочем, с такими яркими представителями истеблишментарных руситов, как П. Палиевский, В. Кожинов или А. Ланщиков) — взгляды «ультра» были еще слишком экстремистскими. Чувствовалось, что они даже вызвали у высоколобых национал-либералов некоторую брезгливость.

Тем более был я удивлен, встретив на страницах «Московского сборника» (самиздатского журнала, который пытался после разгрома «Вече» заменить его в качестве органа диссидентской «правой») программную статью Шиманова «Москва — Третий Рим». Редактором «Московского сборника» был Леонид Бородин, один из видных участников ВСХСОНа. Он предпослал «Третьему Риму» несколько строк, из которых следовало, что «точка зрения Г. Шиманова на некоторые вопросы нации и религии *сегодня весьма популярна* в среде национально настроенной русской интеллигенции». Остается предположить, что взгляды Шиманова уже в середине 70-х годов действительно представляли в среде националистически настроенных диссидентов силу, не считаться с которой было невозможно.

Это очень любопытно, ибо нет сомнения, что во ВСХСОНе в свое время человека с такими взглядами, как у Шиманова, на порог не пустили бы. В сборнике «Из-под глыб» его, конечно, тоже не потерпели бы. И в «Вече» ходу его программным декларациям не было: во всяком случае, Осипов 29 апреля 1973 году написал ему жесткое письмо, в котором, отмежевавшись от линии «революционистского» подполья (читай: ВСХСОНа), он столь же резко и решительно отмежевался и от взглядов Шиманова. Иначе говоря, в начале семидесятых ни одна из фракций либерального национализма Шиманова своим не признавала. Для того чтобы он вышел на идейную авансцену диссидентской «правой», чтобы Л. Бородин почтительно засвидетельствовал широкую популярность его взглядов, ветры в среде «национально настроенной интеллигенции» должны были радикально изменить направление. Время для открытого выступления черносотенного национализма настало.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1990, № 9—11.

[1] Официально «Русский клуб» назывался «Общество охраны памятников старины» и был вполне легальным учреждением. В действительности, однако, это было «партийное» заведение, где регулярно собирались диссиденты — сторонники «русской идеи» и их истеблишментарные товарищи — обмениваться взглядами и вырабатывать стратегии. Страсти кипели в «Русском клубе» в 1960-е годы, и удельный вес русофильских фракций определялся именно там.

ИСТОКИ ГРЯДУЩЕЙ КАТАСТРОФЫ

Само существование Шиманова как политического писателя есть выражение духовного кризиса, пережитого Россией. Поэтому я начну, пожалуй, с того, как сам Шиманов описывает этот кризис.

«И очевидный крах коммунистической утопии», который нельзя бесконечно замалчивать и из которого надо как-то с достоинством выходить; и ничтожество западных путей, неспособных привлечь к себе никаких симпатий; и надвигающийся индустриально-экологический кризис, принуждающий к судорожным поискам дороги к иной цивилизации; и военная опасность со стороны Китая... и внутренние процессы буржуизации и духовно-нравственной деградации, которым надо не на словах, а всерьез противостоять... и вот все это... должно толкать Советскую власть сначала к частичным и половинчатым переменам, а затем и к решительным — перед лицом государственной катастрофы».

Если попытаться строже сформулировать мотивы этой надвигающейся катастрофы, получим следующие три ее источника.

1. Мобилизационный по своей природе режим, динамизм которого основывался на движении к ясной и высокой цели, утратил цель и вследствие этого иммобилизовался. Движение превратилось в топтание на месте, а затем в «гниение». Нация дезориентирована и поэтому деградирует, духовно умирает. Общественная и трудовая дисциплина катастрофически падают, подрывая самые основы жизненной силы нации.

2. Колоссальные жертвы, принесенные народом на пути к надмирной, заменившей народу Бога цели, оказались бессмысленными. «Бог умер». Этот страшный вывод, который инстинктивно отбрасывается советскими людьми, о котором они боятся думать, как о собственной смерти, на нем бесстрашно основывает свою доктрину Шиманов.

3. Именно в этой ситуации всеобщей растерянности и «гниения» России оказалась в самой тяжелой за всю свою историю ситуации: меж Сциллой и Харибдой, Китаем и Западом, равно опасными и беспощадными. В ее сегодняшнем положении нация не может противостоять этой смертельной угрозе.

«РУССКИХ ПРЕЗИРАЮТ ВСЕ»

Я сознательно воспроизвожу логику мысли Шиманова и стараюсь рассуждать в его терминах. Шиманов считает, что пора «спасать русскую нацию». Пора всем русским, независимо от их положения, объединиться в духовном и интеллектуальном усилии и вернуть своему народу его мощь и славу. Шиманов глубоко страдает от того, что, по его словам, «русских презирают все». Оппоненты с полным правом могли бы назвать это чувство Шиманова «комплексом национальной неполноценности». Поэтому для Шиманова спасти Россию означает не просто вернуть своей стране величие и процветание, но и превратить ее в центр духовной истории человечества, сделать ее лидером мира. А это значит доказать, что все другие народы — хуже, что ни один из них не достоин первенства. Доказать, что судьба России — это не только ее судьба, ибо она несет в себе разрешение глобального кризиса, переживаемого человечеством, и потому имеет значение всеобщее, универсальное. Короче говоря, «спасти Россию» означает для Шиманова сразу, одним ударом избавиться от всех трех вышеперечисленных источников надвигающейся катастрофы и тем самым вернуть нации утраченную цель; вернуть смысл принесенным жертвам; подготовить ее к противостоянию Китаю и Европе. Но как это сделать? Парадоксальность шимановского ответа заслуживает специального обсуждения.

КОНЦЕПЦИЯ ИСТОРИИ

Шиманов исходит из того, что христианство как универсальное средство спасения мира «не удалось». Что, выйдя в мир из катакомб, оно соблазнилось блеском материальной культуры и променяло свою всемирную миссию на чечевичную похлебку мирской власти. Соблазненный католицизм породил «язву протестантства», протестантство в свою очередь породило «эру буржуазности» с ее «культом наживы и чистогана», что должно было в конечном счете привести к великому и греховному бунту социализма.

Итак, «испорченное» европейское христианство — теза. Социализм — антитеза. Спасти мир может лишь синтез — бессмертный Гегель в интерпретации популярных учебников диалектического материализма пока что торжествует.

Но откуда ждать синтеза? И тут оказывается, что был один народ на земле, который Бог уберег от соблазнов католицизма и язвы буржуазности. Уберег страшным, но благодатным способом — наслав на него татар и тем самым отрезав его от «мощных ренессансных объятий» Европы. Так, единственная на свете,— Россия оказалась не только обладательницей «истинной веры», но и чудом сохранила ее среди всемирного торжества буржуазности.

Мы можем увидеть здесь, кстати, и методологический принцип исторической доктрины Шиманова: когда Бог хочет сохранить свой избранный народ, он насылает на него чуму, национальное несчастье. Так Шиманову посчастливилось открыть modus operandi самого Провидения. И он бесстрашно использует свое открытие. Шиманов признает, что и Петровская реформа, и Октябрьская революция, и ГУЛаг были великими бедствиями народными. Он лишь призывает увидеть за их кровью и грязью, за их кажущейся бессмыслицей Великую Тайну и Божественный Промысел. Нет, не напрасны неисчислимые жертвы народа русского, они оправданы, они лишь ступени на пути к великой цели и цена за его историческое предназначение. Выше голову, русские! — говорит Шиманов,— вы на верном пути к истинной цели. Само крушение коммунистической утопии только расчистило перспективу. И ее крах означает на самом деле зарю обновленного христианства — православие. Соедините исконную русскую веру с внутренней имманентно-религиозной сущностью коммунизма и вместо фальшивого идола вы увидите перед собой Бога. Он вел вас тернистыми тропами. Но он вывел вас на истинный путь. Остался один только шаг. «Я скажу, что теперь, после опыта тысячи лет, загнавшего человечество в невыносимый тупик, разве не ясно, что только подлинное, возрожденное христианство может быть выходом из тупика? что необходима иная, новая, не язычески-буржуазная, но аскетическая и духовная цивилизация?» Откуда же и ждать этого благовеста, как не из единственной сберегшей истинную веру страны, которую Господь сохранил на земле, хлеща бичами татарского ига, Петровской реформы, Октябрьской революции, ГУЛага и КГБ?

Опасно, мне кажется, недооценивать актуальные политические потенции предложенного Шимановым истолкования истории, в котором даже ГУЛаг, как бы кощунственно это ни звучало, получил свое оправдание. Ибо не в том ли была причина фатальной изоляции советского диссидентства, беспрерывно и с огромной убедительностью разоблачавшего бесплодность и бесцельность принесенных тремя поколениями жертв, что народ не хотел слышать этих разоблачений? Случайно ли наталкивались они на глухую стену социально-психологических стереотипов, быть может, воздвигнутую в глубинах общественного сознания именно в целях национального самосохранения? Это непреодолимое инстинктивное стремление массового сознания обелить черное, вернуть бессмыслице смысл, позор нации обратить в ее грядущую славу и становится мощным инструментом Шиманова. Можно сказать, что Шиманов пытается использовать ГУЛаг, как Гитлер использовал Версаль.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Самая оригинальная часть доктрины Шиманова — его интерпретация советской власти. Шиманов первым среди «правых» понял, что негативная, обличительная функция диссидентства изжила себя, что жизнеспособна отныне только концепция позитивная. Концепция, заключающаяся не столько в обличении советской власти, сколько в использовании ее имманентно-религиозной природы для достижения общенациональных целей. Именно на этом основано его понимание советской власти как политической организации, способной, с одной стороны, противостоять искушению «гнилой западной демократии», а с другой — мобилизовать народ на новый исторический подвиг.

«Ныне советская власть уже не может всерьез стремиться к призраку коммунизма... но в то же время она не может отказаться от грандиозности своих задач, ибо иначе надо будет держать ответ за напрасные жертвы, которым поистине нет числа. Но в чем тогда советская власть сможет найти свое оправдание? Только в сознании того, что она была бессознательно в прошлом, а ныне вполне сознательно является инструментом Божиим для построения нового христианского мира. Иного оправдания у нее нет, а это является... подлинным и великим оправданием. Приняв его, наше государство откроет в себе поистине неисчерпаемый источник Правды, духовной энергии и силы, какого не было в истории еще никогда... Ветхий языческий мир ныне уже окончательно изжил себя... Чтобы вместе с ним не погибнуть, надо построить иную цивилизацию — но разве способно на это разрушенное в своих основах западное общество? Только советская власть, приняв православие... способна начать *великое преображение мира*».

И не хозяйственные реформы, и не гражданские права для этого нужны. Не советской власти нужно приспособиться для этого к народу, а народу — приспособиться к советской власти, понять и принять ее в свое сердце как нашу родную власть, «которая от Бога». Ибо, только приняв и растворив ее в себе, может народ сделать ее подлинно народной.

В этих аргументах впервые улавливаются очертания моста через пропасть, отделившую в 70-е годы, если так можно выразиться, интеллект «русской идеи» от ее почвы. В самом деле: во всех последовательных метаморфозах современного либерального национализма, прослеженных во второй части этой книги,— от ВСХСОНовской революционной теократии 1960-х до солженицынской апологии православной монархии в 1980-е,— коммунизм неизменно фигурировал как явление для России инородное, по самой сути своей противоположное русской исторической традиции. Шиманов первый в постсталинскую эпоху встраивает коммунизм в русскую традицию и тем самым его легитимизирует. В альтернативе — западный либерализм либо советский коммунизм — предпочтение отдается последнему.

Коммунизм, конечно, по-прежнему остается злом, но злом не только несопоставимо меньшим по сравнению с тем, которое угрожает извне, но и нашим, русским, домашним, так сказать, злом — с которым всегда можно договориться, которое нельзя просто устранить из жизни России, как надеялись национал-либеральные сектанты, но которое следует изжить — в процессе совместной работы, в общем духовном и интеллектуальном усилии нации.

Шиманов-теоретик приходит именно к тому, к чему — пусть стихийно и инстинктивно — пришел «православно-патриотический» читатель; к редукции мирового зла. Он идеологически оправдывает интуитивное стремление человека православной массы примириться с властью перед лицом общенациональной угрозы. Он успокаивает и утешает этого человека, которого Солженицын разбудил и бросил в пустыне, объявив живущим по лжи. Он отпускает православным грех коллаборационизма с атеистическим режимом. В противовес национал-либеральным учителям, неспособным отказаться от сектантского антикоммунизма, он провозглашает: «Протестовать против нашего режима означает идти против Бога». Он убеждает «патриотов», что только так, сотрудничая, а не протестуя, могут они сделать режим истинно национальным. Не только слово «Бог» пишет Шиманов с большой буквы, но и словосочетание «Советская Власть». Как видим, он прекрасно понимает, что найти путь к «патриотическому» читателю можно только безжалостно отбросив сектантские иллюзии и утопии, которыми грешили его предшественники.

ВСХСОН, как помнит читатель, ориентировался на «народно-освободительную революцию», на вооруженное «свержение коммунистической олигархии». «Вече» предложил вместо революции *отделиться* от коммунизма географически, создав вторую, православную Россию в Сибири. Солженицын попытался реализовать план «Вече», апеллируя к «русской душе» советских вождей, уговаривая их отказаться от «чуждой», «западной» идеологии. (Осознав невозможность переубедить вождей словом, он апеллировал в конце семидесятых к «русской душе» советских военных, которые могли бы воздействовать на вождей силой, то есть в известном смысле вернулся к идеям ВСХСОНа [1]. При всем различии этих подходов у них есть общая предпосылка: подлинное возрождение России может начаться лишь без коммунистов. Вздор, отвечает Шиманов в согласии с «патриотической» массой: возрождение России уже происходит — и коммунизм вовсе этому не препятствует, напротив, он ему способствует. Прежде всего тем, что охраняет Россию от язвы обуржуазивания, создавая своего рода защитную оболочку, в которой только и возможно возрождение. «Ибо Советская Власть *уже*, начиная с 1917, совершила громаднейший поворот и продолжает ощутимо меняться на глазах, *умеющих что-либо видеть*»,— говорит он. Во-вторых, именно коммунизм своей имманентной религиозностью поддерживает в массах тот пламень веры, без которого никакое возрождение невозможно. Вот почему русский народ стремится не к ликвидации, но к преодолению коммунизма. Вот почему он чужд обветшалым национал-либеральным утопиям, уводящим его в сторону от настоящего дела — от преображения власти во имя преображения мира.

Для национал-либералов Запад — хоть и ненадежный («гнилой»), но все-таки единственный союзник, который «плохо-бедно, но защищает» от коммунистов (другими словами, национал-либералы относятся к Западу так же, как «патриотический» читатель относится к коммунизму — утилитарно). Для Шиманова Запад — чума, источник «языческо-буржуазной» заразы, подлежащий ликвидации, если человечество хочет выжить. Конечно, Шиманову так же, как Солженицыну, ненавистна «образованщина», еврейские или еврействующие интеллигенты, которых он называет «цивилизованными дикарями». Но ненавидит он их по тем же причинам, по которым ненавидят их «молодогвардейцы»,— за то, что они «питаются отбросами западной цивилизации». Конечно, диссидентская программа Андрея Сахарова кажется ему «жидомасонской». Но нисколько не щадит он и национал-либералов, которые, по его мнению, только перерядились в патриотов, а на самом деле подпевают жидо-масонам. Он смеется над ними.

[1] А. Солженицын. Интервью, данное корреспонденту Би-би-си И. Санчесу.— «Вестник РХД», 1979, № 127.

«При чтении „Письма“ может показаться, что Солженицын уже вырос из демократии, переступил от нее к автократии (то есть к самодержавию, по-русски)». Но, иронически добавляет Шиманов: «Это лишь при невнимательном чтении. В действительности он сделал шаг всего лишь одной ногой, а другой остался... на старом месте». Солженицын призывает вождей отказаться от государственной идеологии. Вздор, отвечает Шиманов, ибо «идеократическому государству отказаться от идеологии... значит попросту покончить с собой. Марксистская идеология... является основой нашего Государства... надо заботиться не о том, чтобы марксизм был механически отброшен, а о том, чтобы он был трансформирован самой жизнью и... изжит».

Дело тут не только в том, что Шиманов рассчитывает использовать религиозные элементы марксизма в проектируемой им идеологии будущей России, которая должна стать органическим «соединением Нила Сорского и Ленина», смесью православия с ленинизмом. Дело еще и в том, что будущая Россия должна *остаться идеократической*, то есть страной, где господствует одна идеология, исключающая какое-либо инакомыслие. Вот почему он яростно атакует солженицынскую тираду о «свободной колосьбе мыслей» в будущей России. Никакой свободы Шиманов не потерпит. Да и не нужна она никому в России, кроме кучки жидовствующих космополитов. «Пора отказаться от нелепого предрассудка, будто тепличная атмосфера „свободы мнений“ и „свободы творчества“ является наилучшей для вызревания истины и большого искусства».

На первый взгляд, шимановская доктрина парадоксальна: перед нами диссидент, открыто проповедующий тоталитарное подавление инакомыслия, ненавидящий саму сущность диссидентства. Ничего парадоксального здесь, однако, нет, ибо это лишь логическое следствие шимановской концепции государства. Вот Шиманов заявляет: «В России было слишком много страданий, и разрешиться им в комическом и жалком демократическом пшике Бог не позволит. Западной демократии у нас не должно быть». Более точно позицию эту выразил когда-то только Леонтьев, заявив, что «русская нация специально не создана для свободы».

Но почему, спрашивается? Здесь сердце проблемы. Ответив на этот вопрос, мы сможем объяснить в Шиманове все. Даже апологию политического доноса, которую он стыдливо пытается оправдать длинной цитатой из Достоевского. Даже призывы, которые кажутся его оппонентам чудовищными (точно так же, как чудовищными казались аналогичные призывы оппонентам Леонтьева), «утвердить „верноподданническую атмосферу“ по отношению к режиму „как единственно возможную для православно-русских патриотов“».

Шиманов спрашивает: «Разве можно назвать полноценной властью демократические режимы, которые *эмансипировались от решения нравственных задач* до чисто фискальных и полицейских функций?» Иначе говоря, «полноценным» для Шиманова является лишь государство, ответственное за решение нравственных задач, определяющее цели нации и ведущее ее к этим целям. Почему? Да потому, что оно и должно служить «орудием преображения мира», то есть нового крестового похода. И поэтому оно должно мобилизовать и подчинить себе не только все действия, но и все помыслы своих подданных, а следовательно, должно быть способно к тотальному контролю над ними. Способна ли к этому демократия? «Как относятся к власти западные демократы? Да кому не лень приближается к ней... начинает трясти ее за грудки... доказывая свою правоту... так что бедная власть... уже и не знает, кого ей слушать и кому подчиняться... деморализованная... [она] отказывается, по существу, от власти... вместо того, чтобы *с твердостью определять должное и не должное*».

Иначе говоря, государство, которое «не абсолютно», «не самодержавно», которое не располагает «развитой нервной системой в лице партии, охватывающей весь общественный организм до каждой его чуть ли не мельчайшей клеточки», государство, властвование которого не тотально, по Шиманову — не государство.

Вот и ответ на вопрос. Демократия потому зло, что она в принципе не тоталитарна, что она не способна контролировать «весь общественный организм до мельчайшей клеточки». Советская власть потому добро, что она содержит в себе потенцию тоталитаризма, что она способна обеспечить такой контроль. Такова действительная цена, которую обязан, по Шиманову, заплатить за свою избранность русский народ: он должен осознать, что его судьба, его крест, его тайна — быть рабом тоталитарного государства.

Итак, перед нами тоталитарно-националистическая доктрина, основанная на глубочайшем недоверии к человеческой личности, которая хотя и предполагается созданной по образу и подобию Божию, тем не менее лишена элементарного человеческого права выбора, обречена быть лишь орудием в руках всемогущего и всеблагого Государства. Оно-то и занимает место Бога в тоталитарно-националистической доктрине. Занимает закономерно, ибо выступает единственным реальным воплощением языческого идола нации, вытеснившего в сознании Шиманова и его единомышленников Бога истинного. Ведь он и сам признается: «Россия есть предмет веры».

РОССИЯ: НАЦИЯ ИЛИ ИМПЕРИЯ?

Но главный парадокс шимановской доктрины еще впереди. С одной стороны, утверждается в ней, что нации не должны «без нужды общаться с инородцами», что «национальные организмы должны быть сомкнутыми и непроницаемыми друг для друга». С другой — однако, Шиманов ополчается на, казалось бы, логично вытекающее из этого постулата предложение разрешить советским народам выходить из состава СССР. Как примирить это непримиримое противоречие между изоляционизмом и империализмом?

Шиманов делает это, конечно, с помощью все того же Провидения, для которого, естественно, не существует никаких парадоксов. «Советский Союз это не механический конгломерат разнородных наций... а *мистический организм*, состоящий из наций, дополняющих взаимно друг друга и составляющих во главе с русским народом *малое человечество* — начало и духовный детонатор для человечества большого». Иначе говоря, СССР лишь лаборатория избранного народа для проведения практических опытов предстоящей «православизации мира». В этом смысле русский народ — исключение. Ему, если перевести мистические озарения Шиманова на язык практической политики, позволено *иметь империю*. Закрытую, «непроницаемую», изолированную от других наций — покуда они не пожелают разговаривать с ней на ее языке, на языке «Третьего рейха», виноват, «Третьего Рима», говоря словами Шиманова.

Так пытается он преобразовать утопическую риторику национал-либерализма в проект имперско-изоляционистской империи.

СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА

Анализируя сочинения Шиманова, читатель ощутит какую-то странную двойственность, словно бы перед ним не один, а два писателя, поминутно перебивающих друг друга. Мистические речитативы сменяются холодными канцеляризмами, огненная проповедь «Третьего Рима» перемежается слогом заурядного делопроизводителя, яростная анафема западной демократии сбивается на язык вульгарной пропагандистской брани. Тут есть какая-то загадка, нечто взывающее к осторожной интерпретации и анализу. Покажу это на примере.

Вот Шиманов говорит: «...Россия... буквально выстрадала *новую теократию*... ведь это же совершенно очевидно, что необходима иная, чем ныне,— патриархальная структура общества... и новое... мистическое отношение к земле... [эта] задача не по плечу... западной демократии... но кому же тогда она по плечу? Я думаю... что наилучшим инструментом может оказаться та сила, которая с самого начала ополчилась на Бога, власть богоборческая, решившая... целый мир перевернуть по-своему,— вот она-то и может послужить для славы Божией лучше всего. Я, конечно, имею в виду Советскую Власть с ее, по существу, самодержавным строем, с ее максималистским прицелом и настолько противоречивую по своей природе и по своей идеологии, что способную благодаря этому обстоятельству меняться под влиянием правды жизни от минуса к плюсу и только выигрывать от подобной метаморфозы».

Этот Шиманов обращается к русской интеллигенции эпохи «православного возрождения», к интеллигенции, глубоко разочарованной в социализме и не верящей в чудотворные потенции обещаемой Шимановым «трансформации». Перед нами искренний защитник советской власти. Он говорит высоким проповедническим слогом, он пророчествует, и речь его полна пафоса и огня.

А вот другой Шиманов, обсуждающий «Проект основ законодательства СССР о народном образовании» и пытающийся убедить вождей в том, что клика «советских жрецов» (марксистов-антирелигиозников) составила его так, что «объективное содержание настоящего проекта... принесет огромный *вред* Советскому государству и уронит в глазах прогрессивной мировой общественности авторитет коммунистической нравственности. [Поэтому проект должен быть отвергнут], да не компрометируется наша Советская власть обвинением в насилии... над свободой совести — и кого же?.. не эксплуататоров, не помещиков и капиталистов, а простых советских трудящихся людей... Разве не признаком слабости [марксистов] является отмена известного ленинского положения о свободе как религиозной, так и антирелигиозной пропаганды?.. Здесь я думаю, уместно будет вспомнить то тяжелое время, когда наше общество перед лицом наступающего во всеоружии немецко-фашистского врага... отказалось от обессиливавших его самораздираний и победило врага морально-политическим единством всего нашего советского народа. Это морально-политическое единство... оказалось выше всех идеологических перегородок и явило собою несомненную, проверенную самой жизнью ценность, поступаться которой нам было бы преступно с государственной точки зрения. Морально-политическое единство всего советского народа нам надо крепить, а не расшатывать посредством разжигания внутренних конфликтов в обществе, потому что на крутых поворотах истории нашему государству еще не раз придется столкнуться с опасностями нисколько не меньшими, чем опасность прошедшей Вели-

кой Отечественной войны. Перед лицом совершенно реальной и возрастающей китайской шовинистической угрозы... нам нужно укреплять все здоровые силы общества, способные в трудную минуту прийти на помощь своему государству».

Больше нет Шиманова — проповедника и пророка. Есть партийный пропагандист, словно бы заимствовавший из передовицы «Правды» набившие оскомину пассажи об «известном ленинском положении», о «коммунистической нравственности» и «морально-политическом единстве советского народа». Этот Шиманов — с помощью привычных канцелярско-прагматическому мышлению вождей штампованных пропагандистских блоков — осторожно пытается внушить им свою тактическую концепцию «трансформации». Он убеждает советскую власть *в надежности* ее православных подданных, в том, что они, а не советские жрецы, и есть «здоровые силы», готовые прийти ей на помощь. При одном лишь малом условии: если она вернется к «известному ленинскому положению», вспомнит о сталинском «морально-политическом единстве», согласится на «мирное сосуществование» с верующими православными советскими гражданами.

Но интересует нас здесь не столько способность Шиманова к литературному «раздвоению личности», сколько то, что на этапе черносотенного национализма «русская правая» *обретает свою политику*.

Она уже не только не призывает к свержению советской власти, как ВСХСОН, она уже не ограничивается глобальными стратагемами или историческими параллелями, как «Вече» и авторы сборника «Из-под глыб», она начинает говорить с советской властью *на ее языке*. Начинает демонстрировать конкретные преимущества, которые власть может получить от союза с нею — против советских жрецов. Она уже обвиняет этих жрецов *в антисоветизме*. Она обвиняет их в том, что они подрывают авторитет СССР «в глазах прогрессивной мировой общественности», в том, что они «разжигают внутренние конфликты» в самой России. Она ставит перед «вождями» практические вопросы: подсчитайте, что выигрываете и что проигрываете вы, опираясь на профессиональных марксистских идеологов. Она пытается *конкурировать* с этими жрецами режима на почве практической политики, доказывая, что вождям выгоднее опереться на нее, а не на ее конкурентов. Она обращается к их глубоко запрятанным подсознательным страхам и невинно спрашивает их: что вам важнее на самом деле — потрепанная марксистская догма или реальная власть? Если власть, то — в минуту кризиса! — опора на «здоровые» православно-националистические массы, как свидетельствует опыт истории, бесконечно надежней, чем союз с импотентной идеологической кликой. Итак, в отличие от ВСХСОНа и «Вече», в отличие от Солженицына и Чалмаева, Шиманов торгуется. Он рекламирует свой товар, он шельмует своих конкурентов.

Таковы стратегия и политика Шиманова. Все зависит от того, к кому он обращается. Зависит, так сказать, от потребителя. Православной интеллигенции он продает *стратегию* «трансформации». Поэтому здесь нужны высокая патетика и страстная проповедь. Вождям он продает *политику* «трансформации» и гарантии их властвования. Поэтому здесь нужны деловая проза и вульгарная реклама.

Иначе говоря, шимановцы только казались «ультра» своим бывшим союзникам. На самом деле они не воители, они — практики, предлагающие вождям более гибкую и эффективную политику, более глубокую социальную базу, более широкое операционное поле для политического маневрирования — на случай кризиса. Между прочим, Шиманов не предлагает ничего большего, нежели Берлингуэр предложил итальянским коммунистам. Ничего большего, чем русский вариант «исторического компромисса». Если это возможно для итальянской коммунистической партии, если это не угрожает ее, так сказать, целомудрию, то почему это, собственно, невозможно для советской коммунистической партии?

ПОЛИТИКА ЧЕРНОСОТЕННОГО НАЦИОНАЛИЗМА

Итак, Шиманов — политический бизнесмен. По крайней мере, он хочет и умеет им быть. В его лице «русская новая правая» впервые обрела не только идеолога, нашедшего общий язык с разбуженной «православно-патриотической массой», но и потенциального политического лидера — и, соответственно, потенцию превращения из сектантской антикоммунистической доктрины в политическое течение. Не этого ли добивались «патриотические» читатели в письмах «Вече» и Солженицыну? Только оба адресата не оказались способны предложить им ничего, кроме переселения в Сибирь или пропахшей нафталином православной монархии. А Шиманов открывает им возможность осмысленной борьбы за постепенное легальное преображение советского государства, за его ремобилизацию, за его превращение в живое и мощное орудие борьбы против «сионистско-империалистической» глобальной атаки, назначенной на 2000-й год.

Вот почему в руках у Шиманова оказывается политический капитал, которого начисто лишены были Осипов и Солженицын. В отличие от этих генералов без армии,

Шиманов говорит с вождями от имени своей политической клиентуры. Он знает, чего хотят «патриотические» массы, он не позирует перед ними и не читает им нотаций. Он — простой человек, лифтер, патриот — один из них. И он действительно представляет их. Поэтому ему нет необходимости в инфантильных апелляциях к русской душе вождей, он апеллирует к их интересам.

В глазах «патриотического» читателя и Осипов, и Солженицын были скомпрометированы поддержкой «сионистского» Запада. Их интервьюировали «сионистские» журналы, их печатали в «сионистских» издательствах, о них говорили по «сионистскому» радио. Шиманов чист в этом отношении — он представляет русских «патриотов» в их ничем не замутненной ненависти к Западу. Он опирается на один из секторов советского общественного мнения, силу которого «вожди» при желании могут легко проверить посредством элементарного социологического опроса.

Конечно, «Вече» первым обнаружил этот политический капитал. Но Шиманов был первым, кто обнаружил, как пустить его в дело, первым, кто заявил претензию на роль политического посредника между «вождями» и «православно-патриотической» массой.

Сейчас, во время реформистской эйфории, связанной с приходом Горбачева и сменой поколений в советском истеблишменте, феномен Шиманова может показаться несущественным.

Но если взглянуть на русскую историю в ретроспективе последнего полутысячелетия — и в перспективе 2000 года,— то есть под углом зрения Шиманова и «патриотического» читателя, истинное значение этого феномена может предстать совсем в другом свете. Ибо в действительности Шиманов — и покуда только он — обещает исцеление самого уязвимого, самого больного места империи: ее стремительно формирующегося комплекса неполноценности.

Русский коммунизм на самом деле перестает быть реальной альтернативой своему главному вековому оппоненту — Западу: в глазах мира он все больше превращается в оскандалившуюся утопию. Даже коммунистические партии — и на Западе (итальянская), и на Востоке (китайская), и в самой Восточной Европе (венгерская) — последовательно отбрасывают все, что было специфически русского в коммунистической практике и доктрине. В социалистических странах они заимствуют у Запада смешанную (государственно-рыночную) экономику и плюралистическую (марисистско-либеральную) идеологию.

Конечно, Россия может пойти в реформистском порыве вслед венграм, или китайцам, или итальянцам. Но тогда она перестанет быть лидером. Тогда превратится она в ведомого, в подражателя. Иными словами, променяет свою уникальность, свое духовное первородство на чечевичную похлебку западного материального благополучия.

Для адептов «русской идеи», как и для «православно-патриотических» масс, это означало бы национальное унижение катастрофических масштабов, идейную и политическую капитуляцию России перед «американизацией духа»,— говоря языком авторов «Молодой гвардии»; перед «еврейским стремлением к мировому владычеству»,— говоря языком читателей «Вече».

Есть ли у России возможность вернуть себе духовное первородство? Существует ли, другими словами, реальная альтернатива унизительной демобилизации советской системы, ее капитуляции перед Западом?

Если есть, то предлагает ее только Шиманов — в «Новой русской аскетической и духовной цивилизации», которой «рынок» и материальное благосостояние ни к чему и которой поэтому нет необходимости идти вслед китайцам или венграм. В этом и состоит феномен Шиманова, не замеченный западной советологией.

Историко-политическая концепция черносотенного национализма кажется вторичной только на первый взгляд. Это правда, что Шиманов заимствовал теократию из программы ВСХОНа, что он взял имперский изоляционизм от «Вече», «соединение Нила Сорского с Лениным» — от Антонова, ненависть к «образованщине» и уничтожающую критику демократии — от Солженицына, звериный антисемитизм — непосредственно от «православно-патриотического» читателя.

Однако — и в этом принципиальная новизна его концепции — он беспощадно отбросил все утопические, сектантские элементы национал-либерализма. Он отсек от ВСХОНовской теократии ее авантюристический, заговорщический привкус, от вечевского изоляционизма — «сибирский гамбит», от Солженицына — ретроспективную утопию, от авторов «Из-под глыб» — мистический антикоммунизм. И главное — он внес в «русскую идею» то, чего так страстно добивалась ее политическая клиентура: утверждение «верноподданнической атмосферы» в отношении советского государства как «единственно возможной для православно-русских патриотов».

В прошлом веке так выглядела политика русского национализма, когда треснула и свалилась с нее скорлупа высокопарной риторики. И сегодня точно так же, как в начале столетия, из яйца современной «русской идеи» вместо двуглавого орла православной монархии вылупилась уродливая рептилия русского фашизма.

ИДЕЙНЫЕ ИТОГИ «УЛЬТРА»

1. Концепция России как избранного народа, сохраненного Богом благодаря жесточайшим испытаниям, ниспосланным на него в ходе его истории. Сами испытания превращаются, таким образом, в свидетельство его избранности.

2. Концепция религиозной природы коммунизма, в которой самый размах его богоборческой деятельности превращается в свидетельство его богоизбранности.

3. Концепция советской власти как бессознательного орудия Господня, призванного спасти Россию и в конечном счете — посредством «православизации» — весь мир. Признание принципа советской власти «русским» по духу, что сближает Шиманова с «молодогвардейством» и создает объективную основу для идейного союза истеблишментарной и диссидентской правой.

4. Концепция «государственной катастрофы», грозящей России, если советские вожди и «патриотические» массы не сумеют найти общий язык и начать работать вместе.

5. Выработка тактических приемов соединения «православия с ленинизмом», эксплуатация и реинтерпретация лозунгов советской пропаганды.

6. Уже не латентный, как в случае ВСХСОНа, не сдержанный, как в случае «Вече», и не символический, как в случае Солженицына, а откровенный антисемитизм, связанный с обличением «жидо-масонства» (идентифицируемого с либеральным диссидентством) как агента сил мирового хаоса и антипода «православизации мира».

7. Попытка ввести в политический диалог с советской властью образ «2000-го года», то есть надвигающейся финальной конфронтации России и Запада.

8. Концепция русского фашизма как альтернативной стратегии России в преддверии 2000-го года.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Александр
РУСОВ

ГОРОД ГОГОЛЯ

I

Огромную и все еще, может, недооцененную, несмотря на всеобщее признание, фигуру писателя Н. В. Гоголя (1809—1852) — этого в жизни невысокого, щуплого человека — нельзя ни как следует увидеть, ни, тем более, как следует понять, если смотреть на нее, не имея постоянно в виду всего, что произошло за последующие полтора века научно-технического прогресса.

Гоголь, по существу, одним из первых в нашей литературе начал размышлять о городе в том неоднозначном смысле, в каком мы понимаем эту едва ли не ключевую проблему нынешнего бытия. О городе как среде обитания и среде отчуждения. Как о чем-то, объединенном единым замыслом, но в то же время бесконечно разрозненном, многоликом.

В догоголевские времена главный большой русский город Москву довольно подробно описывали посольские люди Зигмунд фон Герберштейн (1486—1566), Адам Олеарий (1603—1671), некоторые другие. Они описывали то, что видели — вполне реальный, едва ли, впрочем, показавшийся бы нам знакомым город. Отечественной литературы на современную, так сказать, тему, за исключением журнально-сатирической и апологетической, было мало. Отчасти ее заменяли городской фольклор, народный и императорский театры, карнавалы, площадные действа. Ну и, конечно, книги религиозного содержания: Библия, Четьи-минеи. В них город изображался по преимуществу как обиталище порока. Это был город Вавилон. Города Содом и Гоморра. Праведники жили в пещерах, отдельно. Город, представляющий собой место скопления многих людей, изображался таким же и на иконах — в северных письмах и на армянских миниатюрах, близких к ним своим жизненным и колористическим многообразием. Показывался он традиционно драматически — примерно так, как Иероним Босх (1460—1516) изображал ад, рай, чистилище. Черти крючьями стаскивали с лестницы грешников, незаконно поспешающих в рай. Змий-искуситель — средоточие всех пороков, поясняемых специальными надписями возле отдельных назидательных сцен,— кольцом опоясывал землю.

У раннего Гоголя тоже есть черти. Это сельские, провинциальные черти из Малороссии. А в вещах взрослеющего и зрелого Гоголя вдруг появились описания Города. Совсем не такого, какой представлен в Библии. И не такого, какой описал Олеарий. Не придуманного, но странного. Не фантастического, но и не вполне реального. В этом городе иногда случаются самые невероятные происшествия. Например, однажды некий коллежский асессор (майор) Ковалев потерял свой нос. Нос начал жить самостоятельной, отдельной от майора Ковалева жизнью. Нос стал как бы его двойником и даже занял более высокое социальное положение. Если Ковалев был всего только майором, то нос оказался статским советником, стало быть, *вашим высокородием.* Произошло раздвоение личности. Возник и окончательно сформировался образ двойника, очень важный, узловой, можно сказать, для темы, которая с некоторых пор — в нашей литературе с первой половины прошлого столетия — начала разрабатываться едва ли не всем мировым искусством. Тема сия: Город.

Конечно, это одна из древнейших тем мировой культуры, как и само понятие, положенное в ее основу. Еще две-три тысячи лет до нашей эры она уже существовала в литературе Древнего Египта. Немало интересного и поучительного сказано о городах древними греками и римлянами. Искусство средних веков решительно продвинуло эту тему вперед. Не говоря уже об эпохе Возрождения. Но все это были города или очень конкретные, этнографически точно описанные, или чрезвычайно условные.

Время требовало философского и художественного осмысления темы. Столичный город, который увидел приехавший из провинции Гоголь, был, с одной стороны, достаточно предметным, а с другой — воистину непостижимым, фантасмагорическим, почти нереальным.

Гоголь не придумывал двойника. Считается, что это сделал немецкий писатель-романтик, композитор и художник Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776—1822). Возможно, двойника придумали еще раньше, или он сам пришел из глуби веков как один из архетипов, прообразов нашего сознания. Достаточно вспомнить множественность профилей-силуэтов, изображенных древними египтянами, стоглазого Аргуса, многорукого Шиву, четырехликого Збручского идола (IX в.).

Феномен расщепления личности породил в изобразительном искусстве и литературе образ «двойников», «тройников» и, вообще, так сказать, «мультиков». Образы эти, связанные в нашем современном представлении прежде всего с именами Гофмана, Гоголя, Достоевского

(1821—1881) и австрийского врача-психиатра Зигмунда Фрейда (1856—1939), воспринимаются обычно в двух социально-нравственных аспектах. С одной стороны, расщепление личности — это тяжелая и преимущественно городская болезнь, то есть трагедия. С другой — смена лиц, личины, кожи — символ вечного обновления, многообразия жизни, возможности существования при иных условиях, в других формах, способности духа пережить обветшавшую бренную оболочку.

II

Гоголь был не единственным и, может, даже не первым в русской литературе, кто в силу разного рода причин вплотную подошел к вышеозначенной теме, исторически уже назревшей. Тут необходимо назвать еще по крайней мере два имени, даже три, но третье имя знает каждый — это Пушкин. Два других: А. Ф. Вельтман (1800—1870) и В. Ф. Одоевский (1803—1869). Оба они старше Гоголя, хотя и ненамного. Оба пережили его. Оба принимали самое активное участие в закладке Города, о котором речь.

Вельтман Александр Фомич, дворянин, швед по происхождению и, следовательно, иностранец — то есть истинный, типичный, можно сказать, горожанин, ибо всякий городской житель не может не чувствовать себя в определенном смысле иностранцем. Даже в собственном своем городе. Так вот, романтические «двойники», двоемирие широко представлены и в произведениях Вельтмана, писателя куда более плодовитого, чем Гоголь. В его романе «Сердце и Думка. Приключение» (1838) нравственное сознание героини раздваивается между разумным и желаемым, между сердцем и умом. Происходит именно то, что позже назовут «расщеплением сознания», «расщеплением личности». Раздваивается и Наполеон в опубликованном двумя годами позже «Генерале Каломеросе». В научно-фантастическом, как его бы назвали теперь, романе «Александр Филиппович Македонский», предвосхитившим путешествия во времени, описанные американскими писателями Г. Уэллсом (1866—1946) и М. Твеном (1835—1910), профиль императора Александра напоминает автору профиль бессарабского смотрителя почтовой станции. Уже здесь появляется тот перепад масштабов, который надолго определит эстетику художественных исканий нового искусства, даст, быть может, жизнь «маленьким людям» Гоголя, Достоевского, Чехова, наметит пути развития «интегрального» мышления-видения мира в его неразрывном разномасштабном, разновариантном и разновременном эпическом, трагическом и трагикомическом единстве. Впоследствии Вельтмана назовут среди предтеч современного экзистенциализма.

И вот что характерно. Сугубо «городской» писатель Вельтман испытывает неодолимое тяготение к фольклорной, корневой системе русской национальной культуры, извечно существовавшей и развивавшейся между двумя традиционными культурно-географическими полюсами: с одной стороны, северо-западной, западноевропейской культуры, с другой — юго-восточной, византийской. Гротеск, феерия, использование древнерусской лексики, социальные утопии — естественное продолжение утопий XVIII века, пародирование как постоянный литературный прием, как способ художественного видения — например, пародирование «готического романа» и псевдоисторических повествований, ирония и сатира, запутанный лабиринт провинциального и столичного быта, древнейшая тема метаморфоз и тема травести — все это роднит Вельтмана с Гоголем, с той традицией, которая неизменно связана в нашем сознании с именем последнего. Сказочный герой Вельтмана идет по ярко описанным зловонным трущобам, фольклорное добродушие и беззлобная ирония соединяются с беспощадной сатирой, водевильный «перевертыш» — с реалистическим развитием действия, приподнятый, а то и выспренний слог — с живым словом.

«Не правда ли — хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя»,— сказал о нем Лев Толстой.

III

Второй писатель, на котором необходимо сосредоточить внимание в связи с Городом Гоголя,— это Владимир Федорович Одоевский, русский князь. Не только писатель, но и музыкальный критик — и как таковой до самого последнего времени едва ли не более известный. Подобно Вельтману и Гоголю, он смешивал в своих произведениях фантастическое и реальное, загадочное и неопределенное. «Русские ночи» Одоевского — не вполне обыкновенный роман в современном понимании этого слова, но во времена всеобщего увлечения «Мельмотом скитальцем» он мог бы, пожалуй, казаться не таким уж и странным. Музыка «Русских ночей» сливается с литературой, беллетристической и публицистической, вступает с ней в симбиоз — являет собой, быть может, один из ранних опытов «новой прозы», будущего «синтетического» искусства.

Тяга к нему наметилась уже тогда. Пушкин, высоко отозвавшийся о новелле Одоевского «Последний квартет Бетховена» из «Русских ночей», называет «Евгения Онегина» романом. Гоголь, не менее

высоко о ней отозвавшийся, «Мертвые души» — поэмой. «Стихотворения в прозе» напишет И. С. Тургенев (1818—1883). Жанры вдруг обнаружат тяготение друг к другу. Начнут деформироваться. Сливаться. И все это — под влиянием Города, его стремления объединить многое и многих. А также разъединить. Расщепить.

Подобные дерзания не могли не породить впоследствии еще более решительных исканий и неожиданных открытий в творчестве художников нового поколения — А. Н. Скрябина (1871—1915), Н. К. Чюрлёниса (1875—1911), изобретателя двенадцатитоновой музыки А. Шёнберга (1874—1951). Примерно в это же время поэт А. Белый (1880—1934) начнет писать уже не просто прозу в стихах или стихи в прозе, но целые «симфонии», а прозаик А. М. Ремизов (1877—1957) попытается исполнить свои «словесные вещи, как музыкант исполняет музыку на своем инструменте».

Поэтика Одоевского близка поэтике петербургских повестей Гоголя и своим соединением несоединимого, выпадением из привычного предопределяет, возможно, самые существенные черты сатирической поэтики М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826—1889). Это смешение мыслей, идей, чувств, постепенно обретающее собственную гармонию, навеяно действительностью общей для них городской жизни.

IV

В начале поэмы Пушкина «Медный всадник» изображен идиллический, почти сказочный Петербург. Почти что город из «Сказки о царе Салтане». Очень скоро, однако, город явит юный свой лик. Он сведет с ума героя поэмы Евгения. Безумцем предстанет перед московским обществом грибоедовский Чацкий. В сумасшедшем доме окажется гоголевский Фидель, он же титулярный советник и король Испании из «Записок сумасшедшего». Голядкин Достоевского — типичный сумасшедший. Сходит с ума поручик Лахутин из романа А. Белого «Петербург». Нити сюжета булгаковского «Мастера и Маргариты» сходятся в подмосковной психиатрической клинике. Все это, однако, обитатели столичных больших городов. Но едва ли не тотально безумной оказывается и жизнь горожан, населяющих такие провинциальные городки, как город Глупов и город Градов. Так что безумной оказывается как бы вся окружающая жизнь. В какой-то мере безумцами предстают перед своими читателями и зрителями также сами художники — творцы «новой реальности»: В. Хлебников (1885—1922) и П. Н. Филонов (1883—1941), ранний В. В. Маяковский (1893—1930) и В. В. Кандинский (1866—1944). Бредом счастья или неосуществленной мечты может показаться большая часть творчества талантливого, трагически погибшего в совсем молодом возрасте художника В. Н. Чекрыгина (1897—1922).

Почему же они все безумны или пусть только кажутся таковыми? «Состояние сумасшедшего не имеет ли сходства с состоянием поэта, всякого гения-изобретателя? — спрашивает себя и читвтелей автор «Русских ночей» по крайней мере за несколько десятилетий до того, как станут задавать этот вопрос на каждом шагу экспрессионисты и декаденты.— В них все понятия, все чувства собираются; у них частная сила одной какой-нибудь мысли из всего мира получает способность, так сказать, отрывать части от предметов, тесно соединенных между собой для здорового человека».

«Словом, то, что мы часто называем безумием... не есть ли иногда высшая степень умственного человеческого инстинкта, степень столь высокая, что она делается совершенно непонятною, неуловимою для обыкновенного наблюдения?» «Безумие» здесь противопоставляется «обыкновенной животной глупости» (В. Одоевский). То есть, речь идет не только о сумасшествии как о виде заболевания и даже не столько о нем, сколько о «высокой болезни», о своего рода символе, каким был, скажем, для романтиков символ трагически гибнущего в неравной борьбе одиночки.

Поскольку во всяком живом, естественном явлении культуры, как и в живой природе, заложена способность саморазвития и продолжения, нет ничего удивительного в обнаружении прямой и надежной связи между художниками, принадлежащими разным поколениям и национальным школам. Эта связь протяженностью в 100—150 лет достаточно хорошо прослеживается, начиная с «Египетских ночей» Пушкина и «Импровизатора» Одоевского (из книги «Дом сумасшедших»), с «Записок сумасшедшего» Гоголя и двойников Вельтмана и кончая сумасшедшим поэтом Иваном Бездомным («Мастер и Маргарита»), «Степным волком» немца Г. Гессе (1877—1962) («только для сумасшедших!»), «Туманом», «Любовью и педагогикой» испанца Мигеля де Унамуно (1864—1936), а также многими таинственными «полусумасшедшими» рассказами аргентинца Хорхе Луиса Борхеса (1899—1986). Связь же с испаноязычной традицией, точнее, с искусством барокко, сказывающуюся в декоративной цветистости речений и в аффектации, в совмещении реальности и иллюзии — вообще, в стремлении к синтезу,— невольно выдает уже герой «Записок сумасшедшего». Нет, не случайно он именно испанский король и никакой другой! Тут какую кнопку ни нажми — цепь непременно замкнется. Обязательно обнаружится своеобычная — цепочкой горящих лампочек, как некогда на схемах московского метрополитена, отмеченная — связь времен и литератур.

Да, городская жизнь накаляла поспешавшую за ней прозу! Вот один прозаический отрывок: «Там огромный свод обхватывает меня в свои объятия, здесь башни гонятся за мною, шагая верстами, здесь окно дребезжит передо мною своими огромными рамами... каждый нерв подвергают нежданному страданию... слабою рукою ударяю в... проклятый купол, который и не думает шевелиться... вешаюсь обеими руками на эту негодную башню, которая... нагибается на землю и не хочет до нее дотянуться...» Нет, это пока еще не «экспрессионизм», не «модернизм» XX века. Это все еще век XIX, и даже первая его половина. Это все еще В. Одоевский, «Русские ночи».

V

Начавший стремительно развиваться Город стимулирует изобретательскую деятельность. Появляются всевозможные инженерно-технические, промышленные и бытовые нововведения. Никто уже не носит париков. Щеголи даже отказываются от ношения туфель на розовых каблуках и с большими пряжками. Город строит мосты, каменные здания, вводит в обиход новые понятия. Художники создают новые образы, символы и слова. Молодой писатель Гоголь, например, придумывает нос коллежского асессора Ковалева, запеченный его парикмахером в хлеб, и называет роман «Мертвые души» поэмой. Следом за ним Достоевский изобретает для своей повести «Двойник» название «Петербургская поэма», а внутри этой «поэмы» — новое слово, словечко, которым впоследствии будет очень гордиться. «Я изобрел или, лучше сказать, ввел одно только слово в русский язык и оно принялось, все употребляют: глагол „стушеваться“».

У создателей «поэтической прозы» и «прозаической поэзии» — Пушкина, Гоголя, Достоевского — появится замечательный продолжатель и соратник, мальчик-гений, французский поэт Артюр Рембо (1854—1891). Через два-три десятилетия после «Двойника» он станет писать стихи как прозу и прозу как стихи. Он изобретет «двухфокусное» зрение, а также цвета для гласных и согласных.

Среди отечественных изобретателей следует назвать Салтыкова-Щедрина, который придумал целую народность и назвал ее «заугольниками». Поэт Андрей Белый сочинил слово «местодействие». Дальше — больше. Специалистами в области хитроумных словесных конструкций стали художник Филонов и поэт Хлебников. Пытаясь адекватно отразить новое видение, Филонов в своих графических и живописных работах начал соединять, сцеплять дома, людей, улицы в целые новые, им придуманные жилые массивы, будто город был сделан из мягкой глины и легко поддавался лепке. Новосибирский художник Н. Д. Грицюк (1922—1976) включился в эту работу позже, когда уже глина застыла. Ему как-то удалось, однако, вновь размягчить ее и сплавить уже весь город в одно целое. Город Грицюка — это сочетание драмы, вечного карнавала и робкой романтической надежды.

Тут можно назвать еще очень много имен — в том числе и широко известных. Художники вырвались наконец из тесного мира регламентированных мыслей и чувств классицизма и, что называется, «дорвались». Они видели, что мир меняется, и хотели ускорить эти изменения, искали новые пути, и при этом не обошлось без того, что Лев Толстой назвал бы аккуратным академическим словом «преувеличения».

А все началось, пожалуй, с обыкновенной сюрреалистической детали — с запеченного в хлеб носа коллежского асессора Ковалева, с безумного Голядкина и со словечка «стушеваться».

Не только части речи, но и понятия, представления о хорошем и плохом, добром и злом смешались, поменялись местами. Сместились и планы, соединилось несоединимое. То есть смешивал, скрещивал, смещал, деформировал не столько даже художник, сколько Город. Художник лишь схватывал едва еще намечавшееся своим острым глазом, улавливал чутким ухом. Он уже не умел видеть, слышать и мыслить так, как облаченные в белые парики люди екатерининской поры.

В стихах Филонова появляется образ Провокатора с проплеванным лицом. Лицо, оказывается, п р о п л е в ы в а е т с я. А тело — просвечивается, пронизывается насквозь незадолго до того открытыми наукой икс-лучами. У людей уже не две ноги — множество рук, ног, голов. Потому что это более не отдельные люди — толпа. Впрочем, нет, не толпа — гора трупов: ног, лиц, лошадиных морд, копыт, глаз... Это уже «Герника» П. Пикассо (1881—1973).

VI

Гоголь, как и Вельтман,— весьма типичный в своем роде горожанин с

обостренным чувством Города. Приехав из провинции в Петербург, он должен был ощутить себя той исчезающе малой частицей постоянно меняющегося, текучего городского населения, которая, как раз в силу своей малости и уязвимости, наиболее остро реагирует на все соблазны большого города, на всю его чопорность и равнодушие к незваным пришельцам. Он, может, еще больший «иностранец» в Петербурге, чем любой истинный иностранец.

Город Гоголя — это, конечно, прежде всего Петербург. Но также и губернский город NN, куда однажды «въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян,— словом, все те, которых называют господами средней руки».[1] В повести «Нос» описывается только одна большая улица посредством одного неполного предложения: «На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкого моста...»

В повести «Невский проспект» эта улица описана уже гораздо подробнее: «Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем... Невский проспект!.. Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставляет на нем следы свои! И неуклюжий, грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину,— все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости».

Здесь замечательно подмечено единобытие города как целого живого организма: «С самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими, только что выпеченными хлебами... Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках или мылят свою благородную щеку и пьют кофе; нищие собираются у дверей кондитерских... По улицам плетется нужный народ... В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русский народ любит изъясняться такими редкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему путь в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, т. е. до 12 часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством... В это время, что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже, вместо шляпы, картуз был у вас на голове...— никто этого не заметит.

В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки... с приличною солидностью объясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные мисс и розовые мадмуазели идут величаво позади своих легеньких, вертлявых девчонок, приказывая им поднять несколько левое плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернанток, педагогов и детей: они, наконец, вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми разноцветными, слабонервными подругами... Все, что вы ни встретите на Невском проспекте, все исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках... дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и щегольских шляпках...»

В этом месте так и хочется воскликнуть: «Да ведь это Париж! Елисейские поля. Импрессионисты. Моне. Писсарро».

Нет, Гоголь. Петербург. Демонстрация вкусов и мод на Невском проспекте: «Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь... усы, на которые излились восхитительнейшие духи... усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленовою бумагой...»

Так что, как видно, потерян не только нос коллежского асессора Ковалева. Потеряны также лица. Остались одни бакенбарды, усы и шляпки. «Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких... Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужского пола...» Такая вот биомасса. Мир насекомых. Десять миллионов лет до нашей эры... Да, чуть не забыли! Талии... «Такие талии, какие вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки...» Что еще можно встретить на Невском проспекте? Замечательные рукава, похожие на два воздухоплавательных шара. А в дополнение к ним — единственную в своем роде улыбку. Согласитесь, это уже верх городского искусства: изготавливать улыбки. Помните «Незабвенную» Ивлина Во (1903—1966)? Так вот, это все тот же наш Гоголь, поскольку именно он показал, доказал, что улыбки могут быть и не связаны с лицом живого человека. Улыбки отдельно — рукава отдельно. Не

[1] Здесь и далее цитаты из Гоголя.

говоря уже о шляпках, талиях, бакенбардах и усах. Почему бы не встретить в таком случае на Невском проспекте и отдельно прогуливающийся нос?

Легко заметить, что мир «Невского проспекта» распался на составляющие задолго до живописных и поэтических штудий отечественных и зарубежных авангардистов. Полноте, какие авангардисты! Еще импрессионисты не народились на свет.

Перейдем теперь к описанию губернского — областного, по нынешним понятиям,— города NN, который «никак не уступал другим губернским городам: сильно била в глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая на деревянных. Дома были в один, два и полтора этажа, с вечным мезонином, очень красивым, по мнению губернских архитекторов. Местами эти дома казались затерянными среди широкой, как поле, улицы и нескончаемых деревянных заборов; местами сбивались в кучу, и здесь было заметно более движение народа и живости. Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: „Иностранецъ Василій Ѳедоров"; где нарисован был биллиард с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас в театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими в воздухе антраша. Под всем этим было написано: „И вот заведеніе". Кое-где просто на улице стояли столы с орехами, мылом и пряниками, похожими на мыло; где харчевня с нарисованною толстою рыбою и воткнутою в нее вилкою. Чаще же всего заметно было потемневших двуглавых орлов, которые теперь уже заменены лаконическою надписью: „Питейный домъ". Мостовая везде была плоховата... Городской сад состоял из тоненьких деревьев, дурно принявшихся, с подпорками внизу, в виде треугольников, очень красиво выкрашенных зеленою масляною краскою. Впрочем, хотя эти деревца были не выше тростника, о них было сказано в газетах при описании иллюминации, что „город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, состоящим из тенистых широковетвистых деревьев, дающих прохладу в знойный день", и что при этом „было очень умилительно глядеть, как сердца граждан трепетали в избытке благодарности и струили потоки слез в знак признательности к господину градоначальнику"».

Вы, конечно, сразу заметили, даже по этим куцым выдержкам, что тот и другой

город — столица Петербург и губернский NN — написаны человеком, не равнодушным к живописи. Возможно, какие-то из этих городских уголков, или очень на них похожие, вы видели запечатленными на полотнах Б. М. Кустодиева (1878—1927). Или на фанере, клеенке, доске, листе жести — Нико Пиросмани (1862—1918).

VII

Откуда же взялись эти наводящие тоску и ужас губернские города? Щедрин в «Истории одного города» пишет: «Был... в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря... По соседству с головотяпами жило множество независимых племен... а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонебые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники, рукосуи...»

В ходе уже одного этого длинного ряда перечислений вполне очевидно прослеживается связь с фольклорными мотивами — дразнилками, прозвищами, потешками, скоморошинами, с духом масленичных карнавалов — и с эпико-иронической, гуманистической традицией литературы Возрождения, в частности, с Ф. Рабле (1494—1553).

Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться, чтобы добиться хоть какого-нибудь порядка. С восклицания «запорю!», принадлежащего приглашенному для этой цели князю, начинаются «исторические» времена и собственная история интересующего нас города — губернского города NN или города Глупова. Или города Градова. В разных летописях его именуют по-разному.

«Если подъезжать к Градову не по железной дороге, а по грунту, то въедешь в город незаметно: все будут поля, потом пойдут хаты, сделанные из глины, соломы и плетня, потом предстанут храмы и уже впоследствии откроется площадь. Посреди площади стоит собор, а против него двухэтажный дом.

— А где же город? — спросит приезжий человек.

— А вот он город и есть! — ответит ему возчик и укажет на тот же двухэтажный дом старинной постройки».

Особого внимания заслуживает здесь то, что сие написано А. П. Платоновым (1899—1951) в 1926 году, то есть ровно сто лет спустя после рождения Салтыкова (Щедрина). И вопрос, который ставит

литературный персонаж: где же город? — несомненно важен, ибо речь идет о городе старом, губернском, имеющем все «необходимые губернии учреждения», соблюдающем «точную законность» и вообще проводящем все «надлежащие мероприятия» (казалось бы: что еще нужно?). Причем население города составляют не только обыкновенные жители, но и философы, государственные, иногда очень сильно и смело мыслящие люди. Один из них — тридцатипятилетний Иван Федотович Шмаков — ответственный работник и заметный в городе человек, самоотверженно, подпольно, тайком от всех, с риском для собственной репутации ведущий записи своих мыслей и соображений о государстве, которые должны пригодиться человечеству в будущем.

Со временем, конечно, проблемы так или иначе решались, снимались, видоизменялись, а мыслящие люди все не переводились в российских городах. Мыслительная работа развивалась не только вглубь, но и вширь. Вот, к примеру, наш старший современник из райгородка Н.— Н. Н. Князев, человек и гражданин, о котором рассказал лет двадцать назад писатель В. М. Шукшин (1929—1974). Князев тоже поверял, так сказать, свои сокровенные мысли, которым не было другого выхода,— бумаге. «О государстве». «О смысле жизни». «О проблеме свободного времени».

Что же касается губернского города Градова, то ему сильно не повезло, и губернским в конце концов он быть перестал, ибо, в связи с новым административным устройством, исчезла сама Градовская губерния. В областной город Градов, однако, тоже не превратился. Когда выяснилось, что город сей, оказавшийся «без государственного причалу», никому не нужен, «заметные люди Градова стали во главе бумажной войны с другими городами перед лицом Москвы.

Градовцы спешно приступили к рытью канала... Канал этот учреждался для сплошного прохода в Градов персидских, месопотамских и иных коммерческих кораблей».

Такой была борьба за право называться областным центром. Но только ничего из этого не получилось. Москва не дала «добро» — и Градов был перечислен в «заштатные города».

«А тем временем в Москве...». В Москве тем временем ожидалась гроза. Она «уже скоплялась на горизонте. Черная туча поднялась на западе и до половины отрезала солнце...» Гроза, однако, не состоялась — как не состоялось присуждение Градову звания областного города. «Грозу унесло без следа, и, аркой перекинувшись через всю Москву, стояла в небе разноцветная радуга, пила воду из Москвы-реки», да стоял «раскинувшийся за рекою город с ломаным солнцем, сверкающим в тысячах окон, обращенных на запад, на пряничные башни „Девичьего монастыря“».

Вот мы и снова в современности, дышим ее свежим летним речным воздухом. Мы в современности довоенной столицы. 1940 год. Товарищи провожают в последний путь писателя М. А. Булгакова (1891—1940). Мастер и Маргарита прощаются на Воробьевых горах с Москвой. Сейчас они улетят навсегда. Их унесут крылатые кони. Птица-тройка. Они молча прощаются с городом на том самом месте, где во времена Пушкина, Вельтмана, Одоевского и Гоголя революционер Герцен и революционер Огарев давали друг другу высокую клятву верности...

VIII

Кроме захолустных городов и городков Российской Империи, всегда, однако, был, есть и будет другой город — так сказать, мировой, всемирный. Город городов. Столица столиц. Город-совершенство. Например, Рим — «обширнейший город», куда «иностранец» Гоголь все-таки попадет в конце концов и где он после Петербурга не почувствует себя таким уж иностранцем. Или, к примеру, Париж, некогда поражавший и доселе еще поражающий «блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплоченными массами домов, облепленных тесной лоскутностью магазинов, безобразием нагих, не прислоненных боковых стен, бесчисленной смешанной толпой золотых букв... светлой прозрачностью нижних этажей, состоящих только из одних зеркальных стекол...— великая выставка всего, что производит мастерство, художество и всякий талант... размен и ярмарка Европы». Париж, который так ошеломляет приезжего, когда идешь по его улицам, пересыпанным «всяким народом, исчерченным путями движущихся омнибусов», когда слышишь «глухой шум нескольких стучащих шагов сплошно движущейся толпы», где тебя ослепляет «трепещущий блеск магазинов, озаряемых светом, падающим сквозь стеклянный потолок в галерею», когда останавливаешься перед афишами, которые «миллионами пестрят и толпятся в глаза...». И вдруг вся эта «волшебная куча» вспыхивает ввечеру при волшебном освещении газа — все дома вдруг становятся прозрачными, сильно засиявшими внизу; окна и стекла в магазинах, кажется, исчезают, пропадают вовсе и все, что лежит внутри их, остается прямо среди улицы нехранимо, блистая и отражаясь в углублении зеркалами. «Ma quest'e una cosa divina!». В том полуреальном-полуфантастическом городе стоят деревья в рост шестиэтажных домов, на асфальтовые тротуары валит толпа, и зеркальные стены сияют, «отражая в себе бесчисленные толпы дам и мужчин, шумящих речами за маленькими столиками» [1]. Это уже не отдельные люди — толпы-двойняки. И почему-то среди всех этих обезличенных толп чувствуешь себя не затерявшейся букашкой, а членом «великого всемирного общества». Да, в сравнении с этим городом даже Рим кажется «заплесневелым уголком Европы». Это тебе не Париж в Петербурге! Не Писсарро на Невском... Но был ли, существует ли на самом деле такой город?

Это было, это было в те года,
От которых не осталось и следа.

Это было, это было в той стране,
О которой не загрезишь и во сне.[2]

Неужели опять всего лишь сон?

IX

Сны снятся не только многим литературным героям произведений о Городе, но также их авторам. Всегда ли сон — приятная греза? Пушкинской Татьяне Лариной, например, снится страшный сон. Еще более страшный сон снится автору «Русских ночей»: «Наступило время, предсказанное философами XIX века: род человеческий размножился; потерялась соразмерность между произведениями природы и потребностями человечества... Гонимые нищетою, жители городов бежали в поля, поля обращались в селы, селы в города, а города нечувствительно раздвигали свои границы... Протекли века, и животная жизнь вытеснила растительную, слились границы городов, и весь земной шар, от полюса до полюса, обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов; но над роскошным градом тяготела страшная нищета и усовершенствованные способы сообщения разносили во все концы шара лишь вести об ужасных явлениях голода и болезней... еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственною водою, приносили обильную жатву, но она исчезала прежде, нежели успевали собрать ее: на каждом шагу, в каналах, реках, воздухе, везде теснились люди, все кипело жизнию, но жизнь умерщвляла сама себя».

Однако самые страшные и совсем уж бесплотные сны снятся, пожалуй, главному персонажу романа «Мы» Е. И. Замятина (1884—1937). Его город будущего состоит из стеклянных тротуаров, нагромождений однообразных, насквозь просматриваемых стеклянных кубов-жилищ, а над всем этим ослепительно яркое солнце в безоблачном небе. Ни травы, ни цветов, ни деревьев, ни домашних животных. В них «нет нужды» (А. Платонов).

«Странник» Вельтмана включает сцену «Сон с еврейским алфавитом», пародирующую приемы «готического романа». Снится сон молодому художнику Чарткову из гоголевского «Портрета». Сны снятся героям Достоевского, Щедрина, Белого. В страшном сне петербургский сенатор Аблеухов валится в бездну, куда срывается и задремавший над заведенной бомбой его сын, Николай Аполлонович. Много романтических, сюрреалистических, музыкальных снов являет нам живопись Чюрлёниса и Филонова. Космические сны молодого Чекрыгина настолько оторвали его от действительности, что, идя однажды по шпалам, этот двадцатипятилетний художник не услышал у себя за спиной шума приближающегося поезда. Не вынес груза своих драматических, трагикомических, сатирических снов и безвременно ушедший из жизни Грицюк.

Но есть у того же Гоголя описание снов прекрасных, даже до сладости. До приторности. Таковы сны наяву помещика Манилова. Что же касается главного, самого известного сна под названием «Птица-тройка» («Эх, тройка, птица-тройка! кто тебя выдумал?») — сна, который мы все проходим в школе и даже учим наизусть, то это сон-греза, сон-сказка о будущем России — только не вполне ясно, какой именно: городской или сельской. Поскольку же долгое время считалось, что «мы рождены, чтоб сказку сделать былью», уместно будет спросить: осуществилась ли в конце концов сказка-мечта нашего классика? То есть возможно ли представить себе сегодня, чтобы больной, измученный Гоголь встал со своего каменного кресла, снятого с постамента на Гоголевском бульваре и задвинутого во двор, или тот, другой Гоголь, более бодрый и жизнерадостный — тот, что стоит теперь на месте Гоголя измученного и больного, изваянного на средства, собранные по подписке любителями российской словесности,— чтобы тот или другой Гоголь вдруг встал со своего кресла, сошел со своего постамента, взглянул на нашу с вами жизнь и сказал: «До чего же все-таки, господа, вы все тут хорошо живете! О такой как раз жизни я и мечтал, когда писал свою птицу-тройку»? И вообще, насколько обязательно стремиться к тому, чтобы мечта непременно воплощалась в жизнь? Не равноценно ли это убий-

[1] Н. Гоголь, «Рим».
[2] Н. С. Гумилев (1886—1921).

ству мечты, переводу ее из области духовной в область материальную, где мечта жить просто не может? Короче, не является ли мечта самодостаточной эстетической и нравственной категорией, которую нет нужды превращать в конкретные аэропланы, колодцы, плотины, железные дороги и вечные двигатели, «действующие моченым песком» (А. Платонов)?

X

Какие бы сны нам ни снились — страшные или благостные, ларинские или маниловские,— но просыпаемся мы тем не менее в реальном городе: в Москве, Петербурге, в губернском городе NN или райгородке Н. Лучше бы, конечно,— в Петербурге, в красивейшем и славнейшем из городов, в городе-празднике, в городе Медного всадника, свободно говорящем на двух уж во всяком случае европейских языках: на русском и французском. В городах же, которые посещал Странник Вельтмана, звучит еще и немецкая, греческая, молдавская, итальянская (к коей прибегает и «римлянин» Гоголь), а также арабская речь и золотая латынь.

Итак, мы проснулись. Сейчас послеобеденное время, и нам уже нужно куда-то идти, спешить, мы куда-то приглашены. Там будет бал, там — детский праздник... Впрочем, нет: вечеринка у губернатора, на которую мы и являемся. «Коляски с фонарями, перед подъездом два жандарма, форейторские крики вдали»,— словом, все как полагается, и, вошедши в зал, нам приходится, конечно, «зажмурить глаза, потому что блеск от свечей, ламп и дамских платьев... страшный».

Да, господа, здесь, в доме губернатора, куда мы попали, все было сплошь залито светом. Море света. «Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном... Многие дамы были хорошо одеты и по моде... Мужчины здесь, как и везде, были двух родов, одни тоненькие, которые все увивались около дам... имели весьма обдуманно и со вкусом зачесанные бакенбарды или просто благовидные, весьма гладко выбритые овалы лиц... небрежно подседали к дамам... говорили по-французски и смешили дам... Другой род мужчин составляли толстые... Эти, напротив того, косились и пятились от дам и посматривали только по сторонам, не расставил ли где губернаторский слуга зеленого стола для виста...»

Даже и не знаю, господа, к какому роду мужчин следует отнести лично вас, чтобы обиды не вышло. Мы тут еще подумаем, посоветуемся с товарищами, хотя, в некотором роде... да чего уж там... «Мы» — это ведь и «вы», ибо нас, вас на губернаторском бале — целая толпа таких, отраженных, можно сказать, во всех зеркалах «двойников», «тройников», «мультиков»... Извините за чужеземное слово, господа, просто иное что-то на ум нейдет. Дело-то в том, что мы, то есть вы, а проще будет сказать, он — да, вот, замечательно: о н,— давайте на этом и остановимся! — он, стало быть, наш двойник, наше alter ego, «находится теперь в весьма странном, чтобы не сказать более, положении». Он, между прочим, господа, не тонкий и не толстый, а так, что называется, совершенно обыкновенный и вполне сам по себе. «Он, господа, тоже здесь, то есть не на бале, но почти что на бале; он, господа, ничего; он хотя и сам по себе, но в эту минуту стоит на дороге не совсем-то прямой; стоит он теперь — даже страшно сказать — стоит он теперь в сенях, на черной лестнице... Он, господа, только наблюдает теперь; он, господа, тоже ведь может войти... почему же не войти? Стоит только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет...» Но тут, господа, такая давка! Он ведь уже и сунулся, «и подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед; наткнулся мимоходом на какого-то советника, отдавил ему ногу; кстати уже наступил на платье одной почтенной старушке и немного порвал его, толкнул человека с подносом, толкнул и еще кой-кого и, не заметив всего этого или, лучше сказать, заметив, но уж так, заодно, не глядя ни на кого, пробираясь все далее...» [1] Ну и так дальше, господа, все в таком духе. Ведь такая толкучка... Толкучка, смею заметить, страшная, несмотря на то, что на дворе еще только 1845 год и никакого, вроде бы, перенаселения не наблюдается. А в то же время и на улице бог знает что такое творится — погода, знаете ли, ни то ни се... Но и здесь, в губернаторском доме, с другой стороны, такая толкучка, что просто невозможно... Натолкавшись и измучившись, герой наш вдруг сообразил, «что на него надевают шинель, что ему нахлобучили на глаза шляпу, что, наконец, он почувствовал себя в сенях, в темноте и на холоде, наконец, и на лестнице. Наконец он споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрикнуть — и вдруг очутился на дворе...

Ночь была ужасная, ноябрьская,— мокрая, туманная, дождливая, снежная, чреватая флюсами, насморками, лихорадками, жалобами, горячками всех возможных родов и сортов — одним словом, всеми дарами петербургского ноября. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и заодно потрагивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый каждому петербургскому жителю... Среди ночного безмолвия, прерываемого лишь отдаленным гулом карет, воем ветра и скрипом фонарей, уныло слышались хлест и журчание воды, стекавшей со всех крыш, крылечек, желобов и карнизов на гранитный помост тротуара» (Достоевский).

[1] Ф. М. Достоевский, «Двойник».

И что уж тут поделаешь, господа, если спустя ровно шестьдесят лет после того дня — в 1905-м, следовательно, году — в Петербурге стояла такая же точно ноябрьская непогода, и «изморось поливала прохожих: награждала их гриппами; вместе с тонкой пылью дождя инфлуэнцы и гриппы заползали под приподнятый воротник гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; и субъект (так сказать, обыватель) озирался тоскливо; и глядел на проспект стерто-серым лицом; циркулировал ов в бесконечность проспектов, преодолевая бесконечность... в бесконечном потоке таких же, как он,— среди лета, грохота, трепетанья, пролеток, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулад и нарастающий гул желто-красных трамваев... в непрерывном окрике голосистых газетчиков.

Из одной бесконечности убегал он в другую; и потом спотыкался о набережную; здесь приканчивалось все: мелодичный глас автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект; здесь был и край земли, и конец бесконечности.

А там-то, там-то: глубина, зеленоватая муть; издалека-издалека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; принизились земли; и принизились здания; казалось — опустятся воды, и хлынут на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватою мутью в тумане гремел и дрожал, вон куда убегая, черный, черный такой Николаевский Мост» [1].

Тут бы самый раз продолжить: «По асфальтовой пустыне бегут в беспорядке с туманами вместе... каски, колеса, барки, крупы коней». Но дело в том, что последний отрывок, принадлежащий перу А. Рембо («Озарения», XXVIII М е т р о п о л и т е н), есть скорее начало, чем продолжение, ибо написан сорока годами раньше.

[1] А. Белый, «Петербург».

XI

Собственно, нас в приведенном отрывке из «Петербурга» интересует не только то, что слова «лет, грохот, трепетанье», с одной стороны, и «пролетки» — с другой, без всяких оговорок пишутся через запятые как однородные члены предложения, что приводит к определенному «скрещиванию», «гибридизации», взаимопроникновению конкретных и отвлеченных понятий, к сдвигу привычного изображения и приданию всей картине особой динамичности, слитности, смазанности, хаотичности, но и то, что, пройдя сквозь непогоду, мы оказываемся возле тяжелых дверей «роскошного желтого дома», выходящего «окнами... на Неву». Здесь живет один из главных персонажей романа «Петербург», старый чиновник, сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов. Примечательно также, что в этом романе разыгрывается уже не трагедия XIX столетия, как в пушкинском «Медном всаднике», а трагикомедия века XX. Трагедия перерождается в трагикомедию. Усугубляется ироническое, сатирическое, смеховое, ерническое начало. Здесь уже игра персонажей не скрывается автором, не камуфлируется приближением к естественному и привычному, «как в жизни», а напротив — гротескно подчеркивается именно как игра. Роль Евгения из «Медного всадника» исполняют в данном случае двое: террорист Дудкин и сын сенатора Аблеухова — Николай. То есть классически-романтический Евгений раздвоился, чего, собственно, и следовало ожидать. Евгений всего лишь грозил царю: «Ужо тебе!» — а его двойники готовят самую что ни на есть настоящую бомбу. Гнавшийся за Евгением по пустой площади Медный всадник теперь комически карабкается в каморку одного из дублеров — террориста Дудкина — по пожарной лестнице. Террорист действует в обстановке 1905 года, а вот каморка его очень напоминает каморку Раскольникова. То есть каморка-то старенькая — пожалуй, что сорокалетней, с учетом же времени написания «Петербурга» и вовсе пятидесятилетней данности.

Так вот как выглядят этот «роскошный желтый дом» сенатора изнутри, каким стилем модерн оборачивается относительно лаконичный в гоголевском изображении классический, можно сказать, «блеск свечей, ламп и дамских платьев».

«Со стола поднялась холодная длинноногая бронза; ламповый абажур ее сверкал фиолетово-розовым тоном, расписанным тонко: секрет этой краски девятнадцатый век потерял; стекло потемнело от времени; тонкая роспись потемнела от времени тоже.

Золотые трюмо в оконных простенках отовсюду глотали гостинную зеленоваты-

ми поверхностями зеркал; и вон то — увенчивал крылышком золотощекий амурчик; и вон там — золотого венца и лавры, и розаны прободали тяжелые пламена факелов. Меж трюмо отовсюду поблескивал перламутровый столик...

Аполлон Аполлонович уселся в ампирное кресло, где на бледно-лазурном атласе сиденья завивались веночки, и с китайского он подносика ухватился рукой за пачку нераспечатанных писем...»

Тут не приходится сомневаться в том, что уже утвердившийся стиль модерн иронизирует над самим собой. Он, создавший свой новый уют с помощью предметов и деталей старой обстановки, не очень-то уважает себя. Однако же и прошлый, девятнадцатый век потерял в его глазах не только «секрет» краски. Он потерял нечто гораздо более важное, ценное и существенное — он потерял свои идеалы и уважение потомков.

«Над роялем висела уменьшенная копия с картины Давида „Distribution des aigles par Napoleon premier“ [1]. Картина изображала великого Императора в венке и горностайной порфире; к пернатому собранию маршалов простирал свою руку Император Наполеон; другая рука зажимала жезл металлический; на верхушку жезла сел тяжелый орел».

Так модерн насмехается над классицизмом, из которого сам вышел и в недрах которого был порожден вместе с культурной традицией, у истоков коей стояли Вельтман, Одоевский, Гоголь. В данном примере французский художник Жак Луи Давид (1748—1825) — лишь предмет пародии как один из самых типичных представителей классицизма, один из его наиболее академичных, канонических символов.

Сознание нового времени преимущественно расщеплено: оно мечется между прошлым и будущим. В романе «Петербург» раздваивается, кстати, не только пушкинский Евгений из «Медного всадника», превратившийся здесь в двух фигляров — террориста Дудкина и сына сенатора Николая Аполлоновича. Двоится даже представление автора о местонахождении сенаторского дома. Эта «двоичная» система, проявляющая себя и в двойном нахождении дома Аблеуховых, является как бы новой художественной реальностью, уже общепринятым как бы символом в рассказе о переломных днях, переломной эпохе в судьбе Петербурга. Дом сенатора находится одновременно и на Английской набережной и на Гагаринской. А Учреждение, в котором главенствует Аблеухов, находится одновременно на Невском проспекте и в районе одной из набережных. Да и весь город — уже с учетом социального аспекта — делится на две части: на ту, где Дворцы и Учреждения, и другую, где живет бедный рабочий люд, «островитяне». Видимость стремительного развития действия таит под собой топтание героя на одном месте. Детали выписаны с ювелирным тщанием — общая же картина смазана, недостоверна. В чем дело? Может, недостоверна сама жизнь? Или автор «Петербурга» слишком увлекся общей теорией относительности А. Эйнштейна (1879—1955), созданной как раз в ту пору? Или, независимо от Эйнштейна, он пришел к ее выводам самостоятельно, но только другим путем?

В романе масса несоответствий, «неправильностей», не исправленных впоследствии, целиком перешедших в современное академическое издание. Дело тут в том, что эти «неправильности» не есть ошибки, они обусловлены спецификой нового мышления. Можно, однако, представить себе, какую богатейшую пищу дали бы они для определенной части даже современной критики — той, что все еще мыслит и чувствует в духе благословенной памяти времен «Очакова и покоренья Крыма».

Можно легко представить, какие бы пух и перья летели от автора и его сочинения, не будь они надежно защищены броней истории и академическими авторитетами мемориальных изданий. В романе эклектична (эклектичен) не только кариатида-атлант-сатир — каменный бородач, венчающий подъезд Учреждения, возглавляемого сенатором Аблеуховым: Эклектичны и другие архитектурные детали, детали быта, бытия. Здесь эклектика — литературный прием, стиль. Стиль модерн. Город живет двойной, тройной, многократно умноженной, иногда даже кажется — чьей-то чужой жизнью.

Именно нравственная «ущербность» города, его стремление деформировать личность, не выдерживающую испытаний новыми историческими условиями, становится основой идеологической позиции той культурно-художественной традиции, которая брала свое начало у колыбели XIX столетия.

«Мокрый, скользкий проспект: там дома сливалися кубами...»

Это еще 1915 год, еще «Петербург» Белого, но уже и кубистическая живопись П. Пикассо (1881—1973), А. Дерена (1880—1954), П. Н. Филонова, К. С. Петрова-Водкина (1878—1939), А. В. Лентулова (1882—1943), Р. Р. Фалька (1886—1957), многих других. Это и стихи Г. Аполлинера (1880—1918), и отозвавшаяся десятилетием позже трагикомическая повесть Юрия Олеши (1899—1960) «Зависть».

«И вот, глядя мечтательно в ту бескрайность туманов, государственный человек из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил; и ему захотелось, чтоб вперед полетела карета, чтоб проспекты летели навстречу — за проспектом проспект, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной, как змеиными кольцами, черновато-серыми домовыми кубами; чтобы вся, проспектами притиснутая земля, в линейном космическом беге пересекла бы необъятность прямолинейным законом; чтобы сеть параллельных проспектов, пересеченная сетью проспектов, в мировые бы ширилась бездны плоскостями квадратов и кубов: по квадрату на обывателя...»

Так выглядит «птица-тройка» государственного чиновника, сенатора Аблеухова. Так начинались в Европе, в России «кубизм», «супрематизм», «лучизм», «конструктивизм» и прочие «измы».

«После линии всех симметричностей успокаивала его фигура — квадрат.

Оя, бывало, подолгу предавался бездумному созерцанию: пирамид, треугольников, кубов, трапеций...»

Черный квадрат на белом. Белый — на черном. Малевич К. С. (1878—1935).

При чтении многих страниц Вельтмана, Одоевского, Гоголя, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Платонова создается впечатление, что надмирная, космическая сторона жизни человека составляет главнейшую сторону его существования вообще. При знакомстве с творчеством Белого, Филонова, Грицюка и особенно Чекрыгина это впечатление еще более усиливается. Завершающую часть трилогии, начатой «Серебряным голубем», Белый хочет назвать «Невидимый град». Это уже что-то вроде «града Китежа». Город есть и его нет. Личность растворяется в мировом океане, сливается со всей природной жизнью мироздания — любимая идея философа и фантаста-мыслителя Н. Ф. Федорова (1828—1903). Возникает новый вид «космогонической» системы художнического видения. В «космос» мыслей и чувств, в интегральную всеохватную систему восприятия включено уже не только реальное, но и воображаемое, мыслимое, не только прошлое и настоящее, но и будущее. Становится возможным одновременное пребывание в нескольких измерениях. Всюду дуют космические сквозняки. Город расшатывается, разбухает, и уже не «от полюса до полюса» (Одоевский) — он охватывает теперь весь космос. Весь космос наш! Дальнейшее расширение, развитие бессмысленно. Налицо очевидный тупик.

XII

Пока классики еще не были классиками, их тоже критиковали, ругали, обвиняли. В подражании, например, великому английскому писателю, иронисту-сентименталисту Л. Стерну (1713—1786) упрекали чуть ли не каждое оригинальное произведение, содержащее хоть толику юмора — в том числе и «Евгения Онегина». В 1828 году в «Атенее» об авторе этого «романа в стихах» писалось, в частности: «От этого такая *говорливость* (выделено мной.— *А. Р.*) у него; так много заметных повторений, возвращений к одному и тому же предмету и кстати и некстати; столько отступлений, особенно там, где есть случай посмеяться над чем-нибудь, высказать свои сарказмы и потолковать о себе.— Некоторые называют затеями воображения, а другие подобные замашки... просто, наростами к рассказу, по примеру, блаженной памяти Стерна». То же три года спустя напишут о «Страннике» Вельтмана.

Если уж Пушкин *говорлив*, то что говорить о Гоголе? О Достоевском? О Белом?!

Действительно, на первый взгляд, слов иногда многовато. Откуда их столько взялось? Целая толпа слов. Целые большие коллективы, из которых хорошо бы выбрать несколько наиболее заслуженных, достойных представителей. Но слова все чаще требуют демократии, организуют вече. Каждое слово желает лично участвовать...

А ведь это все город, дорогие господа, друзья и товарищи. Именно город создает толпы равноправных, амбициозных, взаимозаменяемых людей — всех этих «двойников», «тройников», «мультиков». Он же порождает и толпу слов, слухов, множит известные, создает новые. Мультиплицирует (кстати, это очень старое, еще во времена алхимии вошедшее в широкий обиход слово) изображения людей, домов, машин, лошадей, экипажей, будто отражая их во множестве зеркал. И вот уже в середине нашего века приемом повторения, дублирования, зеркального отражения начинает широко пользоваться французский «новый роман», тяготеющий к опыту, накопленному искусством живописи и музыки.

Нет, это не обычная *говорливость*. Это, извините, *принцип* — некий принцип равноправия, гласности и многообразия. Это, если угодно, некий своеобычный *способ* отражения той новой реальности, которая в свое время была зачата во чреве истории и вот уже полтораста лет развивается весьма стремительно...

Способность к интенсивному размножению обнаружили, между прочим, не только слова, но и звуки. Поэзия оставила терцины, чтобы потом когда-нибудь опять к ним вернуться, и занялась поисками звукоподражаний, ассонансов, аллитераций и т. п. XX век обратился за технической помощью к XV и XVI, чтобы создать новую полифоническую музыку. Заметно усилилось влияние «несерьезно-

[1] «Раздача знамен императором Наполеоном» *(франц.)*.

го» жанра пародии на самые «серьезные» жанры литературы и искусства. Произошло не только вавилонское смешение языков, но и смешение, взаимопроникновение различных родов искусств, а внутри них — жанров. Уже у Вельтмана сплавлялись воедино реалистическое, сатирическое и романтическое видение, нарушалось классическое триединство времени, места и действия. Уже у Вельтмана и Одоевского романные события прерывались свободными размышлениями автора об истории, литературе, смысле жизни и о себе самом. И вот в результате столько накопилось слов, звуков, изображений — всякого рода эмоциональной и рациональной информации, что без индивидуального компьютера, пожалуй, и не обойтись.

XIII

Из всего сказанного следует, что Город Гоголя — это не только город Петербург, не только губернский город NN, не только Коломна или город, где «гибнут государственные постановления» (Щедрин), или райгород Н. (Шукшин). И даже не вообще один какой-то (некий) город, в котором имеется некий один (отдельный) департамент. И совсем не обязательно, чтобы город этот был одним из тех абстрактных, вне времени и места существующих городов-городишек, коими так злоупотребляло едва ли не все искусство нашего столетия и за выставление на всеобщее обозрение коих так безжалостно секли начинающих служителей муз все без разбору официальные лица, обеспечивающие надзор за печатным делом и имеющие свободный, ничем не ограниченный доступ к розгам.

Город Гоголя — это город не только Гоголя, но и Пушкина, Вельтмана, Одоевского, Достоевского, Щедрина, Островского, Лескова, Белого, Филонова, Булгакова, Чекрыгина, Платонова, Грицюка, Шукшина, Высоцкого, а также многочисленных Ивановых, Петровых, Сидоровых и многих-многих других. Тут не приходится принимать во внимание табель о рангах. Может, бессмысленно даже проставлять инициалы. Тем более — даты жизни. Потому что в том городе жили, живем, будем жить ты, я, он, они, Пушкин, Гоголь, Щедрин...

Мы постоянно бываем на площади Пушкина, заходим в библиотеку Салтыкова-Щедрина, гуляем по Гоголевскому бульвару, читаем книги, ходим на выставки, в театры, концертные залы и консерватории, а также пишем всевозможные сочинения — в том числе на темы произведений писателя Гоголя. Мы пишем их в подростковом, юношеском, зрелом возрасте, а иногда даже в старом. Мы — школьники и абитуриенты, студенты и аспиранты, языковеды и литературоведы, социологи и футурологи, писатели, художники и музыканты. Один из таких сравнительно недавно написанных, впечатляющих сочинений — поставленный на сцене Большого театра маленький балет композитора А. Шнитке. Музыка к этому балету, замечательная сама по себе, поражает, кроме того, своей виртуозно-игровой, пародирующей формой, столь соответствующей самому духу творчества великого писателя.

Пародия — это, в общем-то, очень серьезно. Это ведь не только узкий насмешливый жанр, но и широкий прием, вовсе не исчерпывающийся «передразниванием». О пародии можно сказать примерно то же, что сказал о сатире уже многократно упоминавшийся и цитировавшийся А. Платонов: «Забавность, смехотворность, потеха сами по себе не могут являться смыслом сатирического произведения: нужна еще историческая истинная мысль...». Далее он приводит слова Щедрина: «Ах, ведь и мрачное хлевное хрюканье потеха; и трубное пустозвонство ошалевшего от торжества дармоеда — тоже потеха... Все это явления случайные, призрачные, преходящие, которые несомненно не оставят ни в истории, ни в жизни народа ни малейшего следа». И говорит о Гоголе: «Гоголь видел, что эпоха „приказчиков“ не лучше эпохи феодалов: нужно ли тогда, чтобы двигалось вперед историческое время?.. Но в таком вопросе содержится и ответ на него: необходимо, чтобы движение истории совершалось тем более энергично, раз сменяющие один другого общественные классы не дают истинного смысла человеческой жизни... Мы хотим сказать, что если вообще для художественной прозы необходима, по давнему указанию Пушкина, прежде всего мысль, то для сатирической прозы мысль нужна вдвойне...»

Пародия — не только насмешка, но и способность анализировать то, что стало вдруг понятным. Это своего рода преодоление рефлекса, прощание с уходящим явлением или этапом культуры, жизни, который еще не ушел, но уже утратил всепокоряющее очарование, всеоглушающий дурман.

Пародия — не только насмешливое подражание-передразнивание, в котором упрекал Достоевского Аксаков, имея в виду подражание Гоголю, но и ностальгия по ушедшему, уходящему («Старосветские помещики» Гоголя), и извечная тяга к новому, к «асфальтовой» культуре («петербургские», вообще «городские» вещи того же Гоголя). Пародия — это жанр-«двойник», находящийся как раз между уходящим прошлым и еще не наступившим будущим. Пародия способна передать весь драматизм переживаемого текущего момента.

Пародия — одна из самых верных, памятливых хранительниц традиции. Она постоянно подтрунивает над дряхлеющей, окостеневающей традицией, расшевеливает ее. Дух пародии сокрыт в самой сердцевине чеховского «Вишневого сада». Может, поэтому «Вишневый сад» назван не трагедией, а комедией. Ведь пародия — это не только и, пожалуй, даже не столько смех, сколько тоска по утраченным иллюзиям. На могиле Гоголя стоит памятник с выбитым на нем изречением пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеюся».

Золотой век русской культуры весь пропитан иронией и пародией. Пародия насквозь пронизывает творчество Пушкина. Мы можем зачастую не замечать пародийных пассажей в его «Евгении Онегине», во многих других произведениях только потому, что недостаточно хорошо знаем ту эпоху, о верности традициям которой, возможно, с излишним усердием, не устаем твердить.

Мы часто говорим о сатире Гоголя и Щедрина, но редко задумываемся о том, на чем зиждется эта сатира, из чего она растет. Почвой же для нее является как раз пародия, и один из самых характерных примеров гоголевской пародии — тот, где пародируется стиль провинциальной газеты, слезы благодарных градоначальству граждан губернского города.

Достоевский и Томас Манн (1875—1955) — уже самоироничны, а М. М. Зощенко (1895—1958) — самопародиен. В сравнении с Гоголем Белый — откровенный пародист. Пародия едва ли не в каждой его фразе. Пародийна сама сознательно избранная им манера — косноязычие. Он как бы пародирует того себя, каким бы мог быть, как стиль модерн пародирует тот классицизм, каким бы тот мог стать, не прегради ему путь новое искусство. Стиль модерн изысканно пародиен и в литературе, и в архитектуре, и в живописи, но от этого его эстетическая ценность ничуть не снижается.

XIV

Противопоставление жизни города жизни народной — абсурд. Живучесть такой точки зрения свидетельствует более о лукавстве не без тайного умысла, чем об очень странном понимании того, что такое народ, с одной стороны, и что такое город — с другой. Тот процесс, который губил деревню, сокращал количество деревенских жителей, увеличивая количество городских, в равной мере губил, разбавлял, разъедал, деформировал и город, исконно городские традиции. Глядя иной раз на новых его жителей, впору было воскликнуть вслед за автором «Города Градова»: «А где же город?»

Кажется, уже не остается сомнений в том, что Город Гоголя — это прежде всего некая культурная, литературная традиция. Со своей перспективой. Со своей ограниченностью. Город Гоголя — это город острого видения и расплывчатых грез, город фантазии и город трагедии. Несуразный, алогичный, смешной, безобразный, прекрасный город. На пути от Гоголя к Белому и Филонову город Петербург претерпевает существенную метаморфозу, превращается в город-символ, город-знак. Его география уже навсегда сбита, запутана, несущественна. Некоторое традиционное значение сохраняется только за отдельными изобразительными деталями, иногда очень точно топографически обозначенными, но эти детали, подчеркивая пластическую достоверность образа, лишь еще более усугубляют общую размытость контуров.

Совсем не обязательно, что Вельтман, Одоевский, Гоголь, Достоевский, в чьих произведениях мы встречаем «двойников», подражали Гофману. Также вполне очевидно, что кое-кто из последователей Гоголя даже не догадывался, что следует ему. Тут ведь дело не в осознанности — в необходимости. На картинах Филонова лица, фигуры его городских персонажей уже «растраиваются» и «расчетверяются». Но если Филонов еще мыслит свой город в виде отдельных фрагментов, участков и секторов как относительно самостоятельных территориальных единиц, тяготеющих друг к другу, то у Грицюка это уже нечто неразделимо целое, вполне интегрированное. Если у Филонова — только тяготение, подчас трагическое, то у Грицюка слияние произошло, и это — реальность, тоже, впрочем, подчас трагическая. Но уже и трагикомическая, с непременными элементами сатиры.

Изобразительное отношение даже Пушкина, но в еще большей степени Гоголя и Достоевского, к Петербургу как городу призрачному, фантастическому, нереальному усугубляется в 1910-х годах у Белого, который перенимает у Гоголя сказовую манеру повествования и превращает город почти в абстракцию. Что касается этической стороны, то олицетворение высшего добра у Белого в «Петербурге» — уже не просто мечта, не сказочная «птица-тройка», а вполне конкретный антагонист Медного всадника — одетый в белое домино Христос (пальто с короткими рукавами, длинные кисти бледных рук, длинные ноги). Не тот ли самый это бог, которого в последние, злосчастные годы своей жизни искал больной Гоголь? Не тот ли самый Христос, который «в белом венчике из роз» появится несколькими годами позже у А. А. Блока (1880—1921) в «Двенадцати»? Готовящий же бомбу сын сенатора Аблеухова одет в красное домино. Словом, это уже не

боги и люди, а актеры, играющие роли богов и людей на сцене вселенского театра. Персонажи-арлекины. Ближайшие родственники «Лунного Пьеро» австрийского композитора А. Шёнберга, крупнейшее музыкальное открытие которого подтолкнуло Т. Манна к созданию «Доктора Фаустуса».

«Лунный Пьеро» — это одновременно странная, страшная и смешная музыка. Звуки в ней расплющиваются, расщепляются, как майор Ковалев, господин Голядкин или одно из лиц на картинах Филонова либо Пикассо. Будто вас пугают во сне, прячась за деревьями, подвывая и хохоча в гулком, глухом лесу. Женский голос, звучащий в промежуточной между декламацией и пением «говорком» манере — в манере, получившей название Sprechgesang,— должен иметь очень широкие вокальные возможности: частые глиссандо то и дело переходят в визг, свист, ультразвуковой диапазон. Ставшая уже классической, музыка эта была написана около шестидесяти лет назад, и не случайно современная опера Р. Щедрина «Мертвые души», как и маленький балет А. Шнитке на темы гоголевских произведений, поставленные на сцене Большого театра, имеют с ней так много общего.

Мертвые души, которые скупает Чичиков, являются одним из самых сильных в мировом искусстве художественных символов деформированного, многократно расщепленного, отчужденного, унифицированного, ненастоящего, ненормального мира. Уж они-то точно все одинаковые — как предмет купли-продажи, во всяком случае. Они-то уж точно символичны и нереальны как будущие работяги будущих покупателей. Торговля мертвыми душами — это уж точно страшный сон вывернутого наизнанку сознания при всей реалистичности деталей окружающей обстановки, которая, опять-таки, лишь усугубляет эту вывернутость. Сей сон «русских ночей» многократно отразился потом во многих зеркалах, в страшных видениях писателей других стран и народов, осознавших, что несет с собой, что может принести новая «асфальтовая» цивилизация больших городов, больших цифр, оптового отношения к жизни, к чужим жизням, хотя действие всех этих произведений могло в равной степени развертываться в больших, средних и маленьких городах, даже в сельской местности, как, собственно, и происходит оно по преимуществу в «Мертвых душах». По сравнению с таким сном-кошмаром сон-мечта выглядит живой, желанной реальностью. Реальное и нереальное меняются местами — еще один впечатляющий образ, которому критически настроенная к окружающей действительности мировая литература обязана Гоголю.

В музыке — Шёнберг, его «Лунный Пьеро». В поэзии — Блок с его таинственными, неуловимыми масками городского карнавала и многоликие персонажи «Поэмы без героя» А. А. Ахматовой (1889—1966). В прозе — Белый с его Арлекином-Христом. В изобразительном искусстве — кубофутуристы. Художники А. Н. Волков (1886—1957), Ю. П. Анненков (1889—1974). Примеры готовы множиться и множиться, как лики литературных, музыкальных, живописно-графических персонажей с их двойным, тройным, то умножающимся, то как бы «пульсирующим» смыслом.

Может, из «Шинели» вышли не только «все мы», но и отчасти рассказы американца О'Генри (1862—1910), написавшего «Дары волхвов», и итальянский кинематограф времен неореализма с его «Похитителями велосипедов»? Не литературные ли родственники гоголевскому «Портрету» «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (1854—1900) и «Доктор Фаустус» Томаса Манна?

Если на всю русскую литературу — особенно начала прошлого века — значительное влияние оказали «Тристрам Шенди» и «Сентиментальное путешествие» Л. Стерна, то русские писатели и художники гоголевской традиции оказали едва ли не большее — на развитие всей западноевропейской и американской культуры. Гоголь впервые, может, захотел показать город не как декорацию, на фоне которой происходит то или иное действие, но как само активное действо.

Город Гоголя имеет гораздо более широкие границы, чем нас тому учили в школе. От Гоголя ведет свою родословную сатира поэта-урбаниста В. В. Маяковского. Присмотримся внимательнее — и мы обнаружим то же обличение государственной бюрократии, то же тяготение к пародии. Те же сдвиги, смешение, коллаж. Те же «мультики» — мимолетные и статические, номенклатурные и среднестатистические. Персонаж «Бани» Микель Анжело, ни разу, впрочем, не появляющийся на сцене,— итальянец. Он же Анжелов, армянин. Он же фашист. Он же художник. Присыпкин из «Клопа» становится Пьером Скрипкиным, а монтер Ваня из известного стихотворения — электротехником Жаном. Люди, предметы, персонажи деформируются ради выявления их сути, их истинного лица. Улица корчится безъязыкая. Душа вытаскивается из тела, растаптывается на асфальте и превращается в знамя. Все отличие заключается в том, что в большом городе начала нашего века потеряно уже не тело, как в одной из «Пестрых сказок» Одоевского, не нос, как в повести Гоголя, а наоборот — душа. Но образ бездумной, безумной толпы — тот же: «Вам, проживающим за оргией оргию!..» Ну, и так

далее, имея в виду, что речь идет не только о литературе, но и о графике Ф. Мазереля (1889—1972), О. Дикса (1891—1969), других немецких экспрессионистов.

Город Гоголя продолжает терзать извечная проблема: город духа или город плоти? Город, где властвуют «экономисты-утилитарии» (Одоевский), или город, где царят поэты? Город земли или город неба?

Из гоголевской традиции выплеснулась народно-сатирическая песенная стихия В. С. Высоцкого (1938—1980).

Подводя итоги, можно как-то попробовать оценить отдельные направления этой традиции. У самого Гоголя, Щедрина, у Платонова в его «Городе Градове» преобладает все-таки сатирическое изображение города, склонность к аллегории. У Достоевского и Белого — утонченно-психологическое. У Филонова, Хлебникова, Маяковского, Грицюка — драматическое, динамическое, игровое. У Вельтмана, Одоевского, Чекрыгина сильнее, чем у остальных, проявляется мифотворческое, мистическое, фантастическое, космогоническое начало.

Одно же из самых существенных изобретений всего направления в целом, один из преподанных им уроков литературной учебы, в частности, заключается в признании формальной возможности совокупного, одновременного, интегрального или синтетического восприятия событий, явлений, предметов и лиц, разделенных натуральной жизнью во времени и пространстве. При этом допускается и отдельное, «дифференциальное» существование частей целого — например, носов и усов отдельно от физиономий, коим по природной предрасположенности они должны бы принадлежать. Эта допустимость расщепления и объединения, сбивания всевозможных строений в единую кучу, в «безархитектурные сплоченные массы» есть переход к изобразительному *осмыслению* тех многостадийных процессов, которые реально происходят и будут происходить внутри новой развивающейся городской цивилизации, в системе мышления причастных к ней людей. Процессы эти вынуждают нас сегодня ставить уже модально проблему скорейшей *перестройки* личного и общественного сознания, проблему *компьютеризации*, дабы решить те научно-технические, производственные, экономические и гуманитарные задачи, которые стоят перед ныне живущими и их потомками. Это все та же, между прочим, проблема интегрального, ретроспективного и перспективного, композиционного и комбинационного видения, обусловленная замечательной способностью человеческого мозга и созданных по его образу и подобию машин-компьютеров мыслить или решать некоторые задачи, мгновенно соединяя вместе то, что на библиотечных полках, в архивах и, вообще, в окружающей нас жизни соединяется порой чрезвычайно редко, медленно, а то и не соединяется вовсе.

Когда большие города стали собирать, спрессовывать многих разных людей в одно целое, в толпу, то сознание некоторых художников как бы инстинктивно воспротивилось этому, и, в попытке сохранить индивидуальное, частное, личное, неповторимое, они стали «расщеплять» людей и предметы, словно бы противодействуя общему безжалостному процессу объединения. С другой стороны, интегральное художническое видение явилось почти инстинктивной попыткой стянуть, удержать от гибели распадающийся мир. Уже Лев Толстой в «Войне и мире» рассуждает об интегралах применительно к действующим силам и характеру Отечественной войны 1812 года, в которой участвовали уже сотни тысяч одних только военных.

Но есть, как уже говорилось, у означенной традиции и свои тупики. Город Замятина в «Мы» — это совершенно обесцвеченное, обездушенное, обезображенное рентгеновское изображение. Без полутонов. Без альтернативы. Сплошная, замкнутая сама на себя система. Только серое и бесцветное во всепроникающем свете икс-лучей. Или в ослепительном, бьющем прямо в глаза солнечном свете, когда уже нельзя различить ни отчетливых контуров, ни даже объема и цвета. И это — одна окраина Города, его край и предел, где нет, кроме неживых, хотя и движущихся, существ — ничего больше. Другая его окраина — та армия благостных, по-маниловски безобидных и процветающих при всех властях сатириков-куплетистов, которая, никогда не превышая меру дозволенного, клеймит, что называется, и без того разоблаченных взяточников и бюрократов. Другая окраина — это те, кто, именуясь сатириками, пользуются всеобщим равнотемпературным уважением, очень похожим на равнодушие, и занимают почетные места в президиумах, организуемых зачастую теми, против кого, казалось бы, и должна быть направлена их сатира.

Но все это — фланги и арьергарды. Окраина слева и окраина справа. А между ними — живое искусство. Между ними, от них вдали и впереди. Искусство делает свое неизбывное, необоримое дело. Как сказал неоднократно упоминавшийся нами художник Филонов: «Художник-пролетарий обязан делать не только отвечающие запросам сегодняшнего дня вещи, но и проламывать дорогу интеллекту в отдаленное будущее».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Иосиф Бродский. Осенний крик ястреба. Л.: 1990.

Все знают, что Иосиф Бродский — знаменитый русский поэт и что он живет в Америке. Собственно говоря, больше ничего и знать не нужно, кроме стихов, а они перед вами.

Личная участь и вообще любые частности занимают Бродского мало. Почти в каждом стихотворении, начиная с самых ранних, он пытается сказать все, что думает о мироздании, когда ощущает свое присутствие в нем.

Ощущение это приходит к нему часто и, вероятно, похоже на боль,— во всяком случае, сила внешнего воздействия много больше, чем сопротивление чувств; разность этих величин дает поэзию.

Можно сказать иначе: Бродский наделен редким и мучительным даром никогда не забывать о бесконечности, или — что то же самое — постоянно сознавать ограниченность, обреченность, относительность вещей, чувств и слов.

Это значит переживать реальность как бы в обратной перспективе: вглядываться в окружающую обстановку — из мирового пространства, в ситуацию — из другой ситуации, отменяющей первую, и так далее.

Философ без труда усваивает такое ви́дение как прохладную теорему, понижающую себестоимость жизни. Для поэта оно — неутолимое страдание, в точности похожее на безнадежную любовь. Терпеть эту тревогу невыносимо; освободиться от нее нельзя; разве что в ходе стихотворения, на время стихотворения.

Сюжет молодого Бродского — добровольная, преждевременная разлука — с городом, с женщиной, с жизнью; отчуждение, отстранение, отказ от любви — слишком сильной, чтобы смириться с ее обреченностью. Стихотворение Бродского — сон о свободе от счастья существовать, нестерпимого, как несчастье. Оно обрушивается на сознание волнами прекрасного пространства, пересоздавая внутреннюю речь и переводя ее в жизнь голоса так, что звук движется со скоростью мысли.

Случилось так, что Судьба — при деятельной поддержке Государства — злорадно поймала двадцатитрехлетнего поэта на слове и воплотила его метафоры в реальных биографических обстоятельствах. Разлука, утраты, одиночество — все сбылось.

Это все сбывается с каждым рано или поздно. И, в общем, не столь важно, какая именно последовательность событий освободила человека от иллюзий, привязанностей и порождаемой ими тревоги,— особенно если этот человек — поэт и если он помышлял о таком освобождении. Важно — в какое знание претворился новый опыт.

Стихи Бродского стали отчетом о пребывании в небытии. Свободный от других — свободен от жизни; он — никто и со всех сторон окружен Ничем; он — точка зрения, часть речи, мозг, неумолчно перемалывающий бесконечность...

Зрение наполняется пространством, холодным и чужим, как порыв тоски; ей откликается память; вот уже весь объем переживаемой данности освещен отчаянием; теперь, если посчастливится, ее недоступный смысл удастся высказать непредвиденными комбинациями неизвестно откуда поступающих слов. Стихотворение возникает на наших глазах из небытия и свободы...

Весь этот метафизический сюжет — несовместимость человека и Вселенной — отражает, мне кажется, тайную историю многих душ, истину многих сердец. Поэтому читатель готов иногда принять голос Иосифа Бродского за свой собственный.

С. Л.

Михаил Кураев. Капитан Дикштейн. М.: Профиздат, 1990.

На невском взморье, в самом «умышленном», по выражению Достоевского, из городов мира живут и самые «умышленные» из известных литературе людей — герои повестей Михаила Кураева. Их гложет один вопрос: «Кто мою жизнь сочинил, кто выдумал?» И это же недоумение — в основе трех рассказанных в книге историй (в нее вошли хорошо известные по публикациям в «Новом мире» повести «Капитан Дикштейн», «Ночной дозор» и «Маленькая домашняя тайна»). Писатель разгадывает тайну анонимного существования затерявшегося в мегалополисе индивида, чувствующего себя тем не менее «единственным и неповторимым» субъектом истории. Но этот же субъект неотличим от легиона ему подобных: «...каждый человек есть хочет, спать хочет, жить хочет... Вот и соображай!». Высказывание циничное и... верное. При всем лелеемом представлении о собственной исключительности человек человеку — двойник и часто сам стремится к этому двойничеству. Такова ирония кураевской прозы, совсем не исчерпывающая, впрочем, ее насыщенного лирикой смысла.

Герои поэтичного автора — антипоэтичнейшие из существ, стопроцентные обыватели. Они исповедуют благоприобретенные моральные ценности, хотя не лишены и чувства собственного достоинства и сочувствия, правда, как замечает рассказчик, «неизвестно кому»...

По всем популярным определениям и литературным описаниям подобные типы распознаются прежде всего по их отчужденности от действительности, по их антиисторическому мироощущению. Замысел Кураева противоположен. Он пишет о прямом участии обывателя в исторической жизни, о том, что именно им, обывателем, и создана «черная дыра», в которую затягивается наше историческое бытие. Персонажи эти подобны гоголевским — «с натуры» они не списаны. Но материал, который на них пошел,— живой, дымящийся и кровоточащий. Это кусок ленинградской были, ленинградского пространства, ленинградской истории, помещенный, говоря словами поэта, в «самой страшной крепости раствор» — в зыбкое и неизбывное петербургское наваждение, в «ночную даль под взглядом белой ночи».

А. АРЬЕВ

Сергей Носов. Внизу, под звездами. Лениздат, 1989.

«В первую книгу молодого прозаика включены рассказы и повесть, для которых характерны оригинальность сюжетных построений, внутренняя свобода повествования, свежесть авторского взгляда на мир». Аннотация, как всегда, одурачивает каждым своим словом — потускневшим, утратившим смысл. Между тем именно серебряная словарная мелочь, имеющая — в отличие от заплесневелых крупных купюр обобщений, лежащих в кубышке — подлинное хождение и растущую во времени ценность, сильнее всего интересует Сергея Носова. Любую монетку он хочет повертеть в пальцах, проверить на зуб. Стоит стереть налет — и она заблестит зеркальцем ларинголога, даст возможность осмотреть самые жаркие и труднодоступные области жизни.

Носов — поэт. О лирической подоплеке его прозы можно догадаться, и не зная того, что он пишет и публикует стихи,— по особенной суггестивности стиля этих «рассказов» и «повести» («Тяжелые вещи»), жанр которой, кстати сказать, определен самим автором — *записки и вариации*. Разве мы не слышим поэтическую перекличку с упомянутым в тексте Ходасевичем и с неупомянутым Пастернаком? Как раз не сюжетные построения, подчас излишне каркасные и выпирающие, а аллюзии и реминисценции, пресловутая «литературность» (но вырастающая из будничности) — сильная сторона книги Носова. И очевидное влияние набоковских романов здесь органично и плодотворно, ибо они и являют собой образцы преодоления и возгонки *прозы поэта*.

Такой возгонки, очистки от рудиментной повествовательной шелухи, свежести взгляда мы и хотим пожелать дебютанту. Он — на перспективном, но и трудном пути. «Литературность» по существу — доблесть, попытка вписаться в высокий контекст, риск показаться смешным, если не хватит сил... Неоспоримо одно: перед нами — *первая* книга. Что ж, само это слово, открыто заявляющее о собственной неполноте, как бы пребывает в томительном ожидании.

А. ПУРИН

Олег Волков. Погружение во тьму. Роман-газета, 1990, № 6.

Нам не привыкать: книга сначала потрясает весь мир и лишь потом получает на родине необходимый для достойного знакомства с ней тираж. Ну, а все-таки оправдан ли он: ведь «лагерных» книг — и без этой немало?

Живописания страданий телесных, изощренного *убийства людей* тут не так уж и много. Зато тщательно, виртуозно, как в произведениях весьма редких, исследована технология *убийства человеческого достоинства* — в чем официальные столпы тогдашнего общества успешно состязались с неофициальными подонками оного (лагерной шпаной). Следователи-изуверы попадались не часто (чаще — просто дураки и хамы), но более всего запомнился писателю (и наверняка — читателю) тот, кто вежливо и даже доброжелательно объяснил, почему его, заведомо для следствия ни в чем не повинного, однако получившего в четыре приема семнадцать лет, *никогда* нельзя отпускать на свободу...

Впрочем, Волков как истинный интеллигент (главное ругательство его «противников») больше памятлив на хорошее. Он не забыл и малого сделанного ему добра. Характерно — дурных людей в книге меньше, чем дурных поступков. Почему? Потому, что античеловечное в человеке возведено в норму. Даже в сознании не бесчестных, не злобных. Предавали и просто запуганные, расправ требовали одурманенные. И это страшнее явной подлости...

Век автора оказался долгим. Он преодолел беду. Теперь (вроде бы?) не хватают, не мучают — хоть беззаконие и варварство оказались еще более долговечными, чем выпавшие на долю лично ему испытания. Но укоренился в умах и душах людей страх. Он и сегодня может толкнуть на низость. Олег Волков писал свою книгу, чтобы помочь нам его победить.

А. ДОРОХОВ



СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

По случаю юбилея



Александр Прокофьев, 30-е годы

Фото из архива В. Бахтина

Самое высокое искусство может временами отходить в тень. Но потом оно непременно возвращается и по-новому сверкает своими как бы обновленными гранями. Так и стихи Александра Прокофьева. Ту молодую прокофьевскую мощь, яркость, национальный склад слова и мысли, художническую смелость, которые знали и любили ценители поэзии в тридцатые, сороковые, пятидесятые и шестидесятые годы, наверняка узнают и полюбят читатели будущих поколений. Но только современникам в полной мере дано увидеть в художнике человека.

Прокофьев был колоритен. Маленького роста, крепкий, с умным, острым, часто озорным взглядом («на мне фуражечка чертом!»), своим окающим говорком, свободными манерами, он естественно выделялся в любом кругу. Это была л и ч н о с т ь. Случалось оказываться в одной лодке и с другим Прокофьевым,— суровым, несправедливым, под конец жизни — ретроградом.

Очень крупного, быть может, даже великого русского поэта убил в нем тридцать седьмой год. Когда арестовали ближайших его друзей — Бориса Корнилова, Павла Васильева, Бориса Ручьева и многих других, он, по свидетельству его дочери Нинели, держал в ящике письменного стола именной пистолет — застрелиться, если придут. Не сомневаюсь, аная его характер: он так бы и поступил. Но — все равно, даже если бы и тогда ушел он из жизни, прокофьевская строка сохранилась бы на страницах истории нашей литературы.

После 37-го что-то выпало из его поэзии. Он остался певцом родной природы, глубоким лириком, поэтом знаменитой, им же созданной страны Олонии, создателем великолепной поэмы «Россия» — памятника военных лет. Но художник в нем потерял свои масштабы и возможности, когда он перестал вторгаться в ставшие запретными темы, когда, ограничивая или, может быть, спасая себя, он сказал: «Я — солдат партии»... Всего лишь солдат!

О поэте, как и о спортсмене, должно судить по его высшим достижениям. Высоких, высочайших достижений у Прокофьева немало. Недаром у него учились, ему подражали. Горький советовал Твардовскому, говоря о «Стране Муравии»: «Не надо писать так, чтобы читателю ясно видно были подражания то Некрасову, то Прокофьеву...». Хорошим поэтом назвал в 1936 году Прокофьева Пастернак; известен добрый отзыв о нем Сергея Рахманинова. А Александр Кушнер — он сам говорил мне это — почувствовал, что такое поэзия, прочитав стихотворение Прокофьева «Беляночка»...

Прокофьев долго болел. Но до конца дней мог поразить словом.

А ведь было —
завивались в кольца волосы мои,
А ведь было —
заливались по округе соловьи,
Что летали, что свистали,
как пристало на веку,
В краснотале,
в чернотале,
по сплошному
лозняку.

А бывало —
знала юность много красных дней
в году,
А бывало —
море гнулось, я по гнутому иду,
Райна, лопнув, как мочало,
не годилась никуда,
И летела, и кричала полудикая вода!..

Это написано в 1971 году, незадолго до кончины. А ныне исполняется 90 лет со дня рождения поэта, всей душой ленинградца, Александра Андреевича Прокофьева.

Владимир БАХТИН

Очарованный странник

Валерий НИКИФОРОВ

СВЯТОЙ ОСТРОВ

Макушка его торчит над зеркалом Ладоги. Поросшая лесом, она видна издалека. На карте он обозначен просто — «о. Высокий». А еще его называют Святым. Почему? Да потому, что он был приютом преподобного Александра Свирского, подвижника Валаамской обители, канонизированного русской православной церковью. А расположен остров чуть севернее знаменитого Валаама, и с колокольни Спасо-Преображенского собора хорошо просматривается в ясную погоду.

Добраться до этого острова можно именно в такую пору. Когда же озеро вскипает волнами, лучше оставить всякие помыслы о паломничестве: безжалостные водяные валы захватят, затреплят, загубят. Здесь они владычествуют. Здесь они свирепствуют и бушуют и в бешенстве швыряют пену на скалы Святого острова.

Не раз пытался я ступить на эти камни. Но каждое мое предприятие заканчивалось, увы, неудачей. Однажды, было, повезло. Взяли меня на борт небольшого теплохода, который по служебной надобности обретался в этих краях. Был конец мая. В Ленинграде держалась теплынь. А по Ладоге странствовали ледяные поля, и по утрам стоял туман — густой как молоко в стародавние времена. Тогда я острова так и не узрел. А принявшее меня судно меж тем спешило по делам, и мне ничего не оставалось, как отложить осуществление своих намерений на неопределенный срок. Однако это мое путешествие, как впрочем, и другие, не менее безуспешные, принесло свою пользу: я мог себе представить теперь, как люди жили тут в отшельничестве, что открывалось их взорам, обращенным в пространство, окружающее остров.

Приблизило ли это меня к пониманию того, почему в сей маленький мир удалялись люди,— ей-богу, не знаю.

Но, как бы там ни было, тщетные попытки высадки на «землю обетованную» прибавили мне нравственного богатства. И, кроме того, познакомился я с бывалым капитаном «Норильска» Николаем Александровичем Табуновым, узнал от него много интересного об этих местах, получил то, что не дадут ни книги, ни карты...

Расскажу о таком случае.

Дело было летом. Над озером гулял довольно свежий ветер. Пришла ночь. Казалось, ненастье установилось надолго. Но когда ранним утром я вышел на палубу судна, на котором шел к Валааму, меня поразило умиротворение, разлитое вокруг. Так с Ладогой бывает: то она внезапно впадает в гнев, то неожиданно делается спокойной и ласковой. Я стоял у борта, щурясь на серебрящуюся под солнцем гладь, пребывая в состоянии какого-то благолепия. Вдруг послышался сильный гул, похожий на отдаленную грозовую канонаду.

Туч на небе не было. Да и сам гул вскоре прекратился. Но через некоторое время раздались мощные звуковые толчки. И шли они не от дальних берегов, не с небес, а... будто бы из-под воды, из глубины (а она тут до двухсот метров). Жутковато было.

Потом мне пояснили: дело это в здешних местах обычное — подводный гул. Называется «бронтиды». Но сути явления не растолковали. Как выяснилось, и ученые на сей счет не имеют убедительной версии. Одни полагают: гул возникает в результате разломов дна Ладоги, другие видят причину в столкновении каких-то подводных волн.

Но представьте-ка состояние человека, жизнь которого отдалена от нашей тьмой лет, человека, обитающего в одиночестве на пустынном острове, когда впервые бы он услышал подводные раскаты. Тот же Александр Свирский на Святом острове в такой миг свое смятение и страх разрешил бы, наверное, крестным знамением...

Если идти от Валаама на юго-восток, то скоро встретится небольшой живописный

островок под названием Восчаный. На нем в XVIII веке существовал женский монастырь во имя святой Вассии. Но не утвердился он здесь. Не вынесли суровых условий жизни божии невесты, съехали на материк. Наши предки мужеска полу лучше приспосабливались к экстремальным, как сейчас говорят, условиям. Монахи заселяли многие северные острова. Заселяли они и острова Ладоги.

В удивительной по обилию информации книге «Ладожское озеро» известный в XIX веке исследователь сих мест А. П. Андреев сообщает, что на Матсинсаари (остров Лешего в переводе с финского) в давние времена раз в год язычники собирались на свои «действа», во время их зажаривали ритуального быка. На острове Коневец в жертву приносили коня (здесь до сих пор сохранился священный Конь-камень).

На Матсинсаари впоследствии был скит. На Коневце — православный монастырь.

В работе «Описание Валаамского монастыря», изданной в Санкт-Петербурге в 1864 году, сказано: «Христьянская вера и церковь с древних времен стремились утвердиться преимущественно в тех местах, которые прежде служили центрами язычества».

Вот и на Святом острове, как уверяют, было языческое капище. Не на мощном Валааме, а на осколке такого же гранита, отброшенном к северу от основного массива.

В давние, давние времена Спасо-Преображенский монастырь, как предполагают, стоял на Святом острове, а не на том, что ныне зовется Валаамом.

В 1785 году землемер Эрик Колониус провел исследование всех островов Валаамского архипелага. И, кажется, первым высказал гипотезу: православная обитель на Святом острове существовала и до шведского набега 1611 года (таких набегов с пожарами было, как известно, несколько). Не здесь ли стояла когда-то мифическая Троицкая церковь?

Кто разгадает все загадки, откроет тайны Таинственного острова?

Пытался это сделать А. И. Сулакадзев, умерший в 1830 году. Он опубликовал «Оповедь», где утверждалось, что еще в первом веке апостол Андрей Первозванный приходил сюда утверждать истинную веру и «поставил крест каменный».

Но Сулакадзева считают фальсификатором, пеняют на то, что «Оповедь» он сфабриковал...

Думаю я сейчас вот о чем: почему так ветшают, разрушаются, гибнут некогда великие города, украшение земли нашей. Особенно те из них, что волею судеб лишились своих первородных имен, попали в полосу переименований. Великое, славное и нетленное сделалось для нас каждодневной обыденностью — тем, что не обязательно любить и чтить. «Горе народу, который равнодушно смотрит, как разрушаются его алтари и заколаются их служители». Так пишет историк С. М. Соловьев. И толковать это его высказывание, думаю, можно и расширительно: страшна судьба и тех, кто алтари разрушал, и тех, кто равнодушно смотрел, как в прах обращаются святыни духа, культуры, совести и чести.

Сейчас много говорят о кризисе и крахе нашей экономики, ищут путей выхода из невиданной нищеты, основным и главным считают пополнение всяческими способами нашей общественной мошны — «основы благосостояния народа».

Наверное, это когда-то и произойдет. Но станем ли мы богатыми? Такими же нищими и останемся. И будем пребывать в таком состоянии долго, пока, быть может, и вовсе не исчезнем, как ненужная, «неинтересная» остальному человечеству данность. Так произойдет, если не спохватимся, что, оказывается, стремимся мы не к тем идеалам...

...С 1843 года началось регулярное пароходное сообщение с Валаамом. Много разного люда потянулось сюда. У каждого была своя нужда. Были, понятно, и просто любопытствующие. Были и те, кто вез саженцы для здешних лесов, ком земли для насыпаемых садов. Ехали главным-то образом замаливать грехи.

Примерно в те годы сподобился посетить Валаам петербургский купец В. М. Никитин. Побывал он и на Святом острове. Покинув его, пожертвовал на здешний храм, построенный и освященный в 1855 году во имени преподобного Александра Свирского.

Я видел этот храм. Вернее то, что от него осталось...

...Вот теперь-то и поведаю о том, как в первый раз удалось попасть на Святой остров.

Валаамский житель, местный маячник Николай Арвидович Кекман пригласил меня в лодку. И запустил мотор.

Из Монастырской бухты вышли мы в Ладогу, с запада обогнули Никольский остров с церковью, венчающей его. Направились по спокойному озеру, беря все севернее, минуя мелкие островки, на камнях которых едва-едва держались хилые деревца. А через некоторое время открылась и темная шапка Святого острова.

По преданию Александр Свирский появился на Валааме в XV веке, в 1474 году принял иночество в здешнем монастыре.

Можно строить самые невероятные предположения о том, что побудило человека свершить это. Но зная и немногое о нем, можно предположить: что-то сильное управляло помыслами его. С первого этого шага и во всей дарованной ему жизни.

Приняв иночество, Александр Свирский не остался среди братии: отшельничество, уединение избрал он своим уделом. Ушел от основной обители на соседний остров, названный ныне Скитским. Построил тут скромную келью. Позднее, в 1793 году, здесь основан был скит во имя Всех Святых. Существует он и до сих пор — Всехсвятский скит. И начата, кстати, реставрация этого творения зодчего Горностаева.

Но подобное уединение Александру Свирскому показалось, видно, светской роскошью: покинул он и Скитский остров, перебрался на другой, отдаленный, названный Святым. Прожил он там в вырубленной им в скале пещере несколько лет. Умер в 1533 году, пробыв в одиночестве пятьдесят девять лет.

...И вот лодка, ведомая Николаем Арвидовичем, подходит к Святому острову. Ступаем на скалистый берег.

Старому маячнику хорошо знакома чуть приметная тропочка среди зарослей и валунов. Поднимаемся все выше и выше.

— Несколько еще лет назад,— говорит мне мой проводник,— сюда на лето переправляли небольшой табунчик лошадей. Паслись они тут на воле и в безопасности.

Сказав это, дальнейший путь он преодолевал молча.

Я шел следом и вспоминал вычитанное в книгах.

В богатейшей библиотеке Валаамского монастыря было несколько томов «Всеобщей истории» де Бюффона. Наиболее замусоленными от усердного чтения оказались те страницы, что содержали сведения о лошадях.

Любили монахи этих добрых животных. Известно, что монастырь имел свой конный завод. До ста лошадей работали в скитах. Работали наравне с людьми, которые никогда не понукали к труду своих четвероногих помощников ни плетью, ни кнутом...

— А в непогоду, на ночь лошадки укрывались здесь,— прервал мои воспоминания и свое молчание Николай Арвидович, выходя из зарослей на прогалинку и указывая на волшебно выросшую перед глазами деревянную церковь.

...Сейчас уж и не помню, разговаривали ли мы с Николаем Арвидовичем в тот раз еще? Больше, кажется, бродили молча, каждый со своими мыслями.

Вот — колодец.

Колодец, пробитый в гранитной скале семидесятиметровой толщины. Сколько труда стоило сотворить его среди моря пресной воды! Зачем необходим был сей труд?

Рядом с колодцем — крест. На нем слова: «Над могилой, которую для памяти смертной своими руками ископал преподобный Александр Свирский в дни пустынных подвигов своих на этом острове».

Крест и надпись сотворил не сам отшельник: иначе можно было бы заподозрить его в суетности и тщеславии. Его же думы были не о том.

О чем же?

Тут же и могила, выбитая в скале.

Смотрю: тяжелая гранитная плита сдвинута с места.

Кто ее сдвинул? Кто потревожил прах ушедшего в небытие?

В нескольких метрах от могилы — церковь. Или то, что от нее осталось.

По разбитым деревянным ступеням вхожу внутрь. И сразу режут глаз проломы в стенах.

И снова вспоминаю вычитанное в старых книгах.

Исследователь этих мест Я. Я. Мордвинов, например, писал, что в XVIII веке была тут лишь часовня, что ее поставили и образа в ней писали при валаамском игумене Ефреме, настоятеле монастыря. Потом на средства купца В. М. Никитина здесь построили храм во имя преподобного Александра Свирского. Была колокольня с десятью колоколами (средь них и колокол, подаренный монастырю Иваном Грозным). Было два келейных корпуса и еще один — с кухней и трапезной. Во храме был трехъярусный иконостас с иконами работы знаменитого Пошехонова.

Из этого не сохранилось почти ничего. Все унесло время? А может быть — люди?

Чтобы добраться до жилища преподобного Александра Свирского, которое правильнее назвать узилищем, надо спуститься по крутому западному склону острова. Тут увидишь дыру. В ней мрак и хлад. Многие годы она была «домом» отшельника.

Как свидетельствует тот же Я. Я. Мордвинов, раньше в этой пещере могло стоять два человека. Теперь туда не протиснуться и одному, даже самому тощему.

Над тесным входом в узилище деревянный крест, на нем читаю: «Построена мелница и крест вырезан месяца апрела 1759 года».

Что за «мелница»?

Сведущие люди подсказали: в переводе с древнерусского это значит — неважность, маленькое, мелкое дело. Всю надпись, выходит, надо понимать так: эта неважность, маленькое дело сотворено в память дела большого, достойного памяти.

...Такой он, Святой остров...

Эхо

Иван РАК

«БОЛЬШОЙ ТЕРРОР» В «НЕВЕ»

В мае 1990 года «Большой террор» уже печатался,— поэтому профессор Гуверовского института Роберт Конквест, приехавший в Ленинград с группой Британского телевидения на съемки историко-документального фильма, на этот раз посетил редакцию «Невы» уже не с официальным деловым визитом, а просто как гость. И когда член редколлегии «Невы» литературовед Самуил Лурье, открывая в Ленинградском Доме писателя конквестовский вечер, сказал, что для многих «знакомство с этой книгой было каким-то счастьем освобождения... книга Конквеста была одной из тех, что подготовили все события, как бы их ни называть, которые мы сейчас переживаем»,— в торжественной обстановке зала это звучало уже совсем по-другому, чем год назад на редакционном совещании.

Тогда, год назад, эти слова С. Лурье были еще только аргументом в полемике: имеет ли смысл публиковать «Большой террор» в массовом многотиражном издании, каким является «Нева»? Доводы тех, кто считал, что конквестовское исследование рассчитано на узкий круг профессионалов, а у широкого читателя отклика не найдет, и потому достаточно будет издания отдельной книгой, выглядели весьма убедительно. Весной восемьдесят девятого минуло еще только три года официальной полудозволенности на тему ленинско-сталинских репрессий, все публикации об этом читались нарасхват,— но с уверенностью можно было предсказать, что продлится это недолго, и к тому времени, когда «Большой террор» будет напечатан, уже не на каких-то отдельных авторов упадет спрос, а погаснет интерес к самой теме. Ведь об этом есть и в русских пословицах, и во всех «Историях», начиная с Геродота: как бы ни наболела в сердцах подавленная правда, но стоит ей прорваться и хлынуть в жизнь, сразу наступит пресыщение. Иссушенной земле довольно одного обильного дождя, чтобы напиться.

Конечно, это — статистическое обобщение, для *всего* народа, а не для каких-то выборочных групп. Можно здесь сколько угодно говорить о равнодушии, но по-другому просто не бывает. Во всяком случае, не было пока. Что-то тут есть от «насыщенного рынка», от экономических теорий, которые все основываются тоже отнюдь не на нравственности.

Но по «рыночным» же теориям всё должно бы на пресыщении и закончиться: боль и правда — утечь из сердец в умы, а из журналов и газет — в узкоспециальные монографии историков. Однако тут-то появляется еще одна книга — и вдруг звучит пронзительней, чем все прежние, снова читается нарасхват и навзрыд,— хотя, вроде бы, все в ней опять о том же.

И, пожалуй, иначе не бывает, чем так. И так в свое время было с «Большим террором» на Западе. Первое его издание вышло в 1968 году, когда тема послеоктябрьских репрессий давно стала для Запада главным пропагандистским козырем в том процессе, который у нас официально именовался «идеологической борьбой». О «сталинизме» накопились сотни публикаций, внешне сходных с конквестовской летописью: перечисление фактов и попытки их объяснить. Впрочем, исторические исследования по-другому и не пишутся. Но что-то резко и раз навсегда выделило «Большой террор», и следом «Архипелаг ГУЛАГ», из всего, написанного до и после. (И опять-таки по-другому не бывает в литературе. Легенду о Фаусте мы знаем лишь благодаря Гете, хотя сколько их, теперь позабытых авторов, обрабатывали сюжет этой легенды задолго до него.)

Так же будет и у нас, говорили те, кто отстаивал публикацию «Большого террора» в «Неве»,— и оказались правы. Читательские письма, полученные редакцией (все письма переданы Р. Конквесту) убеждают: в том и особенность этой книги, что ее нравственная — и даже только познавательная — ценность не зависима от злобы дня и «рыночного» спроса. Что для ее публикации не надо подгадывать момент. «Читая сейчас доконквестовские и досолженицынские исследования и все, насловившееся позже,— делится с редакцией один из подписчиков „Невы“,— сразу замечаешь одну их общую особенность: даже самые добросовестные авторы вольно или невольно отождествляют с режимом сам народ, живущий при режиме... Видимо, и впрямь исследователи сталинского времени качественно отличаются от всех прочих своих коллег-историков,— тем, что даже исследователь самой мрачной из восточных деспотий — Ассирии, в каком-то смысле все-таки любит свой предмет. Тем большее восхищение вызывает Конквест, сумевший „возненавидя грех, возлюбить грешника“. „Большой террор“ и „Архипелаг“ — это книги, на которых, как на Библии, можно приносить присягу».

Роберт Конквест, по его собственным словам[1], полюбил Россию «благодаря Пушкину, Достоевскому и Чехову»,— но свой исследовательский взор он обратил не к «золотому веку» России, а к самому кровавому — потому ли, что чем меньше хотелось бы в ту либо иную эпоху жить, тем она всегда интереснее для историков? «К „Большому террору“ я пришел несколько неожиданно для себя. Я писал книгу о борьбе за власть в Политбюро после войны, после Сталина, это была чисто интеллектуальная задача, интеллектуальный азарт, хотелось заглянуть в „черный ящик“. Но чем больше я читал, тем сильнее мои чувства захватывала развернувшаяся трагедия, ужас бесследного исчезновения масс людей, их беспомощность перед машиной террора. И это стало уже делом сердца, а не ума...»

«Во всех книгах [о сталинском времени], написанных иностранцами, много сострадательных фраз жертвам репрессий,— пишет, обращаясь к Роберту Конквесту, одна из читвтельниц,— но все эти фразы словно ритуальные: таким же тоном телевизионные дикторы сообщают о жертвах наводнения где-нибудь за океаном. Вы — первый иностранец, в чьем искреннем сострадании к нам я не усомнилась ни на секунду. Больше всего меня потрясли строки о причастности Запада к трагедии нашего народа, о его ответственности за эту трагедию... Все прочие выступали в роли судей или учителей, Вы же унаследовали лучшую литературную традицию — традицию покаяния...»

Трудно не согласиться с этим. И если, по словам Мережковского, Достоевский — это то, что Россия в день Страшного Суда предъявит как свое оправдание, то Конквест и Оруэлл — едва ли не единственное, чем за свою причастность к сталинизму сможет оправдаться Запад.

It is an honour to be published in NEVA, and a great pleasure to visit its editorial offices and above all a splendid sign of our common search for truth and humanity beyond opinions or frontiers.

Robert Conquest

Neva: 15 June 1989



Роберт Конквест в редакции «Невы». Май 1990 г.
Фото В. М. Ситникова

[1] Интервью Р. Конквеста советским органам печати см.: «Нева», 1989, № 9, с. 126; «Книжное обозрение», 1989, № 52, 29 декабря, с. 14; «Литератор» (Ленинград), 1990, № 18, 25 мая, с. 4 и др.

Дело прошлое

ГЛАЗАМИ ПЕТРОГРАДСКОГО ЧИНОВНИКА

Среда, 20 марта 1918

Никогда еще советская власть не стояла так твердо, как теперь. Все буржуазные легенды о стремлении немцев свергнуть СНК — сущий вздор. Я уверен, что пока не окончится война на Западе, у нас никаких крупных перемен не произойдет. Еще не все перебродило.

Левые С. Р. стоят за продолжение войны, собираются образовывать партизанские отряды — ничего, конечно, у них не выйдет.

Окончание. Начало см.: «Нева», 1990, № 8—11.

Служащие Учетно-ссудного банка Персии, после четырехмесячной забастовки, приступают к занятиям. Большинство принято обратно. Я как неактивный кандидат в члены Правления остался за флагом.

Четверг, 21 марта 1918

Нового ничего. У меня завтракал норвежский военный агент капитан Стеффенс [1]. Заходил Шателен. Он допускает, что немцы явятся сюда все-таки врагами, придравшись к нарушению какой-нибудь статьи договора. Это даст им возможность захватить здесь богатую добычу.

О перемене правления не может быть и речи до окончания войны на Западном фронте. Еще не скоро перемелется наша революция.

Пятница, 22 марта 1918

Во всех органах Советской власти участвуют в огромном числе жиды. Чует мое сердце, что русская революция неминуемо закончится грандиозным жидовским погромом.

Суббота, 23 марта 1918

Матросы получают теперь около 700 рублей в месяц. Перед «битвой под Нарвой» Дыбенко роздал матросам водку, «как это делается в иностранных армиях».

Крыленко заявил в Москве, что около каждого генерала будет «по два архангела со штыками», а Бухарин добавил, что при каждом генерале будет особый комиссар и генерал будет знать, что если он проигрывает сражение, то проиграет и голову.

Воскресенье, 24 марта 1918

У меня завтракали Е. Н. Эйхвальд с дочерью и Н. П. и Петя Дурново.

Четверг, 28 марта 1918

Наблюдается перелом в политике Советской власти; прекращаются эксцессы социализации и углубления революции.

С 1 апреля отменяется паспортная система. Вместо паспортов вводятся особые карточки.

31-III-18

Банковские служащие продолжают бастовать, но теперь уже на почве профессиональных интересов: они требуют возвращения всех служащих.

Из Петрограда невозможно выехать. Частным лицам разрешения на выезд в настоящее время совсем не выдаются.

Мои норвежцы поедут на днях через Берлин.

Вторник, 2 апреля 1918

В воздухе чувствуется уже весна, а на душе — осень. Впрочем, это не совсем так: настроение постепенно улучшается, на горизонте начинают замечаться светлые лучи.

Советская власть окончательно укрепилась и, быть может, поэтому становится разумнее. Я вспоминаю, что еще три месяца тому назад я был уверен, что контрреволюции все обречены на провал; большевистское настроение охватило всех, весь народ-богоносец, и против него политически бороться нельзя. Единственный выход — время; надо терпеливо ждать, когда большевизм сам собою утихнет, во что-нибудь эволюционируется, и, наконец, разум, а не политическая партия, начнет управлять людьми.

В Петрограде стало заметно спокойнее, грабежей, обысков, арестов меньше. Центр политики переместился в Москву.

Борьба проиграна по той причине, что симпатии широких народных масс бесповоротно склонились к большевизму, отвечающему их чаяниям.

Хотя лидеры большевизма отрицают перелом в Советской политике, но такой перелом несомненно чувствуется. «Известия ЦИК Совета Рабочих и Солдатских Депутатов» заговорили о дисциплине (хотя и революционной) пролетариата.

24 апреля 1918

«Правда» изображает жизнь в оккупированных немцами городах. Просто зависть берет, когда узнаешь, какой образцовый порядок (и порядок без всяких кавычек) устанавливается под Прусским орлом.

30 апреля 1918

Стахеев и Батолин продали свой пакет Волжско-Камского банка германцам по 1100, 1200 и 1600 рублей за акцию. Эвакуация правительственных учреждений продолжается. Через две недели эвакуируются в Москву многочисленные чины Кредканцелярии и ДенГосудКазначейства.

Известие о том, что шведу Витбергу не удалось провести учреждение в Москве отделения Nya Banken, встречается шведами с полным удовлетворением, так как они все относятся крайне недружелюбно

[1] Вильям Стеффенс — норвежский военный атташе в Петрограде (1917—1918), с 1935 года генерал и опять военный атташе в СССР во время второй мировой войны.

к этому Стокгольмскому кредитному учреждению.

В частных банках служащие заняты разборкой корреспонденции и запущенных дел. Настроение бодрое, и царит уверенность, что постепенно банковская жизнь и деятельность войдет в нормальную колею.

Вчера усиленно распространился слух о том, что Германия предъявила новый ультиматум о введении в Москву дивизии и восстановлении аннулированных займов. Шведский посланник относится к этим известиям очень скептически. Вообще теперь единственно информированный человек — это генерал Брендстрём.

1 мая 1918

Сегодня официальный праздник пролетариев. Занятий и работ нигде нет, все магазины закрыты, трамваи не ходят. На Дворцовой площади, на Мариинском Дворце, на Городской Думе потрясающие футуристические плакаты. Эти огромные простыни размалеваны самым невероятным образом. На Дворцовой площади смотр «революционным силам Красного Петрограда», то есть первомайский парад Красной Армии. Надо было видеть эти нестройные ряды распущенных дегенератов, чтобы получить ясное представление о боевой мощи этой доблестной «армии», призванной встать на защиту «социалистического отечества». Вечером палили с судов, стоящих в Неве, и должны были, иллюминованные, дефилировать колесницы. На улицах спокойно. Буржуев не видно, да и рабочих немного, все больше обтрепанные товарищи и прочий революционный пролетариат.

У меня хорошее настроение от вида всей ерунды; сегодняшний праздник — testimonium paupertatis [1] углубления революции, насаждения социализма и проч. и проч. Несомненно чувствуется сильная внутренняя реакция, которая еще не имеет сил пробиться наружу.

2 мая 1918

Страстной четверг. Был у всенощной в Училище [2], и хорошее чувство пробудилось на душе при виде родных стен, близкой сердцу обстановки. В церкви все на месте, и, слава Богу, ничего не похищено. Музей в относительном порядке. Но при виде даже всего хорошо знакомого все же чувствуешь, что это было так давно и так бесповоротно ушло.

Ездил за фуражом в Царское Село. Здесь ничего не достать, но и за городом цены страшные: телятина 7—8 рублей фунт, яйца 12—13 рублей десяток, масло и сыр по 18 рублей, творог 6—7 рублей, сметана 8—9 рублей; картошка и та 2 рубля 30 фунт. В нынешнем году не буду красить яиц и делать пасху, ограничусь маленьким куличом.

Мне совестно сознаться, но во мне все более и более усиливается недружелюбное чувство (конечно, в политическом отношении) к англичанам, особенно со времени их быстрого и неожиданного отъезда из Петрограда. Нельзя забыть, что они — те дрожжи, на которых поднялась русская революция, результаты которой налицо.

Охватывает злорадное чувство от сознания, что революция доходит до дна, и товарищи мало-помалу оказываются у разбитого корыта. Довольно самоопределялись!

Объявлена амнистия всем осужденным за политические дела.

3 мая, Страстная пятница

С утра ездил в Павловск искать старинную мебель. Заглядывал в дачи, стараясь увидеть что-нибудь интересное. Очень холодно; в парке ни души. Неуютно.

В числе первомайских лозунгов были весьма правильные: «Победив капиталистов, мы должны победить собственную неорганизованность — только в этом спасение от голода и безработицы». Что верно, то верно.

6 мая 1918 (23 апреля)

Был днем, между прочим, у графини Игнатьевой. Она только что приехала из деревни; часть дороги пришлось ехать в товарном вагоне. У них имение захвачено, но эксцессов не было. Она осторожна в своих суждениях и только жалуется, что письма все перлюстрируются и газеты не доходят.

2 июня 1918

Петроградцы разделены в продовольственном отношении на четыре категории: первая будет получать $^1/_2$ фунта хлеба, вторая — $^1/_4$, третья — $^1/_8$, а четвертая — шиш. Керосина выдают по $^1/_2$ фунта на карточку.

Среда, 5 июня

Для исправления наших расстроенных финансов необходимо увеличение косвенных налогов.

Понедельник, 8 июля

Вчера опять происходила стрельба. Эсеры засели в здании Пажеского Корпуса. Их оттуда выселяли советские войска.

[1] Свидетельство о бедности.
[2] Очевидно, речь идет об Императорском училище правоведения.

Обстреливали из орудия и пулеметов. Здание сильно повреждено. Эсеры арестованы.

Игральные карты стоят: 1 сорта — 30 рублей за игру, атласные — 44 рубля и глазетные — 57 рублей за игру. Карточная фабрика передана в ведение Комиссариата финансов. В Петрограде разыгрывается холера.

Четверг, 11 июля

Праздную сегодня по новому стилю годовщину дня своего рождения. У меня обедают мама, папа и Андрей Иванович.

1-VIII-1918 (19-VII)

Почти три недели не делал никаких заметок; не потому, конечно, что не происходило интересных событий, но просто такая апатия охватывает, и развивается неврастения, что трудно на час сосредоточиться и отметить последовательно новости и перипетии последнего времени.

Сегодня четвертая годовщина войны: но, право, кажется, что теперь живешь в другой стране, а душа воплотилась в другом теле. Смотришь теперь на себя и на других, и на все, что творится кругом, и никого и ничего не узнаешь. Другие люди, другие переживания, другие настроения.

Обывательская жизнь становится все гнуснее и гнуснее. Все интересы по-прежнему, главным образом, сосредоточены на ценах на продукты и на способах их раздобывания. Действительно, дороговизна чрезвычайно увеличилась, с марта почти вдвое. Некоторое облегчение внесло разрешение мешочничества, но теперь оно запрещено, и опять все вздорожало, и опять почти ничего нет.

В делах полнейший застой. Прекратились разговоры о покупке банковских акций.

Петроград вымирает. На улицах полное отсутствие движения. Автомобилей мало — бензин на вес золота; казенные машины с большевиками эвакуированы в Москву, а частным автомобилям циркулирование запрещено. Ломовых не видно, нечего возить, товаров нет; осталась одна перевозка домашних пожиток разорившихся буржуев. Извозчики окончательно недоступны по цене, на них ездят одни знатные иностранцы (хотя они уже почти все сбежали), жиды, товарищи-матросы и прочие спекулянты.

Петька Ухтомский [1] по-прежнему зарабатывает себе средства извозным промыслом. Получает в месяц чистых 2 тысячи, но содержание конюха и лошади обходится в три тысячи. На прошлой неделе среди офицерства произведены массовые аресты. Арестованных держали некоторое время в Петропавловской крепости, без пищи и питья, а затем отправляли на баржах в Кронштадт.

[1] Петр Ухтомский — возможно, родственник князя Е. Е. Ухтомского, географа и финансиста.

«Буржуазная» пресса закрыта; читаем теперь «Красную газету», «Северную коммуну» и «Правду».

14/VIII

Был вечером у M-me Линдер и, по обыкновению, ни от кого не слышал ни одной умной или интересной мысли.

15/VIII—18, четверг

В «Известиях ЦИК» продолжает печататься дневник Государя за 1917 год — после революции. Как он бесцветен и подрывает престиж Монарха! Или, может быть, опубликованы лишь тенденциозные выдержки?

Вечером был у Коковцовых. Видел С. И. Тимашева — как он изменился за последний год [1].

Был вчера у Бильдерлингов, которые подробно рассказывали о своем кошмарном сидении в Кронштадтской тюрьме.

Пятница, 16 августа 1918

Встретил князя Шаховского, бывшего Министра Торговли и Промышленности. Выглядит, как и Тимашев и как вообще все экс-министры, скверно. Сильно похудел и постарел.

Представил домовому Уполномоченному свой паспорт. Все мужское население, от 18 до 40 лет, берется на учет. Приятное занятие — воевать с союзниками в союзе с немцами.

Для России, несомненно, выгоднее победа союзников: эксплуатация ее богатств несколькими государствами обойдется ей дешевле, чем полное бесконтрольное и безграничное хозяйничанье немцев. Но что ожидает нас в смысле политическом — трудно предвидеть, и, во всяком случае, утешительного мало: слишком еще свежа в памяти радость англичан в начале революции и та роль, которую они при этом сыграли.

Опубликована инструкция к составлению устава Сельскохозяйственных коммун, имеющих конечной целью — преобразование сельского хозяйства на социалистических началах.

Настроение скверное — предпочитаю сидеть в одиночестве дома.

[1] С. И. Тимашев — с 1909 года министр торговли и промышленности.

Воскресенье, 18 августа

Утром съездил на два часа в Павловск, за продовольствием. Купил бутылку молока (и то нашел не сразу) и 10 фунтов картошки по 2 рубля 50. Погода пасмурная и свежая. Чувствую себя отвратительно: боюсь, что у меня развилась формейная неврастения. Постоянно сильная слабость и апатия; часто не могу заставить себя пойти куда-нибудь, а вместо этого лежу на диване. Вернувшись сегодня из Павловска, проспал три часа.

Продовольственный вопрос в Петрограде безнадежен. Хлеба нет и не будет: от Сибири и Поволжья мы отрезаны чехословаками, от Кубани — красновцами. Сколько ни организовывать теперь отрядов из сознательных рабочих, партийных работников, коммунистов, хлеба не достать.

Ход революции ничем не остановить. Как мне казалось еще полгода тому назад — она приняла стихийный характер, и, помнится, я писал тогда, что ни в какую успешную контрреволюцию не верю. Пока страна не переболеет от охватившего ее всеобщего безумия и полной распущенности (а вовсе не свободы), до тех пор у нас будет продолжаться полный кавардак, кто бы ни был у власти. Только за последнее время проявляются признаки отрезвления, после того как революция углубилась до деревни, до восстановления бедноты против кулаков и богатеев: тут-то она и завязнет. И уже теперь со всех сторон приходят известия, что продовольственные отряды изрядно избиты крестьянами. Социализм — социализмом, но своего добра, своей собственности никто добровольно не отдаст.

Вторник, 20 августа (7 августа) 1918

Повстанческое движение все усиливается. Крестьяне дерутся, вооруженные одними косами и вилами.

Среда, 21 августа 1918 г.

Был вечером у Scavenius. По сведениям Посланника, уже после расстрела Государя, Наследник умер от какой-то болезни. Императрица с дочерьми переведены из Екатеринбурга на Николаевский завод. Государь был расстрелян ночью, при этом, когда его уводили, не было известно, куда и зачем его ведут; поэтому не было момента прощания.

В воскресенье вечером в квартире Вахтера [1], где теперь живут Нарышкины, был обыск. Хотели арестовать Вахтера, но не нашли. По-видимому, ему инкриминируется родство с Андронниковым, хотя здесь недоразумение: он в родстве с неизвестным в Петрограде сыном бывшего Батумского городского головы, а вовсе не с знаменитым Андронниковым, «имевшим хождение» по приемным сановников.

[1] Видимо, К. Л. Вахтер, капиталист, председатель ряда акционерных обществ.

Вчера на митинге мобилизованных красноармейцев и матросов в Народном доме Зиновьев заявил в своей речи, что скоро буржуазия будет привлечена к тяжкой работе по уборке, чистке и обслуживанию новой социалистической армии; она будет обращена в чернорабочих и конюхов, она познает самый черный, самый тяжкий физический труд.

Ездил вчера днем на два часа в Павловск. Там всюду в парке пустынно, даже на ферме, где всегда было так оживленно, теперь ни души. Грустно и печально кругом.

Здесь все более и более усиливается тяжелое настроение. Единственное утешение в работе; но трудно работать и сосредоточиться, когда мозги заняты заботой о хлебе насущном. А с продовольствием все хуже и хуже.

Четверг, 22 августа 1918

Народный Комиссариат по продовольствию установил нормы хлеба на душу населения — 12 пудов, а при запасе картофеля не менее 18 пудов — 9 пудов хлеба.

Пятница, 23 августа

Вечером играл в бридж у Линдер. В 12 у ворот появился автомобиль с товарищами — вероятно, для обыска в одной из квартир. На всякий случай поспешно ретировались.

Суббота, 24 августа

Со вчерашнего вечера дует сильнейший ветер. Нева и притоки дошли до берегов. Сильное наводнение.

Третий день живу без прислуги. Моя субретка уехала на отдых в деревню, а ее заместительница не освободилась; я остался ни при чем.

Вероятно, у меня неврастения. Третьего дня был момент, что в глазах помутнело, не мог читать и писать. Ужасное чувство.

Понедельник, 2 сентября (20-VIII) 1918

Три дня ничего не записывал — не до того было. В пятницу утром убили Урицкого. Большевистские газеты захлебываются от злобы и призывают чуть ли не к поголовному истреблению буржуазии. Пока что — произведена масса арестов.

В ночь на субботу (31-е) арестовали папу. В 1 час ночи явился отряд во главе с офицером — комендантом Адмиралтей-

ского района, и увели папу. Обыска не производили. Папа сидит на Мойке, 67 (где жили Сухомлиновы), спит на голом полу, пищи не получает. Мама носит ему два раза в день еду и видела его. Допроса еще не было, а когда отпустят, неизвестно.

Арестовано много генералов, много разных лиц (бывших военных).

За сегодняшнюю ночь и утро опять многочисленные аресты. В субботу в Москве на каком-то митинге опасно ранен Ленин.

В субботу отряд красноармейцев ворвался в Английское посольство. Морской агент капитан Громи оказал вооруженное сопротивление и был убит. Арестованы все французы и англичане, даже английский пастор Ломбард. Здание Английского посольства было обыскано и перерыто. Да здравствует международное право!

Заметки 3 сентября 1918

Мобилизация буржуазии для рытья холерных могил.

Вторник 3/IX—1918

Вот уже четыре дня, что папа сидит, и когда это кончится — одному Богу известно.

Здоровье Ленина неважно. Говорят, убийца Урицкого Каннегиссер и вся его родня уже расстреляны без суда. Да здравствует отмена смертной казни!

В Архангельске высадилось 20 000 американцев [1].

Добрый русский народ-богоносец помещает в газетах ряд кровожадных резолюций. Служащие трамваев требуют уничтожения всех белогвардейцев, находящихся в ведении Петроградского Совдепа!

Опять от Продовольственной Управы извещение, что, ввиду истощения и неприбытия хлебных грузов, хлеба выдано не будет. Уже две недели получаем одни селедки.

Ленину лучше, непосредственная опасность миновала, осложнений нет.

Среда, 4 сентября 1918 г.

Был вчера у Scavenius. Посланника не было дома, т. к. представители нейтральных государств выразили желание видеть Зиновьева. Свидание с г. Апфельбаумом (Зиновьевым) состоялось в Астории. От имени дипломатов выступил Одье, старейший посланник, и выразил горячий протест против продолжающихся бессмысленных арестов и бесчеловечных зверств большевиков. Зиновьев подтвердил факт расстрела в Кронштадте 450 человек. Так как Одье по-немецки не говорит, а Зиновьев не понимает по-французски, дальнейший разговор вел Германский генеральный консул. Очень знаменательно присутствие германского и австрийского дипломатов. Немец говорил очень резко. «Если вы,— говорил он,— может быть, действуете идейно, то помощники ваши и исполнители чуть ли не поголовно состоят из воров и мошенников. Не воображайте, что хотя бы в одной стране будут приветствовать ваше поведение». Scavenius вернулся совсем расстроенным.

Еще не подтвердилось, но, вероятно, в числе расстрелянных в Кронштадте В. Ф. Трепов, Граббе, Бутурлин. Их всех увезли в море на «Севастополе», расстреляли и тела бросили в море. Тела несчастных прибивает к берегу за Ораниенбаумом.

Арестованы старый граф Толь, Васильчиков (бывший министр Земледелия), Г. П. Карцов.

Что-то еще будет?

Тело убитого в Английском посольстве капитана Громи было найдено в подвале Военно-Медицинской академии, положено в гроб и перевезено в Англиканскую церковь. Гроб доблестного английского моряка, георгиевского кавалера, покрыт датским флагом, так как у Scavenius'а не было английского.

Публикация **Е.-П. НИЛЬСЕНА и Б. ВАЙЛЯ**

[1] В 1918—1919 годах на Севере высадилось около 6 тысяч американцев («Советская Историческая Энциклопедия», т. 1. Москва, 1961, стр. 514).

Есть такой анекдот...

«ПОКАЖИТЕ МНЕ Э Т О...»

Летит над русской землей трехголовый Змей Горыныч. Первая голова рычит:
— Гласность!
Вторая голова надрывается:
— Перестройка!!
И третья голова не отстает:
— Демократия!!!
А жена его, старая Горынычиха, смотрит в небо и вздыхает:
— Опять депутатов на ночь наелся...

— Что такое гласность?
— Это когда рот открыть уже можно, а положить в него еще нечего...

Утреннее сообщение по Всесоюзному радио:
— Уважаемые товарищи! Сообщаем, что некий общероссийский эксперимент, длившийся семьдесят два года, закончен... Здравствуйте, дамы и господа!

Один москвич спрашивает своего приехавшего из провинции приятеля:
— Слушай, а как там у вас — антисемитизм есть?
Приятель искренне удивляется:
— Да ты что?! У нас вообще никакого дефицита нет!

Рядовой член партии приходит в ЦК и просит:
— Пожалуйста, покажите мне э т о...
— Простите,— не понимают его,— что значит э т о?!
— Ну как же! — объясняет посетитель.— Вы же раньше пели: «...И как один умрем в борьбе за э т о...». Вот я и хочу его увидеть!

Вопрос: «Какие две системы несовместимы?»
Ответ: «Нервная и социалистическая...»

Один из высокопоставленных партократов во время очередного посещения промышленного предприятия спрашивает у пожилого рабочего:
— Как вы думаете, следует ли уменьшать аппарат?
— А как же! — охотно откликается тот.— Обязательно надо! Только я попростому, по-рабочему скажу: тогда уж надо заодно уменьшить и змеевичок!

Перекличка:
— Собчак!
— Я!
— Болдырев!
— Здесь...
— Гдлян!
— Тут...
— Иванов!
— Я...
— Коротич! — Молчание.— Коротич, я спрашиваю!
Нет ответа.
— Коротич, трам-тарарам!
— Да вон Коротич, в углу... Сидит, молчит...
— Молчит?! На свободе надо было молчать!

— Что дала перестройка народу?
— Богатым — кооперативы, бедным — аргументы и факты...

Вопрос: «Что будут делать наши министры, если их поселить в Сахаре?»
Ответ: «Семьдесят лет будут наблюдать миражи, а потом — введут талоны на песок!»

В кабинет Владимира Ильича в Смольном вносят цветочный горшок.
— Как называется это растение, товарищ? — заинтересованно спрашивает Ленин.
— Герань,— отвечают ему.
— Герань...— задумчиво повторяет вождь пролетариата, выдергивает цветок с корнями и бросает его в угол.— А землю,— приказывает он,— отдайте крестьянам!

Новый телевизионный канал: «ВЗГДЛЯН»...

— Что такое нынешняя телепрограмма «Время»?
— Салат «Оливетти»...

Вопрос: «Сто зубов и четыре ноги — что это такое?»
Ответ: «Крокодил!»
Вопрос: «А сто ног и четыре зуба?»
Ответ: «Брежневское Политбюро...»

Матрос Железняков — да, да, тот самый! — врывается на заседание Верховного Совета, водружает на трибуну станковый пулемет и кричит в зал:
— А ну, кто здесь Ельцин?!
Растерянные депутаты показывают...
— Борис Николаич, браток! — радостно кричит матрос и берется за рукоятки «максима».— А ну-ка, пригнись!

На балконе в зале XXX съезда КПСС один мужчина спрашивает другого:
— Бинокль дать?
— Нет, спасибо,— отвечает тот.— У меня — с оптическим...

У перестройки есть два пути осуществления: реалистический и фантастический. Реалистический — это ежели при-

летят марсиане или другие инопланетяне и нам помогут, а совершенно фантастический — это если мы сами...

Общее собрание в производственном коллективе. Председатель спрашивает:

— Как же это так, Мария Сергеевна? Вы — прекрасный работник, хороший товарищ, у вас крепкая семья, двое детей, заботливый муж... Объясните же всем нам, как так получилось, что вы стали валютной проституткой?

Женщина разводит руками и коротко отвечает:

— Повезло...

В начале двадцать первого века мужчина-покупатель заходит в заведение с вывеской «Магазин» и долго озирается по сторонам. Наконец, он неуверенно спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, это у вас продовольственный магазин или — промтоварный?!

Брежнев и Черненко с того света звонят в Политбюро по прямому проводу, слезно молят:

— Товарищи! Вы, это самое, как кто к нам отправится, пошлите с ним ножи и вилки...

— Зачем?!

— Да тут тоже происки: нас заставляют есть... серпом и молотом!

Японский бизнесмен приехал к нам создавать совместное предприятие... Сидит он в Москве, в приемной своего будущего партнера и слышит, как тот изо всей мочи орет из своего кабинета:

— Саратов? Саратов, вашу мать! Саратов!!!

— Чито такое это ваше Са-ра-то-во? — спрашивает удивленный японец.

— Город...— объясняют ему.

— И далеко? Ото Мосакава?

— Примерно шестьсот километров...

— А разве нельзя поговорить по телефону?! — поражается японец...

Литва решила объявить войну СССР. «Как показал опыт последней войны, побежденные страны — например, Германия, Япония, Италия,— очень хорошо живут...»

— Н-да...— задумчиво сказал Ландсбергис.— А вдруг победим мы?!

Собрал и обработал **Лев КУКЛИН**

Мини-мемуары

Б. СИВОВОЛОВ

О Е. В. ТАРЛЕ

К 125-летию со дня рождения

В марте 1932 года секретарь историко-филологического факультета ЛИФЛИ объявила нашему курсу, что в такой-то день и час, в такой-то аудитории профессор Евгений Викторович Тарле начнет чтение факультативного курса. Признаться, тем студентам, которым предстояло этот курс прослушать, имя Тарле мало что говорило. В массе своей это были ребята из рабоче-крестьянской среды, великовозрастные, заметно «обкатанные» жизнью, в большинстве имевшие низкий образовательный ценз. В назначенное время на лекцию Тарле собралось человек тридцать. Как-то тихо и незаметно он вошел в аудиторию и остановился у кафедры. Это был несколько сутуловатый, поседевший человек, во взгляде и движениях которого не ощущалось усталости и возраста. На нем был скромный костюм, а под пиджаком виднелась шерстяная коричневая кофта, застегнутая до самого галстучного узла. Поздоровавшись со студентами, Тарле спросил: «Нет ли среди присутствующих тех, кто ранее слушал мои лекции?» Таких не оказалось. Выждав минуту, он, видимо, счел необходимым сказать о своем появлении в университете. Из его слов мы узнали, что ученый недавно возвратился из Алма-Аты. В Москве он был принят Н. К. Крупской в Наркомпросе, которая, при его желании, согласилась с возвращением Тарле к научно-педагогической деятельности в

ЛГУ, прерванной не по его воле [1].



Профессор ЛГУ Е. В. Тарле с супругой. Фото 30-х годов из фондов ЦГАКФФД

Далее Евгений Викторович сообщил, что его факультатив будет посвящен одной из важных тем Новой истории — «Истории колониальной политики». Сейчас, спустя почти сорок лет, эти лекции остались в памяти лишь в самом главном. Они были необычайно живые, яркие, насыщенные огромным и разнообразным материалом, сам лектор, казалось, был свидетелем событий, о которых вел речь. А как умел Тарле пользоваться художественной деталью! Так, говоря о франко-прусских отношениях во второй половине XIX века, Тарле в ряду прочего, мог сказать: «Франция и Пруссия на протяжении длительного исторического времени считали Эльзас своим сыном, а он всю жизнь продолжал оставаться круглым сиротой». Нередко Тарле пользовался афоризмами, эпиграммами, которые, говорят, он и сам любил сочинять.

Нельзя также было не обратить внимание на то, что во время всей лекции Тарле держал в руке обыкновенную карточку и порою в нее заглядывал. В перерыве, когда Евгений Викторович покинул аудиторию, я подошел к кафедре, чтобы взглянуть на эту карточку. Она была совершенно чистой с обеих сторон! Она как бы символизировала некий конспект, психологически предназначенный для студентов, которые привыкли считать, что он обязателен для каждого преподавателя.

Через несколько дней аудитория, в которой царил Тарле, уже не вмещала всех желающих его слушать. Пришлось переселяться в актовый зал. Среди присутствующих было немало студентов и преподавателей других факультетов. В их числе мелькали лица известных актеров, писателей, музыкантов. Те, кто знал, помнил Тарле по его работам, выступлениям, стремился попасть на лекции выдающегося ученого-историка.

Вторая встреча с Евгением Викторовичем произошла при несколько иных обстоятельствах. Заканчивался 1933/34 учебный год. Дирекция института решила устроить по этому поводу банкет. На него был приглашен профессорско-преподавательский состав и общественный актив института. После вступительного слова ректора о подготовке специалистов выступили преподаватели. Многие из них говорили о том, что, несмотря на трудности работы со студентами, пришедшими в вуз со слабой общеобразовательной подготовкой, большинство их — народ трудолюбивый, честный, целеустремленный, которому хочется помочь. И, надо сказать, помогали преподаватели довольно успешно. Но были и такие студенты, которые отличались высоким уровнем культуры, знаниями языков, русской и мировой литературы. Они учились особенно старательно и усердно, используя все возможности для получения глубоких знаний у своих учителей. Не об этом ли стихи в институтской многотиражке.

Романист у нас один,
Кто его не знает,
С Шишмаревым tête-á-tête
Он Рабле читает.

Но самым интересным и ярким было выступление Е. В. Тарле. Он вспомнил об одном случае, происшедшем несколько лет назад. Однажды после лекции к нему подошел худощавый, высокого роста молодой человек, отрекомендовавшийся рабочим одного из заводов города. Он попросил у Тарле разрешения посещать его лекции. Сам Тарле не решал подобные вопросы — требовалось разрешение декана. Трудностей здесь не встретилось, и стал новоявленный студент ходить в университет на лекции Тарле. Прошло некоторое время, и его подопечный вновь обратился к профессору, но на этот раз с просьбой посещать его семинарские занятия. Все обошлось без формально-

[1] Позже нам стало известно, что Е. В. Тарле отбывал ссылку в Алма-Ате в связи с процессом промпартии.

стей — деканат дал свое согласие. С удовлетворением Евгений Викторович убеждался, что его протеже был человеком очень серьезных способностей и знаний. Он не только великолепно знал тему и материал предстоящих занятий. Поражало и другое: знание иностранного языка, изученного самостоятельно. Это позволяло ему чуть ли не на память цитировать те или иные места из иностранных источников, касавшихся Новой истории. Так, например, не соглашаясь с некоторыми авторами работ по истории Великой французской революции, будущий историк убедительно и аргументированно доказывал неправоту тех, с кем спорил, выдвигал собственные суждения по возникшим вопросам. Я, говорил Тарле, искренне радовался тому, что среди нашей молодежи появляются талантливые люди, которые могут обогатить нашу историческую науку. Эти надежды подтверждали и наши внеакадемические беседы.

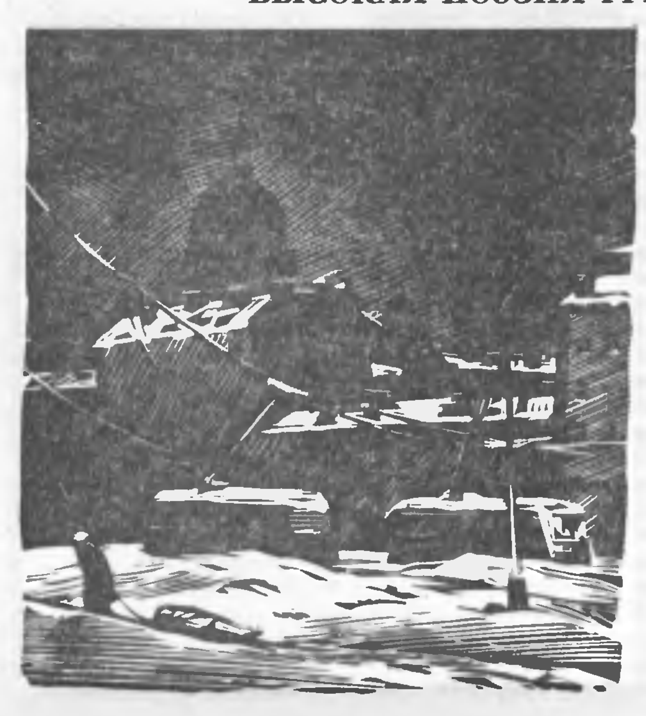
Но вот наступило время летних каникул, продолжал Тарле, и ему предстояло ехать во Францию в научную командировку. Возвратившись в Ленинград и приступив к занятиям в университете, он почувствовал, что ему чего-то не хватает. А не хватало встреч и общения со «своим» студентом. Когда Евгению Викторовичу сообщили, что он давно не ходит на занятия, начались поиски его адреса. Наконец, он был найден в записной книжке Тарле. На Лиговке Евгений Викторович разыскал дом своего подопечного. На стук в дверь полуподвального помещения вышла женщина, немало удивившаяся незнакомому человеку. На вопрос, можно ли видеть Николая Федорова, женщина, оказавшаяся его матерью, ответила сквозь слезы, что Коля недавно умер от туберкулеза. Извинившись и выразив свое сочувствие матери Николая Федорова, Тарле вышел на Лиговку.

Заканчивая свой рассказ, Тарле выразил убеждение, что наша историческая наука, несомненно, потеряла талантливого молодого человека, еще не успевшего реализовать свои способности на избраном им поприще.

Вернисаж «Седьмой тетради»

Борис СЕМЕНОВ

ВЫСОКАЯ ПОЭЗИЯ ГРАВЮРЫ



«Блокадная ночь»

Гравюра на дереве — впрочем, как и линогравюра или офорт,— всегда привлекает нас высочайшим уровнем мастерства, необычайно тонкого и виртуозного. Интерес к этому жанру графики остыть не может, и книга с гравированными иллюстрациями имеет особую ценность, формирует вкус читателя.

Андрей Алексеевич Ушин — один из выдающихся мастеров ксилографии и офорта. Счастливая звезда этого художника возникла сразу же в послевоенные годы. Вспоминаются первые опыты Ушина — блокадного подростка, не оставлявшего

карандаш и острый штихель даже в тяжкие часы артобстрела и бомбежки...

И не этот ли «тайный жар искусства» помогал выжить будущему певцу красоты Ленинграда?

До сей поры в журнал «Нева» идут письма из многих городов с просьбами побольше печатать гравюр Андрея Ушина...

А мне вспоминаются книги Лениздата 50-х годов с дивными ушинскими гравюрами к «Идиоту» Ф. М. Достоевского да еще те лирические виды природы к стихам С. Есенина или к циклу стихов М. Дудина, где поэт и художник слиты воедино в воплощении поэтического замысла.

Мастерство Андрея Ушина — остро и перспективно; творчество этого мастера радует и просветляет всех, кому дорого искусство нашей отечественной графики.

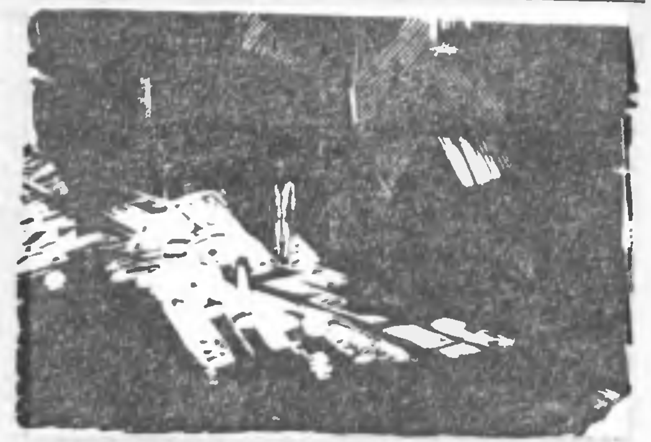
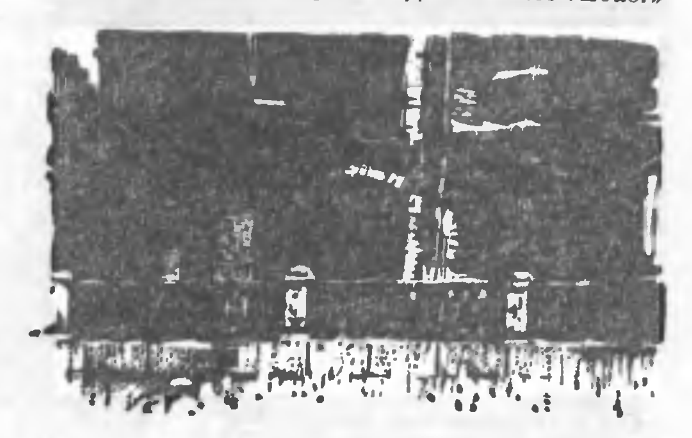


Иллюстрация к роману Ф. М. Достоевского «Идиот»



НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ

В конце прошлого года, когда в разгаре была кампания, направленная против Б. Н. Ельцина и Межрегиональной группы, я получил коротенькое письмо от своего избирателя из Ленинграда В. Г. Ковалевского:

«Уважаемый Борис Николаевич!
Посылаю Вам из архива академика А. Ф. Кони (90-е годы п. с.).

Я не люблю таких ироний.
Как люди непомерно злы!
Ведь то прогресс, что нынче Ельцын,
Где прежде были лишь льстецы».

(М. С. Королицкий, «А. Ф. Кони. Изд. «Академия», 1928, стр. 25»)

Не правда ли, любопытные бывают совпадения?!

Б. НИКОЛЬСКИЙ,
народный депутат СССР

СОДЕРЖАНИЕ
за 1990 год

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, ЭССЕ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЕМУАРЫ

СТИХИ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ДНЕВНИК ЛИТЕРАТОРА

ВСПОМИНАЕМ...

ПИСЬМА ИЗ ЭМИГРАЦИИ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕЛЬЕТОН

НЕОБХОДИМАЯ РЕПЛИКА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕДЬМАЯ ТЕТРАДЬ

Сдано в набор 29.08.90. Подписано к печати 01.11.90. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2. Печать высокая. 18,2 усл. печ. л. 18,2 усл. кр.-отт. 24,65 уч.-изд. л. **Тираж 615 000 экз.** Заказ № 751. Цена 95 коп.

Адрес редакции: 191065, Ленинград, Д-65, Невский пр., 3

Телефоны: главный редактор, заведующая редакцией — 312-65-37, первый заместитель главного редактора — 312-64-78, заместитель главного редактора — 312-70-35, ответственный секретарь — 312-61-18, отдел прозы — 312-65-95, отдел поэзии — 312-65-85, «Седьмая тетрадь» — 312-65-78, отдел публицистики — 315-84-72, отдел критики и искусства — 312-70-96, технический редактор и корректоры — 312-65-59

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



«ЦЕНТР ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ» В ЛЕНИНГРАДЕ

это широкий ассортимент и максимум удобств для покупателей

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

- Товары высшего качества с ленинградской маркой
- Изделия зарубежных фирм по договорным ценам
- Лучшие образцы продукции кооперативов страны

НАШИ УСЛУГИ

- Консультации художников и модельеров
- Демонстрации перспективных и имеющихся в продаже моделей с участием представителей изготовителя и Домов моды
  Вторник, четверг, пятница с 17 часов
- Уютные кафетерии
- Игровые автоматы, компьютерные игры
- Детская комната для вашего ребенка

«Центр фирменной торговли» работает ежедневно, кроме воскресенья с 10 до 21 часа
Наш адрес: Новосмоленская наб., 1. Станция метро «Приморская»
Телефон для справок: 352-01-87

Ждем вас в ленинградском «Центре фирменной торговли»!

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕСТ «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ-71» ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ ПОМОЩЬ

ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ВЕДУЩИМ ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЛЕНИНГРАДЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЫ ВЫПОЛНИМ ДЛЯ ВАС:

- монтаж железобетонных и металлических конструкций при строительстве промышленных корпусов любого профиля
- монтаж зданий специально-бытового назначении
- погружение металлического шпунта любого профиля с использованием вибропогружателей производства ФРГ и Франции, не имеющих аналогов в СССР
- погружение железобетонных свай любых сечений и длины под свайные основания зданий и сооружений различных типов

Монтажные работы трест может производить с помощью вертолетов

ВСЕМ ГРАЖДАНАМ, ВЕДУЩИМ СТРОИТЕЛЬСТВО ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

МЫ ВЫПОЛНИМ ДЛЯ ВАС:

- погружение свай под фундаменты с использованием мобильных сваебойных агрегатов

Высокое качество и надежность гарантированы!
Обращаться по телефонам: 251-28-10, 251-14-83, 251-20-98

Мы приглашаем для работы по прямым договорам треста с инофирмами рабочих различных строительных специальностей.
Наша забота о работниках треста широка и разнообразна: строительство двух собственных жилых домов в Ленинграде, пионерлагерь для ваших детей на Карельском перешейке, возможность получения части заработной платы импортными товарами повышенного спроса.

Справки по телефону: 259-37-92

Наш адрес: 198103, Ленинград, Дровяная ул., 6